

В. В. ШУЛЬГИН

 **ТРИ** 
СТОЛИЦЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1991

ББК 84 Р
Ш95

Серия мемуаров «Память» основана в 1983 году

Общественная редколлегия:

Сахаров А. Н. — докт. ист. наук, председатель
Буганов В. И. — докт. ист. наук
Жуков Д. А. — член СП СССР
Каргалов В. В. — докт. ист. наук
Лихачев Д. С. — академик
Осетров Е. И. — докт. филол. наук
Ученова В. В. — докт. филол. наук

Ведущий редактор серии **Исаева Л. М.**

Шульгин В. В.

Ш95 Три столицы. — М.: Современник, 1991. — 496 с. —
(Серия мемуаров «Память»).

ISBN 5—270—01122—0

В конце 1925 года некий Эдуард Эмильевич Шмитт нелегально перешел советскую границу и совершил двухмесячное путешествие по Советской России. Под этим именем скрывался известный в недалеком прошлом русский политический деятель и публицист, а затем эмигрант В. В. Шульгин.

Впечатления от страны, живущей в условиях нэпа, составили содержание книги «Три столицы», которую издательство предлагает вниманию читателей.

Ш 4702010000—047 без объявл.
М106(03)—91

ББК 84Р

© Жуков Д. А., состав, послесловие. 1991

ISBN 5—270—01122—0

© Издательство «Современник»,
подготовка текстов, оформление. 1991



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Имя В. В. Шульгина, автора этой книги, в нашей стране мало известно, хотя многие советские историки, да и писатели, обращаясь к эпохе «крушения Империи», обильно цитировали его выступления в Государственной думе, его статьи и книги. Интерес к ним растет, потому что Шульгин провидчески трактовал многие проблемы социального и государственного устройства, межнациональных отношений, экономической политики, в последние годы оказавшиеся в центре внимания нашего общества. Его доводы со знаками плюс или минус цитируются даже в прениях на самой высокой трибуне — в Верховном Совете СССР.

В прошлом — владелец газеты «Киевлянин» и сам блестящий публицист, великолепный оратор, завораживавший слушателей, по своим убеждениям Шульгин был ярый монархист.

И вот судьба: ему пришлось участвовать в событии, имевшем историческое значение для России, — отречении Николая II от престола.

В издательстве «Современник» в 1989 году под одной обложкой вышли книги его воспоминаний «Дни» (о событиях 1905 и революции 1917 года) и «1920» (об агонии белогвардейцев в гражданской войне). Своеобразным продолжением ее стала «Три столицы», вышедшая впервые за рубежом в 1927 году.

В 1925 году, живя в эмиграции, Шульгин нелегально перешел советскую границу и совершил путешествие по трем городам — Киеву, Москве и Ленинграду. Свои впечатления от этой новой для него страны он описал в «Трех столицах».

Несомненно, что у любого читателя отношение к этой книге будет неоднозначное и противоречивое, потому что очень уж противоречивой фигурой был сам автор. Если взглянуть на его политическую деятельность, начиная с участия в работе Государственной думы и позже, в эмиграции, ему доставалось и от «чужих», и от «своих» (иные «свои» даже называли его «предателем белой идеи»).

Бесспорно одно. Книга эта, как и мемуары многих других видных деятелей России, участвовавших в политической жизни государства начала ны-

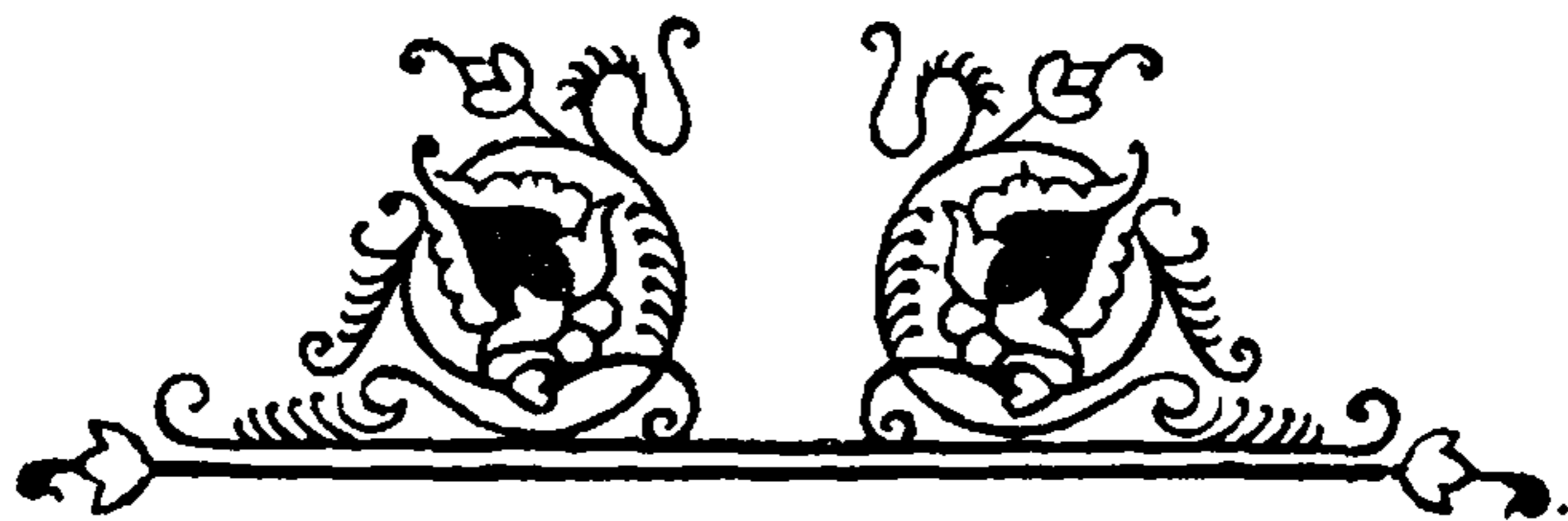
нешнего века, — это документы сложной революционной эпохи, трагически разделившей наш народ на непримиримых врагов.

Недаром после выхода «Дней» и «1920» за границей В. И. Ленин ознакомился с ними и дал указание переиздать их у нас. Что и было сделано.

Этот факт, кроме всего прочего, говорит об определенной корректности В. И. Ленина в отношении к политическому противнику В. В. Шульгину — чего нельзя сказать об отношении В. В. Шульгина к В. И. Ленину.

И потому издательство «Современник», печатая «Три столицы», считает необходимым опустить некоторые наиболее грубые и оскорбительные выражения в адрес Владимира Ильича. К тому же сам автор, по свидетельству людей, хорошо знавших его, впоследствии сожалел о своих бестактных высказываниях.

«Три столицы» писались в обстановке, когда автор из соображений конспирации не мог трактовать события так, как они происходили на самом деле, называть подлинные имена и мотивы. Издательство поэтому сопровождает книгу статьей «Ключи к «Трем столицам» писателя Дмитрия Жукова, общавшегося с В. В. Шульгиным и любезно предоставившего для публикации хранящуюся у него рукопись «Неопубликованной публицистики».



ТРИ СТОЛИЦЫ





I

ГЛАВА ПЕРВАЯ — ОНА ЖЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Те, кто читал «1920 год», может быть, помнят, что у меня был сын, которого странно теперь называть «Ляля», ибо, если бы он был жив, ему сейчас было бы 25 лет от роду. Но когда он исчез, он был юношей, и детская кличка еще всеми родными и друзьями к нему прилагалась. Поэтому, насколько рассказываемое настоящей книжкой его касается, я буду держаться этого имени, ибо не знаю, как же его иначе обозначать. Под другим он в моем сознании не значится. Называть его Вениамином Васильевичем есть для меня фальшь непереносимая, хотя таково его настоящее имя. Часто так бывает в жизни: формальная истина есть насмешка над истиной истинной...

* * *

1-го августа 1920 года я видел его в последний раз. Он ушел с Приморского бульвара в Севастополь, направляясь на вокзал, чтобы ехать в полк. Поступил он в Марковский полк — вот все, что я знал. С тех пор ни от него, ни о нем никаких известий я не имел.

* * *

1-го ноября того же года, как известно, генерал Врангель ушел из Крыма и приютился с остатками своей армии на берегах Босфора. Мне лично после разных приключений удалось пробиться в Константинополь только во второй половине декабря. Естественно, что я искал сына, и естественно, что я искал его в Галлиполи, где высадились все «цветные» полки, то есть корниловцы, марковцы, дроздовцы и алексеевцы.

24-го декабря я прибыл в Галлиполи.

Там мне удалось разыскать поручика, который был коман-

диром моего сына, служившего у него в пулеметной команде, в звании вольноопределяющегося. Этот офицер рассказал мне следующее:

— Мы отступали последние — третий марковский полк. Южнее Джанкоя, у Курман-Кемельчи, вышла неувязка. Части перепутались. Давили друг на друга. Словом, вышла остановка. Буденовцы нажали. Тут пошли уходить, кто как может. У нас, в пулеметной команде, было две тачанки. На первой тачанке был я с первым пулеметом. На второй тачанке был второй пулемет, и ваш сын был при нем. Когда буденовцы нажали, пошли вскачь. Наша тачанка ушла. А вторая тачанка не смогла. У них одна лошадь пала. Когда я обернулся, я видел в степи, что тачанка стоит и что буденовцы близко от них. В это время пулеметная прислуга, насколько видно было, стала разбегаться. Должно быть, и ваш сын среди них... Вот все. Больше ничего не могу сказать. Это было 29 октября.

* * *

Этот рассказ при всей его неутешительности все же не отнимал надежду до конца. Было четыре возможности:

1) убили, 2) просто взяли в плен, 3) ранили и взяли в плен, 4) взяли в плен и расстреляли.

Естественно, что с того дня, как я выслушал рассказ поручика, моя мысль неуклонно возвращалась к следующему: надо как-то пробраться в Крым и узнать, что же случилось. Если жив, вытащить, помочь. Если убит, по крайней мере знать это наверное.

* * *

Случай пробраться в Крым скоро представился. И это была моя первая попытка.

Несколько из моих друзей (очевидно, такие же «намагниченные души», как и я) нашли шхуну, очень недурную, спортивного типа, парусно-моторную. Пожалуй, ее можно было даже назвать яхтой. Она должна была идти в Крым для различных дел. Мне предложили принять участие в этой экспедиции. Я с радостью согласился, побывал на шхуне (она стояла в Босфоре) и нашел все прекрасным.

Но не повезло. В следующую же ночь сильным штормом ее сорвало с якоря и разбило в щепки. Это было в первой половине января 1921 года.

Таким образом, первая попытка кончилась неудачей в самом начале.

* * *

Вторая попытка была тоже неудачной.

В сентябре 1921 года мне совместно с другими удалось снарядить шхуну, на борту которой было десять человек. Мы были в море 17 суток, побывали в Крыму. По моей просьбе были обшарены места, где скорее всего можно было ожидать найти Лялю. Но он не был обнаружен, и не найдено было никакого указания о нем. А кроме того, экспедиция кончилась бедой, и только пятерым участникам с большим трудом посчастливилось уйти на шхуне обратно. Судьба остальных пяти различна: один умер, двое живы и вернулись в эмиграцию, судьба двоих — не установлена.

Описание этого путешествия существует и будет когда-нибудь опубликовано.

Как видно из сказанного, и эта вторая попытка не привела ни к чему.

* * *

Осенью 1923 года я получил первое известие, относительно верности которого можно быть того или иного мнения, но зато совершенно точное.

По этим сведениям, Ляля был жив, но находился уже не в Крыму, а в Центральной России, и в таких условиях, что подать о себе вести он не мог.

С тех пор как я получил это известие, я решил попытаться еще раз пробраться в Россию и стал нащупывать возможности.

Возможности эти скоро представились. Это, впрочем, всегда так бывает: стоит только о чем-нибудь очень упорно думать, и через некоторое время непременно появится какая-нибудь ступенечка, казалось, в совершенно неприступной стене...

* * *

По понятным причинам я буду очень непонятным в этой части своего изложения. Я могу только сказать, что я поставил вопрос просто: надо искать помощь у тех, кто по своей

профессии должен иметь постоянные способы проникновения в Россию.

Кто же могли быть эти люди? Естественно — контрабандисты.

Я стал искать связей среди контрабандистов и нашел: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Однако судьба князя П. Д. Долгорукова, который как раз предпринял попытку проникновения в Россию, но добрался только до первой приграничной станции Кривин, где и был арестован и только благодаря своему мужеству и выдержке не опознан, а выслан обратно в Польшу под видом старого псаломщика, — заставляла быть в особенности осторожным.

* * *

Поэтому прошло два года, прежде чем мне удалось поставить дело так, как я этого желал.

В то время как я получил известие, что все более или менее готово и я могу войти в сношение с людьми, которые мне обеспечат мощную протекцию среди контрабандистов, я жил в Сремских Карловцах в Сербии. Этот город, как известно, был резиденцией генерала Врангеля.

Разумеется, главной причиной моего стремления проникнуть в Россию было желание найти сына. Но правда и то, что и само по себе это путешествие меня в высшей степени интересовало. Меня отнюдь не удовлетворяла газетная информация о том, что делается в Советской России. Хотелось «вложить персты в раны». По многим признакам мне казалось, что дело обстоит не совсем так, как об этом пишут. Самая мысль, что стомиллионный русский народ «исчез с карты земли», казалась чудовищной. Словом, объяснить это не к чему. Всякий эмигрант понимает жгучий интерес всякого из нас к тому, что там за чертой. Если же к этому присоединить сильнейший личный мотив и возможности, которые не часто перепадает, то получилась комбинация трех сил, которая и обусловила мое решение.

Живучи, так сказать, под боком у генерала Врангеля, да и вообще имея привычку делиться с ним политическими возможностями (а мое путешествие могло развернуться и в такую), я, разумеется, рассказал ему о своих намерениях.

Генерал Врангель отнесся в высшей степени сердечно ко мне лично, но вместе с тем дал мне понять совершенно решительно, что «политики не будет».

Генерал Врангель, как известно, снял с себя всякую от-

ветственность «за политику» в тот день, когда, подчинив себя великому князю Николаю Николаевичу, он посвятил свои силы «исключительно заботам об армии». Из наших разговоров с генералом Врангелем выяснилось, что по этой причине никаких политических заданий он мне не дает. Главкому приходилось быть особенно осторожным в этом случае, ввиду того что некоторые элементы вели против него непрекращающиеся интриги. Эти люди не упустили бы случая истолковать мое путешествие так, что Врангель послал Шульгина со специальными задачами в Россию. И таким образом ведет свою самостоятельную, отдельную «бонапартистскую» политику. Что может быть такая интрига, это, конечно, очень грустно, но это так...

По этой причине ко времени моего отъезда генерал Врангель был даже не особенно в курсе моих истинных намерений: он полагал, что я в конце концов пошлю на розыски сына другое лицо вместо себя.

В полном курсе дела был уже ныне покойный генерал Леонид Александрович Артифексов. Я оставил ему письмо, которое просил его опубликовать при наступлении известных обстоятельств. Дело было в том, что я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи, то есть в случае, если я попадусь, большевики не разыграли со мной того же самого, что они проделали с Борисом Савинковым, т. е. чтобы они не опозорили меня прежде, чем тем или иным способом прикончить. Поэтому в письме на имя генерала Артифексова я заявлял, что хотя я еду в Россию по личным мотивам и политики делать не собираюсь, но я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлением о моем «раскаянии» или с ними «примирении» прошу не придавать никакой веры.

* * *

В Сремских Карловцах был очень трогательный обычай. Когда отъезжает кто-нибудь из русской колонии, то его провожают все, начиная с самого генерала Врангеля. Так и в этот день, когда я уезжал, маленький вокзал переполнился русскими лицами. Только двое из них знали, куда именно я еду. Все остальные думали, что я еду в Польшу, по своим делам. Но и Польша очень далека по нынешним временам, когда людей разделяют не столько расстояния, сколько визы. Выехать из любой страны легко — вернуться трудно. А двое самых младших членов русской колонии, те просто ничего

не соображали: они явились на вокзал в «колясочках» и только новорожденным писком выражали мне свое сочувствие.

Когда поезд тронулся, вся группа, расцветившаяся осенним солнцем, закивала, замахала прощальными приветствиями, как полагается.

И сердце застучало сильнее:

Ничто не вечно в этом мире,
И в даль влечет меня судьба,
Прощай, жена, прощайте, други,
Не знаю, возвращусь ли я...

(Московская тройка)

* * *

Путешествие в Польшу нужно мне было, чтобы «отвлечь внимание». Я не замечал за собой в последнее время большевистского наблюдения, но разве в этом можно было ручаться. Они время от времени принимались следить за мной. Так, в Константинополе в 1921 году они выкрадывали у меня письма, о чем я узнал совершенно точно, а в 1922 году приставили ко мне своего агента. Я должен был парировать эту штуку, приставивши к агенту «агента», то есть преданного мне человека, который предупреждал меня об их пакостях. Однажды они задумали инсценировать ограбление для того, чтобы добраться до моих бумаг, но их убедили, что ничего интересного я дома не держу, оно так и было, впрочем. Вместо «архива» я кормил их за то более современными вещами, предоставляя им красть некоторые мои письма, которые я нарочито на сей предмет писал своим друзьям. В этих письмах я преимущественно давал советы Владимиру Ильичу Ленину под видом рассуждения на тему, как бы я поступил на его месте. Так что если покойник сделал что-нибудь путное в последние дни жизни, то это, очевидно, под моим влиянием...

В 1923 году до меня дошли сведения, что они украли у меня фотографические карточки. Но с тех пор они, по-видимому, оставили меня в покое. Однако, не доверяясь ничему, я принимал все меры предосторожности.

* * *

Я ехал пароходом по Дунаю на Вену. Если бы я был человек «подозрительный», я придавал бы значение следующему случаю.

В кресле, рядом со мною, сидела дама средних лет, ко-

торая что-то усиленно писала карандашом в тетрадку. По той причине, что в ее лице не было ясно выражено ни одной национальности, я понял, что она может быть только русская. Но я с ней не заговаривал, и так мы просидели часа два молча, пока она сама не обратилась ко мне, и притом по-русски. С этого началось знакомство, причем я все же избегал ей задавать какие бы то ни было вопросы. Этого оказалось достаточным, чтобы к концу дня она сама мне все рассказала.

Ах, она ужасно боится, не следят ли за нею большевики. Она вздрагивает каждый раз, как в помещение входит подозрительная физиономия. Дело в том, что она из России. Приехала месяц тому назад и едет обратно. Ей разрешили приезд в какую-то другую страну, но она тайком пробралась в Сербию, где у нее родные. Пожила у них и вот едет обратно, но ужасно боится, не выследили ли ее. Ко мне она расположилась доверием, потому что я ее ни о чем не спрашивал (а все русские всегда все спрашивают). И даже на прощание она подарила мне монетку, «на счастье», оказавшуюся советским пятиалтынным.

Такая внезапная доверчивость совершенно запуганной женщины могла бы навести меня на подозрение: не хотела ли она получить откровенность за откровенность и узнать, куда я еду. Другими словами, я мог бы подумать, что она представленная ко мне большевиками шпионка, но эта мысль совершенно не пришла мне в голову. Мне пришло в голову другое. Почему из всего состава парохода познакомились и, можно сказать, сблизились именно эти два лица? Ответ: потому что оба ехали в советскую Россию, а следовательно, чувствовали себя в положении зайцев, которых каждую минуту могут проглотить лиса, борзая или иной какой-нибудь зверь. Рыбак рыбака видит издалека. Психика влияет на психику.

Я покинул пароход в пределах Чехии с пятиалтынным в кармане, но советской незнакомки больше, слава Богу, никогда не видал.

* * *

Я ехал пароходом по Дунаю и через Чехию проследовал «инкогнито», там у меня слишком много друзей. Своих польских впечатлений описывать не буду, это не имеет отношения к излагаемому предмету, хотя очень интересно.

Но я должен сказать, что я сделал все усилия, чтобы

сбить с толку тех, кто мог бы за мной следить. Если у них была мысль или откуда-нибудь появившееся определенное сведение, что я собираюсь перейти границу, то я делал все видимости, что я перейду ее где-нибудь в пределах бывшей Волынской губернии, теперешнего «воеводства Волынского». Я просидел около полутора месяцев в городе Ровно, зарастая бородой. Ко мне стремились проникнуть некоторые из тех, кто меня знал раньше, и новые лица, но я отваживал по возможности всех под предлогом болезни. Борода моя подвигалась с успехом. Через месяц, когда я смотрелся в зеркало, передо мной было лицо, которое я сам бы узнал только с величайшим усилием: не то факир, не то раввин, *horribilé dictu**, глядел на меня из зеркала! Последнее казалось мне особенно удобным: я при данных обстоятельствах. Постепенно я изменял и свой костюм, что в Ровно весьма удобно. В этом городе ясно чувствуется дыхание России, а потому я носил высокие сапоги, короткое пальто на баране и каракулеву потертую шапку.

— Только не надевайте ее набекрень. У вас эта манера носить ее, как папаху. Выдает,— так говорил мне один мой друг офицер, которого я посвятил в свои тайны.

Итак, я быстро превращался в старика. Однажды ко мне прорвался один тоже немолодой еврей, который, естественно, знал меня молодым. Увидев меня, он заплакал.

— Что с вас сделала жизнь!..

Это было очень хорошо, тем более что под старческим обликом я чувствовал прилив бодрости и сил.

«Так и под снегом иногда бежит кипучая вода...»

К снегу я тоже приучался. К снегу и к морозу, от которых я отвык в Западной Европе. А зима в этом году стала ранняя и замела сугробами тихую улицу, на которой я жил. Здесь была протоптана только узенькая тропиночка, на которой с величайшим трудом можно было разминуться. Можно себе представить, как это облегчало мое дело: если бы за мной следили, то эти типы должны были бы непременно сталкиваться со мной нос к носу и даже обнимать меня, чтобы «разойтись». А вообще улица была совершенно пустынная, и я был совершенно спокоен. Я каждый день выходил утром и делал большой круг в полях и снегах, так сказать, вырабатывая выносливость температурную и «драпную»: в советском раю хорошо иметь ноги в добром действии.

* Страшно сказать (лат). (Прим ред)

* * *

Итак, если за мной кто-нибудь все же следил, то он решил бы бесповоротно: этот человек собирается где-то здесь неподалеку перейти границу.

Но где именно? На этот случай я предоставлял моему невидимому преследователю две версии.

Или я перейду в той приграничной деревне, где я много лет жил и где меня все знают и я всех знаю, или же я перейду в некоем местечке Корце, тоже расположенном при самой границе. Я туда, кстати, съездил, в Корец. У меня там было дело, но это было крайне удобно и в отношении «следающих». А следить, конечно, могли, ибо самое мое появление в городе Ровно, после десятилетнего отсутствия, представляло в некотором роде сенсацию. Об этом, конечно, «все говорили», а в Ровно, естественно, надо думать, должна была быть сильная коммунистическая ячейка. Я рассчитывал на худшее и старался парировать возможное.

* * *

Разумеется, я не могу сказать здесь всего, не подвергая опасности некоторых лиц. Но я могу сказать главное. У меня расчет был простой. Я знал, что контрабандисты всех времен и народов представляют обыкновенно собою если не обширные, то далеко разбросанные территориально организации. Ведь товар нужно не только перетащить через границу, но нужно довести и до того места, где он продается. Следовательно, должны быть какие-то центры в каких-то городах, на которые работают те, кто непосредственно рискуют своей головой на пограничной полосе. Но если существует центр, то весьма возможно, что этот центр пользуется услугами не только одной границы. Основываясь на этом предположении, мой план был крайне прост: сделав «все видимости» в одном месте, внезапно переброситься в совершенно другое и даже в другую страну и там, так сказать, молниеносно перейти границу. Другими словами, это была классическая тактика демонстрации, скрывающая главный удар.

* * *

Это мне удалось. То есть мне удалось за свою бытность в Польше сойтись с контрабандистами, которые имели связи с контрабандистами одной-другой страны. Они дали мне яв-

ки. Явки очень осторожные, что меня немало порадовало. В таком-то кафе найти такого-то человека, который постоянно сидит за таким-то столиком, и, затеяв с ним разговор, сказать ему несколько условных фраз.

По понятным соображениям я опускаю все эти подробности, какая страна, какой город, какое кафе и тому подобное. Я начинаю свой рассказ с того места, кое почитаю безопасным для людей, ставших моими друзьями. Я думаю, что изложение от этого не проиграет.

II

НЕЧТО ЛОГИЧЕСКОЕ

В одном Волынском городке вьюга бросала в окно снег, свирепея. Оттуда, из белесоватой темноты, мятущейся и злой, освещенное окно казалось уютным, ласковым и добрым. Как прекрасны свет и тепло!.. Как сладостен рисунок окна! Если подойти ближе, на стекле искрящиеся, сказочные, оранжево-золотые узоры...

За окном сидел я и читал одну книгу. Но я, я был — «двойной». Я был здесь, в комнате, нежущийся светом и теплом. Но я же был там, на вьюге, и смотрел на себя, т. е. на мое окно, оттуда. Да, я был и здесь и там, в поле — усталый, иззябший, отданный на расправу злобности бури. Я одновременно ощущал две точки зрения: блаженство тепла, уюта, интересной книги и суровое мужество борющегося с метелью.

Я, «комнатный», не мог вполне отдаться ласке тепла, зная, как тяжело тому другому в поле. И я же, тот другой, «вьюжный», не мог вполне возненавидеть вьюгу, ибо знал, что и тепло, и оранжевые узоры на стеклах тоже принадлежат мне. Я, теплый, помнил о другом, холодном. И я, холодный, преодолевая ледяные струи, знал, что есть тепло. И я, теплый, любил его, холодного, и я, холодный, любил его, теплого. В нем не было зависти ко мне. Во мне не было равнодушия к нему. Потому что мы оба были одно и то же и могли чувствовать две точки зрения.

И потому, хотя искристое оранжево-золотистое стекло как бы ставило между нами неодолимую преграду, преграду, суровую, как грань между светом и тенью, раздел между светом и тенью, раздел между холодом и теплом, рубеж между жизнью и смертью, тем не менее между нами не было границы, хотя мое окно было на окраине пограничного городка...

Я читал одну книгу. И по мере того, как я ее читал, раздвигались стенки моей души. И я понял, что истина многогранна. Каждый человек видит одну грань. Обрадованный, он кричит:

— Я нашел истину!..

Он прав: он нашел истину. Но он и не прав: он принял за истину только одну грань многогранной истины, часть истины. А часть не может быть равна целому. И когда кто принимает часть истины за всю истину, он заблуждается.

* * *

Математику это ясно. Я написал дифференциальное уравнение. Я нашел закон для бесконечно малого куска кривой. Если мне удастся проинтегрировать мое уравнение, то есть перебросить мост от бесконечно малого к конечно великому, я нашел закон для всей кривой. Но если не удастся мне мой интеграл, я, если я математик, знаю, что обладаю истиной только для маленького, бесконечно ничтожного клочка.

А нематематики этого не знают. Они не знают разницы между бесконечно малым и конечно великим. Они закон, правильный для искры костра, прилагают к огнедыщащей горе. Правило, законное для прямой доски в полу их комнатушки, прилагают к огромному кругу земли, *orbis terrarum**. Они мгновенное, преходящее, собственное свое чувство принимают за «естественное право» народов, человечества, вселенной...

Можно знать «истины» разных величин, но не дано знать «Истину». Маленькие истины могут знать все люди и даже животные. «Если у меня украдут, это плохо» — это истина, которую знает всякий дикарь. Но он не может сообразить, что и всякий другой дикарь так думает. И поэтому он, не позволяя красть у себя, сам крадет вовсю. Дикарь не может проинтегрировать своего маленького дифференциала, своей маленькой истины. Эту работу за него делают великие люди, гении, пророки, учителя. Они делают скачок интуиции и из маленькой истины каждого дикаря «плохо, если у меня украдут» выходит великая заповедь Моисея:

* Земля, мир (лат.). (Прим. ред.)

VIII.— Не укради. (То есть не воруй сам, если не хочешь, чтобы тебя обкрадывали).

Миллионы лет прошли, пока родилась эта мысль. Но еще десятки тысяч лет пройдут, пока она утвердится окончательно. Ибо и до сих пор бродит по свету несчастное число цивилизованных дикарей, убежденных, что «плохо, если у меня украдут, и хорошо, если украду я сам».

* * *

Но заповедь «Не укради», при всем ее величии, есть тоже только «дифференциальное уравнение», правда, для огромного круга явлений. На этом огромном круге жизнь бесчисленных тысячелетий есть только «бесконечно малый» отрезок. Для этого отрезка заповеди Моисея и все, что из них вытекает, непреложный закон. Но чтобы знать закон для всего круга, надо «проинтегрировать заповеди»...

* * *

Кто это сделает?

Это уже сделал Христос...

Десять заповедей Моисея, в части, касающейся отношений людей друг к другу, были дифференциальным уравнением, из которого вытек интеграл:

— Люби ближнего, как самого себя...

* * *

И это закон для еще неизмеримо большего круга явлений!

* * *

Но придет день, когда и эта Божественная черта окажется только отрезком.

И произойдет новая ослепительная надстройка.

Это будет обещанное второе пришествие Христово.

* * *

Что будет тогда? Какой закон?

Никто этого не знает.

Но, может быть, будет так: не будет «ближнего»!

Все окажется частью одного целого. Боль всего живущего

будет ощущаться, как своя собственная. И в этом, может быть, будет новый закон.

* * *

И законы будут сменять друг друга до тех пор, пока не наступит Конец.

* * *

И в день Конца будет узнана Истина. Это будет день слияния с Богом.

* * *

.....
Это и многое другое я читал и думал, сидя у оранжевого окна, за которым свирепела вьюга. И вдруг почувствовал, что кто-то стоит около меня.

Я обернулся.

* * *

Не испугался... хотя и следовало бы.

* * *

Он сказал:

— Я — йог. Я один из тех, чьи мысли сейчас вокруг тебя. Ты знаешь ничтожно мало. Ты не осмыслил еще ничего. Но одно ты приобрел: ты хочешь знать правду. Люди, близкие тебе, не хотят знать правды. Правда сложна, правда трудна, правда в вечном движении. Люди, как ты, ленивы умом, прилежны лишь их страсти. Они хотят знать только то, что чертит их ненависть, редко — любовь. И вот это для них «правда». То, что им нравится, для них истина. То, что им неприятно, отбрасывается ими, как ложь. Таков и ты. Таков ты был всегда, таков ты сейчас. Но знай: одна тысячная доля твоей души сегодня проснулась в тебе. И это увидели те, кто видят. Ибо, когда светильник зажегся, его свет достигает очей тех, кто смотрит. И они решили испытать тебя.

Ты любишь свою родину. Любить родину на той ступени, которой ты достигнул, не грех, а долг. В мире еще мало тех, которые переросли эту любовь, которые имеют право ска-

зять: «Мое отечество — Истина». Все остальные, которые отрекаются от этой любви, еще не доросли до нее. Они еще полузвери... Ибо и зверь не знает Родины. Люби Родину.

Но ты дорос до ступени, чтобы знать правду о своей земле. Йоги решили, что ты можешь видеть. Ибо другие имеют глаза и слепы, имеют уши — и глухи. Ты можешь видеть и слышать. И потому — иди...

* * *

Он взял меня за руку.

* * *

И я понял, что он перенес меня в какую-то страну и в какую-то среду каких-то людей. Эти люди переведут меня через границу России.

* * *

— Я буду с тобой, — сказал йог. — Не бойся. В крайности, умрет твое тело. Твое «я» умереть не может. Ты бессмертен, как и я, как и все, как и всякая жизнь. Но и тело твое не умрет на этот раз. Но будь справедлив. Не дай красной ненависти ослепить зоркость зеленых глаз. Пусть вокруг тебя идет изумрудное сияние терпимости. И смерть отступит перед тобой. Иди.

Он подтолкнул меня, и я очутился близко от границ России.

* * *

.....

Эта непонятная глава имеет назначение сделать для читателя более понятными дальнейшие непонятности этой книги.

III

ПЕРЕХОД

Итак, я выпускаю все то, чему полагается быть «за завесой». Начало моего рассказа — вокзал. Мне было сказано

явиться на такой-то вокзал такого-то города в такой-то стране, такого-то числа, в таком-то часу. Там за столиком будет сидеть молодой человек, т. е. средних лет. Красивый, в полупальто с серым мехом, мягкой шляпе. Я должен буду стать рядом с ним за общим столом и через некоторое время спросить у него по-русски, есть ли у него спички. Если он подаст мне спичечную коробку определенной марки, то это будет именно тот человек, который мне нужен, и больше мне ни о чем заботиться не полагается.

Я приехал на вокзал, и все прошло очень точно. На углу стола сидел человек, которого нельзя было не узнать по данному мне описанию. Я спросил спички, и он подал мне их, улыбнувшись при этом добродушно и грустно, как улыбаются только русские. Он был усталый, хотя молодой и неизможденный. Он давно устал и, должно быть, навсегда.

Марка на коробке оказалась та самая, а усталый человек сказал мне:

— Я возьму вам билеты и приду за вами.

Я хотел дать ему денег, но он сказал:

— Рассчитаемся в конце.

В каком конце?

Разумеется, я имел некоторую рекомендацию относительно людей, с которыми я связывался. Рекомендации были даже очень хорошие, в том смысле, что эти люди, вне их контрабандного ремесла, были люди безусловно честные и ни в коем случае меня не предадут. Да, ведь контрабанда к тому же, во все времена и у всех народов, из всех уголовных деяний была на особом счету. Известно, что в контрабандистском сердце есть:

И гордость и прямая честь...

Но...

Но сколько «рекомендаций» в наше время оказались несостоятельными, сколько раз обманывали и сколько раз обманывались! Поэтому я полученные рекомендации непрерывно проверял личными впечатлениями. Каждый человек ведь думает о себе, что он прирожденный тайноведец. Шерлока Холмса знаешь? Так вот, — подымай выше!

Впечатления у меня до сих пор были хорошие. Людей, которых я пока встретил, я просто не мог себе представить в роли предателей. И этот молодо-усталый или устало-молодой человек сразу был мне симпатичен.

Мы поехали. В купе нас было только двое, впрочем, был еще некто третий, весьма неприятный, — собачий холод. Почему в русских вагонах (до революции) было всегда тепло?!

Я очень завидовал моему спутнику. Он сейчас же улегся и спал крепчайшим сном вплоть до той минуты, когда в купе ввалилась банда людей, занявшая все восемь мест.

Ну ее совсем, эту «заграницу»! Почему в России (до революции) в купе полагалось только четыре человека и все, даже в третьем классе, имели спальное место?!

Шумная банда разбудила моего спутника.

— Как вы можете спать, когда так холодно?

— О, я привык. Постоянно езжу.

По его ответу я понял, что он несет контрабандную связь между городом и границей. Моя личность была «случайный товар», настоящий же товар лежал на полках в виде больших тюков.

* * *

На одной из станций мы не выдержали и перешли во второй класс. Там было тепло и пусто.

Слегка подремали, и потом завязался разговор.

Я не ошибся. Конечно, он был офицер и, конечно, проделал всю страду Добровольческой армии. Начались необыкновенные рассказы, ставшие «обыкновенными историями». Бои, походы, тифы и все прочее. Раненный, он выполз из одной хаты, где перебили внезапно налетевшие большевики всех: всех товарищей. Спасся чудом.

Разве все мы, болтающиеся здесь в эмиграции, не «спасшиеся чудом»? Копните любого и услышите все то же самое. Я говорю, конечно, о тех, что боролись.

* * *

Меня интересовал вопрос, знает ли он меня. Но по его разговору об этом совершенно нельзя было судить. Он был со мною вежлив, как бывают вежливы со старшими в военной среде. Быть может, он принимал меня за какого-нибудь полковника или генерала, а может быть, узнал, несмотря на грим. Во всяком случае он старательно избегал всего, что могло звучать хоть тенью вопроса. Я думал о том: это у контрабандистов так принято или он получил специальные

инструкции? Те, что меня прислали в эту страну, в этот город, на этот вокзал и к этому человеку, очень хорошо знали, кто я.

* * *

Меня интересовал еще вопрос, каков мой грим. Но он сам предупредил меня и сказал:

— Вы очень удачно оделись. И эта борода — это хорошо...

— Я похож на «жида»?

Он рассмеялся.

— Да, пожалуй... Издали...

* * *

К концу дня к нам присоединился еще один человек. Он сел на одной из станций. Очевидно, предупрежденный. Нас познакомили. Сказались какие-то фамилии, фантастические с обеих сторон. Этот третий был не русский. Мой первый спутник говорил с ним бегло на местном языке, — я не понимал ни слова. Но со мною этот второй говорил по-русски, очень чисто. Это объяснилось потом.

* * *

Я совершенно избегал не только что-либо спрашивать, но даже совершенно не интересовался станциями. Я был совершенно в их руках, и было бы бессмысленно верить в главное и подглядывать в пустяках. Где-то мы обедали, очевидно, недалеко уже от границы на какой-то большой станции. Мой первый спутник очень любезно купил мне русские газеты. Как странно было читать мне эмигрантские мелочи, так сказать повседневную труху, в то время когда я готовился нырнуть в другой мир. Пройдет еще несколько часов, и от всей этой оживленной чернильной перепалки, от всех этих волнующих вопросов не останется ровно ничего. И эмиграция будет казаться каким-то «тем светом», может быть, — сном только что отошедшей ночи...

* * *

Наконец, вечером, в сумерках, мы приехали на конечную станцию, то есть ту, где надо было слезать. Остальное мы должны были сделать на лошадях.

Мы шли по засыпанному снегом городку и тащили в руках свои вещи. Мои спутники — два тяжелых тюка, а я две вещички, багажом я решил себя не обременять.

Шел снег, но было не холодно, градуса два. И совсем стало жарко топтаться по сугробам. Нас обгоняли простые сани в одну лошадь.

Так мы дошли до «гостиницы». Там была большая общая комната, где ярко горела печь. Это было очень уютно. И хотелось мирно сесть за столик и поужинать.

Так мы и сделали, после чего заняли «номер», где я под рокот печки хорошо поспал часа два, в то время как мои спутники уходили и приходили по каким-то делам.

Наконец сказали, что все готово. Мы вышли на крыльцо, на дворе было уже совсем темно. Продолжал падать теплый снег и уже успел засыпать сиденье низких саней. Мы забрались в них вчетвером, считая извозчика, но он в тяжелых местах шел пешком, подбадривая на неизвестном языке одинокую лошадь.

Сначала нам светило зарево вокзала, а потом становилось все темнее и, наконец, установилось нормальное освещение, тот белесоватый сумрак, который бывает ночью зимою в полях. Впрочем, поля скоро кончились и начались леса. Мы ехали долго большой дорогой, потом свернули вправо, по сокращенной, где немедленно перевернулись, наехавши на пень, как неизменно бывает при «сокращениях». Мои спутники не проявляли при этом ни нервности, ни раздражительности, очевидно давно привыкнув к этим неизбежностям ремесла. Контрабанда была прочно упакована и не боялась никаких «переворотов». Мы вернулись на большую дорогу, но затем все-таки въехали в глубину леса, где и заблудились. Это, по-видимому, тоже входило в программу, но продолжалось недолго, скоро нашли дорогу по каким-то неведомым приметам.

С этой минуты стали говорить тихонько, потому что граница была недалеко. Действительно, еще через полчаса мы выехали к какой-то опушке. Мне показали, что это и есть граница. Версты две мы пробирались вдоль нее, вернее сказать вдоль нейтральной полосы, не проронив ни слова. Лошадь тоже как будто выступала «конспиративно». Впрочем, разобрать тут что-нибудь было очень трудно, мы двигались среди ночных «неверностей» то высокими деревьями, то зарослями, то кустами, то опушками, и нас с той стороны также могли не увидеть, как мы их, если «они» там и были. Но наша задача была двойная, нам надо было избегать не только

советских, но и «антисоветских» постов. Впрочем, антисоветских, по-видимому, не очень опасались: должно быть, знали какое-нибудь «слово» на них. Я сильно подозреваю, что второй спутник, который подсел к нам на одной из станций, был именно специалист по задариванию антисоветских постов. Тут была, очевидно, какая-то «антанта». Во всяком случае против них, т. е. против «антисоветских», ни в коем случае не предполагалось никаких враждебных действий при встрече. Может быть, тут на контрабанду умышленно смотрели сквозь пальцы, может быть, даже видели, что мы едем, но не трогали, предупрежденные. Этого я не знаю, но факт тот, что мы, совершенно спокойно проехав вдоль границы версты две-три, приехали к какому-то домику. Тут нас окликнули и затем ввели в маленькую комнатку, где было тепло до умопомрачительности. Это было весьма приятно, потому что ехали мы часа три-четыре, и, несмотря на то, что было не больше четырех градусов мороза, я стал все-таки подмерзать.

В домике были какие-то люди, о которых ничего не скажу, кроме того, что это были, очевидно, свои.

«Здесь, кажется, притон для всех контрабандистов!..»

Я чувствовал себя в роли невинной барышни Микаэлы в розовеньком платье, и так со мною и обращались.

Мне сказали, что переход состоится в таком-то часу ночи и что надо: ждать, закусывать и пить чай...

* * *

Тут я впервые отчетливо понял технику перехода.

К определенному часу мы должны будем пойти в условленное место и там ждать. Придут «оттуда». Придет человек, которого они называли Иван Иванович, принесет оттуда товары, а может быть, приведет кого-нибудь. Он же, взяв «отсюда» товар и меня, сейчас же двинется обратно. Поэтому не надо заставлять его ждать, ему важно сейчас же двинуться обратно, а для меня это тоже гораздо безопаснее. Ибо, если он «только что» прошел через советские посты, то, значит, проход свободен и надо спешить этим воспользоваться, так сказать, по горячему следу. Поэтому мы не должны запаздывать и ровно вовремя быть на месте.

Но мы, конечно, запоздали и те две версты, которые пришлось пробираться до условленного места, шли форсированно по глубоким сугробам. Скоро я стал задыхаться в своем баране, обливаясь потом, несмотря на мороз. А сердце даже

не имело возможности волноваться, до такой степени оно работало от этой быстрой ходьбы. Быстрой и вместе с тем крайне осторожной. Мы шли гуськом, след в след, и было нас довольно много, ибо присоединились те люди из домика. Старались не хрустеть, что было трудно, ибо в темноте натыкались на деревья и пни под снегом. Словом, это было чертовски тяжело, а главное, все — даром: в назначенный час «оттуда» не пришли.

Я спросил шепотом:

— Сколько полагается у вас ждать?

Ответ был неутешительный.

— Четыре часа.

И вот мы сидели четыре часа на снегу. Можно было бы совсем прийти в уныние, если бы мне не нравились точность и выдержка этих людей: они просидели ровно четыре часа, как полагалось. В этом чувствовалась еще не разболтанная, а вернее, вновь подтянутая невидимой рукой дисциплина. Тоже не было никаких возлияний на снегу под предлогом, что холодно; все были абсолютно трезвы и говорили только шепотом.

Все время прислушивались. Не слышно ли издали торопливых шагов или условленного посвиста. Все время вглядывались в неясную дорогу или прогалинку, которая уходила между большими соснами. И как ее можно найти с такой точностью, ночью, в этом лесу?! Но они были совершенно уверены, что придут именно сюда. Тут был даже какой-то шалашик, в который меня пригласили. Нас охраняли со всех сторон пришедшие с нами люди. Они замерли в абсолютном безмолвии за соснами и только иногда подходили к шалашику как бы с донесениями или за распоряжениями. У меня была полная уверенность, что тыл у нас обеспечен, то есть, что со стороны «антибольшевиков» нам ничего не грозит. В шалашике собрались: два моих спутника по железной дороге и один из домика, который, по-видимому, был старший. Он был старший, хотя был еще совсем молод. Он был туземец, хотя прекрасно говорил по-русски. Все это объяснилось очень просто: все мы четверо, русские и нерусские, оказались так или иначе бывшими офицерами русской армии. Все участвовали если не в гражданской, то в мировой войне. И в шалашике посыпались названия полков, бригад, географические названия, известные всем и известные только каждому из собеседников, словом, обычное, знакомое военное журчанье...

Лес стоял высокий, красивый, таинственный, терпеливый...

Но они не пришли и через четыре часа. Замерзшие, мы пошли обратно.

* * *

Ночевали в домике. И там же провалялись весь следующий день. Мне было объяснено, как поступают в этих случаях.

— Если в назначенную ночь не приходят, то надо ждать следующую ночь в тот же час и на том же месте.

— А если не придут и на следующую?

— Тогда, значит, совсем не придут.

— А как же восстановить связь?

— Очень просто...

И он рассказал как...

* * *

Можно было предвидеть, впрочем, что они в эту ночь не придут. Там ведь им приходится ехать очень большой кусок на лошадях. А накануне, то есть в тот день, когда мы подъезжали с этой стороны по железной дороге, в продолжение многих часов свирепствовала вьюга. Снегу могло навалить очень много, и тот путь, который они рассчитывали сделать в течение дня, очевидно, из-за снегов не удалось проехать. Вот и причина задержки.

Контрабандисты совершенно не волновались, но всячески выражали мне свое сочувствие, понимая, что для меня эта история мучительна.

Впрочем, они ошибались. Наоборот, мне такая задержка была только на руку. Ибо я хорошенько отдохнул в домике и набрался сил для «предстоящих испытаний».

* * *

В десять часов вечера мы уже совсем собирались выходить вторично, когда вдруг один из обитателей домика доложил.

— Они уже здесь!

Мы выбежали во двор. Действительно, в темноте, в воротах стояло три фигуры. Мой первый спутник, сердечно с ними поздоровавшись, о чем-то стал шептаться. И затем опять

стали говорить громко. Выделялся голос, который, очевидно, принадлежал Ивану Ивановичу:

— Да там такое навалило! Ну что ж, я вижу, все равно не доеду. А если и доеду, коня угроблю. А назад на чем? Ну вот, и решились ночевать. Опасно, конечно, но нечего делать, заехали кой-куда. А вы ждали?

Пошли рассказы о том, как мы ждали вчера, и о том, как они сегодня пришли раньше времени и потому решили пойти прямо в домик.

— Да, заходите же!..

— А там никого нет?

— Никого, никого, свободно.

Мы вошли всей гурьбой в комнатку, которая стала еще меньше и жарче. Познакомились.

Тут я прежде всего разглядел того, кто назывался Иван Иванович. Ему было за тридцать, лицо было вымазано чем-то черным, очевидно, от полушубка, он был в высоких сапогах и имел вид, как бы это сказать? ну, какого-нибудь Садко или Васьки Буслаева! Он держал в руке револьвер, которым жестикулировал. Был он радостный, веселый, балагурил... Двое остальных были в полушубках и огромных белых валенках. От этого наряда веяло снегами России. «Занесло тебя снегом, Россия...» Один был постарше, другой помоложе. На всех трех лежал отпечаток «перехода». Только те, кто это испытал, могут сказать, какое оно, это радостное возбуждение. Такое оно бывает после выдержанного экзамена в гимназии, после боя, после гонки, после речи в Государственной думе, после дебюта в опере, словом, после каждого жизненного барьера.

Тот, что постарше, взял меня в сторону.

— Я знаю, кто вы. — Мы — контрабандисты... но когда-то были чем-то иным. Сделают все возможное... чтобы довезти вас благополучно... И у контрабандистов есть... «вопросы чести»!

Он пожал мне руку, и затем разговор опять стал общим.

И все это продолжалось только несколько минут, быстрых, разгоряченных. Иван Иванович сказал громко, как вообще ему было свойственно:

— Ну, пора!

Перед этим, болтая без умолку и балагуря, он тем не менее успел меня внимательно рассмотреть, а также и все принадлежности моего костюма.

— Вот это хорошо, что вы в сапогах. А я боялся, что вы — этак — «шпачком». Снег большой, да и того... лучше... у

нас сапоги, так сказать, на аристократичность... Багажу много?

Я показал ему мои чемоданчики.

— Пустяки! А то ведь...

Он ткнул ногой в контрабанду и взмолился к моему первому спутнику, который смотрел на него с усталой и доброй улыбкой:

— Послушайте, голубчик, да что они там!.. Вы б им сказали! Ей-Богу ж, когда-нибудь сдохну на дороге, что будете делать?!

И снова обратился ко мне:

— У вас игрушка есть?

Я понял и показал ему маленький револьвер.

Он осмотрел его с видом знатока.

— Чудная вещичка! Но это для города хорошо, чтобы на себе носить, в сюртучном кармане. А для нашего дела вот вам: это будет солиднее.

Он подал мне «солидный» браунинг.

— Один — в один карман, другой, — в другой. И вот что: я вам долгих наставлений делать не буду. А вы все делайте, как я. Что я, то и вы!

Впрочем, он еще прибавил несколько слов, о которых помолчу. Но в заключение сказал:

— Но все это — так! На всякий случай. Бывают сюрпризы. От сюрпризов не убережешься. А впрочем, я девяносто шансов даю, что будет благополучно...

Старший наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Вы можете ему совершенно доверять. Это удивительный человек. Если он говорит девяносто шансов, — считайте сто...

* * *

Я простился очень сердечно с людьми, с которыми я только что познакомился. Эта обстановка быстро сближает. Мы вышли. Иван Иванович, мои оба первоначальные спутники, несколько людей из домика и я.

* * *

Ночь была темная, теплая, чуть туманная. Она была бы непроглядная, если бы свежий, мягкий, какой-то одеяльчатый снег не засыпал леса. Этот снег и грел и светил. Он выявлял, по крайней мере — вблизи, контуры деревьев, кустов, зарос-

лей. Они, заросли, выходили на нашу дорогу белые, как бы с какой-то неугадываемой мыслью. Впрочем, эту мысль нетрудно было и разгадать: да или нет? Жизнь или Смерть? И, не ответив, конечно, кусты отходили. А дальше все сливалось. За двадцать шагов человек был только черной тенью...

* * *

Мы прошли знакомый шалашик и подошли к той самой дорожке, по которой они должны были прийти вчера и пришли сегодня. Шли по этой дорожке некоторое время, очень тихо и очень осторожно. Потом остановились. Прислушались. Было совершенно тихо.

Я понял, что это граница. Люди из домика неслышно рассыпались — вправо и влево. Их старший зашептал мне на ухо:

— Если вы наткнетесь на что-нибудь неподалеку, бегите назад — на нас. Кричите, стреляйте... Мы прибежим вам на выручку. Ну, а если далеко...

Он стиснул мне руку. Так же безмолвно попрощались два моих спутника. Иван Иванович взвалил на себя два огромных узла через плечо. Руки у него остались свободными. В каждой руке он держал по «игрушке». Придется ли играть?

* * *

Да или нет?.. Жизнь или Смерть?.. И кому смерть: им, нам?

Мелкие сосны, что были передо мной, не дали ответа. Я проверил свою «игрушку» и, переставив на «feu»*, положил в карман. Взял два чемоданчика в обе руки. Сердце забилося? Нет. Спокойно...

* * *

Я страшный трус. Признаюсь в том всенародно. Боязнь моя так велика, что устрашает страх. Ведь страх — «плохой советчик». Значит, чтобы «выжить», надо «не страшиться». И вот трусость загоняет страх в такой далекий угол сердца, что он не смеет там и пикнуть. И потому я спокоен. Сердце бьется ровно, и все чувства во мне умерли, кроме одного: внимания.

* Огонь (фр). (Прим. сост.)

Да еще иногда поднимается со дна души что-то теплое, что, вероятно, — молитва без слов.

Внимание и просьба к «Кому-то». Больше ничего.

* * *

Он махнул «игрушкой» как-то сзади вперед, ясно указывая начало движения. Пошел. Я двинулся за ним. Перед нами — что-то вроде просвета между зарослями. Снег глубокий... Он идет быстро, несмотря на свои мешки. Он моложе меня лет на двадцать. Я стараюсь попадать в его следы, чтобы было легче. Трудно в глубоком снегу. А боюсь за сердце — не выдержит, задохнусь. А он машет игрушкой, что значит «скорей». Конечно, так и надо — здесь самое опасное место: «первая линия». По обе стороны просвета — густые заросли, засыпанные снегом. «Они» могут быть здесь и справа и слева. Как их увидеть? Невозможно. А им, если они тут, легко нас увидеть. Мы идем, мы на виду, на просвете... Их и не услышишь. Они притаились. А им слышно, мы шуршим по снегу. Все эти мысли вбегают в мозг, но — «без последствий». Страх не подымается на поверхность: он крепко закован в своем углу — ужасом. Ведь иначе нельзя? Нельзя. Так, значит, так и надо. И притом все дело в том, чтобы точно попадать в его следы. Иначе, иначе сердце не выдержит... Жарко! Ноздри не пропускают достаточно воздуха... Хватаю воздух ртом. Терпеть этого не могу — зубы простудить можно.

Густые, молодые елки проходят мимо нас, белые и странные. Они все ставят свою загадку жизни и смерти, но никогда не отвечают...

— Стой! Кто идет?!

* * *

Я поставил оба чемоданчика в снег, ибо подумал:

— Наткнулись...

А он учил меня перед выходом:

— Если что, — «игрушки» в руки! И делайте то же, что и я...

Я поставил чемоданчики в снег, вытащил револьверы из карманов. За его спиной мне не видно было, что там такое и кто там кричал. Но это неважно: надо делать то, что он будет делать.

Но он пошел дальше, как бы успокоившись, и махал «иг-

рушкой» над головой. Я услышал шепот, походивший на скрежет зубовой:

— Чего орешь, дурак?..

И услышал шепотом же ответ:

— Не узнал!.. Испугался...

* * *

Я знал, что нас ждут сани, но не думал, что так близко. — Скорее, да скорее, я тебе говорю!

Усаживались, запихивали контрабанду в сено саней, напяливали что-то теплое на себя... Все это — спеша, хватаясь...

* * *

Тут ели были высокие. Из-за черных стволов безглазый мрак смотрел жутко.

А вдруг оттуда — из-за этих деревьев?

* * *

Поехали...

* * *

Ехали, держа «игрушки» в руках. Шагом. Казалось, что лошадь нестерпимо шумит, ступая, а сани слишком громко шуршат. Ведь тишина кругом — немая. В этой темноте молчания проплывали ближайšie деревья, то черные стволы, то белые ветви... Тот, кого он называл шепотом Мишкой, т. е. кто правил лошадей, смотрел вперед. Иван Иваныч сидел справа, а мне, значит, доставалась левая сторона. Немного высунувшись из саней, я засматривал то далеко вперед по дороге, то шарил глазами около себя. Там впереди постоянно вырастало что-то, что казалось человеком. Хотелось схватить за руку Ивана Иваныча — показать. Но удерживался, убеждаясь: куст, пенек, дерево...

Тут вблизи, около себя, пожалуй, было хуже. Из-за стволов, из этой злобещей темноты, казалось, каждую минуту могут выскочить, окликнуть: «Стой, кто идет?!»

И что тогда? Как поступить?

Он зашептал мне.

Впрочем, я не скажу что. Словом — как «действовать».

И лес плыл...

* * *

Мы, очевидно, держались какой-то просеки. Если это не была дорога, то это был чей-то след. Да, конечно, и притом это был их собственный след: как-то ведь они сюда доставились.

Лес местами становился величественным, напоминая декорацию. Засыпанные белым елки матово светились... Мы все ехали. Шагом. Казалось, как будто уплываешь куда-то медленной речкой.

* * *

Опушка. Вправо, влево — проезжая дорога.

— Ну, Мишка!..

Лошадь тронула доброй рысью. Нестерпимо застучало «кольцо».

Он ругал за это Мишку скрежещущим шепотом. Что-то говорили про хомут, объяснялись, возражались, но кольцо стучало, а лошадь шла беглой рысью, и, очевидно, с этим ничего нельзя было поделать.

Справа от нас бежал лес, слева было поле.

Я передвинул предохранитель с феу на sîg* и спросил.

— Тут уже можно? Ну, словом, обыкновенным людям ездить?

Он махнул игрушкой выразительно.

— Одним военным! Но тут... тут все же легче... постов нет. Линии проехали. Могут быть разъезды — конные...

— Что тогда?

— Тогда...

Он сказал мне, что — тогда.

Помолчу.

Он добавил:

— Тут только чины «погранохраны» могут быть...

И Мишке:

— Вожжи держи... Смотри... Сам знаешь!..

И прибавил, как в пояснение:

— Скверный тут поворот: перекресток...

* Ограничитель. (Прим. сост.)

Я передвинул предохранитель на «feu». Но скверный поворот миновали благополучно.

Новая дорога пошла полем. Я передвинул на «sûr».

И спросил:

— Как у вас тут при встрече, здороваются ли люди?

Он ответил:

— Пуля в лоб — вот тут как здороваются...

Я не особенно понял, в чей лоб: наш, их?

Должно быть — взаимно.

Но ведь у них — винтовки, а у нас — игрушки... Толкуй тут о равенстве...

* * *

Впрочем, скоро мы «сравнялись».

— Мишка! Вправо, влево — смотри! Вожжи не распускай!

Мы пробирались какими-то перелесками без дороги, объезжая что-то. Справа невдалеке чувствовалось село.

Он объяснил:

— Прошлый раз... вот тут... бандиты грабили... кричал человек... Мишка, помнишь?

Мишка показал рукой:

— Там это было... под селом...

Я передвинул на «feu».

* * *

Но бандиты нас помиловали. Да и это не казалось мне страшным. Ведь у них тоже «игрушки», и вообще... Вообще, это не то.

За ними не стоит непроницаемой стеной власть, черная и мрачная, как опушка высокого зловещего леса. Бандиты, это так — кустарничек... сосенки...

* * *

— Ну, теперь с «погранохраной» легче. Это — большая дорога... Тут всем можно ехать. Тут только могут быть таможенники... Ну, это — сволочь! Все — жида...

Я спросил:

— Контрабанду для себя ловят, конечно?

— Еще бы! С ними мы — живо...

— У них что?

— Наганы, кольты...

И было в этом столько пренебрежения, что я переставил на «sûg». Жидки с револьверами — не так страшно...

* * *

Несмотря на все; несмотря на миллионы расстрелянных; несмотря на то, что армии белых разбиты; несмотря на то, что России нет, а вот на ее месте СССР; несмотря на то, что весь мир под угрозой, — старая психология не может переделаться...

Жидок с револьвером? Пустяки!

А меж тем нет на свете зверя опаснее, ибо именно он, жидок с револьвером, делает революцию.

Впрочем...

Впрочем, когда он делает революцию — это одно. Все силы ада с ним. Когда же он ловит контрабанду, чтобы ее украсть, — это совсем другое.

Это из тех низших чертей, которым кузнецы Вакулы крутят хвосты...

* * *

Однако мы не долго ехали большой дорогой.

— Там — район. Район «погранохраны»... в селе... Плохое место... часовые стоят... могут поинтересоваться... откуда? куда?

Мы взяли вправо — в поле, по какому-то следу.

* * *

Но след скоро потеряли. Кругом — поле. Мало что видно: мутно, бело. Ни звезд, ни месяца. И как будто туманится воздух.

Не холодно. Сколько проехали? Кто его знает. Верст двадцать...

* * *

Они ехали по каким-то им одним ведомым приметам, спорили, убеждались, бесконечно находили след и еще чаще теряли, ехали через поля, леса, лесочки и перелески, пригорки, холмики, откоски, низинки, долинки, ложбинки и, наконец, потеряли след окончательно и бесповоротно... Это и понятно:

ведь — «в объезд»... Объезд большой дороги верст в тридцать, объезд такой глушью, чтобы ни одного жилья не встретить...

Так поставлена была задача: очевидно, везли что-то ценное в этом сене под нами, что хотели предохранить от всех «сюрпризов».

* * *

Впрочем, это только мне показалось, что след потеряли бесповоротно. Они же не были ничуть смущены.

«Столбы!»

Телеграфные столбы, соединенные ариадниной нитью проволоки, какого еще другого следа нужно?

* * *

Столбы вещь хорошая, но не тогда, когда кругом заволокло белым молоком так, что от одного столба до другого не видно... По этой причине мы скоро потеряли и столбы. Потеряв, пришлось возвращаться по своему следу, пока не нашли последнего столба, около которого проехали. Тут применили следующую систему. Лошадь оставляли со мной, а они, выйдя из саней, расходились по сугробам веером, отыскивая соседний столб. Кто находил, кричал: «есть». Я подъезжал на голос. Так продолжалось, пока Иван Иванович не изобрел «чашечки». Дело в том, что по фарфоровым чашечкам можно судить, куда бежит проволока: она их — чашечки — пересекает под прямым углом. Значит, приблизительно направление дается. Это значительно облегчило дело, но случился «инцидент».

* * *

— А это что? — сказал Мишка.

— Где?

Он показал рукой.

— Ну как что? Это? Пень, куст...

— Отчего же он бежит?

— Разве он бежит?

— Конечно, бежит!

И крикнул:

— Стой! Кто идет?!

Ответа не получилось.

— Волк,— сказал Мишка.

— Ну да, рассказывай...

* * *

— А это что?

Мишка показал рукой в другом направлении.

Там чернелось нечто, вроде первого: не то двигалось, не то нет.

— А это что?

Он ткнул рукой в третье, четвертое, пятое место. Везде было то же самое: черные пятнушки, которые не то движутся, не то нет.

— Волки,— сказал Мишка.

— Если волки, держите лошадь. Убежит, что будем делать!..

Мы стояли все трое около саней. Но почтенный Васька, проявлявший все время все признаки удивительного благоразумия (например, он ни разу не чихнул, не храпнул, там, в лесу, когда было опасно), и сейчас был совершенно спокоен. Или он бесчувственный, или волков нет. И потом...

Никогда я волков на свободе не видел. То, что Россия страна волков,— это под развесистой клюквой рассказывают старые француженки своим внукам. Однако во всех романах написано непреложно, что у волков ночью «горят глаза». Почему же эти не горят? И притом эти черные пятнышки, хотя, когда на них смотришь пристально, действительно куда-то бегут, но почему-то общее их положение все то же самое. Что такое?

* * *

Наконец мне это надоело. Я пошел на одну из этих точек.

— Не подпускайте близко! — крикнул мне вслед Мишка.

В конце концов, это было смешно: ну что мне может сделать волк, если у меня в руках «игрушка»? Броситься в горло? Ну, пулю ему в живот, и конец! Да и в каких это романах написано, чтобы волки в малых стайках нападали? Для этого требуется не меньше «полсотни», как известно...

Бояться волков, не побоявшись большевиков,— это можно только в силу какого-то наследственного инстинкта. В Мишке, который «ближе к природе», он, очевидно, еще сидит...

* * *

Тем не менее я подходил с опаской, переставив на «feu». Удивительно. Почему он не убегает?

Меж тем...

Меж тем вот — голова, уши... Только одно непонятно: видно именно только голову, уши, шею... Что это он, притаился за сугробом? Зарылся в снег? Ужасно странно для волка... Но вдруг я вспомнил Джека Лондона.

Умиравший, больной волк! — вот что это такое.

Это так, но все же удивительны его размеры. Такая голова и уши могут быть у зверя ростом с гиппопотама. Что же это?

* * *

Позор!.. Волк оказался невинной елочкой, «обернувшейся» в зверя. Я даже побил ее сапогом со злости.

Но это рассмешило. Поехали дальше «по столбам» веселее и, наконец, где-то как-то напали на какой-то след. Тут остановились отдохнуть, закусить. Мы сделали приблизительно полдороги, этак верст тридцать пять. У них была колбаса, но не было хлеба. У меня была заграничная булка, но не было русской колбасы. Соединились, и получился ужин, в международном масштабе, нечто евразийское. Хлебнули водки. Я не пил, Иван Иванович — немножко, Мишка — немножко множко. Стояли около лесочка, закрывшись от струйки ветра, но так, чтобы дорога была видна и спереди и с тылу.

* * *

Немножко подремали в санях. Было тихо, мирно, бело-вато-темно.

Я сказал бы — довольно уютно.

* * *

Конечно, ведь тут была полная безопасность. Какая смерть в такую глушь и в такую пору может сюда забрести? На людной площади Парижа или даже Белграда куда опаснее: одни автомобили чего стоят... Но как странно было подумать среди этих снегов обо всем том «автомобильном» мире. Как сразу стал он далек. Вот я и ушел «на тот свет», как предвидел. И вся та жизнь — стала сном...

* * *

Поехали опять. Перелески, лесочки, холмики, долинки — все в серо-белом сумраке.

След? След то терялся, то находился. Я тоже высматривал его старательно. Через некоторое время я стал его видеть отчетливо. Вот он — красивый, оранжевый... Отчего — оранжевый? Но зато — ясный. Но куда же Мишка едет? Совсем не туда. Вот куда след идет!

* * *

Я хотел остановить Мишку, но... сам остановился.

Во все стороны, куда бы я ни посмотрел, от саней бежал по снегу ясный, красивый, «оранжевый» след.

Тогда я понял. Утомление глаз. На самом деле ничего нет. Все это кажется...

* * *

Медленно напозал рассвет. Так же медленно, как тянулись шагом сани, оканчивая бесконечные версты. Все еще — без дороги: поля, перелески, снова поля... Лошадь тяжело ступает, отыскивая, где бы потверже снег, и сани шуршат томительно ровно... Я задремал.

* * *

Проснулся. Вижу — едем на деревню. Я растолкал Иван Иваныча.

— Деревня!

Он проснулся, посмотрел:

— Мишка! Куда ж ты на деревню прешь?

Мишка не расслышал.

— Да куда ж, говорю, в деревню лезешь?

— Деревню, какую деревню?

— Да вот. Не видишь, что ли?

В это время деревня пропала из глаз. Была деревня — нет деревни. Отлично ее видел. Ведь уже светло. Крыши, избы... И вот нет. Вместо деревни — перелески...

— Да нет никакой деревни, — сказал Мишка.

— Тьфу, — сказал Иван Иваныч.

Это был Мишкинский реванш. Довольно мы над ним смея-

лись «за волков»! Теперь он допекал нас «деревней». А все это — одна усталость глаз.

* * *

Но вот это уже не усталость глаз.

Мы выехали наконец на большую дорогу. Кончился «объезд» через поля и леса по какому-то мифическому следу. Васька прибодрился. Славная лошадь. Ведь он уже седьмой десяток верст откладывает, а вот теперь только разошелся. Он идет крупной рысью, и старые, мшистые, березы по бокам дороги быстро приближаются «из неизведанного» и еще скорее уходят «в небытие». Удивительные березы.

Вы не читали
Их придорожные скрижали?

* * *

Это не усталость глаз и не туман.

Но я читаю на мхах, покрывающих эти березы, самые удивительные вещи.

Я вижу рисунки непередаваемой витисватости, роскошные и в то же время строгие.

Я вижу византийские уборы древних князей, в шапках Мономаха; я вижу шишаки и кольчуги; я вижу богатые наряды Ольги и Ярославны; я вижу клобуки и схимные одежды; я вижу сложные узоры «серебром да чернью», золотом по аксамитам, парчою по бархату; я вижу лица то грозные, то Богом запечатленные...

Право же, вижу. Не вру. В чуть туманном дне, какой бывает зимою при оттепели, березы приближались и убегали, каждая с образом на груди... Что они хотели мне сказать? «Изгнаннику», вернувшемуся в «родную землю»?

Я задремал.

* * *

Когда я проснулся, навстречу нам ехали люди.

Если не считать трех, что везли меня, это были первые люди СССР.

Приближалась рыжая лошадь, кудлатая, ступающая по снегу размашистой рысью. Льняная грива, не чесанная со

времен Ильи Муромца, метнулась в глаза. Я не успел найти в ней «печать страдания».

А я искал их, страданий...

* * *

Как всякий добрый эмигрант, я невольно представлял себе Россию такую, какую я ее покинул. А покинул я ее в 1920 году. То есть тогда, когда самые камни «вопияли к небу» от мук, когда булыжники мостовой «пухли с голоду», и если не умирали «от жажды», то только потому, что их обильно поливали человеческой кровью...

* * *

А с тех пор был еще и 1921 год!

То есть тот год, когда умерли миллионы, когда матери поедали своих собственных детей, погибших несколькими часами раньше их самих...

А что было дальше?

* * *

А что было дальше, как-то ускользает из сознания «правоверного эмигранта». А ведь я был им! Если не умом, ибо мозг что-то соображал, то чувствами...

И я искал «печать страданий».

Въезжая в Россию, я как бы входил в комнату тяжело больной.

Что? Умерла? Жива? Потихе говорите...

* * *

Кудлатая лошадь едва не наехала на нас, ибо человек спал. Но все же он успел проснуться и, проснувшись, обругал лошадь по родителям, как бы в доказательство того, что я именно в России, а не в какой-либо другой стране. Ругнувшись, он взял вправо, и я увидел это первое русское лицо. Он был в шлеме, измятом и затрепанном, с болтающимися наушниками, в кожане и валенках. Полулежал в простых санях.

Лицо?

«Обнакновенное»... Давно не мытое.

«Slawen, die sich nicht waschen»*.

С бородишкой вроде как у его лошади... То, что называется, — корявый мужичонок.

Такой, какой он был от века.

Страдал ли он?

Наверное. Но по нем не прочтешь.

Вы не читали
Сии кровавые скрижали?

Да, простите их! Березы и те легче читаются...
Ругнулся и поехал...

* * *

Что в нем «нового»?

Шлем! «Буденовка», как я узнал после, это называется. Она вошла в широкое употребление. Это не был солдат, просто крестьянин. Буденовку очень носят.

Так вот новое, значит — шлем. «Головной убор». А какие новости в самой голове?

* * *

— А что, мужики, — спросил я, — довольны советской властью?

— Какой черт, довольны! Кто теперь доволен?!

— Жиды одни, — сказал Мишка.

* * *

— Но все-таки... землю помещичью получили.

— Получили!.. Черта с два получили!.. Вот — полюбуйтесь.

* * *

Мы проезжали в это время мимо какой-то когда-то, видимо, усадьбы. Первое, что бросилось в глаза: ни одного забора.

Иван Иванович стал по этому поводу философствовать:

— Заборов принципиально не признают здесь, но это пустяки! А вот факт. Было доходнейшее имение. Теперь — «совхоз», понимаете? Советское хозяйство. Один убыток. Но

* Славянин, ты не моешься. (Прим. сост.)

не все ли равно? Жидки кормятся на нем. А мужики? А мужики ничего не получили. Ну и это не важно, скажем, — вздор. Жили и без этого. А вот что донимает. Переделы. Ведь у них черт знает до чего дошло! Вот, скажем, сегодня переделались, все поровну, «по числу душ». Валяйте — хозяйствуйте. Как бы не так. Завтра у Марьи Ивановой ребеночек родился, — и все тебе насмарку. Опять все дели на ново, потому что одна «душа» прибавилась. А Марьи ведь каждый день рожают. И значит, ни у кого ничего в сущности нет. Твоя земля? Моя-то моя — сегодня. А завтра, может, уже и не моя, а Марьиного ребеночка. Ну какое ж тут хозяйство? Ведь хозяйство же не на один день. «Интенсификация», говорят, «удобрение», «корнеплоды»... Олухи! Кто ж будет интенсифицировать свое поле, чтобы оно другому досталось? Реформаторы! А душу человеческую реформировали, сволочь?! Душа-то ведь та же, мерзавцы! Жиды ведь ваши, таможенники, для себя контрабанду-то ловят! Растратчики ваши для себя растрачивают?! Почему же вы думаете, что мужики на соседа будут работать, на «Марьиного ребеночка»? Бедняки, середняки, кулаки... Просто, мужики, вся их природа одна. Мишка, да что ты? А еще говоришь — «рысистый»...

* * *

Последнее относилось к тому, чтобы подогнать лошадь. Кто-то «уцепился» за нами.

— Давно он?

— Нет, из совхоза.

— Ах, так. Ну, дай ему...

Лошадь пошла шагом.

Сани нагнали. В них сидел еврей. Он взглянул на нас и что-то закричал на жаргоне.

Иван Иваныч ответил по-русски, нечто неопределенное.

Еврей махнул рукой и поехал дальше.

Иван Иваныч торжествовал:

— За жидов нас принял, ей-Богу! Ну, значит, грим у вас первый сорт!..

* * *

На мне, собственно, не было никакого грима. Просто я отрастил бороду, вернее, растил ее любовно, поминутно расчесывая и колдуя. Я решил, что в стране СССР всего безопас-

нее быть похожим на еврея. Желание может сделать все, что угодно,— говорят йоги. Доказательство налицо.

— Он спрашивал,— сказал Мишка,— не видали ли мы сани.

— А кто ж он такой?

— Он? Кто такой? Контрабанду ждет.

* * *

На мне была барашковая шапка и пальто с барашковым воротником, высокие сапоги. Седая борода, вьющаяся около ушей. Провинциальный спекулянт.

— Настоящий «пуриц»,— радовался Иван Иванович.

* * *

Деревня...

Вглядываюсь в деревню. Бедная, невзрачная... Печать страданий? Может быть. А может быть, она всегда такая была. Кто ее разберет. Сумрачно, уныло, тоскливо. Но, может быть, это оттого, что день такой выдался невзрачный, серотуманный.

* * *

Лица? Их почти нет. Рано ли еще или прячутся? Но отчего им прятаться? Я все забываю, что сейчас не 1920 год.

Ну вот,— какие-то девчонки, мальчишки. Вот девушки у колодца.

Ну что? Печать страдания?

Ну, кто их разберет. Лица сумрачные, одеты плохо. Но может быть, они такие со времен Гостомысла?

Что можно понять вот так — «с саней»?

Может быть, потом их как-нибудь пойму и узнаю.

* * *

Но мне это не удалось и позже. Деревня совершенно не вошла в круг моего личного наблюдения. Поэтому не стоит об этом и говорить. Перейдем к городам.

ИВАН ИВАНЫЧ

Впрочем, «первый город», какой я видел, не подлежит моему перу. Изложить его правдиво не могу, — чего доброго узнают, а этого я не хочу. «Затуманит», неинтересно и не нужно.

Я могу рассказать только кое-что.

* * *

Не доезжая, мы слезли с саней и вошли в сей город пешком. Было уже дело к вечеру, и слегка смеркалось.

— Вот, — сказал Иван Иванович, — весьма приятно, что мильтон стоит спиною.

Мильтон? Кого это он так называет?

Это просто был городской. В нем несомненно были существенные «милицейские» изменения сравнительно с прошлым, но все же нельзя было не узнать «стража безопасности», *garde des Voies*, от коего, как говорят, происходит истинно русское слово «городской». Но почему — «мильтон»?

— А мы их тут иначе не называем. Мильтон, и все тут!

Очевидно, переделано из «милиционера». Как фантастически глупо...

А Впрочем, вовсе и не так глупо.

«Мильтон» — символ советской России. Разве к ней не приложим перифраз бессмертной поэмы настоящего Мильтона:

Потерянный, но не возвращенный рай.

* * *

Иван Иванович имел вид достаточно близкий «к народу».

Он был в меховой шапке и кожухе, который вымазал ему лицо. По этому поводу он приговаривал с негодованием: «Вот, а еще романовский называется!» Я шел около него «настоящим пурицем», и были мы как раз подходящая пара. А все вещи, контрабанда и мои, поехали с невиннейшим видом с безобидным Мишкой, который должен был сдать их в один дом на окраине города, откуда их уже переправят на городском извозчике.

Да, потому что городские извозчики существуют.

— Извозчик!

Извозчик... «Как много в этом слове...» Извозчик... Сколь-

ко лет я не слышал этого мощного зыка, совершенно недопустимого в Европе. И он подлетел, настегивая лошадь, с худой сбруей и рваной полостью. Все, как было, только похуже.

Позднее я понял, что это вообще самая краткая характеристика современной России: все, как было, только хуже.

— Ты меня знаешь?

— Как не знать. Пожалуйста!..

— Ну валяй домой, целковый получишь...

Мы понеслись, с теми ужимками и ухватками, как возят богатых господ в бедных городках.

— Я тут, знаете, важная персона, — смеялся Иван Иванович. — Дельцом слыву, почтенная личность... Видите, извозчик, несмотря на полушубок, признал. «Как не знать, пожалуйста!..»

И он смеялся весело...

* * *

Я не мог бы в случае чего найти его квартиру. И сумерки, и спутанные улицы; а впрочем, может быть, и нарочно так ездилось непонятно. Кто их знает! Может быть, и извозчик из их шпаны? Может быть, но эта «шпана» с каждой минутой становилась мне все симпатичнее...

— Вот мой дом. Милости просим. Входите смело, все благополучно.

— А как вы знаете?

Он посмотрел на меня лукаво.

— А занавески зачем?

Вошли.

— Вот сюда, направо, пожалуйста, здесь можно мыться. Я наскоро помылся и вышел через коридор в комнату налево.

— Пожалуйста, пожалуйста... Вот моя жена.

Молоденькая, хорошенькая женщина. Стол, уставленный всевозможными вещами. Рояль. Кресло-качалка. Убранство не роскошное, но достаточное. С точки зрения эмигрантской, я хочу сказать эмиграции стран балканских, — недосягаемое.

— Вот знакомьтесь. А я сейчас.

* * *

— Очень устали? Замерзли?

— Устал. Замерз. Но это пустяки. Я вижу у вас рояль. Вы играете?

— Я — нет. Вы?

— Я? Немножко.

— О, пожалуйста...

* * *

И я играл...

Разве только для контраста — с «игрушками». Одна из них еще оттягивала мой карман.

«Feu», «sûg», «feu», «стой, кто идет?», лес, снега, «опасный перекресток», «пуля в лоб, вот тут какое приветствие», бандиты, таможенники, «волки», семьдесят верст в санях — и вдруг:

Рояль был весь раскрыт ..
И струны в нем дрожали...

* * *

Молоденькая женщина, опершись о рояль, всматривалась в мое лицо сквозь «пурицкую» бороду. Конечно, ее интересовали не аккорды с орфографическими ошибками, которые «струились» из-под замерзших дилетантских пальцев, а «человек оттуда»...

* * *

— Как они там живут? Наши. Расскажите!..

* * *

Она не знала, кто я. Для нее я был один из тех, кого переводил ее муж через границу. Для него я тоже был ничем, т. е. я неверно выразился, я был для него живая контрабанда. Но вместе с тем я все же был человек оттуда. Разве у контрабандистов нет сердца?

Ну, словом, это понятно. Ведь мы, так называемая эмиграция, это кусочек этой большой родины, кусочек, который оторвался. Но и там, и здесь все еще дрожат те же струны.

Как и сердца у нас
Под песнею твоей...

* * *

И я рассказывал «под наивность старых романсов».

* * *

То, что я рассказывал, это мы все знаем: эмигрантские картины...

* * *

Но я не успел развернуть эту фильму длиною в пять тысяч километров. Вошел кто-то.

Это был молодой человек, элегантный тонким слоем пудры, как бывает, когда человек прямо из рук брадобрея. Одетый «по-европейски», щеголяющий галстуком. Он улыбался мне приветливой улыбкой хозяина...

Неужели это был он?

Да, это был он, мой суровый контрабандист — «пуля в лоб, вот тут какое приветствие»...

Я протянул ему руки, чтобы поблагодарить его еще раз за «перевод», а может быть, чтобы ощупать. Да он ли? Он.

— Только в Рокамболе бывают такие превращения!.. Да вы, милый друг, еще дитя!

Теперь на вид ему было лет 25...

* * *

В это время в комнату вошел еще кто-то.

В глаза мне метнулись тонкое, сухое лицо и пенсне, которое блеснуло... как монокль. Да, этому человеку безусловно шел бы монокль. Мне кажется, это достаточно, чтобы его определить. Он был бы на месте где-нибудь в дипломатическом корпусе.

— Вот, разрешите вас познакомиться.

Мы пожали друг другу руку, не произнося никаких фамилий. К чему? Ясно было, что настоящих не услышишь, а для фальши тоже не было в настоящую минуту достаточных оснований. Да и почему я знал, какая моя фамилия? Старая умерла, а новая еще не родилась.

Впрочем, этот акт рождения произошел немедленно.

Мой новый знакомый сказал мне:

— Знаете, я бы вас никогда не узнал!

— А мы встречались?

— Да, мы встречались. Но вы меня забыли в «калейдоскопе лиц»... Я же вас очень хорошо помню. Я — киевлянин. Но это в данную минуту неважно. Важно установить, кто вы сейчас. Разрешите вам вручить приготовленный для вас паспорт. Вы можете здесь прочесть, что вы — Эдуард Эмильевич Шмитт, что вы занимаете довольно видное место в одном из госучреждений и что вам выдано командировочное свидетельство, коим вы командуетесь в разные города СССР, причем советские власти должны оказывать вам всяческое содействие. Итак, Эдуард Эмильевич, разрешите вас так и называть...

* * *

— Эдуард Эмильевич! Антон Антоныч! Милости просим...

И вот мы закусывали. Я даже выпил рюмку водки — жертвоприношение, которое совершаю в случаях совершенно исключительных.

По виду эта та же самая, «прозрачная, как слеза», русская водка. На вкус?

На мой вкус та же дрянь, какая всегда была. Но от знатоков позднее слышал, что хотя это, конечно, несравненная русская водка, которая превышает всех напитков земных, но все же много хуже прежней.

Оно и понятно: «Все, как было, только хуже...»

* * *

Я, конечно, набросился на икру. За пять лет я видел ее только однажды (в одном посольстве). Теперь бессовестно я пожирал «тысячу жизней» в каждой глотке. Что бы об этом сказали боги? Осудили бы?

Нет, йоги не осуждают. Всему придет свое время, и когда-то так же невозможно будет есть икру, как сейчас невозможно есть человеческое мясо. А давно ли оно было любимым лакомством?

Так как русские — молодая раса, то не очень отдаленные мои предки были людоедами «по убеждению». Это несомненно. Не оттого ли в 1921 году во время голода на Волге съели столько детей?

Было ли это? Я спросил.

Антон Антонович ответил, и пенсне его блеснуло точным блеском дипломатического монокля.

— Было. Вне всяких сомнений. Несколько миллионов умерло от голода. И тогда людей — ели... Это факт. Ведь тогда у нас был — «В о е н н ы й К о м м у н и з м»...

* * *

Когда он сказал это слово, я впервые почувствовал его в том значении, какое оно сейчас имеет в СССР.

Военный Коммунизм!.. Ужас, ушедший в прошлое; нечто реальное, как вчерашний день, но непредставляемое себе в будущем, вроде как потоп, мор, землетрясение...

* * *

Но ведь когда мы едим хлеб, мы тоже пожираем «тысячи жизней», т. е. зерен... И поэтому я ел прекрасную, черную, живительную икру (паюсную). Цена ее — три рубля фунт.

* * *

Затем?

Затем была осетрина, балык, грибки, семга и еще всякое такое — в истинно русском вкусе. Я был сыт, когда собственно начался обед. Это становилось грозным для моего европеизированного желудка.

Все же я рассказывал. По их желанию — «из жизни эмиграции»...

Приближались праздники. Правда — по новому стилю.
— Нет, — мы по старому!

А я-то думал, что только эмиграция «во всем мире» сохранила старый стиль.

Не все ли равно, старый, новый... Словом, я рассказывал то, что было год тому назад на святках. Я рисовал им большую, но бедную комнату, в которую парами под полонез входили русские мальчики и девочки.

Девочки-институтки были в белых платьях, а мальчики-кадеты в своей кадетской форме.

— В погонах?!

В погонах...

* * *

Прошли года томительно и скучно,
И вот в тиши ночной твой голос слышу **вновь...**

* * *

Вот это действительно единственное место в мире, где это сохранилось. Обломок старого. Все — такое же! Такие же русские дети, такие же русские подростки, такая же молодежь, какая была раньше. А в Белграде в русской церкви, которую мы недавно выстроили на свои русские деньги, стоят знамена... Семьдесят их. И при них всегда караул — офицерский. Днем и ночью. И вот они там стоят в полной форме своих старых полков...

* * *

Я постепенно увлекался. Имена великого князя Николая Николаевича, генерала Врангеля и другие имена слетали все громче. Иван Иванович стал что-то напевать. Я продолжал говорить, а он продолжал напевать. И чем громче я говорил, тем громче он напевал. Наконец я заметил какую-то мимику на его лице: он глазами указывал на закрытую дверь. Я замолчал. И он перестал свое «та-та-та-та».

* * *

И прошло несколько секунд. Он, улыбаясь, покачивал головой, как бы хотел сказать: «Если вы так будете продолжать, то вы далеко зайдете, господин оттуда».

А я силился припомнить, какой это такой мотив он напевал, которым он хотел меня заглушить.

И наконец вспомнил. В это время он сказал:

— Н-да!

Но я уже вспомнил, что он такое пел, и тоже повторил:

— Н-да!!

Он сказал в снисходительное пояснение:

— Моя хозяйка хороший человек, но все же...

— Я кругом виноват... Простите.

— Ничего, сойдет! Я ведь вовремя запел!

— Да, запели... Но вот я хотел вас спросить, что **вы запели?**!

— А что?

— А то, что это было вот что!

Я повторил мотив тихонько-тихонько. И все же он показался мне оглушительным. А он воскликнул:

— Не может быть?

— А вот представьте.

— Ах, черт меня возьми!..

* * *

А было это:

Царствуй на страх врага-ам,
Ца-арь православный...

* * *

Невероятно, но факт.

* * *

Я пил портвейн с удовольствием. Ну, что я поделаю! Никак из меня евразийца не выйдет. Водки не переносу. Из русских напитков люблю хохлацкие: вишневку, запеканку и всякое такое... Кацапской сивухи так же не переносу, как «украинского дегтя», которого не любил и Гоголь. А вот портвейн — пью. Ясно — западник презренный...

* * *

Это я, собственно, потому, что портвейн способствовал некоторой откровенности. Я спросил:

— Вы офицер?

— Ну, а кто же? И люблю-с службу, скажу прямо!

— А как же вы дошли до «жизни такой»?

— До контрабанды? Самое благородное дело... И жена любит...

Она хотела возразить, но я сказал за нее:

— Возражаю!.. Сладко тут сидеть и дожидаться... «у занавески»!

— Ах, Господи,— сказала она.

Но он захохотал.

— Да, да, да, это мы знаем, конечно. Ну, а все-таки шелковые чулочки, пудру Коти и духи французские не без приятности-с «с той стороны» получаем!

— Да пропади они,— выговорила она.

— А что же? — зашептал он, потемнев.— В «таможенники» к этой сволочи идти, что ли?!

И его душевный облик стал мне ясен...

* * *

К концу вечера мы занялись «делом».

Я спросил:

— Ну, а где я буду жить? Есть гостиницы тут у вас? То есть я не то хочу спросить: я могу в них останавливаться, в гостиницах, если они есть?

Антон Антоныч ответил мне, поблескивая «моноклем»:

— Да что вы, право, Эдуард Эмильевич!.. Какие вы вопросы задаете! Вы нас обижаете. Я уже имел честь вам докладывать, что эпоха военного коммунизма безвозвратно и бесповоротно проследовала в небытие. Есть гостиницы! И можно в них останавливаться... Можно останавливаться всякому гражданину, а тем более такому, как вы, «ответственному работнику»... Не забывайте, кто вы такой, и держитесь с достоинством, с весом. В случае чего, ругайтесь, грозите, вспоминайте родителей. Имейте еще в виду, что коммунисты никогда своих партийных билетов не предъявляют. Поэтому вы свободно можете держать себя коммунистом. Пусть думают, что вы партиец. А если вы партиец, то, как говорят немцы, вам сам черт не брат... Перед вами дрожать должны, Эдуард Эмильевич!..

Он продолжал в этом роде, стараясь вдолбить в меня, кто я и что я, отчество, название учреждения, напоминающее апокалипсическое существо, нелепо-безобразное, и моя в нем должность.

Последнее я могу сказать: я был заместителем председателя в одном госторге.

— Итак, Эдуард Эмильевич, за ваше счастливое путешествие и возвращение...

* * *

Мы поехали на вокзал в тот же вечер, втроем. На улицах светило электричество и даже мчали автомобили, рыская фарами.

На вокзале носильщик (такой же, как раньше) ждал нас на ступеньках. Билетов уже, собственно говоря, достать было невозможно. Но для носильщиков, как известно, не существует препятствий: он получил пять целковых на чай

и достал билеты в «мягком вагоне». Взял мои ничтожные чемоданчики и повел. Поезд уже стоял. Я почти не видел толпы, когда мы через нее протискивались. Мне было не жутко, но сверхъестественно-странно: как будто я попал не в воздух и не в воду, а в какую-то еще неизведанную стихию. Я не умел еще плавать, и меня вели. Я помню: эта стихия показалась мне тогда какой-то неуклюжеватой, грубовато-меховато-сапожно-валенчатой.

Les ours blancs?*

Нет, не белые, но не без медвежести...

* * *

— Счастливого пути, до свидания!..

Сквозь стекла мелькнуло его лицо, обрисованное снизу шикарным кашне.

Значит, здесь можно хорошо одеваться?

Поезд тронулся. Я заметил, что без последнего звонка.

* * *

Антон Антоныч ехал со мною, и это весьма меня ободряло. Я был немножко как слепой.

* * *

Впрочем, у меня было достаточно зрения, чтобы видеть простые вещи. Я огляделся.

Это был самый настоящий, самый обыкновенный вагон второго класса, старый русский вагон. Это значит, что у каждого пассажира была длинная спальная скамья. Верхние полки уже и были подняты, манили спать. В вагоне было чисто, освещение в порядке. Пришел проводник (плохо одетый и какой-то жалкий), пришел, взял билеты, чтобы по старым русским порядкам «не беспокоить пассажиров» ночью. Вместо билетов он выдал каждому квитанцию. Вагон нес мягко, неслышно. Было очень тепло, но не так ужасно, как бывает в иных европейских странах, когда вас предварительно заморозят, затем поджаривают. Словом, кроме проводника и кондуктора (он был такой же жалкий), видимо придавленных социалистическим раем, вся «материаль-

* Белые медведи (Прим сост)

ная сторона» поезда вернулась к старорусскому дореволюционному образцу.

«Все было, как раньше» и только чуточку похуже... Я поскорее залез на верхнюю полку, ибо устал зверски, а кроме того, мне не очень хотелось, чтобы меня разглядывали спутники по купе. Уютно растянувшись, я почувствовал прилив национальной гордости.

Нигде в целой Европе вы не найдете такой роскоши, или, вернее сказать, милосердия к пассажирам, как в России. В любой стране в Европе меня бы подвергли китайской пытке теснотой и бессонницей, засунув восемь пассажиров в купе, где русские помещают четыре. Вот она широкая, русская натура... И я растянулся во весь рост и блаженствовал, покачиваясь чуть-чуть на мягких, убаюкивающих ресорах.

Хорошую закваску дала царская Россия железным дорогам, и ее традиции свято восстановил СССР.

Засыпая, я слышал, как колеса пульмановского вагона мягко выстукивали:

Отречемся от старого мира...

И иногда мне казалось, что «некто в ироническом», быть может это был Антон Антоныч или его монокль, беззвучно смеялся...

V

АНТОН АНТОНЫЧ

Когда я проснулся, уже день заглядывал в окно. Не слезая с верхней полки, лежа, рассматривал однообразный, столь знакомый русский пейзаж. Снег. Необозримые пространства снега. Они прерываются лесами: лес еловый, лес березовый, лес сосновый... Жилья мало. Но, словом, что это расписывать? Всякий русский знает, кроме тех маленьких русских, которые не знали или забыли. Но им ведь словами не расскажешь. Вырастут — увидят сами.

Но у меня в сердце щемило какой-то старой болью, как бывает, когда вспомнишь что-нибудь очень, очень давнее.

Внизу проснулись, и я слышал, как Антон Антоныч, очевидно, умышленно затеял разговор с каким-то гражданином, который был против него. Против меня же наверху никого не было.

Из их разговора я узнал, что благоприличный гражданин, которого лицо показалось мне знакомым, когда я входил в купе, природный киевлянин. Это меня беспокоило. Если я не мог припомнить, кто он такой, то он мог оказаться счастливее. Голос Антона Антоныча подозрительно повышался, как бы предупреждая меня там, наверху. По счастью, из дальнейшего разговора я узнал, что природный киевлянин едет не в Киев в данную минуту и слезет через несколько часов. Я решил эти несколько часов пролежать наверху. Я и пролежал, то рассматривая бегущие зимние картины и хмурые станции, на которых двигалась серая мешанина, то опять засыпая.

Когда я проснулся в последний раз, благоприличный гражданин ушел, а Антон Антоныч предлагал мне пойти выпить кофе.

— Путь свободен, Эдуард Эмильевич.

* * *

Мы вернулись в купе после кофе и оказались вдвоем. Ничего не могло быть приятнее для меня. Во-первых, в смысле безопасности, а во-вторых, потому что железнодорожное купе, в котором только двое, всегда как-то располагает к разговору. Колеса ли так действуют, выстукивая свою мелодию? В наших же условиях действовало сознание замкнутости с четырех сторон, а следовательно, уверенности, что тебя не подслушивают.

Разговор и завязался. Антон Антоныч сказал:

— Эдуард Эмильевич. Если я позволил себе предложить вам ехать в Киев, то это не потому, что я бы не признавал, что именно в Киеве вам грозит наибольшая опасность. Я уже имел честь вам докладывать, что знавал вас некогда лично...

Было бы в самый раз спросить: «Да кто же вы такой, Антон Антоныч?»

Но я не спросил. Это у меня было твердо решено: ничего не спрашивать.

Я обратился к людям с просьбой помочь мне. Они согласились, помогли мне перейти границу и, по-видимому, намеревались помогать и еще в чем-то дальнейшем. За это я был им глубоко признателен.

Разумеется, при скользкости всего предприятия, мне предоставлялось вечно сомневаться: а не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ? Подозревать всех и вся было мое право

и даже в некотором роде обязанность. Но приставать с расспросами было бессмысленно со всех точек зрения. Если я имел дело с провокаторами, то вряд ли вопросами я их бы расшифровал. Пожалуй, здесь могло бы помочь только сосредоточенное внимание. Если же я имел дело с честными контрабандистами, то лезть в тайны людей, оказывавших мне величайшую услугу, я считал бы безобразным. Деликатность была единственная благодарность, которой я мог бы заплатить за то, что они для меня делали. До сих пор все было безоблачно. Дыхания предательства я не ощущал. Наоборот, от всех моих новых друзей шли хорошие токи.

Антон Антоныч продолжал:

— Именно по этой причине, то есть потому, что я имел честь вас знать, мне и было поручено, так сказать, ну, словом, помочь вам на первых шагах в этой стране...

— Позвольте вас очень благодарить и простите за многообразные хлопоты, которые я вам причиняю...

— Нет. Вы меня не так поняли. Я сам предложил себя, и это доставляет мне положительное удовольствие. Но... но, кроме удовольствия, есть ответственность... и ответственность тяжелая. Если бы с вами что-нибудь у нас случилось, кто прежде всего виноват? Я!.. И потому... и потому... я вздохну облегченно, я, Эдуард Эмильевич, почувствую себя счастливым в ту минуту, когда... когда мы с вами благополучно расстанемся!

Я рассмеялся и пожал ему руку. Он продолжал:

— И я очень понимаю, что Киев для вас опасен. Хотя вы прекрасно загримированы, прекрасно, но все же... И если я предложил вам ехать в Киев, то потому, что был уверен, что ваши дела именно этого требуют. Не так ли?

— Не совсем.

— Как так? Разве не около Киева вы должны искать вашего сына?

— Нет.

— Но почему же в таком случае...

— Потому что вы, между прочим, обмолвились, что у вас есть спешные дела в Киеве. Это, во-первых. А во-вторых, потому, что если представляется случай посмотреть Киев, то, согласитесь, было бы непростительно им не воспользоваться...

Итак, мы ехали в Киев вследствие некоторого «недоразумения». Уж, видно, такова была моя судьба.

Разговор продолжался. Антон Антоныч говорил:

— Мне дана директива сделать для вас все возможное. Конечно, мы только контрабандисты, но именно поэтому у нас есть немножко связей повсюду. В каком бы городе ни находился ваш сын, мы поможем вам его разыскать. Значит, условимся так. Я кончу свои дела в Киеве, вы в это время посмотрите, что вас интересует, и затем мы двинемся дальше, в зависимости от обстоятельств. Хорошо?

— Прекрасно. Я не знаю, как вас благодарить.

— Эдуард Эмильевич. Во-первых, друзья наших друзей — наши друзья... А во-вторых, разве потому, что мы контрабандисты, мы уже все забыли? Допустим, мы не занимаемся политикой. Но ведь это не значит, что мы ею не интересуемся. Наоборот, так как наши занятия позволяют нам читать газеты и журналы «оттуда», то мы, пожалуй, из всех обитателей СССР, если не считать ГПУ, самые осведомленные люди... Мы очень хорошо представляем себе, что у вас делается в эмиграции. И относительно почти всех видных лиц у нас есть свое собственное, сложившееся мнение...

— Вы меня в высшей степени заинтересовали. И если вы затронули этот вопрос, позвольте вам поставить вопрос в упор: за что вы нас больше всего ругаете?

Он улыбнулся.

— За что мы вас ругаем? Да, ругаем!.. Это правда. Видите, мы не можем понять: каким образом вы можете между собой ссориться из-за пустяков? Все вопросы, которые разделяют эмиграцию, с нашей точки зрения, мелки. Есть один только большой вопрос: это «они». Большевистская власть, коммунисты, советское правительство. Этот великий вопрос состоит в том, слетят они или нет. И даже не в этом, ибо мы убеждены, что они слетят, а в том, когда они слетят. Впрочем, и это будет неточность. Вопрос состоит в том, какими способами и какими силами произойдет их свержение. И нам кажется здесь, что все те, кто против них, должны были бы быть скованными в нечто единое... То, что эмиграцию могли разделить какие-то второстепенные вопросы, в то время как не решен главный, то, что вы делите шкуру неубитого медведя, одновременно ничего не делая, чтобы его убить, вот за это мы вас ругаем...

— В этом, значит, мы с вами солидарны. Некоторые из нас неповинны в узком сектантстве и интригах...

— Это мы знаем. Мы знаем, что есть люди, среди эмиграции, которые стараются стоять в стороне от этих распрей... Но позвольте вас просить заплатить откровенностью за откровенность: а вы за что нас ругаете?

— За что мы вас ругаем? Позвольте в таком случае уточнить, кто это такое вы. Вы — это весь русский народ, который не эмигрировал, который остался... Который после всех потерь все-таки насчитывает сто миллионов с десяточками миллионов же. Вот этот русский народ мы подразумеваем, когда говорим «вы». Мы его ругаем за то, что он безмолвствует, за то, что он покорился, за то, что он не борется. До нас доходят сведения, что будто бы весь народ ненавидит свою власть. Если бы это имело место в Англии, Франции, Германии, Италии и даже в маленьких государствах Европы, такая власть не усидела бы и трех дней. В России же всеми ненавидимая власть преблагополучно сидит годы. Как это понимать? Или же это неправда то, что нам говорят, и всеобщей ненависти нет...

— Нет, это правда. Если не считать самих коммунистов, которых нет и процента, то все остальное эту власть ненавидит...

— Ну, а если это так, если это правда, то, значит, народ сей никчемный. За это мы его и ругаем. Как? Без конца сидеть в этом позорном рабстве и не шевельнуть пальцем для своего освобождения! Мы белые, мы хотя и плохо, захлебнувшись в своих собственных недостатках, мы все же боролись. И потому, если хотите, мы имеем некоторое моральное право ругать тех, кто не борется. По крайней мере я хочу сказать, что еще недавно именно такой была эмиграционная точка зрения. Конечно, люди, более тонкие, более вдумчивые, приводят всякие смягчающие обстоятельства. Они говорят о том, что англичане, французы, немцы, такие, какие они сейчас есть, суть продукт долголетнего самоуправления, привычки к ответственности за свою родину, за свои государственные и политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено, все делалось на верхах. А потому, как требовать от масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет, а воспитывается веками. Это, конечно, так, но все же факт остается фактом. В этом народе, пусть привыкшем, что все за него делает начальство, все же, когда старое начальство слетело и когда новое начальство оскорбило его в самых его лучших чувствах, нашлась некоторая

группа, которая не стерпела оскорблений и взялась за оружие. Эта группа были мы, белые... Но с тех пор, как мы ушли, по-видимому, все, что способно было оскорбляться, возмущаться и действовать, исчерпано, а то, что осталось, покорствуется. Вот за это мы вас и ругаем...

Антон Антоныч ответил не сразу. Он как будто искал в самом себе что-то такое, что могло бы быть ответом, а может быть, искал того спокойствия, которого этот ответ требовал. Наконец он сказал:

— Мы очень хорошо знаем, что вы нас за это ругаете. Я вам очень благодарен, что вы это сказали так прямо. Это не значит, что мы относимся к этому спокойно. Отношение к нам эмиграции в высшей степени для нас болезненно. Но справедливо ли оно? И может ли эмиграция, которая так страшно далека от нас, как будто бы живет на луне, имеет ли право эмиграция так о нас судить? Знаете ли вы, да вы, конечно, это знаете, что за исключением князя Долгорукова, добравшегося, впрочем, только до пограничной станции, вы первый из числа тех лиц, которыми руководится общественное мнение русской эмиграции, кто приехал к нам? Вы вот давеча сказали: «Не знаю, как вас благодарить». Не надо благодарить, Эдуард Эмильевич. Ваша благодарность состоит в том, что вы решились к нам пробраться... У нас тяжело, очень тяжело. И вот за то, что мы переживаем, за те действительно трудные условия, в которых нам приходится действовать, нас же у вас обвиняют... Обвиняют и оскорбляют тех, кто не может защищаться. Не может подать голоса. Ведь положение таково. Допустим, кто-нибудь из нас перешел бы тайно границу и появился бы там у вас, в Берлине, Париже, Белграде, и рассказал бы все, что у нас делается, рассказал бы, так сказать, как мы живем и работаем. Ведь ему не поверят. Ведь установился такой странный взгляд: если кому-нибудь из заявляющих себя против большевиков что-нибудь удастся, то значит — это провокатор. Если бы, мол, не был провокатором, то давно бы его большевики поймали. Ведь, скажите, правда есть такое представление?

— Есть. Не отрицаю. Мы ужасно недоверчивы и полагаем, что если кто-нибудь здесь плавает, то, наверное, как-то «приспособляется»...

— Ну вот видите... Следовательно, каким же способом и средствами мы располагаем, чтобы осветить эмиграции, я не говорю политическую работу, допустим, мы ее не ведем, а честно занимаемся одной контрабандой, — но осветить хотя бы причины, почему же мы эту политическую работу не ведем.

И если мы ее не ведем, то значит ли, что над русским народом нужно поставить крест? И вот почему мы с величайшей готовностью решили вам помочь, когда мы узнали, что вы хотите сюда приехать. Пусть причины вашего приезда совершенно личные. Но, пожив у нас некоторое время, вы вынесете отсюда известные впечатления, которые, вернувшись туда, вы передадите своим, и ваше слово, может быть, будет для них гораздо ближе и понятнее, ибо вы сами пришли оттуда и эмиграционная психология вам совершенно близка и понятна. А ведь, Эдуард Эмильевич, посудите сами, вот вы говорили о французах, англичанах, немцах... Но можете ли вы себе представить, чтобы из двух миллионов бежавших из Англии англичан никто или почти никто в течение ряда лет не потрудился пробраться обратно посмотреть, что делается с его родиной? Но ведь именно так поступает русская эмиграция! А потому, если судить по внешности, то, пожалуй, можно сделать вывод, что хотя белое движение и вобрало в себя все энергичнейшее, что было в русском народе, но в жестокой борьбе оно себя исчерпало и ныне находится в состоянии расслабленности.

— Да, вы правы. Если судить по внешности, так оно и есть. Но по существу это не так.

— Да, по существу это не так, и мы прекрасно это знаем. Мы знаем, например, что у вас существует галлиполийская организация, которой вы гордитесь, и мы понимаем, за что вы ею гордитесь. Вы ею гордитесь за то, что ввергнутые в самые тяжкие условия существования люди не опустились морально, что ни сидение в палатках, ни тяжелая борьба за существование, за кусок хлеба не заставили их забыть основной идеи: о борьбе за Россию. Вы уважаете их за то, что они стали «спинным хребтом» военных кадров, руководимых генералом Врангелем, а сам генерал Врангель есть великолепный образец стойкости, выносливости и организаторского таланта. Но позвольте вас спросить: если судить по внешности, если судить о действиях с точки зрения непосредственного внешнего эффекта, то что вы делаете?

— Ничего. Мы ждем, весь наш смысл, т. е. весь смысл нашего существования, быть готовыми, когда наступит минута. Что делают войска, находящиеся в тылу? Чистятся, скребутся, поправляются, чинятся... Если при этом они сохраняют строжайшую дисциплину, то это все, что от них можно требовать. Не дай Бог, когда они начинают воевать в тылу. Тыловые герои — это бедствие!

— Совершенно верно. Итак, вы видите свой подвиг в том,

что вы сохраняете себя для действий. Для действий, которые когда-то наступят. Но почему же, если вы так хорошо понимаете это для себя, то почему вы не прикладываете этой же мерки к остальному русскому народу?

— Как так? Скажите яснее.

— Эдуард Эмильевич. Вот вы — белые, или, скажем, мы — белые, боролись. Боролись, скажем, героически, до последних сил. Но проиграли. Ведь проиграли, Эдуард Эмильевич?

— Это как сказать. В борьбе оружием мы проиграли. В борьбе идей мы не проиграли. Во всяком случае, мы свою идею вынесли из боя, сохранили, и я думаю, что она постепенно завоевывает мир. По крайней мере, фашизм, который сейчас является противником коммунизма в мировом масштабе, несомненно, в некоторой своей части есть наша эманация.

— Совершенно верно. Но почему же вы полагаете, что ваши эманации, как вы их называете, действуют только на пространстве Западной Европы и не действуют в России, не действуют на вашей родине? Может быть, и у нас происходит то же самое?

— Но позвольте, если бы происходило то же самое, то от этого было бы какое-нибудь движение воды, ну хотя бы круги расходились бы.

Он улыбнулся очень тонко, так, как мне нравилось. И вдруг в эту минуту я сразу почувствовал, что стена, нас отделявшая, рухнула: он еще ничего не сказал, но я уже знал, что ко всему, что он будет говорить, к этому я уже совершенно готов, только что он, благодаря тому что он здесь, в России, прошел куда-то дальше, ну, в следующий класс, что ли.

— Вы говорите, было бы движение воды. Ах, Эдуард Эмильевич, плоха та подводная лодка, о движении которой можно было бы узнать по тому, что она дает след на поверхности. Грош ей цена, и неприятельского броненосца она не взорвет. Дело не в движении воды...

— Я понимаю, вы хотите сказать, что дело во внутренних процессах.

— Да. Дело во внутренних процессах. Вот вы боролись открыто, оружием. Проиграли. Я знаю вашу точку зрения, читал «1920 год». Вы полагаете, что белые не выиграли потому, что они на самом деле были не белые, а «серые». Так это или нет, но, во всяком случае, была какая-то причина, почему вы проиграли. А раз проиграли, то к этим способам борьбы до времени возвращаться было нельзя.

— А что же надо было?

— Что надо было? Вот скажите, как вы находите, вот это купе, вот этот вагон, который, не правда ли, несет довольно мягко?..

— Очень хорошо несет, разговаривать прекрасно...

— Да, разговаривать прекрасно. И не думаете ли вы, что это само по себе уже нечто. Вряд ли несколько лет тому назад это было бы возможно. Так вот я хочу сказать, это восстановление железных дорог, которое, я думаю, не ускользнуло от вашего внимания, это плюс или минус для России?

— Это один из проклятых вопросов, Антон Антоныч. Это все равно, как во время голода, ужасного голода 1921 года, двоилось эмигрантское чувство. С одной стороны, конечно, это был ужас, ибо умирали миллионы русских людей, а с другой стороны, это сулило будто какую-то надежду: думалось, авось этот ужасный голод скovyрнет коммунистов.

— Но не скovyрнул же, Эдуард Эмильевич?

— Не скovyрнул. Но старая формула, которую я еще в 1905 году слышал от деятелей «освободительного движения» в отношении старой власти, «чем хуже, тем лучше» была у многих на устах в эмиграции.

— Ужасная формула, Эдуард Эмильевич.

— Ужасная. Я ненавижу ее в 1905 году, и, признаюсь, меня мороз по коже подирал, когда ее, нимало не смущаясь, повторяли в 1921 году. Но какая может быть другая?..

— Другая может быть: «Чем лучше — тем хуже...»

— Ну да, но ведь это ж безвыходность!

— Нет. Чем лучше — тем хуже... для советской власти!

— Это каким образом?

— А вот каким. Вы должны помнить, Эдуард Эмильевич, те времена, ибо вы полгода жили под большевиками в 1920 году, когда, можно сказать, русский народ приближался к самой низкой ступени своего материального существования. Кто тогда думал, скажите, пожалуйста, о чем-либо, кроме спасения жизни? Заботы о самом необходимом, то есть об элементарной безопасности от набегов Чека и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику. Не оставалось ровно ничего для борьбы. Если вы, белые, боролись, то только потому, что вам были обеспечены эти первичные необходимости.

— Это так. Но какой вы делаете вывод?

— Очень простой. Теория, будто бы революцию делают голодные — неправильна, ее нужно сдать в архив. Револю-

цию делают сытые, если им два дня не дать есть... Таковая была февральская революция в Петрограде в 1917 году. Два дня не стало хлеба, и упала царская власть... Но если людям не давать два месяца есть, то они бунтовать не будут: они будут лежать при дорогах обессиленными скелетами и, протягивая руки, молить о хлебе. Или же есть друг друга будут. Я ведь рассказываю не теорию, а то, что было на самом деле, как вам известно.

— Ну да, но что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что, когда вы, белые, ушли и вооруженная борьба кончилась, то вся Россия представляла из себя огромное поле вот таких ползающих людей, полускелетов, думающих только о двух вещах: как бы их не сволокли в Чека и как бы раздобыться чем-нибудь покушать.

— И вывод?

— И вывод был тот, что если кто-нибудь задался целью из этой массы опять сделать нечто, что опять могло бы сопротивляться, то прежде всего и какой бы то ни было ценой надо было восстановить жизнь. Надо было, чтобы люди ели, чтобы у них были железные дороги, чтобы вновь пошли фабрики, чтобы вновь заторговали магазины, а чтобы все это могло случиться, надо было, чтобы мужик опять взялся за плуг и за борону. Это была задача неотложнейшая и в ту минуту единственная. Ибо без исполнения этой задачи все было бы ни к чему, так как продолжалось бы физическое и моральное уничтожение русского народа. Вы согласны со мной?

— Согласен. Ну, что дальше?

— А дальше то, что как только коммунисты, упершись лбом в стенку, увидели, что больше идти некуда, и повернули обратно, а это, как вам известно, выразилось в декретировании Лениным нэпа, то все, кто это поняли — сознательно, а огромные миллионы людей — бессознательно бросились выжимать из нэпа спасение своей страны!

— И этим вы сейчас заняты?

— И этим мы сейчас заняты. И верьте мне, Эдуард Эмильевич, нет задачи важнее. Ибо с возрождением страны возвращаются все возможности. Вот хотя бы контрабанда. Не будь нэпа, нельзя было бы торговать. Не будь торговли, незачем было бы возить контрабанду... А если бы мы не возили контрабанду, то я не имел бы сейчас удовольствия беседовать с вами в сем уютном купе... и... предложить вам победать на этой большой станции, где мы будем сидеть часа четыре!

Мы обедали. Большая станция клокотала человеческим потоком. Мои ощущения двоились между наблюдением за всеми теми лицами, которые попадали ко мне поближе, в том смысле, не узнаю ли я их и не узнают ли они меня, и наблюдениями, так сказать, общего характера. Наблюдения первого рода скоро меня утомили, а вернее, я почувствовал свою мимикричность. Никакого особого внимания я не возбуждал, совершенно затеривался в этой толпе, и на лбу, очевидно, у меня не было клейма — Берлин, Париж, Белград. Кроме того, со мной был Антон Антоныч, который в высшей степени внимательно обзирал окрестности и взгляд которого был гораздо более действительным, ибо он знал, кого надо бояться. Поэтому через короткое время я почти позабыл о своем собственном положении и предался наблюдениям над внешним миром.

Внешний мир этой станции как бы делился на две половины. Одна половина сидела по скамьям и стояла толпой и была больше и гуще, не имела чемоданов, а все больше узлы. Что касается одежды, то там все были кожанки и сермяги, а на голове «финские» шапки. Впрочем, много было и «шлемов».

Вторая половина расселась около столов, обедала или пила чай. Была она не такая густая, хотя многочисленная, все столы заняты, получше одетая и вещи более показные.

В этой половине, очевидно высыпающей из «мягких вагонов», и мы примостились на углу стола. Обедали с аппетитом. Настоящий русский борщ с хорошим куском мяса. И потом второе какое-то, очень сытное. Потом пили чай, а мне захотелось шоколаду, по заграничной привычке. Я встал и подошел к стойке. Но подойдя, вдруг меня взяло сомнение: «А есть ли в этой стране шоколад?» И не выдам ли я таким вопросом сразу свое заграничное происхождение? Буфетчик мигнет куда-то глазом, подойдет «некто в чекистском», и о нем скажет: «Вот шоколад спрашивают». И конечно, меня цап-царап, и я ничего уже не расскажу своим заграничным друзьям о вкусном борще и телятине.

И, вернувшись к Антону Антонычу, я спросил конспиративно: «А у вас есть тут шоколад? Можно спросить?» Он рассмеялся, подвел меня к стойке и показал в стеклянном шкафчике разных сортов плитки.

— Вы еще раз нас обижаете, Эдуард Эмильевич. Вы забываете, что эпоха военного коммунизма канула в Лету.

Толпа, обедавшая за столами, быстро схлынула со вторым звонком, и мы остались почти одни в зале. Только дети буфетчика бегали между столами, играя. Впрочем, за соседним столом осталась какая-то физиономия, которая мне очень не нравилась: он пялил на нас глаза. Но через некоторое время дело выяснилось. Ему что-то надо было спросить. Насчет поезда или чего-то такого. Получив ответ от Антона Антоныча, он поспешно ушел, и мы остались совсем одни, если не считать бегающих, прыгающих и пищащих детей, которые заигрывали и с двумя дядями, т. е. с нами.

Под этот писк продолжался наш разговор, который, впрочем, стал более выразительным, когда, наскучив сидеть, мы стали гулять по станции. Но на перроне было очень холодно, дул неприятный ветер, снежинки кружились бешено около электрических фонарей. Мы вернулись внутрь и долго ходили взад и вперед в том большом отделении, где принимается багаж и где сейчас было совсем пусто. Впрочем, не совсем: время от времени проходили в одиночку и группами люди в военной форме. Я спросил Антона Антоныча, кто это такие. Он не ответил, но взял меня под руку и повел в конец этой залы, где на одной двери я прочел: Отделение ГПУ. Сквозь раскрытую дверь виднелись такие же точно личности, какие шмыгали мимо нас. Они сидели на стульях и столах.

В этом приятном соседстве продолжался наш оживленный разговор. Геписты не обращали на нас ровно никакого внимания, очевидно полагая, что не стали бы подозрительные люди лезть в самое осиное гнездо.

Антон Антоныч говорил:

— Я не хочу предвосхищать ваши впечатления. Вы увидите сами. Но могу только сказать, что за это время сделана гигантская работа. Жизнь в ее основах восстановлена. Кем, это сделал? Коммунисты? Да, постольку, поскольку мы обязаны просветлению Ленина, крикнувшему на всю Россию: «Назад!» Назад от пропасти, в которую они мчались на всех парах, на коне военного коммунизма. Да, мы обязаны им, поскольку они принятое решение проводят с железной последовательностью. Назад, так назад! В этом сказывается их большевизм, то есть то положительное, что есть в этой породе. Решимость, воля, сила... Но этим все дело и кончает-

ся. Они никогда не могли бы восстановить России, если бы к этому делу не примкнули мы: Вот те самые, которых вы браните «приспособившимися». Мы, приспособившиеся, и вывозим свою родину. Мы ее восстанавливаем и будем восстанавливать до той поры, пока пробьет час. Если бы вы были на нашем месте, вы бы делали то же самое. Мы не имеем возможности ругать коммунистов и изобличать их словесно. Это ваше дело. Дело эмиграции. Но мы имеем возможность подтачивать их. Мы имеем возможность накапливать реальную русскую силу, которая в один прекрасный день обратится против них. И это наше дело. Вам совершенно необходимо понять, что между этими двумя половинками, между эмиграцией и оставшимися, не может быть, не должно быть никакого противоположения. Мы делаем совершенно одно и то же дело. Ведь, скажем, у Форда один завод делает кузов, а другой моторы, а все вместе они делают автомобиль. Это есть разделение труда, вызванное различием обстоятельств. Преступно на этой почве создавать какой-нибудь антагонизм, преступно упрекать друг друга, наоборот, надо ясно и отчетливо понять: «непримиримая эмиграция» — есть только свободный язык «приспособившихся». А приспособившиеся — это те руки, которые втихомолку готовят то, о чем твердит свободный язык, который, благодаря тому, что он находится в эмиграции, ГПУ не может вырвать.

Без конца струился этот разговор, я не могу его в точности вспомнить и записать, ибо он переплетается в моих мыслях с многочисленными дальнейшими беседами. Геписты все ходили мимо нас, а мы мимо их. Мирно «приспособившись» друг к другу, два мира сосуществовали в ближайшем соседстве... Посмотреть со стороны — ничто не могло бы указать, какая пропасть нас отделяет и какие последствия, неизбежные последствия вытекут когда-то из психики людей, живущих бок о бок.

Наконец, пробежало «четыре часа», надо было ехать дальше. Мы сели в новый поезд, который, впрочем, был такой же, как тот, прежний. Опять на ночь проводник отобрал у нас билеты, выдал квитанции, опять я забился на верхнюю полку. Внизу была какая-то русская супружеская парочка и одинокая молодая еврейка. Еврейка очень жеманилась «под русскую», а русские оказывали ей некоторые любезные услуги. Минутами «он», обращаясь к еврейке, говорил чуть с легким акцентом. Она его не замечала, а мне сверху было иногда так смешно, что я тряс полку, пока не заснул.

Антон Антоныч на сей раз расположился в соседнем купе.

* * *

Ранним, ранним утром пришлось встать — мы подходили к Киеву. Поезд двигался крайне медленно и осторожно по железнодорожному мосту через Днепр, но, увы, решительно ничего не было видно, сколько я ни всматривался в темноту ночи, закрываясь от света вагона.

Антон Антоныч сказал мне в коридоре:

— Эдуард Эмильевич. Итак, на киевском вокзале мы временно с вами расстаемся. Так надо безопасности ради. Вы, значит, выходите и затем отправляйтесь смело в город и найдите себе гостиницу. Выбирайте гостиницу похуже. Если у вас ничего нет в виду (я рассмеялся: что у меня могло быть в виду?), то разрешите вам посоветовать. (Он назвал гостиницу.) Но если вы там не найдете номера, идите в другую, любую. Документ у вас превосходный, и насколько простирается наше предвидение, вы ничем не рискуете. Конечно, все в руке Божией, но по человечеству сделано все для вашей безопасности. Затем мы с вами увидимся завтра вечером. Я не приглашаю вас к себе, это было бы неблагоразумно, мы встретимся на улице, в шесть часов вечера, когда уже будет темно. На случай, если бы за это время что-нибудь случилось и вы чувствовали бы за собой слежку, вы дадите мне знак, и я не подойду к вам. В этом случае вы, увидевши меня, просто уходите, куда глаза глядят, преимущественно в пустынные места, я пойду за вами и выслежу, что такое происходит. В дальнейшем будем действовать по обстоятельствам, но я убежден, что при вашей опытности (я поклонился) ничего плохого не произойдет. До свидания, дай Боже...

VI

КИЕВ

Это было раннее утро — нового стиля 25 декабря. Я ждал на вокзале. На знакомом киевском вокзале, — дрянном киевском вокзале. Нового так и не успели выстроить до войны, а

во время войны — и тем более. А старый был уже совершенно невозможен — такой тесный. И вот сделали — этот — «временный»... Как все временное в России (за исключением «временного правительства» Львова — Керенского), он простоял уже бесчисленное число лет и вот еще стоит...

* * *

Я ждал, напрасно стремясь завладеть кусочком стола, чтобы спокойно выпить чаю. стакан чаю и «плюшку». За то и другое я заплатил 25 копеек у буфетной стойки. На стойке красовался исполинский самовар. Самовар блестел великолепно. Блестели также и новые советские монеты. Деньги с одной стороны до удивительности похожи на старые. Но на обороте какой-то серпо-молотный вздор:

Как красив советский герб:
Молот в нем и в нем же серп...

Продолжения не привожу, ибо нецензурно. Такова Россия. И новая, как и старая, она без заборной литературы жить не может.

* * *

Я стоял со стаканом в руках, среди человеческой толкучки. Прежде всего меня интересовало, конечно, привлекает ли мой вид чье-либо внимание. Нет, не слишком. Я чувствовал, что я еврей немножко *démodé**, но вполне возможный: так — из Гомель-Гомеля или Шклова. Седая борода чуть-чуть отдавала гримом, но только для тонкого наблюдателя. Ведь в конце концов, она же, борода, была моя собственная, а не приставная!.. Во всяком случае, эти люди могли иметь ощущение, что я откуда-то приехал (из глуши какой-нибудь), но, что я «эмигрант», нет, — все, что угодно, но только не это!.. Они были за сто тысяч верст от этой мысли. Если бы я подошел к кому-нибудь и сказал: «Знаете, кто я? Я — бывший редактор «Киевлянина», помните?» — то этот человек, хотя бы он помнил «Киевлянина» и даже знал меня лично, все-таки шарахнулся бы от меня, приняв за сумасшедшего... Да, чистая правда иногда невероятнее самой грубой лжи...

* Вышедший из моды, устаревший. (Прим. сост.)

Ощувив некоторую безопасность, я мог рассматривать толпу. Она в общем производила на меня впечатление чуть-чуть «эскимосской». Преобладала меховая шапка с наушниками. Но на этом фоне были и всякие иные: барашковая, серая и черная, кепи, фуражки. Совсем не было видно мягких шляп. Одна фуражка заставила меня, можно сказать, вздрогнуть: до того она была старорежимная. Это была путевская фуражка. В одежде преобладал, пожалуй, кожух, романовский полушубок. Но были и всякого другого рода «шубы». Все это было на вид грубовато, но очевидно — тепло. Терпко, но не рвано-драно, как было в 1920 году. Защитного цвета, который своей безотрадностью заливал тогда вся и все, сейчас не наблюдалось вовсе. Время от времени проходили некие фигуры, очевидно военные. Одни из них были в «буденовках» (шлемах), другие в кубанках. Эти были одеты вроде как наши солдаты, но без погон. Я скоро понял, что, которые «в кубанках», это современные стационарные жандармы. Они не обращали на меня ровно никакого внимания. Впрочем, сыщики-то, конечно, — не в форме. Но кого они могут искать? Меня? Это могло бы быть только в одном случае: если бы меня выдали мои друзья-контрабандисты. Для такой мысли у меня не было ровно никаких оснований. Наоборот, я был в них совершенно уверен. И потому для меня в настоящую минуту была бы опасна только какая-нибудь ясновидящая, которая, подняв на меня вещие глаза, закричала бы гласом Виевым: «Вот он!» До встречи с таковой я охраняюсь заколдованным кругом «авидии». Слово йогическое, санскритское, значит «неведение»...

«Немножко смешной» старый еврей, который сохранил старозаветную бороду, когда все побрились, в коротком «полупальто», какое носят спекулянты, в штанах «полосочкой», когда все носят «галифе», стоит и пьет чай себе... А ушки из сапог торчат себе...

— Этот?.. Да не валяй дурака, — так сказала бы одна кубанка другой, если бы «другая» меня заподозрила...

«Еврей» достал себе место, сел к столу. За столами — чисто. Даже скатерти белые. Вообще — чисто, насколько здесь может быть чисто. Да, это совсем не то, что было «тогда», т. е. в дни «интегрального коммунизма»... И хотя людей

очень много, но не толкают и не грубят. Если толкают, то говорят:

— Извиняюсь, гражданин.

* * *

«Товарищ», видимо, исчез из обращения. Но неужели с товариществом: исчезло и хамство?

* * *

Тесно, но порядок. Конечно, не тот порядок, который царит в странах «порядочных» *par excellence**. Например, скажем, в Германии. Но это порядок, приближающийся к старорусскому, времен золотого века, то есть до революции.

«Все, как было, только хуже...»

* * *

В каком это классе я сижу? Впрочем, здесь не может быть «классов». Ведь нельзя же написать в самом деле на дверях: «буфет для мягких», или «столовая для жестких». Да, нельзя, но публика сама как-то отбирается. Я начинаю различать какие-то два отделения — для «чистых» и «нечистых». При всей эскимосскости окружающей меня стихии я чувствую, что она все-таки «отборная», — тут, около столов, накрытых белыми скатертями. Впрочем, это видно и по лицам.

* * *

Лица? Я ничего до сих пор не сказал о лицах.

Какие у них лица?

Боже мой, теперь, когда я это пишу, они уже слились в какой-то общий фон. Я не помню отдельных лиц.

Но общее впечатление: низовое русское лицо, утонченное «прожидью».

Объяснюсь яснее.

Тонких русских лиц здесь почти нет. Если лицо тонкое, то оно почти всегда — еврейское.

* В высшей степени. (Прим. сост.)

Конечно, в этом вопросе важно «не пересолить». Тонких русских лиц всегда было маловато. Я хочу сказать: тонких тонкостью черт. Процент таких лиц у нас всегда незначителен сравнительно с Европой.

Но в России была другая тонкость — не чертами лица. Тонкие черты лица указывают на старую культуру — это заслуги предков. Этого в России было мало. В России начал образовываться порядочный слой тонкости благоприобретенной. Это интеллигентные лица, — тонкие своим выражением. Это люди одного, двух, трех поколений усиленной культуры. Черты лица у таких не могли сложиться в тонкость, это требует веков, но сложилась тонкость взгляда, улыбки. Эти русские лица так легко выделяются и в эмиграции. Они именно и служат характерным признаком русского лица. Русская эмиграция не принесла никакого определенного типа. Черты наших лиц подойдут под всякое «неправильное» лицо всякой нации. Но выражение этого русского лица, «сложность» его, взгляд, который способен если не «все простить», то «все понять», резко выделяют русских из среды заграничных лиц, которые, поражая иногда благородством своих «вековых очертаний», все же, кроме себя самих, ничего «понять» не могут.

Русское интеллигентное лицо это синтез быстро усвоенной культуры, и притом культуры многих народов. Оттого оно такое сложное и часто так мучительно противоречивое...

* * *

Вот этого рода тонких русских лиц не видно за столами. Что же видно?

Там, где столов нет, то есть где отделение «для нечистых», там — чистый «низ». Нечто хохлацкое, своеобразно-красивое. Если бы они не боялись «кубанок», они лускали бы семечки.

Здесь, за столами, — мещанство. Низ, стремящийся кверху. Через два-три поколения, если их не вырежут какие-нибудь «хищники», из этого городского примитива образуется вновь слой интеллигенции, тонкий своей сложностью, своей «благоприобретенно» воспринятой культурой.

Но «тонких черт лица» все же не будет. Неумолимая история наша не дает отстояться вековому отбору. Рок по-

стоянно скусывает русскую верхушку, и массе каждый раз снова приходится лихорадочно ее выработать.

Кто же скусил эту верхушку на сей раз?

Вот эти тонко-чертистые, горбоносистые, которые сидят с русскими вперемешку?

Они, конечно.

Из этого не следует, однако, делать слишком поспешных заключений...

* * *

«Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает». Заслужишь иное, получишь...

Но как заслужить?

* * *

Вряд ли об этом я думал тогда.

Я купил газету и делал вид, что читаю. Газета была русская, то есть я хочу сказать, не «украинская», стоила пять копеек. В ней было много бумаги и масса объявлений. А впрочем, я ее не читал. Из-за нее я продолжал свои наблюдения.

* * *

Я еще ничего не сказал о женщинах. Были же они здесь? Были, конечно.

Были ли «дамы»? Но что такое «дама»? Дама — это женщина в шляпке. У женского сословия переход в высшую касту совершается весьма легко. Поэтому они все так ненавидят «платочки», хотя платочек, честное слово, гораздо более идет русскому лицу. Так вот здесь шляпок было весьма мало, и то больше на «тонконосых» дамах. Преобладал платочек, причем немало было платочков красных, во славу ли революции или во славу ридной маты Вкраины, не скажу... Просто, вероятно, — красоты для...

* * *

Через некоторое время мне пришла в голову мысль: почему я здесь, собственно, сижу на вокзале?

Это было глупо. В моем мозгу (вероятно, как у всякого эмигранта) прочно засели картины прошлого. Я как-то точно так же сидел на одесском вокзале ранним утром в ноябре

1918 года. Сидел, потому что нельзя было идти — в ночь. Опасно для жизни и имущества. Если и убьют — ограбят.

И теперь мне казалось невозможным «идти в темноту». И я сидел на вокзале, дожидаясь дня.

Но, наконец, я сообразил, что, может быть, сейчас не так. Тогда я решил сдать мои вещи «на хранение». Я пробирался через густую толпу. Она была такая незнакомая, как самая чужая нация. А ведь это была толпа моего родного города, и уехал я отсюда всего шесть лет тому назад.

Вдруг «чья-то рука легла мне на плечо».

Жест был классический. Ясно, что меня арестовывают. Так ведь всегда бывает: кладут руку на плечо. И я, положительно, заставил себя обернуться, так мне не хотелось. Передо мной стоял молодой человек в меховой шапке с наушниками.

— Гражданин, газету забыли!

Он подал мне мои «Известия»...

* * *

Не успел я оправиться от этого «впечатления», как последовало новое. Где я сдавал вещи на хранение и где работали споро и быстро, вдруг меня спросили строго:

— Ваша фамилия?

Моя фамилия... Зачем ему моя фамилия? К тому же я ее вдруг забыл. Но, сделав большое усилие, вспомнил. Сказал:

— Шмитт.

Это я в первый раз ее произнес. Ничего, сошло очень хорошо. Он записал и сейчас же отдал мне квитанцию.

Я понял, что это просто здесь такой порядок при сдаче на хранение.

* * *

И вышел я благополучно на высокое крыльцо вокзала.

Чуть серело. В этих предрассветных сумерках я вступил на «родную землю». Впрочем, она сейчас была под снегом и льдом.

* * *

Все-таки у меня забилося сердце... Очерствели мы, разумеется, но все же это волнует. Конечно, я уже не тот. Сбрось-

те тридцать лет с плеч, и я, должно быть, растопил бы уличный ледок «горячими своими слезами».

Когда я кончил гимназию и мне было семнадцать лет, я на три месяца поехал за границу. Так, возвратившись, я едва не бросился на шею русскому носильщику в Радзивиллове и, можно сказать, духовно танцевал перед каждым кустиком до самого Киева. А Киев показался мне царем городов во Вселенной.

Я думаю, что тридцать лет тому назад я был таким, каковы сейчас некоторые из русских эмигрантов. Они, возвращаясь, будут, наверное, целовать русскую землю. Через три месяца по возвращении они ее, может быть, проклянут, но это не меняет дела.

* * *

Сознаюсь, что я любил родину несколько эгоистично, например, как любят родителей, от которых все берут и которым ничего не дают. Это прошло. И теперь я хотел бы ее любить, как любят иных детей: таких детей, от которых мало чего ждут.

* * *

Любовь всегда такая: или берет, или дает. И та и другая может быть любовь страстная и глубокая. Та любовь, «за то, что берешь», для меня отмирает. И все, что здесь осталось от прежнего Киева, будет только больно отдавать в сердце, шевеля остатки юной требовательности. А любовь «за то, что даешь» только еще нарождается. Она еще совершенно робкая и неоформившаяся. Но, вероятно, это она руководит мною, когда мне интересно увидеть «новое». Новое ведь ничего мне не может дать. Ничего...

Но я хочу его узнать, потому что, может быть, я могу что-то дать ему...

* * *

Но что?

* * *

Все эти чувства, осознанные потом, но уже живые тогда, толпились в моей душе, пока «мое тело» переходило мост, что через рельсы.

И вот Безаковская. Она была так названа в честь одного генерал-губернатора. А теперь как она называется? Теперь это — «улица Коминтерна». Sic!*

* * *

Я пошел прямо. Электричество горело, то есть догорало в рассвете, а извозчики ехали с вокзала и на вокзал. Кажется, они такие, как были всегда, только победнее.

«Все, как было, только похуже...»

* * *

Всегда Безаковская была дрянной улицей. Невзрачные домишки, не «старина» и не «роскошь», — ничто, которое заполняет девять десятых русских городов вообще. Пренебрежение к месту. Одно из проявлений нашего малого самоуважения.

Такая она и теперь. Ничего не прибавилось. Ни единого здания за шесть лет.

Извозчики плетутся в горку мимо Ботанического сада. Проходят первые трамваи. В сумерках утра все кажется приблизительно «нормальным».

* * *

Вот памятник графу Бобринскому. Но самого Бобринского нет. Тут он стоял, положив чугунную ногу на железную рельсу. Это обозначало, что он сделал что-то большое для железной дороги. Теперь его нет. Вместо него торчит на старом каменном постаменте нелепая маленькая пирамидка. Должно быть, она из жести, из листового железа. А на постаменте написано:

«Хай живе восьмая ричница седьмого жовтня».

* * *

Ох! Хай живе! Пусть живет, как махровый образец человеческой премудрости...

* Так! (лат.) (Прим. ред.)

Постояв перед «ричницей», то есть перед бывшим Бобринским, я стал подыматься по Бибииковскому бульвару. Определил, что бульвар более или менее в порядке, но носит название Тараса Шевченко.

Удивительные люди! Вот был Бибииковский бульвар. Почему? Да потому, что Бибииков был генерал-губернатором и, вероятно, при нем этот бульвар и насадили. И потому и называли. А при чем тут Шевченко? Что он этот бульвар продолжил, украсил, улучшил? Ну, а скажут, почему называли улицу Пушкинской? Ну и глупо сделали... Ибо Александр Пушкин был велик, как и Александр Македонский, но все же ломать старые названия, как и стулья, без особого основания не приходится. Шевченко его поклонники могут ставить памятники, где им угодно, но сей бульвар все-таки сажал Бибииков, точно так же, как крестил Русь, во всяком случае, не товарищ Воровской!

Неужели же они Крещатик переименовали в «улицу Воровского»?

Представьте себе! Но об этом позже.

* * *

И значит, я подымался по бульвару, огибая Ботанический сад. А ограда сего сада падает местами. Не грех бы починить, «граждане»!

* * *

Еще не проснувшись пустынными улицами, мимо забытых и незабытых домов, мимо состарившегося Владимирского собора, мимо Золотых Ворот, где ни ворот, ни золота, мимо Георгиевской церкви, с которой у меня связаны самые первые детские воспоминания — похороны матери, мимо Митрополичьей Браны (исторический памятник, ныне позорно брошенный украинскими «националистами»), через Стрелецкую улицу, замечательную для меня тем, что здесь жил следователь Фененко, известный по знаменитому делу Бейлиса, я вышел на улицу, которую забыл, и подошел к церкви, название которой тоже не сразу вспомнил.

Два купола. Один ярко горел золотом, другой был тусклый и старый. Отчего позолотили только один купол?

И притом тут было что-то странное. Купол сиял, но как-то немножко иначе, чем обыкновенно. Это золото было, пожалуй, еще ярче, чем всегда, но чуть, я бы сказал, блее.

И потом никаких следов, чтобы тут работали. А этот другой купол? Он совсем старый, потускневший, ярко контрастирующий с тем первым. Но если присмотреться, и на нем что-то такое... Как будто его «подпалили золотом» снизу! И остались как бы следы пламенных языков... Как бы золотые листья исполинской агавы... Что это такое? Кто мог золотить купол таким причудливым образом?

И вдруг мысль блеснула так же ярко, как, должно быть, было тогда, когда это случилось...

* * *

Я знал, что в Киеве «обновилась» церковь. Но какая и где, я не знал. И меньше всего в этот утренний час я ее искал...

Меня привел сюда случай. Но случайностей не бывает, как говорят йоги. Быть может, меня привел сюда йог, невидимо за руку?

Может быть... Словом, для меня не было сомнений, что это передо мной обновившаяся церковь. По тысяче признаков, которые я забыл сейчас, я понял, что это так. Впрочем, спросить было некого. Кругом было пусто, серо и скучно, и только этот купол горел в прозе базарной площади. Да, это был базар, «Сенной Базар». И был он, очевидно, потому что было 25 декабря — первый день Рождества.

Но церковь была открыта. Я вошел. В ней был только один человек. Солидный мужчина у свечей.

Я поставил свечу. Одну за всех — живых и мертвых, ибо в эту минуту я чувствовал сильнее, чем когда-либо, что разница между ними какая-то несущественная. Когда человек умирает, он обновляется, как этот купол...

Я решился спросить у солидного:

— Скажите, пожалуйста, эта церковь обновилась?

— Эта...

Он был на вид довольно неприступен. Но прибавил:

— Посмотрите образ Николая Угодника.

— Где?

— Вот там, слева...

Я подошел.

Я не знаю, каков этот образ был раньше. Сейчас на меня глядело лицо удивительной красоты. По нежности работы оно напоминало фотографию, которую делают так: наклеивают ее на стекло лицевой стороной, осторожно удаляют с обратной стороны слой бумаги, оставляя на стекле только прозрачную светочувствительную пленку, и затем с той же стороны подводят краской. Таким образом раскрашенная фотография сквозь стекло дает удивительно нежные тона. Кажется, это называется фотоминиатюра.

Вот такой стоял передо мною Николай Угодник, но не миниатюрой, а в натуральную величину. Нежными, плохо рассказываемыми красками было все это сделано. Если кто видал Сикстинскую Мадонну Рафаэля, то вот это единственное, что мне вспомнилось, когда я его рассматривал.

Но не в этом было дело. Не в этих нежных (особенно мне запомнилась голубая подкладка ораря)* тонах совершенно свежего, казалось, вчера сделанного письма, и даже не в том, что это и непохоже на «письмо» (мазков совсем нет), а в том, что это — действительно чудный образ.

И я до сих пор вижу его благостное лицо...

* * *

Откуда здесь эта удивительная работа? Был ли он всегда таким? Я не знаю...

— Как бы не руками человеческими сделано, — сказал солидный. — Даже больше на фотографию похоже...

— А раньше он был темный?

— Облачения почти различить нельзя было... А вы еще плащаницу посмотрите...

* * *

Я не помню, где и когда (должно быть, во сне) я видел человеческие существа, которых красота в том, что они как будто светятся изнутри. Как будто они из фарфора, а внутри зажгли лампадку.

Вот такие тела и лица на этой плащанице. Они светятся внутренним светом.

* Часть дьяконского облачения. (Прим. ред.)

Как-то позже я рассказывал одним людям об этом, о глубоко впечатлении, какое это на меня произвело. Молодая женщина спросила:

— Как же вы себе все это объясняете?

* * *

Я сказал ей так:

— Вот видите. В Киеве есть Золотые Ворота,— где ни ворот, ни золота... А где они? Они находятся на Афоне, куда их унес рыцарь Михайло (патрон Киева) за то, что киевляне его предали...

— Это действительно?

— Нет, это легенда... И легенда говорит, что ворота стоят там, на Афоне, и сейчас. Если из прохожих кто-нибудь скажет: «Ворота, ворота, не стоять вам больше в Киеве»,— золото тускнеет, темнеет. И наоборот, если кто скажет: «Ворота, ворота, будете опять стоять в Киеве»,— золото сияет ярко, «обновляется».

— Ну?

— Ну, так вот я и хочу сказать: сия легенда устанавливает, что в зависимости от человеческих чувств золото может тускнеть и озаряться...

— И?

— И значит, вот вам объяснение... Никогда так люди жарко не молились, как во время революции. Эти чувства, как вибрации высочайшего напряжения, потоками струились к небу. И «по дороге», выкупав золото в себе, заставили его засиять.

— Почему же именно в этом месте?

— Почему молния сверкает и ударяет именно тут, а не в тысяче других мест?..

Она улыбнулась «улыбкой из гражданской войны» и сказала:

— Ну, знаете...

А разговор поехал на другие темы. Она много рассказывала. Боже мой, чего эта женщина не испытала!.. Весь цикл «мировой» и «гражданской».

— Но это все пустое,— закончила она.— Был только один день, действительно тяжелый, ужасный день... вспомнить тяжко. И знаете, что произошло?

— Ну?

— Все золото, которое было на мне, а тогда еще кое-что было, потемнело, потускнело.

* * *

Я посмотрел на нее с выражением улыбающегося коршуна. Она была у меня в руках.

— Вы не верите?

— Верю, верю. Только меня удивляет: если золото от ваших переживаний могло потемнеть, то почему от чувств тысяч людей, молившихся в Киевском храме на Сенной, оно не могло засиять?..

* * *

Я вышел из церкви, ее, кажется, называют Скорбященская. Кое-кто появился на улице. Человек, торговавший папиросами, спичками и мелочами (около него стояло две женщины), сердился:

— Мадам, всем скоро нужно, не вам одной!

Мадам ворчала, а я на всякий случай отметил в уме возобновление этого нелепого слова. Насколько на своей родине *madame* звучит хорошо и осмысленно, настолько «мадам» — это нечто среднее между «комодом» и «жидовкой». Только «товарищ женщина» былого времени под стать «мадам». А бывает еще прелестнее: «мадамка».

Другая женщина вмешалась:

— Ну чего вы, гражданин! Видите, спешит дамочка...

«Дамочка» — это уже значительно лучше. Но все же странный русский народ. Есть у него прекрасное слово — сударыня, госпожа. Так нет же, он за «мадамками» гоняется.

А торговец ответил:

— А вам, гражданка, собственно говоря, что до этого?

— А то, что если вы торгуете, то вежливым должны быть, гражданин!

Он отмахнулся от них и спросил:

— А вам что надо, барышня?

Я не стал больше слушать, ибо на первый раз узнал достаточно. Первая женщина, хотя была в платочке, но «не без кокетства». Это значит — дамочка. Вторая попроще и постарше — гражданка... Третья — молоденькая — барышня...

Впрочем, я купил марку, на которой нарисовано, как кто-то лезет на фонарь, а кругом толпа. Это «юбилейная»

марка и должна изображать 1905 год. Совершенно верно: именно так начался в Киеве на Подоле еврейский погром вечером 18 октября. Это именно и хотел изобразить советский художник?

Я купил марку, и, когда я спрашивал, где тут можно чаю попить, мне не понравилась одна физиономия. Он был в серой высокой меховой шапке, в синем кожухе или поддевке, с серыми отворотами. Подлая рожа... Я прошел дальше и стал искать столовую, которую мне указал папиросник. Я обходил пустую площадь кругом, не находя столовки. Так я вернулся к церкви. Тут обернулся: «подлая рожа» в серой шапке следовала за мной.

Это мне еще больше не понравилось. Я быстро стал уходить по той самой улице, по которой пришел. И предпочитал не оборачиваться. Но, увидев извозчика, поспешно сел в санки.

— Куда прикажете?

Куда? Почему я знаю. А главное, не знаю, как улицы называются по-новому. И потому я сказал первое попавшееся в голову, что не могло измениться:

— К Андреевской церкви.

Поехали. Я оглянулся. Другого извозчика не было. Значит, «он» или должен бежать, что сейчас же его обнаружит, или я «чист».

* * *

Нет, я чист, конечно. Но все же это не особенно приятно. Что ему надо было? Следят за этой церковью? Или у меня вид подозрительный?

Некоторое время я опасался «серых». Но их было столько, что скоро я забыл об этом.

* * *

Расплатился с извозчиком у церкви.

— Сколько?

— Целковый положьте...

В прежнее время это стоило бы двугривенный. Ну, от силы — сорок копеек. Но в прежнее время от «серых» не бегалось. Социализм удорожает жизнь... Естественно, ведь это «рай». Разве в раю может быть дешево?..

Я подумал воспользоваться случаем и полюбоваться чудным видом с паперти Андреевской церкви. Но ворота церковной ограды оказались запертыми. Они всегда заперты. Они были вечно заперты и при старом режиме, они заперты и сейчас. Есть маленькие глупости, которые переживают мировые катаклизмы.

Я пошел вниз по крутому Андреевскому спуску.

Навстречу подымалась вереница людей. Было очень скользко, по тротуарам нельзя было идти. Кое-как шли по мостовой.

Какие это были люди?

Ранние. Просто ранние люди, без явно выраженных занятий. «Форма одежды»? Все та же. Платок на голове у женщины, шапки всякого рода у мужчин. Много высоких сапог. Кожухи или пальто попроще. Вообще все простое, скучное, некрасивое. Но рвани опять не заметно.

Лица?

Лица нельзя сказать, чтобы веселые, но нельзя сказать, чтобы измученные. Просто будничные, обыкновенные, пасмурные лица.

Евреев было мало. Между тем я шел на Подол, т. е. в самое гетто.

«Наверное, они там все внизу», — думал я.

Но внизу на площади вообще было мало народу. Евреев тоже. Стояли хохлушки и продавали булки. А одна ела пирожки. Я хотел пирожок, она улыбнулась так, как улыбаются хохлушки.

— Нет больше, вот последний.

Так она и сказала, как говорят в Киеве от века, то есть смесью малорусской и общерусской речи.

Я завернул за угол, на котором увидел несколько человек еврейской молодежи. Две «барышни» были в шляпках, простеньких. Но где же прежние евреи, настоящие, старозаветные, с бородами, в картузах, в длиннополых черных пальто? Куда они делись? Отчего они не выбегают из своих лавок, навстречу проходящим?

Впрочем, все заперто.

Я пошел вверх по Александровской... Как она называется сейчас? Какой еврей, румын, грек, латыш, китаец увековечен на стогнах Матери городов Русских? Не помню...

Иду, все заперто и пусто. Вот как празднуют Рождество

Христово в еврейском квартале! Но сами евреи где? Спят, что ли?

Я читал вывески. Украинские вывески чередовались с апокалипсическими названиями: Сорабкоп, Укрнархарч, Укрнарпит, Тэжэ, Винторг, Бумтрест...

* * *

Витрины? Слабоваты. Но кое-что есть. Вот между прочим шапочный магазин, выставлены цены: от 15 до 30 рублей меховая шапка. Вот полушубки, кожухи, пальто; кожаные куртки на белом меху — пятьдесят рублей.

* * *

— Пирожки горячие!..

Продавала какая-то женщина, очень бедно одетая. Лицо интеллигентное. Русская. Плохо ей, видно, живется, впрочем, и пирожки плохие... Я съел, еще больше чаю захотелось. Но все закрыто.

Наконец, вот дверь, за которой чувствуется жизнь. Надпись — столовая. Вошел.

Большое, простое помещение. Сравнительно чисто. Столики. Пожилая женщина.

— Нельзя ли чайку?

— Чаю? Пожалуйста, пожалуйста.

Она принесла мне стаканчик горячего, сладкого. И белого хлеба.

— А закусить что-нибудь найдется?

— Можно. Чего вам: колбасы, огурчики?

И вот я съел. Не без удовольствия. В столовой был только один человек, но он стоил многих.

— Да уйдите вы, я вас прошу.

Он сидел, ухмыляясь, пьяный.

— Сейчас, сейчас, хозяйюшка... только вот дайте спичечку...

— Никакой я не дам вам спичечки... Вы вот выпивши, а мне не разрешается вином торговать, идите себе, пожалуйста.

— Сейчас, сейчас, хозяйюшка... а вы вот мне чайку стаканчик... один только стаканчик, пожалуйста...

— Никакого стаканчика, уходите, я вас прошу... Вы вот упали уже раз и еще упадете, что я буду делать... уходите...

— Сейчас, хозяйюшка... вот, пожалуйста, спичечку...

— Да идите вы, ради Бога!..

— Сейчас, сейчас, хозяйюшка. Вот колбаски мне, ну немножко. Голодный я, ей-Богу... Я не пьяный, какой я пьяный. Я заплачу... Вот.

— А вы уйдете сейчас, если я вам дам?

— Сейчас уйду, хозяйюшка. Только вот спичечку, чайку..

— Ах, Господи. Вот наказание Божие...

Пьяный ухмылялся и в конце концов получил все — чаек, колбасу и спичечку. Сидел и курил, блаженный.

— Какой я пьяный, разве я пьяный?

Родимые картины! Но когда же они заговорят «по-украински» в сей «Украинской Республике»?

* * *

Вошла молоденькая и хорошенькая женщина в красном платке.

— Вы торгуете? Чтобы не вышло чего. Мы закрыли. Очень опасно...

— Да разве ведь и нам нельзя? Говорили, нам можно!

— Лучше пойдите, узнайте.

— Сейчас, сейчас. Да, да... Ох уж!..

Пьяный, кончив, стал уходить. Хотел непременно попрощаться с хозяйюшкой и убеждал ее, что она «сердитенькая». Я тоже поднялся. Заплатил. Это стоило что-то копеек шестьдесят. Я подал ей трехрублевку, зеленую, как и прежде, но меньшую форматом и плохо сделанную. А она вернула мне два бумажных рубля, не похожих на старые, и два серебряных двугривенных, очень похожих.

Немного странно было платить по-старому, «рублями и копейками». Странно, но отрадно.

«Все, как было, только хуже...»

* * *

Я стал подыматься вверх по Александровской. Народу было немного. Тут были русские и евреи. Но «моих», старо-заветных, не замечалось. Я даже чувствовал, что по этой причине меня определенно рассматривают. Их глаза часто принимали меня за еврея и как бы спрашивали:

— Кто такой? Откуда взялся «этот тип»?

Да, ибо таких бородатых, запущенных, как я сам, я не встречал. Где они?

Некоторые встречные с ясным напряжением решали вопрос — еврей я или нет:

Уриель Акоста,
Скажи ты мне просто,
Коль не секрет
Жид ты иль нет?

Если я не еврей, последняя причина **носить такую бороду** падала. Но они, должно быть, **успокаивали** себя мыслью:

— Наверное, он из провинции!..

Во всяком случае, я ясно чувствовал, что они скорее поверят в то, что я Карл Маркс, соскочивший с памятника, чем в то, чем я был на самом деле.

Внешность встречных людей чуть менялась по мере движения вверх. Изредка мелькали дамские шляпы. Но скромные.

Два молодых еврея в сапогах, галифе и кепи шли, рассуждая о Зиновьеве. Я прислушивался, но, кроме слов «программа», «военный коммунизм», «уклон», «ленинградская делегация», «дисциплина партии», «нейтральный актив», — ничего не понял.

Ломовые извозчики с великим трудом тащили тяжести вверх по крутой горе. Лошади падали на колени, и их жестоко били. Здесь так били от века. «Все, как было...»

* * *

Я взял вправо и стал подниматься по Владимирской горке. Все было занесено снегом, и только узенькая была протоптана тропочка. Я обогнал флиртирующую парочку. «Она» была в шляпе — хорошенькая, еврейка. Он был тоже, конечно, «из наших», щеголеватый, но не в европейском, а в советском стиле... Нечто вроде бекеши, меховая шапка, блестящие высокие сапоги.

Он нажимал:

— Имя? Скажите, какое же это имя!

Она жеманилась, обнаруживая то специфическо-еврейские, уверенные ужимки, то кривлянья, неумело выхваченные из общемирового женского репертуара. И не хотела сказать «имя»...

Но вдруг, выхватив у него тросточку, стала писать по свежему снегу.

* * *

Боже мой! Все меняется под луной, но не эти вещи. Гимназистки нашего времени делали то же.

Она писала:

— Борис...

Борис так Борис. А вот это что такое?

Толпа людей в военном, то есть в серых шинелях и в шлемах, вопила. Они пели, как всегда поют русские солдаты: с улюлюканьем, с гиканьем, с посвистом. Слов не слышно было, но, конечно, они должны были быть сугубо революционные, т. е. новые. Но размах, дикая мощь — это старое. Мелодию вела «грозно нарастающая» гуща низких голосов. Четкие тенора, «лихими подголосками», набрасывались на нее сверху. А кругом тех и других, подстегивая, подуськивая, бесились некими «степными запятыми» или как будто «нагайками» резкие, улюлюкающие то змеей, то козой, то совой, то кошкой, — «посвисты соловьиные»... Черт их дери совсем!.. Так только русские солдаты поют во всем свете! И неужели эту мощь, эту силищу, дикую, но несомненную, оседлали вот эти, пишущие по снегу «Борис»?

* * *

Парочка ушла, а надпись осталась. Я тоже остался и прибавил на снегу «мягкий знак», отчего вышло «твердо»:
— Борись!!!

Борись, позором вразумленный
Народ очнувшихся рабов!
И факел, яростью зажженный,
Вонзи в трусливый мрак гробов!!!

* * *

Нет, нет, нет...

Нет, не надо «черного бунта». Этот путь испытан. Этот путь ни к чему. Это пути двухчленной формулы:

— Бей жидов — бей панов!..

* * *

Это путь раскрепощения Зверя, чтобы он сделал «дело». А потом, в таких случаях, говорят: «Зверь сделал свое дело, Зверь может уйти».

Но Зверь не уйдет. А если уйдет, то только для того, чтобы вернуться снова.

Кто сеет Махновщину, пожнет Пугачева.

— Бей жидов, бей панов...

От двухчленной формулы не уйти еще и потому, что пришлось бы натравливать на жидов именно как на панов. Ибо они паны теперь.

Эй, деревенщина, крестьяне!

Обычай будет наш таков:

Вы — мужики, жида — дворяне,

Ваш — плуг и труд, а хлеб — жидов.

* * *

И мы тогда не удержимся «на жидках», мы поднимаем волну против «панства» вообще.

А ваша задача как раз обратная. Наша задача состоит в том, чтобы заставить людей понять наконец: без «панов» жить нельзя.

Да, нельзя. Как только вырезали своих русских панов, так сейчас же их место заняли другие паны — «из жидов». Природа не терпит пустоты.

* * *

Без панов жить нельзя. Но что такое — «паны»?

«Паны» — это класс, который ведет страну. Во все времена и во всех человеческих обществах так было, есть и будет.

Его называли: высшими кастами, аристократией, дворянством, буржуазией, интеллигенцией, *élite**, классом «политиканов», «революционной демократией» и, наконец, на наших глазах его называют «коммунистами» и «фашистами». Иногда правящий класс окрашивается в национальные цвета, и тогда его называют то «варягами», то «ляхами», то «жидами». При всей разности у всех этой формации людей есть нечто общее. Все они исполняют одну функцию: обуздание Зверя.

Но в борьбе между собой все «паны» склонны разнуздывать Зверя. Они натравливают его на противников

* Отборная часть (фр.). (Прим. ред.)

и, победив при его помощи, потом с мучительнейшими усилиями снова его обуздывают.

Но это путь ужасный. Ибо в этой процедуре гибнут достижения веков. Наш путь должен быть иной.

* * *

Был когда-то великий путь «из Варяг в Греки». А теперь надо создать новый путь еще большего значения: «из Жидов — в Варяги». Коммунисты да передадут власть фашистам, не разбудив Зверя.

О, не буди меня, зефир молодой весны,
Зачем меня будить?

* * *

Зачем его будить? Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким трудом восстановили неокommунисты при помощи нэпа? Для того, чтобы, разгромив «жидов», он вырезал всех «жидовствующих», то есть всех более или менее культурных людей, ибо все они на советской, то есть на «жидовской», службе?

Нет, не надо черного бунта...

* * *

Елизавета, Екатерина, Александр I не привлекали к своему перевороту Зверя, и правление их было славно и гуманно...

Вот пример, по которому надо идти. Скусить верхушку!

А ты, великий молчальник, безмолвствуй. Ибо, когда ты говоришь, падают скалы. Падают тебе же на голову. Правда, голова твоя крепка, но все же от этих каменных прикосновений балдеет она, бедная, на столетия... Так к чему же?

* * *

Пахарь, в поле мирно жни,
Бодрствуй, властвовать могущий!..

* * *

Я поднялся выше. По едва проторенной тропинке прошел к памятнику Святого Владимира. Низовье Киева, Подол, и замерзший Днепр были передо мною. Все было серо, туманно.

* * *

Другая парочка, которая приютилась здесь, должно быть, просто не видела ничего. А если что-то видела, то и «ничего» казалось ей прекрасным. Она была хорошенькая и тонколицая, хорошо одетая, в серой шубке, малиновой шляпке, ботиках. Говорила низким, угловато-изысканным голосом, каким звучат на юге петербуржанки. Москвички тоже говорят низко, но певуче. Для моего киевского уха ее голос звучал недостаточно женственно. Но чистая русская речь была безупречна. Увы, я не мог разобрать: уцелевшая ли она аристократка с берегов Невы или же «оневившаяся» еврейка.

Черт знает, что такое!

Обычай будет наш таков
Вы — мужички, жида — дворяне

Нет, она, кажется, все-таки русская. Но это «кажется» — недостаточно ли оно показательное доказательство.

* * *

А третья парочка, одетая попроще, сползала по крутой, обледеневшей дорожке. Было там очень скользко, барышня боялась и по сему поводу пицала талантливо-переливчато, преподнося памятнику Равноапостольного ассортимента кокетства, сервированного à la Kieff. Mes compliments — старому черному Грушевскому: эти балакали по-украински. Первые и, кажется, последние, которые изъяснялись «на мове» в столице Украины.

* * *

Солдатская песня, три парочки, три «национальности», да зимний туман — вот все, что я вынес из посещения Владимирской горки...

И несколько мыслей.

* * *

Я поднялся еще выше и взял к Михайловскому монастырю. Вот знакомые, старого, волнующего рисунка ворота в Михайловское подворье. Над воротами, где раньше была икона, в рамке сосновых ветвей.

* * *

Но кто-то успокаивающий как бы взял меня за руку:
— Помнишь ли ты одну синагогу? Помнишь?

И я вспомнил. В Галиции, в 1915-м, в местечке Тухов. Ничего не осталось. Голые стены, побитые окна, разрушено, осквернено.

А кому там молились?

— Богу Единому,— ответил я.

Некто успокаивающий отпустил мою руку.

* * *

Но, да простит меня этот невидимый и кроткий, все же тогда была война. А теперь как будто бы война кончилась.

Да кончилась ли? Или только начинается по-настоящему? <...>

* * *

Монастырь стоял «златоверхий». В шестнадцатом веке один он только в Киеве был крыт золотом, и это может служить неким утешением сомневающимся. В XX веке все храмы златоглавые.

* * *

Мне пора было озаботиться приисканием гостиницы. Где я ее нашел, сие неважно для читателя, но любопытно для ГПУ. Поэтому применим латынь: *nomina odiosa sunt**.

Третьеразрядная была гостиница. Чутье я волновался, сказать по правде, когда я входил.

А вдруг документ окажется «не того». Ведь он, разумеется, «липа». Да и вообще жутко. Вопросы какие-нибудь каверзные зададут. Или даже не каверзные — случайные,

* Имен называть не следует (лат) (Прим ред)

но которые с несомненностью обнаружат мое зияющее невежество.

Вошел.

— Есть номер?

От столика поднял голову молодой человек в бекеше. Лицо?

Лицо — «не весьма». Бритый, красивый, но не разберешь: деникинец или чекист? Бывала такая порода «в старину»: некие номады — из «чека» в «контрразведку» и обратно.

Он рассмотрел меня не то равнодушно, не то пронизывающе.

Сказал:

— Номер есть.

— В какую цену?

— Два с полтиной.

— Покажите.

Он крикнул в коридор:

— Хозяйка, покажите номер!

Выплыла хозяйка. Широкая масленица. Запела по ма-асковски...

— Намерочек вам? Пажалуйте.

* * *

«Намерочек» был дрянной. Цена зверская. Два с половиной рубля — это значит доллар с лишним. За эту цену я имел бы прекрасный номер в Париже и в Ницце. Ах, все равно. Лишь бы документ «не выдал»...

* * *

Деникинец-чекист взял его и ушел. Я пережил несколько неприятных минут. Затем стук в дверь.

Он вошел и задал мне несколько вопросов. Один был труден для меня. Но я как-то сообразил и ответил.

Ничего. Оказалось, влопад. Он кивнул головой. Ушел. Потом пришел снова и принес документ. Сказал:

— В книгу вписано. А заявлю позже.

Когда он затворил дверь, у меня было желание не то потанцевать, не то перекреститься. Документ не выдал. Спасибо контрабандистам!

* * *

Пришла хозяйка. Я понял, что она хочет — деньги вперед. Вытащил червонец. Большая бумажка, беловатая, водянистая какая-то. Но, пока что, эта бумажка деньги: пять долларов дают!

— Сдачу сейчас принесу.

— Не надо, я пробуду несколько дней.

Она ушла, очень довольная.

* * *

«Наконец, мы одни!» Я со своим телом. Йоги советуют думать: «Неужели моя рука, нога, грудь, живот, голова — это я?»

Нет, «я» — это нечто другое, отдельное от тела, и потому «мы одни, мы вдвоем»...

* * *

Это одиночество вдвоем приятно. Оно просто необходимо для существа мыслящего. Но, кроме того, в данном случае приятно ощущение безопасности. Как-никак, это постоянное внимание утомляет. Ведь сквозь канву наблюдений я все время ощупывал глазами каждого встречного и чувствовал всех, кто у меня за спиной. Сколько поймано взглядов за эти часы и сколько из них оценены как подозрительные. Сколько раз казалось, что кто-то пристал. Сколько раз это проверялось... Не так страшно в общем, но напряженно. Прежде чем войти сюда, я сделал точную проверку, нет ли хвоста, т. е. нарочно разыскал совершенно пустынную улицу. Слава Богу, все было в порядке.

И вот на время — я в полной безопасности... Действительно, кого сейчас бояться? Гостиничные уkontентованы, а в участке я еще не заявлен. Самое выгодное положение. Власть предержащая еще ни в каком виде не знает о моем существовании. Вдруг искуссительная мысль пришла: а что, если этот деникинец-чекист гораздо тоньше, чем я о нем думаю? А что, если сразу поняв, какая я птица, он уже сообщил в ГПУ, не подав мне и вида? Может ли это быть?

Глупости! Мнительность...

Буду писать письмо. Воображаю, как там, дома, беспокоятся.

«Дома». Вот ирония! Дома — это значит где-то там во Франции, Сербии, Польше. И это в то время, когда мой настоящий дом, «старый дом, где он родился», — тут под боком, через несколько улиц. Неужели я его увижу?

Конечно. Вот стемнеет, и я могу идти...

* * *

Но пока — письмо. О, как чертовски труден этот ключ. Но зато, если бы шифровальщики всего мира колдовали бы над этим лоскутком плохой бумаги, они не выжмут из него тех нескольких слов, которые прочтут «там»:

«Я — осторожен, о, очень! Все благополучно пока. Россия жива. Надейтесь, верьте...»

* * *

Но труднее ключа правописание. Кажется — пустяки не писать твердый знак, ять, и с точкой, а вот так рука и тянется. Приходится быть ужасно внимательным. Оказывается, нет тебе покою и наедине. Да к тому же чужой почерк изобретай. Предосторожность, может быть, излишняя, но все же. Письма заграничные идут, конечно, в черный кабинет. Там могут знать мой почерк. Зачем же давать «кончик», если его можно избежать?

* * *

Нет, конечно, никто даже из тех, кто «знает» (а их самое ограниченное число), не представляет себе, где я. Я — в Киеве!.. Это покажется им чудовищным. А между тем это так просто. Они, наверное, думают, что дома, заборы, камни на мостовой узнают меня и закивают:

— Вот он!

А на самом деле до сих пор я не встретил ни одного знакомого лица. Никого...

* * *

Там, где-то далеко, «благословенный Прованс». Я вспомнил о нем потому, что, проезжая однажды мимо великолепных гор, столпившихся к Тулону, я читал «La maison des hommes vivants»*, фантастический рассказ, приуроченный автором к этим местам.

И вот когда «он», то есть то, что от него осталось (ибо другое его «я» выносили в эту минуту в гробе из дома), когда «он» бросился к «ней» с криком: «Мадлэн, это я!», она... подала ему les quatre sous**, приняв за нищего...

Так, вероятно, случилось бы и со мной, если бы я, «вернувшийся», подошел бы на улице к кому-нибудь из тех, кто оплакивает «ушедших»...

* * *

И потому я ни к кому, ни к кому не пойду... К чему? Они приспособились к этой жизни, они как-то живут... Если даже они и поверят мне, что это я, то будут ли мне рады?

Что я им принесу, кроме грозной опасности? Какую благую весть? Разве могу я им сказать, что вслед за мною раздастся тот трубный звук, «когда мы, мертвые, пробуждаемся»...

Нет, мы ждем — их пробуждения. А они спят...

Счастливы лишь тот, кому в осень холодную
Грезятся ласки весны...
Счастливы, кто спит, кто про долю свободную
В тесной тюрьме видит сны...

(Мелодекламация)

* * *

Разбудить их только для того, чтобы отнять у них даже мечту, жестоко и бессмысленно. А что другое я могу сделать?

* * *

А вдруг у них даже нет мечты? И это может быть...
К чему же я явлюсь к ним привидением с того света, когда у них:

* Буквально: дом живых людей. (Прим. сост.)

** Четыре су. (Прим. сост.)

все оплакано, осмеяно, забыто,
погребено и не вернется вновь...

* * *

Так пусть будет «одинокчество вдвоем». Пусть ходят мое тело и мой дух по этому городу, — достаточно с них взаимного общества.

Сам один, а глуп, как два...
(Грузинская песенка)

* * *

Письмо написано, наклеена марка, на которой кто-то лезет на фонарь. Адрес?

Двадцать адресов прыгают у меня в голове. Я повторяю их каждое утро. Записать не решаюсь. Если их в случае чего найдут у меня — ясна связь с заграницей. А это здесь самое большое преступление. Забавно, не правда ли? Люди, которые поставили себе целью интернационал, преследуют, как дикого зверя, каждого человека, имеющего сношения с какой бы то ни было другой нацией. Как это способствует развитию «интернационального духа», «международной солидарности», стиранию «искусственных перегородок», именуемых государствами, народами, нациями! О, жалкие реформаторы! Вместо нового мира они построили только гримасу старого. «Смотрите, смотрите, совсем новое лицо!» Нет, лицо то же самое. Оно только «передернулось»... от ненависти и от отвращения.

* * *

Но зачем двадцать адресов? Затем, чтобы не писать на один и тот же. Могут заметить. Опять лишняя предосторожность?

Пусть! Знаменитые русские слова «авось, небось и ничего» нравились, конечно, Бисмарку в русском народе. Но нравились только потому, что железный канцлер предполагал скушать Россию, что при авось и небось сделать значительно легче.

Впрочем, если сейчас — стук в дверь, входят, обыск, арест, что я буду говорить?

После нескольких уверток меня поймают на вздоре. Поэтому лучше сказать прямо, кто я и что.

А для чего я прибыл?

Расстреляют все равно, что бы я ни объяснял. Правде они не поверят. Будут бесконечно допытываться «политических» мотивов. Если хотите, есть и политические мотивы. Рядом с моим личным делом я приехал, как шпион. Да, я шпион, хотя и не в банальном значении этого слова: я приехал подсмотреть, как «живет и работает» Россия под властью коммунистов.

Так и буду говорить. Они не поверят, но это — правда. А правда имеет какую-то прелесть даже для лжецов. Если не прелесть, то самосилу. С правдой умирать легче, а умереть все равно придется. Я предпочитаю умереть самим собою, а не безвестным псевдонимом. Проще и чище...

Но пока эти мысли просто преждевременны. Пока... пока небо прояснилось и вошла —

Рождественская Звезда!..

Правда, по новому стилю, но не все ли равно... Если бы Христос рождался не два раза в году (по старому и по новому), а каждый день (и никогда бы не умирал), было бы еще лучше. Кроме того, из «благородного упрямства» приходится, конечно, отстаивать старый стиль, как офицеры отстаивают погоны, как наши мальчишки-гардемарины в Бизерте отстаивают каждую пядь своих традиций, но по существу дела, когда 1925 лет тому назад рождался Христос, земля была в той точке орбиты, в каковой она сейчас 25 декабря по новому, а не по старому стилю. Поэтому если важно праздновать то взаимное положение земли и солнца, которое было тогда, то астрологическая правда за новым стилем.

А потому пусть будет эта великолепная звезда, которая заглянула в мое окошко, звездой Рождественской.

Я вышел из гостиницы, и звезда пошла за мною. С волхвами, как известно, было наоборот. Они шли за звездой.

Волхвы же со звездой путешествуют...

Но так как Эйнштейн доказал относительность всякого движения, то мне казалось, что она, Рождественская Звезда, ведет меня.

А может быть, так оно и было...

VII

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Звезда привела меня в тихие улицы, каких в новом Киеве еще больше, чем в старом. Днем шел снежок и сделал то, чем всегда забавляется «волшебница-зима». Она делает из города рисунок-чертеж, где белым по черному выгравированы: контуры домов, переплеты решеток, сложность садов. А кусты превращены в огромные белые цветы, расцвеченные сахарными искрами. Последнее делается при благосклонном участии вспыхивающих огней. А под ногами что-то пуховое, мягкое, теплое, что глушит шум шагов и превращает улицы в гостиные.

Звезда шла над этими праздничными одеждами Киева. Над садами, над домами, над церквями. Она не меркла в электрических огнях, которых здесь не много. Тихо... Я не встречал почти никого. Но те, кого я встречал, говорили по-русски (это к сведению добродиев-украинцев). А ведь тихим зимним вечером речь далеко слышна — не ошибешься.

Назарьевская, Караваевская, Никольско-Ботаническая, Паньковская, Тарасовская...

Тихий отблеск снега; желто-оранжевые огни из окон — на голубовато-зеленую его сущность.

Некоторые из этих домов рассказывали мне слишком много...

В этом доме, как сны золотые...

* * *

Все было... Счастье — страданье; успех — неудачи; восход — падение; рождение — смерть...

Одного только не было: отчаяния... Отчего в самом деле не было отчаяния?

Оттого, должно быть, что в самой глубине души я

никогда не верил в конец: ведь смерть это только величайшая из провокаций.

Смерть есть только начало новой жизни. Просто переход в следующий класс. Что говорить — экзамен трудный... Труднейший из трудных. Но все же это только — «переводное испытание». Гимназическую фуражку меняешь на студенческую. Коротенькое платье девочки на длинную юбку женщины. Впрочем, по нынешним временам как раз наоборот: чем старше, тем юбка короче...

* * *

— Твое «Я» умереть не может. В крайности умрет твоё тело. Но ты сам бессмертен.

Это, конечно, сказал «некто в йогическом».

Неужели в самом деле это так?

Если этим сознанием наполнится душа, страх должен совсем уйти из сердца. Упадут эти дома, и самый город погибнет в исполинской пасти, подобно Атлантиде, но я умереть не могу. Чему же в таком случае они угрожают, все эти чрезвычайки, гепеисты и прочие «охотники за черепами»? Черепу? Вот этой костяной коробке безвкусного вида? Я завещаю ее Дзержинскому — на письменный стол.

* * *

Это что за человек?! Я его уже видел. Два раза встречать ту же рожу не безопасно!

Но сегодня узнал я другое,
Я изведаль, что жизнь не роман ..

И вот ученик йогов, «изгнавший страх из сердца», улепетывает.

* * *

Нет, ничего, слава Богу! Отстал. Это случайность...

А как же с «бессмертием»?

А что? Одно другому не мешает. Временно мое «я» живет в этом теле, и потому я обязан охранять это тело всеми способами, впрочем, такими, которые для моего «я» не вредны. Но ведь для моего «я» ничуть не вредно ускорить шаг и обойти несколько лишних углов. Для него было бы вредно, если бы я без надобности причинил тяжкое горе своим близ-

ким. Убийство своего тела, то есть «самоубийство», — грех. Но ведь небрежность в моем положении есть самоубийство...

* * *

«Поговорим о старине»...

Вот старина не слишком древняя. Здесь, на этом углу, стоял дом Михайлы Грушевского. Стоял, потому что теперь его нет.

Был он громадный, угловой, почти небоскреб.

И вспыхнул гордый «храм», как факел погребальный,
И не угас еще доньше этот свет.

А в ту же ночь другой безумец гениальный ..

* * *

Другой безумец гениальный, добродий Петлюра, «в ту же ночь» (на 26 января 1918 года) уходил по Брест-Литовскому шоссе к немцам. Шестиэтажная громада Грушевского (зажгли большевики бризантными снарядами) с высокого места освещала путь Петлюре ярким заревом. А Герострат-Муравьев одиннадцатые сутки добивал Киев тяжелыми снарядами...

«Почти что небоскреб» пылал. И мне казалось, что в огромном полуме вьется старый колдун Михайло, вьется и бьется над своим гнездом, смешивая волны Черноморовой бороды своей с вихревыми клубами багрового дыма...

* * *

Гнездо злого волшебника сгорело. Но «долгие времена» стояли еще черные развалины, угрожая неосторожным прохожим.

Но и это время прошло. И вот передо мною пустырь.

* * *

А добродий Михайло?

Благоденствует. Жив, курилка. Что такое дом? Был один — будет другой. Сгоревший небоскреб нажил отец Михайлы на продаже учебников гимназистам Российской империи, а будущий дом, даст Бог, наживет сын Михайлы... на том же... На долю самого Михайлы выпало «немножеч-

ко, столечко» республики, которая, правда, сожгла его дом, но сие только «по недоразумению»: это видно из того, что в настоящее время Грушевский помирился с СССР, вернулся в Киев и чернокнижным языком бормочет хвалу советской власти. Очевидно, за учреждение «украинской республики».

Ах, надолго ль это счастье?..
Не умчались бы, как сон,
Эти грезы самовластья
И пустых бахвалов звон...
(Из обновленного репертуара Вяльцевой)

* * *

Ну, теперь пойдём посмотреть другой дом... «обратнопропорциональный».

* * *

По тихо-пушистой, голубовато-белой, узором теней разрисованной улице, где каштаны еще больше выросли, но заборов уже нет, словом, по бывшей Кузнечной (а ныне не знаю, как они ее называли), поднялся я до слишком знакомого перекрестка.

Там всегда спорил с луною электрический фонарь и стояло два извозчика. Обыкновенно кричалось с крыльца «Извозчик!» — и они бросались.

И сейчас все было, как прежде: фонарь, два извозчика и мой маленький дом стояли на своих местах. Только я немножко не на месте. Мое место там на крыльце: надавить бы кнопку уверенным хозяйским звонком! Вместо этого я брожу вокруг своего жилища, зайду с одного угла, зайду с другого, как сова, чье дупло заняла кукушка.

Ку-ку... ку-ку...

Нет, это не часы (столь знакомые!) бьют в столовой. Это то покажутся, то спрячутся чьи-то тени на освещенных окнах.

Кто эти люди?

Скажи мне, ветка Палестины:
Каких холмов, какой долины?

Из Бердичева? Шклова? Гомель-Гомеля?

А может быть, — це вы, друзья-украинцы? Это не астраль-

ные ли тела Шевченки и Кулиша тенями проходят по оранжевым узорам мороза на окнах?

Повремени, дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мои подвалы разрывать...

* * *

Да, у меня в подвалах было кое-что ценное. Только не для вас, друзья мои. Что для вас старые номера пятидесятилетнего «Киевлянина»? Вы больше насчет серебра столового. Ну, это вы у нас не найдете. В этом доме жили люди со странной психикой. Из всех драгоценных камней и металлов они ценили только два: белую мысль и черную землю...

* * *

Чернозем воспитал в антимарксизме «белую» душу:
«Мы — ваши! (Ваше Императорское Величество!)
Земля — наша.
Власть — Хозяину.
Земля — Хозяину».

Земля хозяину, и ни копейки меньше. Хай живе «вильна, незалежна, самостийна» — земельная собственность! Да здравствует золотом солнца повитый, золотым зерном залитый, «золотом кованную» свободу хозяину приносящий, вольный, сильный, сочный, радостный... столыпинский хутор!.. Вечная, вечная память Мордкой Богровым убиенному пресветлому болярину Петру и всем, иже с ним за Вольную Землю и за Земляную Волю живот положившим...

Такие мысли навевал «старый дом, где он родился». Скромный провинциальный домишка, который полвека твердил одно и то же, сражаясь на обе стороны, — то с «революционным Марксизмом», то с «социализмом Высочайше утвержденного образца». «Особнячок в политике», он десятки лет проповедовал в своем углу «столыпинщину», предчувствуя появление самого, трагически-великолепного, все-российского реформатора...

* * *

И мне захотелось поставить один вопрос этому старому дому, передумавшему кое-что на своем веку:

Увижу ль я, друзья, народ освобожденный
И рабство, падшее по манию царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?*

* * *

Он не сразу ответил... Помигал старыми глазами сквозь изморозные окна. Но через некоторое время взгляд его установился, став твердо-ясным.

И тогда старый дом стал говорить...

* * *

...Я говорю то, что говорил пятьдесят лет. Я говорю то, что вы, нынешние, никак не можете в толк взять. Все равно,— я скажу еще раз... Я скажу новыми словами мысли, которые старше не только меня, но самого старого дома на свете...

* * *

...Изгнанники всех концов земли! Мечтая о добре, не будьте сами злы. Ибо не могут быть сухая вода, светлый мрак, холодное тепло и белое не может быть черным...

...Есть два вихря сейчас на земле. Один вихрь «белый», т. е. вихрь Добра, вихрь к Богу, другой «черный» (или «красный», что одно и то же)— вихрь Зла, вихрь к «черту».

Так вот нельзя вам, изгнанники, смешивать «французское с нижегородским»...

Нельзя вам мечтать о кровавой расправе, о личной мести и о тому подобных, кой-кому из вас приятных предметах...

Когда вы это делаете, то включаетесь в вихрь Зла. Думая, что служите своему делу — Белому, Правому, Божественному, Святому, Созидательному, Хорошему, Светлому, Чистому,— на самом деле крепите Черное, Неправое, Сатанинское, Грешное, Разрушительное, Гадкое, Грязное... Крепите, изгнанники, потому что мысли о кровавом пире над поверженными людьми, кто бы они ни были, есть мысли из «их» царства, о котором сказано:

«Здесь Я владею и люблю...»

* Автор цитирует неточно. (Прим. ред.)

* * *

...Когда кровавые мысли завладевают, с вами делается то, что бывало с ведьмами в старину. Эти мысли лучшие кони, чем самая прекрасная метла... Оседлав их, вы в то же мгновение мчитесь на «шабаш». И имея во главе не Алексева, Корнилова, Деникина, Врангеля, не великого князя Н. Н., а Ленина со свитой, несетесь в вихрь вокруг жертвенника Черту...

Окружая пьедестал...

* * *

Слушай! Приходили сюда ко мне в 1919 году деникинцы. Воевали они за Белое против Красного. Но Дьявол распалил их чувства, и включились некоторые из них в вихрь Зла. И созданный не только Красными, но и Белыми, этот вихрь в конце концов пожрал их, Белых. Восторжествовало Зло и те, кто Злу служат.

* * *

...Чтобы поднять мощный смерч Добра, нужно отречься от злобы. Я, старый дом, знал одного сильного человека: это был Столыпин. Его душе злоба была чужда. Это не помешало ему, изгнанники, сделать то, что не удалось вам, — раздавить революцию (первую)... Он при этом казнил тысячи негодных людей. Ни к одному из них он не чувствовал злобы, личной злобы. И каждого, казня, пожалел.

Не говорите так: не все ли равно?

Нет, не все равно. Тут такая же разница, как между ножом врача и кинжалом. Оба режут, но кинжал убивает, а скальпель — целит... Иной правитель казнит, содрогаясь от скорби: этот может быть святым. Другой казнит, смакуя, бахвалясь, — он гнусный убийца... Первый включает свою страну в круг Добра, и тайные добрые силы всего мира помогают ему, второй ввергает ее в смерч Зла, и силы ада рано или поздно погубят правителя и управляемых...

* * *

Спрашиваешь: «Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?»
Отвечаю: взойдет, когда погаснет факел Злобы...

Так говорил «старый дом, где он родился».

VIII

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР

День встал золотым над Киевом. Ах, отчего я не Бальмонт?!

Нет, я не Бальмонт, я — другой
Еще неведомый избранник .
«Украиной» гонимый странник
С «малороссийскою» душой ..

Ах, если бы я был Бальмонтом, я воспел бы этот день
(26 декабря 1925 года по новому стилю).

Белоснежность в золотом,
Золотистость в белоснежном,
Но печалюсь я о том,
Что в стихе бессильно-нежном
Нет ни золота, ни снега,
Нет ни солнца, ни мороза,
Лишь рифмованная проза,
Стоп, сомнительная нега .

* * *

Белоснежность в золотом,
Золотистость в белоснежном,
Купола горят крестом
В небе синем, безмятежном .
Но еще небес синей
Тенью вышиты узоры.
Снег — парча, и вот на ней —
Крест, деревья, куст, заборы...
Снег — парча. Слепит, горит
Солнцем, золотом багрянит,
Нежит глаз и сердце ранит .

.
Грек, француз, испанец, бритт,
Вам не знать, что нам знакомо:
Рим, Париж, Неаполь, Комо
Речь снегов не говорит
Белоснежность в золотом,
Золотистость в белоснежном,
Прорифмую целый том,
Все ж не расскажу о том,
Чем томлюсь в бессильн нежном.

Короче говоря, день был солнечный и чуточку морозный. И я бродил. Бродил, «упиваясь» вновь ощущенной красотой Киева.

* * *

Владимирский Собор был открыт. Я вошел — седобородый старик, (быть может — еврей).

Матерь Божия стояла там во весь свой Божественный рост. Все переменялось: рухнули троны, ушли и погибли цари, самой России не стало... Но есть нечто непреходящее

Царица, Вечная Царица,
Народов всех и всех племен..

Она стояла вся та же, как и тогда, когда впервые я ее увидел еще мальчиком. Такие же были обведенные глаза, которые знают все, и такие же были скорбные губы, которые молят за всех... всех, всех, всех...

Ты у Христа-Царя — Денница.

Такая же Она была, когда я молился здесь, уезжая к «Деникину». Все те же были глаза, все видящие, когда я пришел сюда обратно, «с Деникиным». И все так же молились скорбные губы за всех, всех, всех, когда, недостойные удержать святой город, мы, деникинцы, ушли «в рассеянье».

Сколько лет пробежало «в изгнании»? «Le pain amer de l'exil!»* Неужели это я! Это не сон?

* * *

Это я, но и не я... Белобородый старик, быть может еврей, кто бы меня узнал? Если бы все мои подписчики, старая гвардия «Киевлянина», которая не сдастся, но вымирает, пришли бы в этот храм, на мою мнимую панихиду, ни один бы не узнал в этом странном «жиде» у колонны человека, которого они часто ругали, но всегда читали.

Но есть ли хоть один мой прежний читатель в этом городе? Или я — живое привидение среди привидившихся мертвых?

* Горький хлеб изгнания (Прим. ред.)

* * *

Храм был почти пуст. Мне потом объяснили, что это потому, что его захватили «живцы». «Живая церковь» мертвит. Они не поняли, что должно быть наоборот: «смертию смерть поправ».

* * *

Пели. Звуки неслись. Увы. «Живая церковь» умертвила и былую красоту.

Дух Калишевского еще витал над ними. Но так, как вырождающиеся потомки вспоминают достижения великих предков, т. е. как сквозь сон.

Киевские мальчики, «дисканты Калишевского», соединяли в себе «ангельский звук» детей с какой-то драматической красотой женщины. Он, Калишевский, как-то по-своему «ставил» мальчишеские голоса. И от этого, сохраняя свободу и чистоту дискантов, звуки драматизировались в сопрано, и было это прекрасно.

«И когда мы слушали это, то не знали, где стоим, на земле или на небе».

(Летопись Нестора)

* * *

Служба мертвенная, безлюдная кончилась. А я пошел на хоры.

И там была настоящая «литургия красоты».

* * *

Когда солнце врывается потоками во Владимирский Собор, оно зажигает всю эту удивительную византийщину. Была ли она такой там, на своей родине — в Византии? Сомнительно. Но этот ренессанс прекрасен. Он как-то удивительно удался, и это золото рассказывает тайны, тайны узорчатости, тайны затейливости, тайны сложности... Оно как будто бы хочет выявить сложность мира: так узорчата и затейлива Вселенная. И все же вся сложность Вселенной — это только одно единое. Вот и здесь самый хитрый рисунок подвержен «одному закону». И для законов всех рисунков есть один общий закон, который закон всем законам. Этот закон — Бог. И об этом говорит золото. Чистое

золото, золото Бога, золото в сиянии Агнца, поправшего золото Тельца.

Вот четыре стихии: Огонь, Земля, Вода и Небо. Вот пятая — Адам и Ева. Змей подсовывает хорошенькой и простодушной Еве роковое яблоко. Неправда, что грехопадение было в том, что Адам «полюбил» Еву. Вздор. Так делает вся природа, и такова воля Божия. И не было им стыда в том, что они любили друг друга перед лицом неба и земли, ибо агнец стоял рядом со львом.

А грехопадение состояло в том, что первые люди захотели «умничать». Богу принадлежит определять, что есть добро и что есть зло. И сказал Господь: «Все есть добро. Только вкушать древо познания добра и зла есть зло для вас. Вкусишь, смертью умрешь». Почему да отчего? Почему так? «Искушение» состояло в мысли: мы все должны понимать, а если чего не понимаем, должны «дойти». И вот — «дошли»: Господь не хочет, чтобы мы питались этими плодами, потому, мол, что тогда «сами станем, как Боги». Это идиотское объяснение жалкого разума приняли за истину. И набросились на яблоко и сожрали, чтобы быть как Боги. Результат?

Стали не Богами, а полуживотными. И миллионы лет пришлось употребить на то, чтобы вновь подняться на человеческую высоту. Это случилось тогда, когда «семя Жены стерло главу змия». Когда вновь дан был закон, не рационалистический, а Божественно-императивный:

«Люби ближнего, как самого себя».

Люби. Без объяснений причин, почему и отчего. Люби. И будет агнец рядом со львом. Люби. И увидишь возвращенный рай...

* * *

И вот на наших глазах все повторилось.

Была заповедь Божия:

Х. Не пожелай ничего.. елика суть ближнего твоего. Без всякого объяснения причин. Без «почему и отчего». Не пожелай! Ибо так сказал Господь.

Но мозгляки исползли из всех щелей. Как? Почему это «не пожелай»? А если я желаю. Нет, ты мне докажи!.. Как так?!

Эти мелкие букашки не могли уразуметь простейших явлений природы, а лезли: объясни им, как создан божественный синтез. Синтез всей бесконечной сложности человеческих отношений, выразившийся в законе «Не пожелай».

Объяснить? Но ведь чтобы можно было объяснить, надо, чтобы тот, кому объясняют, имел соответствующую подготовку. Объясни сапожнику, не знающему арифметики, астрономию! Как же можно людям, которые в этом смысле меньше сапожников, людям живоотнообразным, объяснить последнее звено длинной цепи сложнейших выводов духа?

* * *

И вот Дьявол пришел на помощь. Пошло умничанье. Пошли рядить вкривь и вкось. И создали рационализм. Вечный памятник Глупости, сложенный из крупинок Разума.

* * *

Как махровый цветок рационалистического скудоумия создан социализм Карла Маркса.

Не ощутив по крайней ограниченности высших духовных способностей (интуитивных) незыблемости заповеди «Не пожелай»; не будучи в силах (ибо сие и невозможно при ничтожности современных человеческих знаний) обосновать ее рассудочным, логическим путем, современный Карл Смелый возымел наглость создать свою собственную «обратную» заповедь.

Господь устами Моисея Законника сказал:

— Не пожелай...

А Дьявол устами Маркса-Нечестивого возопил:

— Пожелай!..

Пожелай всего, елика суть ближнего твоего, и тогда будете, как боги... (социалистический рай).

Ну вот, — «пожелали»...

Результат?

Рая не получили. Богами не стали. Стали скотами, на которых пали неисчислимыя беды...

А в конце концов?

А в конце концов возвращаются к заповеди Божьей.

Да, возвращаются! Ибо хотя с превеликими трудами, но с каждым днем все больше марксистская, коммунистическая власть становится на службу Моисея.

Где времена «грабь награбленное»? 1925 год смеется над этим «тактическим приемом» и над временем Прудона, оравшего:

— La propriété c'est le vol!*

Прудоны, Марксы, Ленины явственно уходят в «позор небытия».

А Моисей с каждым днем растет, величественный, как та скала, из которой он выбил каменную скрижаль.

Вот он на стене, воплощенный кистью Васнецова, непоколебимый, тысячелетний.

Х. Не пожелай!..

* * *

Золото блестит, твердя священные слова, среди много-сложности запутанного рисунка вселенной. Здесь четыре стихии, здесь вся тварь земная. Здесь все травы, деревья и цветы, здесь гады, звери и птицы, здесь человек, здесь люди, здесь Ангелы и Архангелы... Здесь все чины небесные, здесь Мать Бога, здесь Слово, здесь Дух, здесь Отец..

Здесь все...

Бескрайняя сложность, безграничное многообразие мира.

Как не запутаться, как не изнемочь в лабиринте цветов, форм, мыслей, чувств?

Но вот золотом сверкают путеводные слова:

«Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца Неба и Земли, видимым же всем и невидимым...»

Так твердит золото на стенах еще не понятого до конца этого чудесного храма.

Искрится оно в лучах солнца, горит:

«Верую, верую, верую»...

Господи! Верую во все: в видимое и невидимое! Прошедшее и будущее! И чаю воскресения мертвых «там» и «здесь»!

* * *

Аминь...

* * *

Когда я стоял там на хорах, с левой стороны, у алтаря, пришло двое людей: он и она.

Они осмотрели меня, потом он стал показывать ей.

* Собственность — это воровство! (фр) (Прим ред)

Властной рукой он откинул занавеску на царских вратах, чтобы открыть ей внутренность алтаря.

Я тоже смотрел.

Вдруг он сказал мне:

— Вы иностранец?

Я вздрогнул.

Все мое эмигрантство затанцевало перед моими глазами. Румыния, Турция, Болгария, Сербия, Чехия, Германия, Франция, Польша (страны, в которых я жил в «изгнании»)...

Но как? Почему? Как он мог догадаться?

Нет. Это что-то не то.

По едва уловимой интонации я понял насмешку. Да, я понял его. Он, очевидно, решил, что я не киевлянин (ибо киевляне не рассматривают так внимательно «своего» собора) и, кроме того, что я еврей. Иногородний еврей, которому наговорили про красоты «украинского» шедевра. И это у него соединилось в вопрос:

— Вы иностранец?

Я ответил, овладев собой, первое, что пришло мне в голову:

— Я из Белоруссии...

Тогда он окончательно решил, кто я такой. Из Белоруссии! Это значит из Шклова или Орши. Ясно!

Он показал сквозь кружево Царских врат на запрестольный образ:

— Вы знаете, что это такое? Это — Вознесение Господне...

Меня это рассмешило и рассердило. Я отошел от них и оперся на чудную мраморную балюстраду.

Сказать бы ему, кто я!

* * *

Шестикрылые серафимы, закрываясь руками, смотрели с ужасом.

Там, наверху, была Голгофа...

* * *

Да разве можно рассказать этот собор?! А этот завиток, двойная петля, из серо-голубого мрамора, видели? Нет? Так что же вы видели?..

* * *

В заключение этой главы не могу не привести весьма печальное, сделанное мною наблюдение: живопись Собора, должно быть, от сырости, должно быть, оттого, что не топят, явственно начинает портиться. На хорах многие фрески уже съедены. Роковая гангрена подобралась уже и к некоторым второстепенным изображениям. Она пойдет дальше, если не примут мер.

IX

СВЯТАЯ СОФИЯ

Из Владимирского Собора меня потянуло в здание, которое первоначально называлось Педагогический Музей.

Поучительна его история.

Он появился на свет Божий с надписью:

«На благое просвещение русского народа».

Родителями были Могилевцев, который дал деньги, и Алешин, архитектор.

Здание прелестное, ловко собравшееся под стеклянным куполом.

* * *

Но недолго просвещали русский народ.

Пришла Украинская Рада, уселась под стеклянным колпаком и, погасив свет тысячелетней истории, объявила 35 миллионов кровных русских нерусскими.

Но надпись: «На благое просвещение русского народа» — еще держалась.

Однако пришел день, это был апрельский день 1918 года, выросли зловещие леса, и какие-то люди стали копошиться над буквами, уничтожая просвещение и зачеркивая русский народ.

* * *

Но им надпись не удалось снять тогда. Рука судьбы опустила на их голову гетманский переворот, и именно здесь, под этим куполом, была разогнана Украинская Рада. Надпись осталась.

Но ее сняли позже. Кажется, это было тогда же, когда этот стеклянный купол обрушился или его обрушили на головы сотен офицеров, взятых в плен при падении гетмана.

А затем...

Затем был Петлюра, большевики, Деникин, опять большевики...

* * *

Сейчас купол восстановлен, здание опять ловко собралось под ним.

А надпись?

* * *

Надпись: «Музей Революции».

* * *

Музей Революции. Да, да... Это хорошо. Когда революция переходит в музей, это значит, что на улице... контрреволюция...

* * *

Я вошел. Но уже в вестибюле меня стошнило от гнусных плакатов и всякого рода этакой дряни. Кроме того, здесь было много слишком экспансивных для музея личностей. Еврейские барышни коммунистического вида сновали по всем направлениям. Я почувствовал себя «не вполне обеспеченным». У них в глазах — опять был вопрос:

— Что за тип? Откуда он взялся?

Положительно моя провинциальная внешность гомель-гомельского стиля слишком привлекала внимание просвещенной столицы Украины.

Столица! Увы... Киев деградировал. Столица нынче — Харьков.

* * *

Я ушел из музея. Пошел по Владимирской, которая сейчас называется улицей Владимира Короленко. На стенах театра висели какие-то афиши. Все то же: «Аида», «Фауст»... Коммунистических опер еще не сочинили. В этом именно

театре разыгралась «Жизнь за Царя» XX века: здесь убили Столыпина в 1911 году.

По улице, залитой солнцем, шло много людей. Я еще раз и без конца всматривался в эти лица.

Где же «печать страдания»?

* * *

Я помню, когда в 1919 году я вошел в Киев с деникинцами, после восьмимесячного владычества большевиков.

Боже мой! Тогда «печать страдания» не нужно было отыскивать. Она лежала на всех лицах, похудевших, почерневших, потерявших свою твердо установленную киевскую миловидность. Она лежала на израненных, искалеченных домах, на заколоченных, умерших лавках и магазинах. Она чувствовалась в самом воздухе, раскаленном мукой безмолвия. И так было ясно: здесь прошел конь Аттилы, здесь прошел социализм.

* * *

Теперь в 1925?

Нет, теперь было иначе.

Страданье, конечно, есть. Но оно запряталось: оно иное.

На улице видно движение, извозчики, трамваи, автомобили. Торгуют магазины, манят витрины, радуясь вновь обретенным вещам... Много уличной торговли. Торгуют всем, всем, всем... Среди прочего мне бросилось в глаза обилие сластей. И еще — букинисты. Много, много книг разложено на улице. Все больше старые. Чего тут только нет. Среди других ярко выделяются томы «Россия» с двуглавым орлом и трехцветным флагом на красивой обложке.

В наше время за такую книжку расстреляли бы... Теперь? Теперь, по-видимому, этого рода кровавое безумие прошло. Можно торговать открыто «отреченной литературой».

Так смирился ортодоксальный коммунизм.

Я как-то читал в какой-то иностранной газете, что на вопрос одного корреспондента, что он делает во время «отпуска», Ленин ответил:

— Внимательно изучаю «1920» год Шульгина...

* * *

Так? Но если так, если Ленин его изучал, то он мог прочесть там нижеследующее предсказание:

«Белая Мысль победит во всяком случае...»

* * *

И вот она уже победила...

Да, она победила.

* * *

И потому лица людей пополнели, поздоровели, и потому милovidные киевские мещаночки опять длинной цветочной змейкой вьются по улицам и стогнам Матери городов Русских.

Некоторые из них в красных платочках, что красиво на солнце.

* * *

Вернулось Неравенство. Великое, животворящее, воскрешающее Неравенство.

В этом большом городе нет сейчас двух людей равного положения. Мертвящий коммунизм ушел в теоретическую область, в главные слова, в идиотские речи... А жизнь восторжествовала. И как в природе нет двух травинки одинаковых, так и здесь бесконечная цепь от бедных до богатых... И оттого вернулись краски жизни...

* * *

Появилась социальная лестница. А с нею появилась надежда. Надежда каждому взобраться повыше. А с надеждой появилась энергия. А с энергией восстановились труд ума и труд рук. И эти две вещи воскресили жизнь.

* * *

Конечно, слои переменялись местами.

Первые стали последними... Но в конце концов — «кто нам виноват?»

Разве мы не имели все? Власть, богатство, образование, культуру?

И не сумели удержать.

До того ль, голубчик, было!
В мягких муравах у нас —
Песни, резвость всякий час...

Да, и вот «пропев, как без души» красное лето, мы теперь исполняем заповедь: «так пойдѣ же, попляши».

Скачи, враже, як пан каже...

* * *

Мы были панами. Но мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя.

Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогоняют.

Так было и с нами: классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали.

Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз «из жидов».

Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать, иначе ее тоже «избацают».

Коммунизм же был эпизод. Коммунизм («грабь награбленное» и все прочее такое) был тот рычаг, которым новые властители сбросили старых. Затем коммунизм сдали в музей (музей революции), а жизнь входит в старые русла при новых властителях.

Вот и все...

И это ясно написано на улице Владимира Короленко, как и на всех других.

* * *

Памятник Богдану Хмельницкому стоит против Софийского Собора.

* * *

Ой, ты, батько Зиновий-Богдане... Вздернул коня над кручей! Смотришь вдаль. Что видишь? Сорок сороков горят Белокаменной. Что слышишь? Звон их по ветру доносится.

Что мыслишь? Царь Алексей Михайлович на Кремлевское крыльцо вышел.

Ну, что ж? Быть али не быть? Ох, высока ты, киевская круча, ох, широк, широк ты, Днепр...

Замерла казацкая степь.

— «Самое имя русское хотят задушить в нашей земле!» — поют в тишине днепровские струи. И кричит в ответ гетманское сердце:

— Да не будет сего!

— Да не будет, — шумит казацкое море. — Да не будет! Стрибай, батько! Стрибай, Богдане!!!

И гетман прыгнул. Высоко взвился степной конь, зацепил было за тучу, но справился.

— Под твою руку, Алексей Михайлович! Прими старое гнездо свое, древнее, Киев и с ним всю Малую Русь! Сбереги, Царь русский, племя русское...

* * *

Да... Прыжок был не из последних. Два с половиной века перемахнул казачий конь. Слава... Слава Зиновию-Богдану Хмельницкому, Гетману!

А Софийский Собор.

Предчувствую тебя...

О, как паду и горестно и низко,

Не одолев смертельные мечты!..

(Александр Блок)

Придет день, скверный день, подлый день, когда одолеет «патриотическая умственность». Когда на смену бездушному, холодному, чисто рассудочному украинофильству придет такая же бизантомания.

Они будут восстанавливать «интегральную» Великокняжескую эпоху. Они вычертят святую Софию такой, какой она была, по их мнению, во времена Ярослава Мудрого, и будут талдычить о ее красотах до той поры, пока загипнотизируют власть имущих. И тогда начнется «реставрация». В угоду умствующим патриотам начнут резать по живому сердцу. Со святой Софии снесут все позднейшие «наслоения», оставят одну Нерушимую Стену. И к этой одной пристроят остальные по чертежам «умствующих».

Если я доживу до этого дня (что сомнительно), я лягу костьюми — за «наслоения», «за Мазепу». Да, это будет ирония судьбы, но так будет.

Мне этот храм дорог такой, какой он есть. Вот со всем этим вавилонским столпотворением стилей.

Какая смесь одежд и лиц..

Но ведь такова — Россия.

В течение веков она вобрала в себя бесчисленные «народные души», и эта смесь, этот *mélange*, всегда опасный политически, но сладостный культурно, — это и есть Российская Держава.

Нельзя ее приводить в «первоначальный вид» «очищать», в примитив умственности ради. Из этого выйдет только варварство. Россию можно разрушить, но не реставрировать. Кто хочет ей жизни и добра, то пусть делает свою пристрочку к уже существующему. Не надо идти назад, а всегда вперед.

В частности истинное, чистое, плодотворное увлечение византийщиной создало Владимирский Собор... Но ведь Васнецов, Нестеров и Прахов не творили дело разрушения. Они создали новую жизнь. И их труд был благословен. Точно так же поступали те, кто с XVI века старался из сохранившейся Нерушимой, но мертвой стены сделать живой храм, храм, в котором можно молиться, те, что в течение веков создали нынешний Софийский Собор. Его нельзя трогать... Пусть основание Ярославово (XI век), середина Петра Могилы (XVII век), купола Мазепы (XVIII век), иконостас Николаевский (XIX век) — тем лучше. Все это срослось и живет какой-то новой соединенной жизнью и чарует несомненной красотой. Эта смесь византийщины с итальянским барокко, словом, помесь Запада с Востоком, это и есть наше киевское вековое достижение. Нельзя его трогать.

* * *

К чему это я говорю? К тому, чтобы в дни реставраторского безумия мой голос вопиял из гроба.

Не трогайте Киева... Дайте ему быть таким, каким его создала история. Направьте вашу ревность на созидание, а не на разрушение. Рядом со старым воздвигайте новое, хотя бы и в архитектурном стиле. И если новое будет лучше, как оно и должно быть, старое само собой склонит перед ним свою седую голову.

Как перед новой царицей порфиноносная вдова...

Дайте же вдовам носить их древнюю порфиру. В эпоху, когда мы будем искать новых форм для новых городов, оставьте бывшим их царственные одежды. Оставьте Киеву — барокко, Москве — кремлевское убранство. Петербургу — знаменитый его амбир.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть ..

Да, вот в чем дело. Дайте новую жизнь. А это удастся вам, если будете чтить старину.

V. — Чти отца своего и мать свою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли.

* * *

А пока что Софийский Собор горел на солнце, несмотря на то, что плохо за ним смотрят. Вот и доказательство того, как умственность ни к чему не приводит. Русская власть бережно лелеяла и украшала «Мазепинское произведение», а мазепинцы, которые сейчас у власти и захватили Софийский Собор, как «украинскую» церковь, «знили» его. Где же пресловутая любовь к краю, к «родному краю» «неньке Вкраине»? Где? В чем она проявляется?

Я вошел в собор. Он был открыт. Но никого не было. В каком-то углу возились с какой-то переделкой. Постояв перед Нерушимой Божьей Матерью и перед удивительным иконостасом, достигнувшем предела завитушечности и ухищрений, я сел на скамью там, где почти темно. Направо от меня лампада таинственно горела над ракой Святого. Прямо передо мной светил главный купол. Было очень холодно в нетопленном храме. Но я просидел долго, долго...

Молился? Может быть. Иногда размышления и молитва — одно и то же... Углубленность ведет к Богу.

Жертва Богу — дух сокрушен...

* * *

Вне этого векового, полутемного храма, где легко сосредоточивается мысль, солнце мощно горит над городом, играя всеми переливами жизни.

Куда идет эта жизнь?

Я почувствовал это позже — сильнее... Но и сейчас мне уже было ясно: Россия встает.

Лихолетие позади. Много утрачено в ужасе последних лет. Но главная стена, алтарная стена России, выдержала, устояла, как устояла эта — Нерушимая...

И сейчас дело не в том, чтобы расписывать горести Батыева нашествия, которое кончается, а в том, как восстановить храм, как достроить, вокруг Нерушимой, недостающие стены?

Постройка идет уже и сейчас вовсю. Разумеется, она отошла от старого византийского стиля. На уцелевшие стены надевается новый покров, столь же отличный от старого, сколько барокко не похоже на строительство Ярослава Мудрого. Но таково требование жизни. Эта глупая советская власть воображает, что она что-то делает по своей воле и разумению, по своим «планам». Вздор. Это только видимость. На самом деле, смирившись, она делает то, что повелевает жизнь. Она болтает свои нелепые теории, а делает то, что требует Белая Мысль. Ибо Белая Мысль во все времена указывала: живите по законам жизни, ибо сии законы суть веления Творца.

Да. Но жизнь латает, как умеет. Вот на месте древнего Ярославова Собора, разрушенного монголами, люди, которые хотели молиться, а не что-то кому-то «доказывать», построили этот храм, как умели. Они уже разучились в то время строить византийщину и потому строили по тем образцам, какие у них были. И создан храм, и люди молились, и был это живой храм, ибо его построила жизнь.

Так будет и с Россией. Вставая из-под обломков социализма, она будет строиться «как можно». Но это после-революционное «как можно» будет иное, чем то, что было прежде. На древнее Ярославово основание жизнь оденет какое-то новое барокко.

И можно молиться об одном: чтобы это соединение нового и старого удалось так же прекрасно, как в этом храме, который посвящен Святой Мудрости...

* * *

Лампада над рекой Святого мерцала, как мерцают лампы, то есть сладостно и древне. Я подошел, поцеловал мощи, потом перешел на другую сторону храма и разглядывал удивительные рисунки гробницы Ярослава Мудрого.

Древний мрамор всегда что-то хочет сказать мне. Какие-то вещие слова, которых я еще не понимаю.

Я, вероятно, приду сюда когда-то незадолго до смерти и тогда пойму...

* * *

Когда я там стоял, вдруг нелепо, но ярко заиграла мысль:

И вспоминал он свою Полтаву,
Знакомый круг семьи, друзей ..

Где это все? Бесконечно далеко.

Если бы они, друзья, могли меня увидеть сейчас, стоящим у гробницы Ярослава. Не поверили бы!

Но это — я!.. я!..

Но где же «моя Полтава»? Моя родина? Здесь, там?

Эта пустая гробница, где нет и тела, а только разве дух мертвого князя, эта бессловесная мраморная плита мне ближе, чем все те живые люди, что бегают по залитому солнцем Киеву. Может ли быть одиночество больше моего?!

* * *

А может, там я его не чувствую — одиночества — нет...

И это потому, что я сейчас в обществе тех властителей-мастеров, что работали здесь в течение веков. Я веду разговор с их тенями. Я понимаю без их слов, что они хотели сделать и сказать. Я чувствую древних, я ощущаю и тех, что пришли позже. Они близки мне все. Я предчувствую тех, что придут после меня.

Это все одна большая семья создателей. У них у всех один общий язык на протяжении веков. Они, становясь на плечи один другому, идут все в одном направлении, по одной лестнице.

Привет вам, зодчие! Созидатели жизни!

Привет вам, Варяги, Ягеллоны, Романовы!..

Привет и вам, неизвестные современные строители, самоотверженно притаившиеся под крыльями Зла, привет вам, «контрабандные восстановители жизни»!.. Будет принят и ваш камень, увы, обильно политый кровью. Потому что и он, ваш камень, — ступень. Проклятие всякого времени разрушителям! Анафема им из рода в род. Тяжкий подвиг

созидания, восстановления, воскрешения из праха да будет благословен во веки веков...

Так говорила Айя-София.

Х

ПРЕДМЕСТЬЕ

Я стоял на углу улицы Георгия Пятакова (бывшая Мариинско-Благовещенская, бывшая Жандармская) и Кузнечной, где кузнецов что-то не помню, а вот внизу какой-то металлический заводик был. Сей заводик замечателен тем (это справка для любителей старины), что в 1917 году, когда сняли памятник Столыпина, чугунная фигура Петра Аркадьевича как-то попала на заводской двор и долго там стояла, прячась за забором.

Пустяки!

Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат...

Отольем другой памятник — получше.

* * *

Так вот я попал на угол этой Кузнечной, когда солнце еще горело. Кузнечная улица — гористая, почти крутая. И много детей неслось вниз на салазках и медленно поднималось обратно, по поговорке: «Люби и саночки возить».

Была эта картина «приятная для сердца». Дети — всегда дети. Есть в них что-то неистребимо Белое. Действительно, рассуждая в порядке красном, т. е. рационалистическом, на кой хрен дети? Для того, чтобы не прекратился род человеческий? А на какой прах сие нужно? Нет, ты мне докажи! Почему нужно, чтобы род человеческий не прекратился?

А так как доказать нельзя, то он, а за ним и она засыпают канализацию абортами. Вот где их дети — на полях орошения...

Доказать, положим, можно, но для того, чтобы оперировать этого рода рассуждениями, надо, чтобы у человека было «чувство солидарности». Хоть какой-нибудь «солидарности» — солидарности национальной, солидарности классовой, солидарности общечеловеческой, наконец. Надо, чтобы он интересовался чем-то общим. Но ведь истинный «рационалист» тем-то и отличается, что у него нет «никакого социального чувства» (а интерес к общему есть «чувство»). Он ведь все хочет взять умишком.

И на все доводы этого рода он отвечает:

— А ты мне докажи, почему должен эту самую солидарность иметь! Какое мне дело до того, что там будет с государством или с человечеством, ежели мне, сказать к примеру, наплевать?.. Ты хочешь, чтобы я «чувствие» имел. А почему? А ты докажи, почему я должен иметь, если я его не имею.

Про таких людей, обыкновенно, говорят, что они «нравственные уроды». Но ведь им и на это наплевать. И они себе уродствуют. Впрочем, эту наплевательскую точку зрения, как известно, незыблемо утвердил французский монарх, по имени *après nous le déluge**. Людовик XV был первый всемирно известный манфишист. Но ведь он был король! Что же требовать от какого-нибудь гражданина или гражданки, проживающих по Кузнечной улице?

— Наплевать!..

И «дитя» отправляется в канализацию.

* * *

Но это все теория. А вот практика: неистовое количество салазок несется с гор. И в каждой санках — здоровые, веселые, «пранные» дети.

Вы знаете, что такое прана? Конечно, знаете. Кто ж из русской эмиграции не интересовался по этой части.

Прана есть мировая жизненная сила. Слово — санскритское. Так вот эти дети пропитаны соком жизни.

Значит?

Значит, нашлось солидное количество «гражданок», у которых душа была более королевская, чем у манфишистского короля.

Ах, что вы говорите!.. Им просто хотелось иметь детей. «Просто хотелось»...

В том-то и дело, что это «просто» не так просто.

Когда женщина желает испытать жесточайшие муки в течение ряда часов, а иногда и дней, только для того, чтобы мучиться еще больше в течение долгих лет, — то сие не только не просто, а просто непонятно с «рационалистической» точки зрения.

На кой прах ей это?

Да вот на тот прах, что под названием материнского инстинкта в ней говорит «великая интуиция», солидарность со

* После нас хоть потоп (фр.). (Прим. ред.)

вселенной, т. е. единение с Создателем. И потому, когда женщина, имеющая полную возможность сделать аборт, отказывается от него по той причине, что ей «хочется иметь ребенка», то Бог или, вернее, Матерь Бога где-то близко около нее.

Так-то, судари...

Умом сие вам не понять,
Рационализмом не измерить,
Рожать — особенная статья!..

Да, но, значит, в городе Киеве есть дети. Есть много детей, есть здоровые дети.

Но ведь (сейчас я открою Америку), но ведь это будущее России! Ибо если они есть в Киеве, почему им не быть повсюду?

* * *

С этой минуты мои странствования на некоторое время приобрели особый отпечаток: хождение по детям.

Их было много. По всем улицам, которые имеют склон (а сколько их в гористом Киеве), они неслись в санках сквозь синеву теней и желто-оранжево-золотые пятна на снегу. Здоровенные дети разных возрастов. От малюток до почти парней. Много девочек, но мальчиков больше.

Одеты? Ничего, — не мерзли.

* * *

Я пошел туда, вниз, в направлении, где вся эта часть города примыкает к полотну железной дороги. Это всегда считалось, так сказать, мещанской частью города. Одноэтажные домики и все прочее такое. И притом тут русское мещанство по преимуществу было.

И сейчас оно осталось такое. Еврейских детей тут было мало. Это ведь видно хорошо по лицам. Еврейские дети тоньше чертами и старше выражением лица.

Здесь таких почти не было. Здесь была русская стихия. Миловидные кругленькие рожи. Из всех наций русские дети — самые детские. Местами их было много, просто кишмиш, сотни. Все это пищало и верещало, и была радостна эта возня под морозным солнцем... Сколько здоровья, сколько этой самой «праны» они украли у природы в эти «светодарные» часы. А я наслаждался... Я ходил в этом супе à la

Busse, борще из детей и салазок, приправленном солнцем заместо сала и снегом в качестве сметаны. Кажется, впервые я почувствовал себя совсем на родине.

Вы — наши, а мы — ваши ..

* * *

Где это я слышал?

Да, двадцать лет тому назад... Здесь же, в таком же мещанском гнезде. Это был трагический день. Это было 19 октября 1905 года.

Но это не важно. Важно то, что сегодня, как и тогда, меня обтекала вот эта русская мещанская стихия и что я чувствовал биение ее сердца, что был мне знаком, родственен и понятен взволнованный пульс этого малороссийского ручья...

Малороссийского?

А может быть, «украинского»?

* * *

И с этой минуты я стал прислушиваться.

На каком языке кричала, пищала, верещала эта мелюзга?

«Прислушиваться», впрочем, не надо было, ибо делалось все это в достаточной степени зычно. Но удивляться хотелось почти что вслух.

* * *

Естественно было бы, чтобы в «столице Малой Руси» дети мещанские, то есть низовых кварталов, говорили по-малороссийски, т. е. местным народным языком. Но на самом деле было всегда иначе. Киев настолько «облитературился» за последние пятьдесят лет, что общим языком города, как и всех городов Российской державы, впрочем, стал русский язык в его книжной интерпретации. Городское мещанское население хотя, конечно, прекрасно понимало народный (деревенский) говор, но хотело говорить и потому, с грехом пополам, говорило языком образованных классов. Так было.

Но с той поры много воды утекло. Советская власть по причинам, до сих пор недостаточно выясненным, последние годы проводит украинизацию «советскими методами»,

то есть беспощадно. При этих условиях естественно было ожидать, что дети уже забыли язык, на котором говорят их родители. В школе их ведь пичкают мовой изделия Грушевского, Винниченко и К-о. Поэтому я с тревогой прислушивался к детскому говору Киева.

Но когда я побывал и там и здесь, послушал на всех улицах-горках, которые попались на моем пути, поймал говор сотен, если не тысяч детей, «мое чело прояснилось».

* * *

Да, сообщаю это по чистой совести: ни одного украинского слова среди детей Киева мне не удалось выудить.

* * *

И потому я позволяю себе провозгласить славу их «ридным ненькам» и упрямым батькам.

* * *

Слава тебе, малороссийское мещанство! Не на словах, а на деле отстаиваешь ты Матерь городов Русских, колыбель Руси, откуда Она, Русская земля, пошла, стала есть...

И недаром же, о, мещанская стихия, почувствовал я странное волнение, когда погрузился в сочные воды твои. Ты крепче, ты надежнее, ты упрямее, ты вернее верхов. Не выдашь, не отдашь Родины. Ты, малороссийский борщ, бульба Тарасовская. Ты все снесешь, все вытерпишь. И скоро зальешь этот город хорошенькими барышнями-девчонками с румянцами на щеках и здоровыми упрямыми хохлами, которые на вопрос нового Хмельницкого на новой Переяславской Раде:

— Все ли тако соизволяете?—

ответят оглушительным, как балаканье Черного моря, прибоем:

— Все! Все! Все!!!

И, обнажив голову, помолятся:

— Боже, сохрани! Боже, утверди! Чтоб мы навеки вси едины были...

(Переяславская Рада, 1654 год).

Через царство детей я прошел под железною дорогой в царство мертвых, т. е. на кладбище. Тут крутая улица в гору. По левую сторону старое кладбище, по правую — «новое», которому уже лет тридцать. И вот, между этими двумя огромными тенями мертвецов, струился радостный поток жизни. Санки летели с самой высоты горы. А прямо против кладбищенских ворот был ухаб. Этот большой ухаб заставлял высоко подпрыгивать сани в воздухе. Мальчики и парни показывали здесь свою «удаль». Швырнет сани вверх, и вот надо усидеть, не скривиться, чтобы еще с большей быстротой понеслись дальше. Несколько взрослых остановилось смотреть на забаву. Интересно. И старик какой-то седой, немножко странный, подошел к ним и смотрел тоже. Это был я.

* * *

Я подымался по этой горе. На «старом» я мог бы отыскать могилы отца и матери. На «новом» есть безыменная могила — это сына. Между этими двумя поколениями легла дорога, по которой я пришел.

Это дорога жизни, по которой струится буйный ее ручеек. Но почему я-то бреду по ней? Почему я не на «старом» и не на «новом»?

* * *

Я взял вправо. И на этой аллее я видел то, чего больше нигде в России не увидите: я видел чины, ордена, мундиры... Все это высечено на мраморе плит и памятников, сохранено в надгробных изображениях. Царство мертвых сберегло прежнюю жизнь.

Для чего я пришел сюда?

Очевидно, для того, чтобы сказать: «Там далеко, откуда я пришел, там есть еще эта жизнь, ваша жизнь, — мертвые! Пошлите же через меня ей свой загробный привет».

И мертвые приказали мне сказать:

— Живые! Привет вам от мертвых. Привет и завет: сохраните, живые, живую душу живой. А о том, что тлен, прах, земля и к земле возвратится, не заботьтесь...

Нет, я пришел сюда и для того, чтобы найти могилу сына. Я знаю, на ней стоял лишь крест без имени. Нельзя было написать имя тогда.

А теперь я не нашел ее: глубокий снег завалил все проходы. Я ходил там, увязая. Мои следы были глубоко синие, а снег отливал оранжевым золотом. Я помолился где-то неподалеку. Не все ли равно — два шага ближе, два шага дальше? Отец Наш Небесный услышит...

Солнце зашло. Небо стало зеленоватым. Мороз крепчал. К раскрытой свежей могиле, желто-серым песком плеснувшей на белизну снега, подходили люди, несли гроб.

Нарядно-печальное пение дымком ладана струилось к первой звезде.

Я ушел с кладбища. И еще углубился в «мещанскую стихию». Было уже темно, мне очень захотелось чаю. Какой-то домик, совсем невзрачный, приманил меня. На нем было написано — чайная.

Я вошел.

Это была низкая комната, с железной печкой посередине. Стены обклеены белой бумагой. Столики тоже крыты бумагой. Хозяин стоял у прилавка. Больше гостей никого не было.

Я сел в углу. Подошел молодой человек, которого я сначала принял за еврея, но потом понял, что он грузин. Хозяин тоже был грузин, седой, красивый. За перегородкой женский голос, хозяйственный — русский. Все говорили по-русски.

Я спросил чаю.

Принесли сильно сладкого и ломоть белого хлеба.

Около печки кто-то грелся: человечек молодой, обыкновенный, русский. Было уютно. Из-за перегородки хозяйка, которая казалась мне красивой и молодой по голосу, говорила с грузином постарше о чем-то хозяйственном.

Отворилась дверь, и вошел «некто в бурке». Он вошел шумно и сразу наполнил громкой болтовней затихшую комнату. Шумно поздоровался с хозяином, зычно приветствовал невидимую хозяйку, со стуком поставил табуретку перед печкой. Уселся, спиной ко мне. Мне был виден его затылок, в какой-то фуражке или кепи, и несгибающаяся бурка, изобразившая геометрический чертеж на фоне светящейся печки. Я успел разглядеть, что это человек немолодой, худощавый, между сорока и пятьюдесятью.

— Кавказская?— спросил грузин про бурку.

— Какое там! Наша. Вот лезет уже. Дрянь! Да что у нас хорошего? «Советская республика»... «Сере»!..

Я прислушался. Но он говорил так оглушительно, что если бы я хотел не слушать, то слышал бы.

— Что у нас есть хорошего? Кому у нас хорошо живется? Жидам одним!

Мне показалось, что хозяин хотел бы переменить разговор.

— А как там на съезде, что пишут?

— На съезде? Да что там... Зиновьев, Бухарин... Все только, чтобы нам головы дурить!..

Хозяин не поддерживал этого разговора. Человечек около печки как будто бы заерзал. А бурка продолжала оглушительно:

— А почему? А потому, что мы, русские,— дураки! А потому, что мы, русские,— сволочь!.. Так нам и надо! Что мы такое? Мерзавцы!

Человек около печки явственно заерзал. И, наконец, сказал:

— А вы-то кто?

И еще что-то такое, чего я не расслышал.

Бурка ответила:

— Я — я украинец! Я в своем государстве живу — потому так и говорю; потому что на украинском языке другого слова нет, как только: «жиды». Я потому и говорю «жиды», что иначе нельзя сказать. У нас на Украине, в украинском государстве, «еврей» нельзя сказать. Вот потому я и говорю — «жиды»!

Очевидно, я что-то пропустил. Сделал ли хозяин ему какой-нибудь знак, или ерзавший человек около печки ему шепнул, что, мол, тут кто-то есть (про меня, конечно), кто может быть жид, но, словом, музыка пошла не та. Он продолжал так:

— Я, как украинец, говорю — «жиды»! Но я не погромщик.

Тут его голос стал совершенно оглушительным. Бумага колыхалась на стенках. И печка притаилась в ужасе.

Хозяин сказал:

— Да не кричите так.

Но это его еще больше подзадорило.

— Нет, я не погромщик. Когда погром был, кто жидовку спас? На углу, во втором этаже, кто спас? Я. Я ворвался и детей ее взял на руки. И не дал. Говорю: «Не трогайте,

она хорошая жидовка». Я не погромщик. Но я скажу: сами мы русские виноваты, сволочь! Зачем друг на друга идем, зачем? Зачем все сделали? Сами ее, эту «свободу», задушили. Я не говорю, нужна свобода, да разве так надо было?!

Он вдруг замолчал, как бы оборвался на самой высокой ноте. Потом добавил гораздо тише:

— А знаете, что я вам скажу? Последние времена приходят: жида против жида пошли! Когда это видано было?! Ну мы, русские, мы сволочи, всегда так делали (тут он опять стал вопить). Но жида всегда заодно были. А теперь: ей-Богу, жид жида выдает!!!

В это время открылась дверь. Вошел еще человек и с порога сказал:

— Да ты не ори так! На улице слышно!

После этого он оглянул комнату, на мгновение остановился на моем незнакомом лице. Наверное, тоже подумал, что я из жидов.

Как бы там ни было, с этой минуты стало тихо и обыденно

Разговор упадет, бледнея

* * *

Я выпил чай, съел хлеб и ушел через темные улицы. Впрочем, не более темные, чем они всегда были. Электричество не уменьшилось, на мой взгляд. Конечно, «электрификации» в ленинском смысле нет и в помине, но в общем — вроде как было до революции. Кое-где дети продолжали салазничать при свете фонарей. Ночь была нарядная, снег еще чистый, серебряный...

ХІ

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОЖКУ

Однажды я пришел в одну молочную. Ее содержала «средних лет» гражданка. Я сюда уже несколько раз заходил, потому что здесь давали какую-то простоквашу с мудреным именем, вроде Муссолини, нет, не Муссолини, а Мацони. Я, значит, стал мационистом, но не потому, что кто кушает Мацони, молодеет, как уверяла хозяйка, а потому, что в этой маленькой молочной не замечалось подозрительных личностей, да и вообще «сидячих» посетителей почти не было.

Придут, спросят молоко, хлеб, еще что-нибудь и уйдут. Заходили все больше женщины в платочках. Раз как-то пришла молоденькая, спросила хлеба. Это было на праздниках Рождества Христова, по новому стилю. Хозяйка говорит:

— Нет хлеба.

— Почему?

— Да потому, что праздники, не выпекли.

Молоденькая повернулась с сердцем. И, взявшись за ручку двери, бросила во внутрь молочной:

— Праздники! Разве это праздники? Праздники еще впереди, а эти праздники одни дураки празднуют!

И хлопнула дверью.

Мне при этом вспомнилось, как Троцкий все обещал дверью хлопнуть. Но пока что не хлопает. А вот тут уже начали.

Хозяйка пожала плечами и посмотрела на меня, как будто хотела сказать:

— А я-то тут при чем?

* * *

В этот день, про который я рассказываю, когда я пришел, в противность обычаю за одним столиком сидел кто-то. Это был молодой человек в фуражке. Когда я вошел, хозяйка, которая уже считала меня своим постоянным гостем, ошарашила меня на пороге. Хотя она обратилась к молодому, но с какими словами!

— Вот (указывая на меня) — это по мне человек! Солидный, почтенный, не молодой, но и не старый. Такого приятно и в дело взять компаньоном. А молодые, я их, знаете, боюсь... Очень они уж неверные какие-то. Правда ведь?

Последние слова относились уже ко мне. Но мне вовсе не улыбалось создавать себе «врага», да еще на такой почве, прости Господи. Я ответил:

— Нет, нет, что вы. Молодой молодому рознь. Есть такой молодой, что всякого старого за пояс заткнет.

Но это на молодого не подействовало в желательном для меня смысле. Он взглянул на меня пристально и неприятно, потом встал от столика, сказав только одно слово:

— Да-с...

Но сказал его так выразительно, что я съежился: наверное, сейчас же побежит в ГПУ с доносом, что появился человек с седой бородой — «весьма подозрительный». Он и пошел к дверям, прибавив язвительно:

— Ну-с, желаю всего хорошего.

И вышел с блеском в глазах. Блеском соперника, затаившего месть.

Мы остались одни, вдвоем с хозяйкой. Она сказала:

— Вы ничего не имеете против, что я так сказала? Я — нарочно. Этот молодой человек, он ничего себе, но он мне не пара, нет, нет, нет... А просится в компаньоны... Вы извините, если вам, может быть, не понравилось.

Теперь она собиралась обидеться! Час от часу не легче. Из нелепого положения меня вывела внезапно нагрянувшая компания. Тоже женщины. Четверо. Всех возрастов — от восемнадцати до сорока. Хозяйка гостеприимно заволновалась:

— Пожалуйста, пожалуйста. Вот сюда. Ничего, поместитесь. В тесноте, да не в обиде, как говорится. Вот вам и кавалера припасла. Веселье будет...

Это она про меня-то! О, Господи...

Женщины засмеялись, кто как мог, как смеются киевские мещанки, то есть весело и без особой робости. И не успел я оглянуться, как они обсели меня со всех сторон и начали разговор. Оказалось, что они не мещанки, как я думал, а деревенские. Приехали в Киев по делам. Но, очевидно, часто ездили, потому что говорили «по-русски», т. е. тем киевским говором, который есть естественное приближение народной малорусской речи к языку образованных классов. Они были в платочках, а одеты скорее по-городски. Скромно, но чисто. От румяно-белых лиц веяло здоровьем.

Очевидно, их не утратила моя седая борода. Впрочем, хозяйка лансировала меня всеми средствами. Я защищался против обвинения меня в кавалерстве:

— Какой я кавалер, старик-то?

Она отпарировала:

— Какая ваша старость?! Ваша старость можно сказать «съемная». Вот вы бороду снимете, и старости не будет. И Мацони не надо!

Это было поддержано хором. Мой успех становился головокружительным. Но сквозь дурман светских побед я все же старался сообразить, в чем же дело.

И мне кажется, я понял.

* * *

Все это не так глупо, как иным покажется.

Может быть, я ошибаюсь. Опасно делать такие обобщения.

ния. Но по очень многим признакам, которые я могу вспомнить и которые не могу, по тону, которым со мной разговаривали носильщики, проводники, извозчики, номерной в гостинице, Милочка, горничная оттуда же, так же, как и ее хозяйка, торговцы в мелких лавках и иной маленький люд, по всему их обращению со мной я почувствовал то самое, что намечалось уже в 1920 году.

Уже тогда при соприкосновении с так называемыми низшими слоями населения я чувствовал, как в них пробудилось какое-то сердечное отношение к интеллигенции. Как будто они хотели сказать: вот, дьявол, черт, попутал нас, хотели мы вас всех вырезать, буржуями проклятыми называли, а на проверку что вышло? Вышло, что те, кто нас подзуживал, — сволочь, шантрапа и обманщики! А из настоящих людей только вы и есть. Какая-то нежность к напрасно обиженному, то, что так вообще свойственно русскому отходчивому характеру, проявлялось уже тогда. И вот это самое я теперь почувствовал.

Льнет народ к старым верхам. К остаточкам, обломочкам, лушпаечкам старого, которые он с необычайной чуткостью определяет.

И потому седая борода не устрашает. Ведь люди, которые от прежнего, они сейчас почти что все с сединой. Молодые, те старого и не знали и не помнят. И не у них этому идеализированному старому учиться.

От этих зорких женских глаз никаким гримом не укроешься. По манере, как ложку держишь и Мацони хлебаешь, по взгляду, по двум-трем словам они угадывают прежнего человека. И симпатия обеспечена.

Скажут — ну, это вы уже хватили! Нет, не хватил. Чует мое сердце, что я не ошибаюсь.

Эта симпатия к старому есть огромный капитал. Но великая опасность не суметь его использовать и еще раз разочаровать в себе народную душу.

Три женщины скоро смылись, осталась одна. В это время вошел какой-то человек огромного роста, крайне широкоплечий, словом, богатырь. Он занял столик против меня, но сначала не обратил на меня внимания, а стал разговаривать с оставшейся молодой девушкой, как с знакомой. Она его спросила:

— А что ж он?

Он махнул рукой и ответил устало-могучим голосом:

— Что ему сделается! Выпустят. Разве же они разбойнику что сделают? Это все друзья. Все они одинаковы!

Девушка что-то пробормотала и тоже ушла. Тогда он, облокотившись могучими кулачищами на столик, остановил свой какой-то угрюмо-добрый, если такой может быть, взгляд на мне. И некоторое время рассматривал, как я хлебал Мацони, которое так и не дали мне до сих пор кончить. Закусывал я куском белого хлеба.

Так продолжалось некоторое время, потом он неожиданно спросил меня:

— Это вы поверх завтрака?

Я сначала не понял. Он пояснил:

— Вы уже позавтракали? А это так — добавка?

Я ответил:

— Нет, это я завтракаю. Вот еще чай буду пить.

Он как-то печально и презрительно-ласково подтянул губы, покачал головой.

— Как это вы, городские, кушаете... Что это за завтрак? У нас завтрак — одного хлеба фунта три, а за целый день и шесть съедаем. Да сала, да колбаски или миску с мясом. А такой завтрак... Плохо вам живется?

Это было продолжение того же самого. Может быть, он и не ест шесть фунтов хлеба, так себе прибавляет, но смысл этого апострофа ясен: жалко ему меня.

Я ответил:

— Это, знаете, от работы зависит. Наша работа городская, так сказать — головная, она другой пищи требует. А деревенская работа, она иная, тут много кушать надо.

Он покачал головой и сказал с каким-то непередаваемым выражением доброты, печали и презрения:

— Да вот, я уже десять лет не работаю! А есть все не разучился...

Я спросил:

— Как же так не работаете?

— А вот так!

— Как «так»?

— А вот так, что старое проедаю. Пусть оно пропадет все, ничего не надо!

Я посмотрел на него с великим интересом. Что в нем было замечательного, это какое-то странное соединение могучести и обреченности. Этот человек кулаком убил бы быка, и это в нем чувствовалось, и вовсе не чувствовалось дряблостью лени, наоборот, — притаившаяся, энергичная сила. Но какая-то печаль ее убила. Вот не хочу работать! Не то что не могу, а не хочу...

Он продолжал смотреть на меня своим угрюмо-ласковым,

тяжело-приятным взглядом. Поставил оба локтя на стол, подперся и смотрел прямо в глаза. И говорил голосом, который казался мягким, но от которого подтанцовывали чашки с Мацони:

— Вот она спрашивала, что ему сделают? Ничего ему не сделают. Злодею ничего не сделают. Потому — сами злодеи. Он кто? Он — из партии. А что такое партия? Кто винтовки в руки взял и друг за друга стоит — вот это и партия. И все они такие — коммунисты. Деникинцы, бандиты, штундисты — всех их перевешать! Партия! По дорогам разбойничать, а потом друг дружке помогать по тюрьмам. Вот это значит партия!

Я обратил внимание, что он в эту компанию коммунистов и бандитов включил деникинцев и штундистов. Про деникинцев я не посмел спросить, но про штундистов спросил:

— Разве штундисты тоже плохие люди? Я думал, что они только Богу молятся.

Он внимательно посмотрел на меня, как бы стараясь понять, что я это искренно. И по-видимому решив в утвердительном смысле, — сказал:

— Нет, нет, это вы не знаете... Это вы думаете, что они для церковности. Это только для виду так. А на самом деле тут все в том, чтобы партию составить. Один человек, коли разбойник, ему плохо. Сам себя выручай. А вот как разбойники соединяются, чтобы друг другу помощь давать, так это значит партия. А как называется, то это все равно. Вот эти штундистами называются. А все только видимость. Все только для того, чтобы до винтовок добраться.

Я слушал его с величайшим вниманием. От этой сумбурной, могучей фигуры веяло на меня деревней, которая, плохо разбираясь во всем том, что происходит, ясно, однако, чувствует, что добра от всех этих новшеств не будет. А он встал и заключил:

— Пока всю эту сволочь не перевешают, не буду работать! Пусть пропадает все...

И вышел, не хлопнув дверь. Притворил тихонько. Печальный и обреченный. Но не верилось, чтобы эта силища когда-нибудь не проснулась. Пусть появится хоть просвет надежды в этом десять лет грустящем сердце, и кто знает, что он сделает.

Я ушел из молочной и пошел без определенного плана действий, что со мной иногда случалось. Таким образом, я попал на еврейский базар, который иногда называют и Галицким. Я его не особенно хорошо помню, но на меня произвело такое впечатление, что базар сильно разросся. Тут сейчас было много рядов, которые нельзя было иначе назвать, как маленькими магазинчиками. И торговали решительно всем. Обувью, платьем, посудой, не говоря о всякой живности. Мне показалось, что сюда ушла некоторая часть гонимой торговли. Теоретически это должно было быть так. Так как государство прижимает большие торговые предприятия, стараясь забрать их в свои собственные руки, то должна развиваться уличная торговля, корзиночного и лоточного типа, и полууличная — базарная, «будочная». Вот еврейский базар был покрыт такими дощатыми отделенницами, будочками, где кипела торговая жизнь. Я бродил между этими рядами и все это рассматривал, но, опасаясь, что и за мной могут подсматривать, стал торговать в одной будке большой красный платок, с синими цветами и бахромочкою. Платок сей, как и множество ему подобных, были радостными, красочными пятнами на серости дождливого дня. За пять рублей я приобрел сие сокровище — воспоминание о Киеве.

С базара меня понесло на Крещатик, благо уже чуть темнело. Крещатик — главная артерия Киева, и Антон Антоныч просил меня не появляться там днем, во избежание опасных встреч.

Пока я добрался, стемнело. Я на минуточку остановился на Большой Васильевской, которая нынче называется Красноармейской, где был наш клуб, «русских националистов». В 1919 году членов этого клуба, не успевших бежать из Киева, большевики расстреливали «по списку». Где-то нашли старый список еще одиннадцатого года и всех, кого успели захватить, расстреляли. С этого и пошла молва, что «жиды расстреливают русских по алфавиту», и это сыграло немаловажную роль в дальнейшем. Состав киевской чрезвычайки в то время состоял почти исключительно из евреев, это доказано документально, личный состав чрезвычайки напечатан со всеми фамилиями. А в

1918 году этот злосчастный клуб расстреляли из тяжелых орудий, сделав несколько больших пробоин в доме. Меня интересовал этот дом с той точки зрения, насколько залатаны последствия «гражданской войны».

Ничего. Все замазано, и если бы не старожилы вроде меня, то никто бы и не знал, что тут было. Сейчас здесь красноармейский клуб с соответственными надписями. Тошно.

Что касается пробоин и вообще внешнего повреждения города, то тут, кстати сказать, все это заделали. В некоторых отношениях эти рубцы заживают слишком поспешно. Есть вещи, которые, хорошо было бы, если бы остались неприкосновенными в своем разрушении: в воспоминание о том, как социалисты благодетельствовали русский народ.

* * *

Но вот Крещатик. Как известно, здесь протекала когда-то речка, при впадении которой в Днепр Владимир Святой крестил русский народ. Оттого эта улица и называется Крещатик. Сейчас ее окрестили улицей «Товарища Воровского». Не знаю, когда случилось сие событие: при жизни сего почтенного деятеля или после того, как его убил Конради. Дело от этого не меняется. Но название, принимая во внимание то, что делается на Крещатике, удачное: по Сеньке и шапка. Я хочу этим сказать, что евреи уворовали эту улицу у русских. Впрочем, таковое мое впечатление сложилось после того, как я ее прошел от начала до конца.

Теперь же, рыская глазами, как волк, направо и налево, на предмет опасных встреч, я вместе с тем старался дать себе отчет, что такое современный Крещатик, улица воровских товарищей тоже.

Прежде всего — самое общее впечатление. Освещение? Достаточно яркое. Уличные фонари в исправности, в порядке, как прежде. Из окон витрин и кинематографов света тоже достаточно. Местами даже неудобно для меня.

Движение? Движение большое. Ползут трамваи с их желтыми фонарями, и мчатся, ослепляя ярко-белыми глазами, автобусы. Это новость для Киева: их раньше не было. Автобусы, по-видимому, недурные, с внешней стороны темно-красные, чистенькие. Садиться в них не решался.

Автомобилей, сравнительно с западноевропейскими городами, мало. Ими до сих пор, по-видимому, по-прежнему пользуется только начальство. Зато извозчиков масса. Такие, вроде прежних. Немножко, может быть, ободраннее.

Людей на тротуарах много. Я пока их не очень рассматривал. Все больше столбил около витрин.

Магазинов много, и за стеклами есть все. Разумеется, все это уступает, можно сказать, далеко уступает Западной Европе, но тенденция очевидна: стремятся поспеть за ней. Коммунистическая отсебятина имеет вид отступающего с поля сражения бойца. Впрочем, где она разворачивается всюю, это в книжных магазинах. Книжных магазинов много — они большие, видные и роскошно освещены. Книг лежит за стеклом — тьма-тьмущая. Но если к этому присмотреться, то это партийная макулатура, литературные упражнения коммунистов для собственного употребления. Убежден, что обыватели этой многотрудной дряни не читают.

Тут, можно сказать, царство ленинизма. Ленин здесь, Ленин там. Ленин так, Ленин этак... Для вящего эффекта всюду торчат его портреты, во всевозможных видах. Печатные, рисованные, скульптурные, в гипсе, глине, бронзе.

Некоторые портреты сделаны превосходно. И великолепно отпечатаны.

Рядом с этой политической требухой есть очень большое количество всяких научных изданий, в особенности по всякой технике. Техника, можно сказать, заливает советский книжный рынок. Не могу судить о ценности всех этих книг, но, наверное, есть и хорошие издания.

Чего совсем нет в этих ярко освещенных витринах — это беллетристики. Да откуда она возьмется? Старую отвергли, а новой нет. Ибо какую надо иметь бездарную душу, чтобы вдохновиться на беллетристические темы при советском режиме? Ведь можно только лаять во славу коммунизма. А если только немножко начнешь писать то, о чем просит душа (а творчество без этого не может быть), так сейчас тебя сапогом в зубы.

Нападали на русскую цензуру, на «николаевскую» в особенности. А вот «николаевщина» дала нам Пушкина и все, что идет за этим именем. Что-то даст нам ленинизм?

Демьяна Бедного? Так ведь от него даже Есенина стошнило. Это он выразил в одном стихотворении. В этих стихах он отчитал Бедного за его отношение к Христу. Разумеется, сие не напечатано, но зато ходит по рукам, благо Есенин помер, повесился, не выдержавши солнечной жизни СССР.

Книжные магазины как будто все казенные. Ну, это понятно. Раз никакой свободы слова нет и за всех думает государство, то оно и за всех печатает и своим добром и торгует. Ну, а остальные?

Все это не так просто разобрать. Надписи ни одной человеческой нет. Все какие-то тяжеловесные, иногда совершенно непонятные заглавия. Но в этой тарабарщине постоянно фигурирует слово «трест». Вот что такое слово трест?

Во всем свете трест это есть сугубо частное предприятие. Соединяются люди одной и той же профессии (ну, скажем, сахарозаводчики) для того, чтобы создать предприятие гораздо более сильное, чем каждое в отдельности. Словом, это осуществление лозунга — в единении, или иначе: заводчики всех величин, соединяйтесь. Так во всем свете. А у большевиков наоборот: если трест, то, значит, нечто казенное, субсидку, что ли, от казны получающее и всякое покровительство.

Абракадабра какая-то! Во всем свете трест есть высшее выражения индивидуальной или личной свободной деятельности. А у большевиков в тресты загоняют сверху, по приказу начальства. Впрочем, о сем темном деле в другой раз.

Толковых человеческих названий, как раньше было, фамилии купца и чем он приблизительно торгует — этого почти нет. Сия страна для догадливых. Все под псевдонимом, начиная от самого государства и фамилий министров и кончая последней лавчонкой. Мне невозможно было особенно в этом разбираться, ибо приходилось зорко зыркать по сторонам, чтобы моего собственного псевдонима не раскрыли.

* * *

Зашел я в какой-то ярко освещенный магазин. Кажется, на нем было написано «Сорабкоп». Долго я скреб голову, пока я догадался, что сие должно означать: Советский рабочий кооператив. Этих сорабкопов, между прочим, тьма-тьмущая повсюду.

Тот, в который я зашел, помещается на углу Крещатика и Лютеранской (в кого они достопочтенного Лютера переделали — я не знаю), в бывшем магазине Людмера.

Вошел. Много света и масса людей. Еще больше предметов. Посмотрел налево — всякая живность, мука, масло, сахар, гастрономия, в глазах рябит от консервов. Посмотрел направо — тетради, карандаши, миски, чайники, лампы и всякие блестящие штучки. Одна такая блескунья меня пригласила: дай, думаю, куплю стаканчик и блюдечко для бритья (из алюминия) на память о древнем городе Кieve. Пошел к прилавку. Не тут-то было. Толпа разных людей напала на приказчика, почтенного, русского, который из-

водился, доставая все эти предметы с разных полок. В помощь ему суетился молодой еврей, все больше на лестницу лазил.

С большим трудом я достукался до почтенного, который, однако, узнавши, что я добиваюсь блестящего стаканчика, что сверкал где-то вверху, как звезда, куда я умоляюще тыкал пальцем, передал меня искрометному еврею. Прошло немало времени, пока я добился до этого юноши. Юноша несколько раз лазал наверх, но все доставал не то. И при окончании каждой экспедиции на него набрасывалась туча женщин, требовавших чайников, рукомоёйников и ламп. Перед такими солидными покупательницами я, естественно, со своим стаканчиком оттирался. И для того, чтобы снова добиться еврея и объяснить ему, что он мне дал не то, мне опять приходилось пробивать себе путь, вроде как ледоколу. Наконец желанный стаканчик оказался у меня в руках, и мне удалось узнать, что он с блюдечком стоит рубль с чем-то. Но завладеть им я все-таки еще не мог: я должен был отправиться в кассу, заплатить, а потом вернуться к еврею.

Касса стояла посреди помещения, и обвивало ее две очереди. Одна очередь была как очередь. А другая — люди без очереди. Это кажется неясным, но на самом деле это очень просто. В особенности если принять во внимание, что «очередь как очередь» была русская, а «очередь без очереди» почти сплошь еврейская. «Очередь как очередь» образовывалась естественным путем, а «очередь без очереди», состоящая, как я уже указал, преимущественно из дам в шляпках, получше одетых, еврейского происхождения, образовывалась так.

Каждая новая шляпка, шубка или ботики, подходя к кассе, неизменно говорила:

— Или я член кооператива, или нет?! Мне кажется, мы получаем без очереди!

На что русская публика иронически улыбалась и указывала:

— Для безочереди — вот очередь!..

Из сего наблюдения мне выяснилось несколько вещей: во-первых, что члены «советского рабочего кооператива» не рабочие. А во-вторых, что солидное число сих членов еврейского происхождения.

Естественно, я стал в нормальную очередь, этак приблизительно двадцать пятым. Надо отдать справедливость кассирше, она работала хорошо, как, впрочем, кассирши всего мира: самая темпераментная профессия.

Заплатил то, что мне полагалось, получил билетик и отправился атаковать моего еврейчика. Долго я штурмовал, пока добрался до него. Когда это случилось, оказалось, что он, естественно, за это время забыл об этом несчастном стаканчике и абсолютно не помнил, куда он его засунул. Пока он его искал, меня снова оттерли, а его позвал степенный приказчик — русский. Понадобился новый штурм, и наконец я завладел своим сокровищем.

Может быть, очень хороши советские рабочие кооперативы в сравнении с тем временем, когда люди падали от голода на улицах и вместо чаю и сахару грызли булыжники, но по сравнению с обыкновенной торговлей, какая есть во всем свете, не особенно удобно.

Вот учил их Ленин торговать и до сих пор не выучились

Но когда я, купив всё, что мне надо, обзрел все помещение прощальным взглядом, мне вдруг вспомнилось: где-то я видел что-то похожее на это, но только гораздо лучше.

Да, на углу Литейного и Кировой, в Петербурге, огромный магазин «Общества офицеров Гвардии, Армии и Флота». Ну да, они просто скопировали эту мысль. Это знаменитый «советский рабочий кооператив», где не видно никаких рабочих, а причем советы, тоже неизвестно, есть, в сущности говоря, акционерное общество, в котором все члены этого кооператива являются маленькими акционерами. Акционеры эти имеют некоторые преимущества, как-то: скидку, кредит и получают без очереди. А в остальном это есть торговое предприятие, как и всякое другое. Такими именно и были Общество офицеров Армии и Флота и другой огромный магазин Общества Гвардейских офицеров. Но только офицеры торговали прекрасно, у них был великолепный порядок.

Так вот оно что. Так для того, чтобы создать эту карикатуру с хорошего образца, надо было огород городить. И создавать социализм.

Бескрайняя человеческая глупость. Есть ли тебе предел?

А впрочем... не так-то это и глупо. Персональный-то состав тоже что-нибудь да стоит! Там, в тех старых предприятиях, превосходно поставленных, хозяевами были офицеры и их жены. А здесь?

Пусть здесь только карикатура того. Но зато здесь распоряжаются граждане и гражданки «из наших», прикрывшись «рабочим» псевдонимом.

С известной точки зрения вся революция была только борьбой за смену «личного состава». Естественно, что и контрреволюция будет такой же.

Мне становилось не по себе в слишком большой яркости «рабочего» кооператива. Просили ж меня не показываться днем на Крещатике. А тут светло, как днем. Надо уходить, на улице темно. А впрочем, даже намека на какое-нибудь знакомое лицо я пока не видел.

Кстати, по поводу лиц. На Крещатике можно найти отчасти разгадку, куда девались евреи с Подола. Они здесь. Насколько остальные улицы, и в особенности окраины, сохранили русский отпечаток, настолько на Крещатике множество еврейских лиц бросается в глаза. Для проверки я пробовал считать: на скольких евреев приходится один русский. Очень труден этот счет, и за него я не ручаюсь. Но все то, что я посчитал, вышло так: на десять русских сорок евреев. Может быть, мой «процент», как все проценты, хромает, но преимущество евреев над русскими на Крещатике несомненно.

Тут происходит то, что в течение веков происходило в Малороссии во время владычества Польши. Когда евреи являлись в русские города и городки, они с течением времени занимали центр, так называемый «рынок», вытесняя русское население на окраины. Стоило проехать по бесчисленным местечкам Юго-Западного края, чтобы в этом с точностью и с совершенной наглядностью убедиться. Здесь происходит то же самое, не с такой наглядностью, но в неизмеримо большем масштабе.

Следует ли из этого, что евреи довольны своим положением в Советской России? Я говорю не о коммунистах-евреях, а о широком еврействе.

Я этого пока не знаю. Но сомневаюсь.

Насколько видит мой глаз, положение евреев привилегированное, они живут лучше, чем русские. Но значит ли это, что они живут хорошо, что они живут так, как им бы хотелось?

Я позволю себе думать, что, когда они были на положении «угнетенной нации», они объективно жили лучше, чем в состоянии привилегированного сословия. Здесь применима греческая поговорка: «Лучше быть поденщиком в этом мире, чем царем в царстве теней».

Что из этого привилегированного положения, когда руки

связаны? Настоящий еврей живет оборотом. Широтою коммерческого размаха. Какая ему нужна «свобода»? Первая свобода торговать свободно. А тут хотя и «учат торговать», но сами учителя портачи и то и дело, смотри, выкинут какую-нибудь пакость, которая зарез для коммерческого человека.

* * *

Не выдержав искушения, я все же еще юркнул в один магазин. Кажется, это был Бумтрест, но не ручаюсь, словом, писчебумажный. Приманили меня открытки города Киева. Те самые, которые сейчас издает «Ольга Дьякова» в Берлине, но забавно было их купить тут же на месте, чтобы потом «хвастаться» друзьям. А кстати хотелось купить несколько портретов гениального. Очень уж он выразительно делал на меня свой прищуренный глаз, который воспел Горький. Он рассказывает, что, когда Ленин так щурился однобоко, у него было необычайно доброе лицо. В одну из таких добрых минут бывший босяк, Максимушка, решился подползти к коленам пресветлого и бил ему челом, вопрошая:

— Владимир Ильич, вы жалеете людей?

Гениальный сделал добрый глаз и ответил:

— Смотри каких...

— То есть как это? Осмелюсь просить пояснения.

— А так. Умных жалею!

И прибавил, сделав такой добрый глаз, что Максимушка совсем растопился в некую кляксу из слизи одесского порта:

— Только знаете что, Горький. Умных-то из русских очень мало. Если какой-нибудь и найдется, то, наверное, с примесью еврейской крови. Так-то, товарищ Пешков.

А товарищ Пешков, захлебнувшись от восторга, поведал о сей беседе всему миру — «Отечеству на пользу, родителям же нашим на утешение».

Что ж удивительного, что в царствование Владимира Первого из фамилии Ульяновых евреи перебрались на Крещатик, а русские, которые не на Собачью Тропу, так в Липки, в то место, где помещались «Губернская» и «Всеукраинская» чрезвычайки.

Что ж жалеть дураков?

* * *

Так вот гениального с добрым глазом и без оно́го я себе купил на память. А Троцкого в шлеме и красавца мужчину Буденного и прочих знаменитостей, «рыкающих» и «бухарающих», которые глядят со всех витрин Матери Городов Русских, не купил. Поскупился. Впрочем, стоят они не дорого, двадцать пять копеек за голову, только Ленин с добрым глазом подороже — сорок копеек.

* * *

Потом купил себе теплые туфли на улице. Знаю, что это не интересно для читателя, но только ради цены: два рубля заплатил. Доллар. За доллар какие бы я себе купил в буржуазной Франции туфельки! Богатые, должно быть, эти рабочие и крестьяне в рабоче-крестьянской республике, что тут все так дорого...

Занесла меня еще нелегкая в одно учреждение. Это уже совсем дешево: десять копеек. Что это такое, я не могу определить. Название забыл, да оно бы только запутало дело. Какие-то плутоватые жидочки сидели около кассы. На их лицах при большей внимательности можно было бы прочесть: какой ты дурак, что нам платишь хотя бы десять копеек... В этом учреждении нестерпимо выла какая-то музыка, очевидно нечто механическое, и стояли весы, где можно взвешиваться, силомер. Был еще второй этаж, так там что-то ели и пили. Впрочем, света была масса и тепловато: парочки заходили сюда, очевидно, погреться. Но и так народ был, вкушая сие простое и здоровое развлечение: взвесится, попробует силу, и довольно. Хороший народ русский, нетребовательный.

* * *

В Сипéта* я не решился пойти. Но заметил, что большой кинематограф, который помещался в зале Шанцера, называется Госкино, что понятно — Государственный кинематограф. Но шли в этом государственном кинематографе вещи не очень государственные или, вернее, не того государства: приключения национального английского героя

* Кинематограф (фр)

Робин Гуда. Публика валила. Света масса и все, как в Западной Европе...

Понемножку, понемножку, стараясь как можно больше увидеть и как можно меньше себя показать, стал я приближаться к городской думе. Шел по левой стороне, там немножко потемнее, и вдруг наткнулся на нечто, что заставило меня впасть в кратковременный столбняк. В уличном газетном киоске я увидел ярко освещенное лампочкой объявление, на котором крупными буквами стояло: «В. В. Шульгин».

Впрочем, через мгновение я нашел объяснение сей ошарашившей меня надписи, ибо более мелкими буквами было написано: вышла в продажу книга «Дни».

Я знал, т. е. мне говорили, что большевики выпустили мою книжку. Но все-таки встретиться лицом к лицу со своей фамилией, в то время как я путешествовал «под строжайшим инкогнито», в этом была своя пикантность. Если бы я на улице, тут же, закричал, что я — я, меня бы сейчас сцапали. А вот книжку мою распространяют. Но разве это не похоже на то, как они поступили и в других случаях? Например, трестовиков расстреляли, а тресты насаждают, торговцев уничтожили, а торговле обучают, и наоборот — интернационал насаждают, а каждому, кто из другой нации нос сюда покажет, голову оттяпают. Удивительные люди, какой-то заворот мозгов!..

Я подошел к будочке и, озираясь по сторонам, спросил книгу Шульгина «Дни». Барышня продала мне за рубль двадцать копеек. Этот автор, который, крадучись, трепеща, покупает свое собственное произведение, — чем не тема для карикатуры?

* * *

Схватив книгу, я успел только рассмотреть, что ее издало Ленинградское издательство «Прибой», и побежал дальше. Впрочем, тут же около городской думы меня ожидало новое удивление: лошадь с забинтованными ножками. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что это «лихач» прежнего, старого времени... «Псевдоним» в данном разе состоял только в том, что традиционной сетки на лошади не было. А все остальное, как было. То есть хуже, конечно, как и все в этой стране, но все же лошадь была кровная и кучер толстый... Он явно дожидался кого-нибудь из новой буржуазии, чтоб «прокатить дамочку».

Лихач, пожалуй, поразил меня больше моей собственной

книжки: ведь это, можно сказать, «концентрированная буржуазность», хотя и в самом скверном издании. Если вернулись лихачи, значит, вернулась роскошь дурного тона. А что же об этом говорит Его Величество, пролетариат?

По-видимому, «народ безмолвствует», как и полагается народу в государстве «с сильной властью». Я же подумал о том, что недурно бы иметь в виду этого лихача на случай чего. Если к автору «Дней» пристанет некто, кто пожелал бы писательские дни сократить, то хорошо бы потихонечку и полегонечку привести его сюда и тут внезапно вскочить на лихача, посулив ему золотые горы. Черт его догонит, на то он и лихач!

Но, присмотревшись ближе, я признал этот проект никуда негодным. Лихач-то был не один: штук пятнадцать кровных рысаков стояли в затылок, дожидаясь «рабочих и крестьян».

Поэтому я не стал тратиться, да и надобности не было, а взял простого извозчика, симпатичного старика, бросив ему уверенно и небрежно:

— На улицу Коминтерна!..

Но старичок обернул на меня свою седую бороду времен потопления Перуна:

— Коминтерна? А вот уж я не знаю... Это где же будет?

— Как где? Да Безаковская!..

— Ах, Безаковская, вы бы так и сказали.

И мы поехали, тихо, мирно. Когда приехали, он открыл мне полость, как полагается, и сказал:

— Так это Коминтерна. Вот теперь буду знать!..

Я был очень горд. Недаром меня большевики печатают. Я и извозчиков им обучаю. Подождите, скоро доберусь и до народных комиссаров. Правда, про Сталина говорят, что «легче найти розового осла, чем умного грузина», но я все же не отчаиваюсь. Выучили же мы Ленина «новой экономической политике»...

ХII

ДЕНЬ

«Я помню день...»

Этот день был такой: пошел с утра дождь, и была серая, мокрая, грязная погода.

Не помню, как и почему я попал на Подол. Но раз я уже

попал туда, хотелось его, так сказать, понять — старый Подол при новых обстоятельствах. И я не обращал внимания ни на дождь, ни на грязь. Тем более, чего мне. Я ведь в высоких сапогах, которые еще не вывелись в СССР.

* * *

И вот я шлепал по Подолу. Безусловно, я не ошибся. Евреев тут стало разительно меньше. А тех старозаветных, бородатых, длиннополых почти совсем не видно.

Куда они делись?

Бежали в разное время. Или просто выселились.

Куда выселились?

В другие части города, во-первых. В другие города, во-вторых.

* * *

Поэтому торговля тут затихла в сравнении с прежним. До революции здесь было такое оживление, больше чем на каких-нибудь Налевках в Варшаве! Здесь была особая торговля. Кто чувствовал в себе мужество и умение торговаться, тот ехал на Подол. Надо было давать треть цены. А потом сходились на половине. Но обязательно с «уходом». То есть покупательница, после бесконечного торга и спора, причем еврей развивал самое удивительное красноречие, а покупательница не менее удивительный скептицизм, уходила, но медленно. Обыкновенно еврей выскакивал из магазина, с криком:

— Мадам, мадам, пожалуйста...

Купив вещь, расставались мирно с просьбами заходить еще.

* * *

Рыская, я пришел на какой-то базар. Шел дождь. Но грязная, неприветливая площадь все же была полна народа. Шлялось много людей, продавая вещи с рук. Стояло много рундуков, где было все: сапоги, мануфактура, посуда, еда, платья, лампы и всякая чушь. Я пошлялся между людей. И почувствовал, что все же, хотя я тут больше всего у места, я как будто бы привлекаю внимание людей, в поле зрения коих попадаю. Что во мне такое, я не очень понимал. Борода, что ли? Может быть, все бородатые тут на счету? Действи-

тельно, немного их здесь. Торгующие жида какие-то по-новому сфасоненные. А может быть, борода не клеится к моему лицу? Но ведь она же собственная, а не приклеенная. Или потому, что издали я похож на еврея, а приглядеться — нет. И кажется им: «Тут что-то не так». Или потому, что бродит человек, ничего не продает и ничего не покупает. Чего ему нужно?

Чтобы оправдать свое существование, я поточил ножик у точильщика. Камень заурчал, и искры сыпались красные в серый день. Точильщик был такой же, как всегда они были. С детства помню, как скрипела калитка у нас во дворе и раздавался резкий, высокий, гнусавый, теноровый, кацапский крик:

— Тачить нажи, ножницы!..

И почему-то после этого опять раскрывалась калитка и как будто лопался огромный индюк бульбуком:

— Бондаря надо?

Боже мой, как это было давно. Вспомнилось под урчанье камня. Дождь падал, и матово-уныло смотрели потускневшие купола какой-то церкви.

* * *

Побрел дальше. Серый и грязный Подол. И отчего такие грязные русские города? Французские тоже грязные, но все же куда чище. А немецкие... Об этом не стоит говорить...

Сказать бы, у нас грязь от коммунизма: нет, коммунизма уже нет по существу, и город понемногу подтягивается к прежнему уровню. Еще не дошел, конечно, но ведь всегда было грязно у нас, что греха таить.

* * *

Так я попал на второй базар. Этот был крытый. Тут все больше продавались всякие вкусности. И всего было вдоволь. И мяса, и хлеба, и зелени, и овощей. Я не запомнил всего, что там было, да и не надо, все есть. А я съел вафлю со сливками — заплатил пять копеек.

* * *

Все есть!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Я хотел бы, чтобы у меня было огненное перо. Чтобы это записать какими-нибудь такими буквами, которых нельзя было бы вытравить даже едкой пылью времен. Которые вечно горели бы в душах человеческих

И, обходя моря и земли,
Глаголом жгли сердца людей!..

* * *

Кто их прожжет! Ни серной кислотой адовой марки, ни пламенеющим мечом Архангела... Все забывает это иродово племя, легкомысленное, как шарф пляшущей Иродиады. Вафля и та хранит свою печать, а люди...

* * *

А люди, когда «всю, всю, всю» торговлю уничтожили и явственно увидели, что «всем, всем, всем» придется подохнуть, тогда великий Ленин «нэпнул» гениальное слово:
— Учитесь торговать!..

* * *

Умри, Косьма, лучше не скажешь...

* * *

Он и умер.
Что он мог сказать больше?
<...>

* * *

Но можно сделать еще кое-что более ослиное. Это, после русского опыта, быть bona fide* социалистом.

И потому мне хочется кричать «огнем и лавой», на весь мир крещеный и некрещеный:

— Смотрите на этот базар. Тут есть все и для всех! Все — всем!!! Слышите, есть все и есть всем!!!

А ведь несколько лет тому назад не было н и к о м у, н и ч е г о. И этот базар был, как кладбище.

* Добросовестным (лат.). (Прим. ред.)

Только люди, вооруженные винтовками, как гиены среди гробов, дограбляли трупы, оставшиеся от старых времен.

* * *

Что же сделало это чудо?

Три слова: «Новая Экономическая Политика» — НЭП.

* * *

Новая...

«Учитесь торговать...»

Итак, н о в а я политика состояла в том, чтобы научиться торговать... п о - с т а р о м у. Есть ли предел человеческой глупости?

* * *

Ах, вафля! Сколь ты вкусна, выстраданная. Сколько жизней положено за тебя, вафля с белыми сливками? Целое Белое движение. И море крови, алой и юной, для того только, чтобы ты, вафля, могла свободно воцариться, свободно продаваться всем и каждому за пять копеек, на любом базаре сего тысячелетнего города, который видел много чуши на своем веку, но такой кровавой ерунды, какую устроили русские социалисты под еврейским руководством, — еще не видывал.

— Дайте еще! Вафлю!

Была не была. Кутить так кутить во славу Нэпа!

Вечная память Владимиру Ильичу. Requiescat in pace!*
Умел воровать, сумеет и ответ держать...

Там — в царстве теней...

«Как, где же справедливость?» —

Вскричал Плутон, забывши всю учтивость.

Эх, братец, — отвечал Эак, —

Не смыслишь дела ты никак...

Ты видишь ли — покойник был... дурррак...

Пусть погубил он целый край,

И мир с ним бед не обобрался,

Но все же попадет он в рай,

Ведь он .. торговле обучался!!!

* Да почиет с миром! (лат) (Прим ред.)

И по этому базару я побродил между рядами. Опять старозаветных жидов что-то не видно. А небезызвестные киевские торговки есть. Здоровенные хохлушки, обольстительно ласковые к хорошему покупателю и с запасом таких словечек для нахала, что босяки не то краснеют, не то бледнеют.

Где-то бренчал инструмент. Я подошел. Несколько человек, став в кружок, слушали. Человек пел, аккомпанируя на балалайке:

Он целовал ее, он обнимал ее...

А она, страсти полна, все шептала: твоя, твоя...

Он пел так, как поют нынче в пролетариате цыганские романсы, т. е. нестерпимо. Но по некоторым признакам мне показалось, что он нарочно так делает, «для понятности». Местами прорывался вкус сквозь эти «кошмары».

Я встретился с ним взглядом. Уловил ли он взгляд интеллигентного человека, понял ли мою мысль, но он оборвал «кошмары», и пальцы его побежали по грифу, обнаруживая несомненную музыкальность. Побродив вообще, мелодия оформилась в старинный романс:

И думаю, ангел, какую ценою
Куплю дорогую любовь...

Я чувствовал, что он играет эту старину для меня. Петь он не стал. Это была песня без слов. Это было какое-то деликатное и трогательное внимание к седому старику, «преклонившему ухо». Зачем слова? Они неуместны и, любовные, не пристали бы к сединам. Но мелодия, она ведь всем возрастам благотворна. «Пусть старичок утешится, вспомнит. Тоже ведь молод был». Так он, верно, хотел сказать...

И мелодия, пошленькая сама по себе, но облагороженная внимательностью и чистотой, струилась тонкой серебряной паутинкой среди грубости базара.

Только он ошибся: этот романс старше меня. Я помню его из нот, оставшихся после матери.

Я дал ему серебряную монету. И отошел: слишком уже чуток был этот человек.

И когда я уходил, вслед мне неслось:

Отдам ли я жизнь с непонятной тоскою,
С волненьем прошедших годов. .

И был в этих словах какой-то жуткий вопрос.

Отдам ли я жизнь?

А пожалуй, и отдам, кто его знает, не идет ли уже кто-нибудь за мною?

Я вышел на улицу, прошел, постоял против какого-то магазина, на котором была написана в разных вариантах «Т.Ж.» Я стал философствовать: «Теже» равно «теже», то есть — «те же». Но почему «те же» и кто они такие? Может быть, это про нынешнее положение вещей в СССР?

Те же песни, те же звуки...

Или, вернее:

Тех же щей, да пожиже влей.

* * *

Но потом я понял: «теже» надо читать как «жете», а «жете» не значит «выбрось к черту», как поняли бы в Париже, и не значит — кабак на воде, как поняли б в Ницце, а обозначает просто — жировой трест.

Но жировой трест надо тоже понимать «духовно». Это всякая косметика. Таким образом, под этим салотопенным названием кроются самые изящные продукты. Мыла всякие душистые в красивеньких бумажечках, духи в волнующих флакончиках, пудра — мечта, ну, словом, все такое, за что «жирно» платят.

Этого самого «тежа» много в СССР.

Так вот я постоял у Тежа, потом пошел обратно по улице, пока не дошел до Бумтреста (бумажный трест). По дороге мне попались Винторг, Сорабкоп, Госиздат, Укрнаркач, Укрнарпит... Я не углублялся в них, ибо хотел выследить, не следят ли за мною.

Нет, кажется, ничего.

А впрочем, кто его знает.

* * *

Захотелось есть. Увидел надпись: «Домашняя столовая Курск». Вошел.

Нечто сугубо простое. Так сказать, трактир низшего разряда, без спиртных напитков. В буржуазных странах, как Франция и Германия, таких даже нет. Жизнь пролетариев не опускается там так низко. Я обедал в самых дешевых ресторанах Парижа и Берлина, и все же ничего подобного там не увидишь. Чтобы увидеть это, надо пойти в самую

бедную русскую эмиграционную столовку в Белграде или в Софии. Мы принесли туда стиль своей бедности...

Впрочем, нельзя сказать, чтобы хозяева не делали попыток борьбы со стихией. Тут все же было не так грязно, как полагается. Молоденькая девушка бегала между столами, крытыми иногда бумагой, иногда серыми скатертями с красным узором. Она производила впечатление лилии среди бураков. Пробор, гладко причесанная, с тонким лицом, «хрупкая». Она все делала споро, но с таким видом, что она «нездешняя». Однако огрызаться она научилась. Очевидно, к ней «приставали». Я расслышал фразу:

— Не цените вы интеллигентного человека!..

Ответ последовал немедленно:

— Интеллигентного!.. С Сенного базара!..

А совсем маленькая девочка, лет шести, тоже разносила блюда. Она делала это с недетским кривляньем, но в промежутках прыгала на одной ножке, припевая тоненько:

Доздик, доздик, перестань .
Мы поедем на Ердань

В углу были образа и горела лампада...

* * *

Я взял обед. Мне дали тарелку борща сытного и вкусного... В сущности, я был уже сыт этим. Но съел по привычке и второе. Что-то мясное, тоже весьма ничего себе. О сервировке лучше не говорить — соответственная...

* * *

Разница между французским и русским столом состоит в количестве тарелок. Из русских двух блюд француз свободно делает шесть. Результат тот же, но французский стол отдает вековой изобретательностью, а русский — недавно разбогатевшим степняком. Некогда было додумываться до разнообразия, а потому берут размером порции.

Мой обед стоил сорок копеек «золотом», что равняется цене дешевых обедов в европейских странах. Такой обед в такой обстановке стоил в России при царях двадцать — двадцать пять копеек.

Таким образом, социализм пока дал следующий результат. Интегральный коммунизм уничтожил все и вызвал повальный голод. Нэп, т. е. попытка вернуться к старому

положению, но не совсем,— вернул жизнь, но тоже «не совсем», а именно: жизнь стала вдвое дороже, чем была при царях.

Итак, если вы хотите, «голодранцы со всего света», претерпев годы каннибальских мучений, получить в награду жизнь вдвое хуже, чем прежняя, то, о пролетарии всех стран, соединяйтесь. . соединяйтесь под стягом ленинизма!

* * *

Против меня, под образами, сидела старая хохлушка, бедная. И с ней девочка, лет десяти. Они пили чай — порцию. Ели хлеб. Девочка встала и подошла ко мне. Я хлеба своего не доел. Она привычным голосом попросила:

— Дайте кусочек хлеба.

Я дал. Она пошла к другим столам. Кто дал, кто нет. Девочка, собрав кусочки, пошла к бабушке, уселась, и стали допивать чай.

* * *

О, пролетарии всех стран!.. Эта девочка — остаточек от периода интегрального коммунизма. В буржуазных странах Запада так просить — стыдно. Подождите, наступит рай, потеряете стыд. Зачем в раю стыд, это — против Библии.

* * *

«От тюрьмы да от сумы не отказывайся!!!»

Это сочинил русский народ в предчувствии социализма.

* * *

А старая хохлушка стала тут же под образами переобуваться. Но на нее напала нездешняя барышня с пробором и запретила:

— Может, которому гостю неприятно, что вы так делаете...

О, Русь святая...

* * *

Я заплатил нездешней девушке и ушел. Меня проводило несколько взглядов. Но, кажется, так, просто... Без всякого подозрения насчет Белграда, Праги, Берлина, Парижа...

* * *

На площади я сел в трамвай. Трамвай такой же, как был. Вагоны в порядке, а по этой линии прежние удобные плетеные сиденья.

— Возьмите билеты, граждане!..

Кондуктор был молодой, из новых, очевидно. Тон у него несколько более властный. Вроде как в Западной Европе. Известно, что на Западе все люди держат себя так, как будто в каждом сидит будущий президент республики. Ну, и этот тоже преисполнен важности. Вероятно — партиец. Неважно, что он исполняет скромные обязанности кондуктора или вагонновожатого. Все равно, он — аристократ, он *élite*, он сегодня вечером на партийном собрании решит судьбу земли, если не всей планетной системы.

* * *

В наш «демократический» век это неизбежно. Толпа за XIX столетие показала свою беспомощность. Это бессилие вызвало к жизни искушение владеть массами при помощи «организационного меньшинства».

Это, впрочем, всегда так было. Только раньше организованное меньшинство, управлявшее толпой, называлось аристократами, патрициями, буржуазией, дворянством.

Нынче оно называется коммунистами и фашистами.

Аристократия не скрывала своего назначения, а метод ее действия был наследственный подбор людей, владевших оружием и мозгами.

Буржуазия скрывала или не признавала свое, а метод ее действия был выборное одурачивание.

Коммунисты поставили вопрос открыто.

— Мы — соль земли. Ибо мы сумели организоваться. Мы и будем править!

Но на это ответили фашисты:

— Вы не соль земли, а просто сволочь. Дрянь всех веков тоже умела организовываться! Вы организовались во имя грабежа («грабь награбленное»). Но когда грабить больше нечего, для чего вы, уголовная шпана?

На это коммунисты, в свою очередь, отвечают двойко:

1. На словах они продолжают утверждать, что они несут миру социалистический рай. А все это нынешнее — только временное и что поэтому они не «сволочь», а спасители мира, SOS'ы*.

2. На деле (в России) они, увидевши, что грабить больше нечего, стараются вернуться к устоям старого мира. <...>

* * *

В этом даже нет ничего нового. Талантливые разбойники нередко становились правителями, когда они свою личную выгоду отождествляли с интересами какого-нибудь большого коллектива. Не могут стать правителями только те, кто искренно (не для выборного обмана) готов видеть в каждом гражданине Рюрика или Наполеона. Эта порода неизлечимо-никчемна, ибо исходит из явно несостоятельного предположения о равенстве человеческих способностей.

Но для фашистов есть одна огромная опасность: достигнув власти, не превратиться бы самим в «сволочь». Как из разбойников бывают иногда создатели, так крестоносцы превращаются нередко в мерзавцев. Это есть подводный камень фашизма. Фашистам следовало бы написать себе на лбу одиннадцатую заповедь:

— Не хамай!

Опасность хамства, соблазн измывательства над бесправным (перед силой) населением, это есть та подводная скала, на которую сядет фашизм в той стране, где им не будет руководить человек исключительного благородства и неодолимой властности.

* * *

К этому фашистскому хамству (в идеологическом масштабе) принадлежат те взгляды, в силу которых народ третируется.

* Спасители наших душ (англ.). (Прим. ред.)

И тут есть одна вещь, в особенности важная. Я говорю о той дозировке, сообразно которой должен привлекаться «народ» к так называемому «управлению».

Спору нет, что массы править сами собой не способны. Но так же бесспорно, что, пока они в этом убедятся, пройдут века. В наше время вдолбить что-нибудь подобное среднему человеку совершенно невозможно. Каждый субъект, читающий газеты, что бы он об этом ни говорил, в глубине души думает, что и он способен решать государственные вопросы.

Но если бы он даже этого не думал, то ведь сам фашизм, как таковой, требует от всякого гражданина патриотизма, национализма. Что значит патриотизм? Это значит, что каждый человек обязан думать об интересе того коллектива, который называется родиной. Обязан защищать его, заботиться, испытывать за него тревогу, так называемую «патриотическую тревогу».

Но всякая забота соединена с известной степенью ответственности и власти. В силу этого мать, лелеющая своего ребенка, несет за него ответственность и имеет над ним власть. Отнимите от нее власть, она не сможет заботиться...

Это так понятно, что рассчитывать это долго не стоит. Но в таком случае естественно, что граждане, на которых возлагают обязанности патриотизма, т. е. заботы о своей родине, будут вопить:

— Хорошо. Мы готовы заботиться, мы готовы все сделать! Но дайте нам известную степень власти, иначе как осуществить нашу заботу?

И они будут правы. И это происходит потому, что патриотизм и национализм, как явления массовые, неразрывно связаны с неким демократизмом.

Фашизм должен это отчетливо понимать. Задача вовсе не в том, чтобы преградить массам (в той или иной форме) доступ к управлению, а только в том, чтобы это управление не имело роковых, для самих же масс, последствий. Для этого так называемым парламентам, которые являются фиктивными выразителями «воли масс», надо предоставить широкий, но ограниченный круг компетенции.

Над этим кругом, в пределах которого парламенты могут свободно работать, трепать подлежащие им вопросы, так или этак, перефасонивать их справа налево и обратно,

над этим кругом должен стоять второй круг: из понятий незыблемых.

Должен быть целый ряд постановлений, почитающихся непререкаемыми, священными, которых никакие массы и никакие парламенты и вообще никто в мире касаться не может.

На страже этих понятий, в качестве священной гвардии основных велений Божества и Природы, и должны стоять фашисты.

Вот весь смысл фашизма.

* * *

— Вам куда билет, гражданин?

— До Николаевской.

— До Николаевской?

— Ну да, да, до Николаевской.

В это время я почувствовал, как на меня обернулись в вагоне, как будто я сказал что-то невозможное. А кондуктор поправил наставительно сурово:

— До улицы Исполкома!..

Я понял, что сделал гаффу. Поправился:

— Да, да... До Исполкома...

При этом я махнул рукой, так сказать, в объяснение:

— Всегда забудешь!

Так как я имел вид «провинциальный», то мне простительно. Но тут кстати могу сказать, что Николаевская — это, кажется, единственная улица, которую «неудобно» называть в трамвае. Все остальные можно говорить по-старому. Кондуктор по обязанности выкрикивает новые названия: «Улица Воровского», «Бульвар Тараса Шевченки», «Красноармейская», а публика говорит Крещатик, Биби́ковский бульвар, Большая Васильковская. Вот еще нельзя говорить «Царская площадь». А надо говорить: «Площадь Третьего Интернационала».

* * *

Однако мне было не совсем по себе в этом вагоне, и я вышел не на Николаевской, а на этой самой площади Третьего Интернационала. И то походил вокруг площади, чтобы определить, не вышел ли кто-нибудь из трамвая за мной. Нет,— как будто ничего. А впрочем, как можно быть в этом уверенным: масса народу.

* * *

Я пошел в гору по Александровской. Мне захотелось посмотреть Исторический музей. Существует ли он?

Существует. Широкой, величественной лестницей, очень удачно скомбинированной по условиям места, я поднялся к знакомым, сильными мазками вылепленным двум львам, сторожевым.

* * *

В вестибюле столик — как и во всем свете. Продают билеты. Некий молодой человек:

— Вы член профессионального союза?

У меня сердце ёкнуло. А вдруг сейчас же и расстреляют за то, что я не член.

Но нет, не расстреляли. Он только сказал:

— В таком случае — с вас тридцать копеек.

Ну, слава Богу... Я заплатил и тут же в вестибюле устался на карету, в которой какой-то митрополит в Елизаветинское время путешествовал по Киеву. Ничего себе карета — золоченая.

Потом пошел в залы. Все витрины, кажется, на месте. Здесь где-то в самом начале должно быть что-то очень древнее. Да, вот оно.

Эх, старый ты, Киев. Пожалуй, не моложе Рима. Вот тут изображена раскопанная археологом Хвойкой стоянка первобытного человека.

Двадцать тысяч лет тому назад!.. Трепет берет.

Но почему, если тут жили наши предки до того, как провалилась Атлантида, почему мы так «отстали»? Впрочем, грешно скулить.

Если на месте Атлантиды, имевшей такую высокую культуру, что в некоторых отношениях она превосходила нашу современную, не осталось совсем-таки ничего, то еще, слава Богу, что у нас стоит великолепный город. Дай ему Бог простоять еще хоть десять тысяч лет! И чтобы не пришлось раскапывать из-под пепла коммунизма.

* * *

Если подумать о том, что Китай изживал коммунистические опыты в течение столетий, что на этом вопросе сменилось несколько династий (в Китае коммунизм вводили богдыха-

ны) и закончились эти эксперименты тем, что Китай впал в свою известную косность, получив на тысячелетия отвращение ко всяким новшествам; если сообразить все это, то поневоле станешь удивляться России: она изжила страшный бред социализма в течение нескольких лет.

То, что я вижу кругом, не составляет сомнений. Здесь только — Scheinsozialismus... По существу, с социализмом покончено.

Скоро он будет запрятан в музей, и только матери будут пугать детей ужасной мордой Ленина.

Но если бы русский народ не обнаружил такой талантливости в расшифровании злодейского обмана, коим его временно опутали, кто знает, через двадцать лет «интегрального» не был ли бы Киев опять в том состоянии, в каком он был двадцать тысяч лет тому назад, ютась в пещерах?

* * *

Пещеры. Вот собственно разгадка, почему человечество задержалось здесь в самые отдаленные времена. Ни красоты Днепра, ни богатство края, а исключительно — вопрос жилища. Киевские горы с их высококачественной глиной давали возможность строить подземные городки тем, кому было еще не под силу наземное строительство.

Подполье... Двадцать тысяч лет тому назад все люди в подполье, и там шла неустанная работа.

Впрочем, и сейчас, должно быть, в подполье идет напряженная деятельность. Не может быть, чтобы народ, так блестяще отбивающий самую страшную атаку, какая бывала в мире, соединенную атаку Социализма и Юдаизма, чтобы он не готовил в подполье удивительных сюрпризов.

Но скажут: как же он «отбил», когда, наоборот, он под властью коммунистов?

Так ли это? Или это только так кажется?

* * *

Когда-то часть Руси заняли литовцы. Русь стала литовским государством. Однако если бы кто-нибудь через некоторое время посетил эту *soit disant** Литву, то он не нашел бы в ней ничего литовского: религия, язык, обычай воцарились русские.

* Пресловутая (фр) (Прим сост)

Так вот и здесь сейчас то же самое. На словах государство коммунистическое, на деле...

А какое на деле?

На деле примитивно-обыкновенное. «Сильно-полицейское» государство. Грубая и жестокая олигархия под лживым ярлыком...

* * *

Ходил между витринами и смотрел, как набрякала культура. Какой длинный путь прошли здесь люди, прежде чем родилось Русское государство, сработанное варягами и ими же погубленное.

Да, их погубили уделы. И надо было пройти ужасным бедам по этим полям и истечь столетиям, прежде чем мы нашли единоедержавие и майорат.

Да, майорат. То есть такое право, что наследует только старший. В сущности это было то, что создало Англию.

* * *

Та же самая порода, а именно варяги, создали Россию и Англию. Они застали обе страны, пожалуй, в состоянии равной дикости. Может быть, будущая Русь была даже впереди будущей Англии: она была ближе к Византии, чем туманный остров к Риму. Но если Англия сейчас на несколько столетий впереди России, то это благодаря майорату.

* * *

Говорят о татарском нашествии, которое погубило варяжскую Русь.

Погубило. Но только потому, что не было майората. Погубило благодаря удельной системе, при которой наследовал каждый сын. Эти братья, дяди и кузены, раздроблявшие мощное государство на десятки грызущихся осколков, и отдали Русь Батыю.

Найденный Москвою майорат создал Российскую Державу в политическом смысле. Отсутствие «экономического» майората, т.е. майората в частном быту, погубило эту державу при помощи идеи «земельного передела».

И этот вопрос сейчас встанет перед Россией во весь рост.

В Англии это была мудрая система. Старший наследовал титул, землю и политические права. Этим обеспечивалась цельность имений, а следовательно — богатство, а следовательно — независимость правящего класса. Захудалых дворянчиков с огромными правами и без гроша в кармане не было. С другой стороны, старший сын с детства приучался к мысли, что он человек ответственный, что к нему безраздельно переходит все, что накопили его предки: богатство, слава, обязанности. Все, что есть благотворного в традиции, в консерватизме, сосредоточивалось в старших сыновьях. Им отдавалось все, и с них все взыскивалось.

Но не менее благотворным был институт младших сыновей. Это были мальчики благородной крови, которых, однако, выбрасывали на улицу. Им давалось образование и моральная подготовка, но затем ничтожные средства. Этим автоматически создавался класс «искателей приключений». Они были свободны от обязанностей политических, оков имущества, оков богатства...

Ты свободен .. Как ветер по степи,
Мчишься к счастью жизни своей...
Я ж окован, и тяжки те цепи,
Золотые, стальных тяжелей...

Этим цыганским романсом очень хорошо характеризуется положение младших и старших сыновей в Англии.

«Окованные» в цепи консерватизма, но богатые, старшие сыновья были основой «Коварного Острова» — Старой Англии. А младшие были те, кто сделали ее мировой державой.

Белокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель...
Те, кому не страшны ураганы,
Кто изведal Мальштремы и мель...

Чья не пылью изъеденных хартий (титул, права!),
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой по разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь!..

Вот это они самые, «открыватели новых земель», — младшие сыновья и есть. От хорошей жизни, батенька, не полетишь. А вот когда ни гроша в кармане, а амбиции наследственной сколько угодно, тут тебе и станешь авантюристом.

Так и росла Англия. Крепко держали ее, не давая сбиться

с панталыку, старшие сыновья, и каждое столетие новый континент приносили ей младшие.

А почему?

А потому, что система разумная. Тупой дележки «по-ровну» не было. Была «Свобода», было «Братство», только губительного «Равенства» не было...

* * *

Россия вступает в новую полосу своего существования. Былое быльем поросло.

Давайте иглой по разорванной карте чертить дерзостный путь...

* * *

Скоро крестьянское землевладение дойдет до таких размеров, когда дальнейшая парцелляция* будет глупостью. Тут-то и закрепить существующие земельные участки. Пусть будут хутора. Единые и Неделимые. Наследует землю и дом старший сын. А младшие пусть ищут себе занятие.

Безземельное крестьянство ринется на Восток, в пустоту Азии. Азия — это океан России. Чтобы его покорить, нужны младшие сыновья. Чтобы создать крупную промышленность, тоже нужны младшие сыновья... Гораздо больше смысла, если младшие сыновья будут выделять на заводах сеялки, молотилки, тракторы, которыми старшие обрабатывают землю, чем если те и другие, бесчисленные, как песок морской, будут вручную ковырять нивы.

* * *

Впрочем, это невероятной огромности вопрос. Его нельзя так рубануть сплеча — это было бы в стиле большевиков. Но думать надо о нем... А не только о новой музыке из «четвертей тонов», о новом фильме Мозжухина и о ножке Терпсихоры-Павловой, соперничающей в Америке с Шаляпиным...

* * *

Какие-то две барышни ходили тоже по витринам. Мы приблизительно вместе двигались «по векам». Больше никого не было.

* Парцелляция — дробление земли на мелкие участки. (Прим. ред.)

Одна остановилась и долго рассматривала древнюю вещичку, кружочек медный с ручкой. Очевидно, не могла понять.

— Это зеркало,— сказал я.

Она вскинулась на меня.

— Зеркало?

— Ну да... Они его отполировывали, оно отражало. И скифские барышни любовались собой.

— Значит... как и сейчас?..

И она улыбнулась, просветлев. Как будто что-то живое заиграло в этой мертвой зале.

Я отошел от нее. Я узнал все, что мне было нужно.

Разве это меняется?

* * *

Чертовское мое положение. Мне так трудно подойти к этим людям. Очень хочется узнать, какие же они. И нельзя: я так легко могу себя выдать. Какой-нибудь вопрос — и я пропал. Пропал не пропал, но покажусь подозрительным, и Бог его знает, куда это заведет. Как-никак, но я хожу в некотором роде по канату. Известно, что по канату можно пройти, но известно также, что один неверный шаг и человек летит в пропасть... Я хочу пройти и вернуться.

Но вот древности кончились. В общем все сохранилось, как было до революции. Удивительно.

Известен ответ санкюлота* отцу химии, Лавуазье:

— Республика не нуждается в ученых...

И потащили на гильотину.

То же самое было и у нас. Но то, что наши санкюлоты не разнесли этого и других музеев, библиотек, галерей,— это все-таки удивительно. В настоящее же время, когда одурь «интегрального коммунизма» вообще прошла, все это, по-видимому, тщательно оберегается.

* * *

Ну, вот конец. Опять карета архиерейская и затем вольный воздух!

Ох, стар я для музеев. Сюда зашел только потому, что

* От фр *sans-cullottes* — прозвище, данное во время французской революции 1789 года аристократами республиканцам. (Прим. ред.)

это — свое. Ни в одном заграничном за все время эмиграции не был.

А ведь в былое время русские только для того и ездили за границу.

Чудны дела Твои, Господи...

* * *

Я опять сел в трамвай, проследив, однако, не идет ли за мною высокий субъект, подозрительного вида, в кожаном, с черной головой, папахистой. Нет, отстал...

Ехал трамваем, удобно. Народу немного, кресла больно хороши.

* * *

Поехал я не сразу «домой». Предварительно я поехал в направлении вокзала и слез там на одной улице. Это потому, что в тех краях я знал одну улочку, совершенно пустую. Мне хотелось пройтись по ней, чтобы определить, не прицепился ли кто-нибудь ко мне в течение дня. Хоть я был очень утомлен, но заставил себя это сделать.

Когда я попал в свою улочку-чистилище, она, как всегда, была совершенно пустая. Но когда я дошел до половины ее, то, обернувшись, увидел за собой, в начале улочки, человека в черном пальто.

Я не придавал этому значения: мало ли почему это черное пальто тут. Но на всякий случай взял его на прицел. Вышел на Безаковскую и пошел вправо. Обернувшись, увидел, что черное пальто тоже повернуло по другой стороне. Тогда, дойдя до угла Жиланской, я остановился у углового рундука и стал покупать почтовые марки. Купив марку, я пошел назад, в обратном направлении. И следил за ним. Черное пальто против рундука перешло за мной.

Это уже мне не понравилось: это обозначало, что он меняет курс, согласно с моим. Это было похоже на слежку.

Вместе с тем я очень устал. Мне необходимо было и передохнуть и сообразить, что делать. Хотелось чаю. Я зашел в первый попавшийся трактир.

Но это оказалась пивная, чаю тут не давали. Пришлось взять пива. Я пил пиво, которого обычно не пью, и слушал, как кто-то избивал пианино на мотив:

Тут у нас запляшут
Горы и леса!

Какие-то люди пили и рассказывали непонятные вещи громкими голосами, стараясь перекрычать неистовую музыку. Все это сливалось в шум, раскатистый, подзадоривающий, пахнувший пивом и бедой.

Результатом всего этого было то, что я заснул там, за грязным столом. Я дремал, может быть, полчаса.

И благо мне было. Я проснулся свежий, бодрый. Мне нужен был этот сон.

Просыпаясь, я увидел, как кто-то с улицы подбежал к стеклянной двери — прильнул, заглянул и отлип, исчез...

Это было плохо.

* * *

Я понял. В то время, когда я спал в пивной, он, очевидно, по телефону вызвал себе подмогу.

Я уходил от них вверх по Безаковской, соображая, что сделать, чтобы отвязаться. Шел быстро, но мне было ясно, что так от них не отделаешься. Вдруг увидел трамвай, подымавшийся в гору по бульвару, то есть поперек моей улицы. Он подходил так, что попасть на него можно было только бегом, и то хорошим. Вот случай. Если я побегу к трамваю, это никого не поразит, ибо это люди постоянно делают. Этим я или избавлюсь от этих двух, или же, если они побегут за мной, твердо установлю, что они действительно прицепились.

Я побежал. Побежал с довольно большого расстояния, обгоняя толпу. Никто не обратил на меня внимания. Ничего особенного. Старый жид бежит, чтобы поймать трамвай — понятно... Но когда я уже совсем подбегал, я увидел, что бежит еще кто-то. Этот кто-то обогнал меня у самого трамвая. Это был шустрый жидочек, молодой, — весь в кожаном. Я понял, что это тот другой, которого послал старший, т. е. черное пальто. Еврейчик целился в первый вагон. А я сделал вид, что хочу вскочить во второй. Но когда он вскочил в первый, я прошмыгнул мимо площадки второго за трамвай. Он не мог этого видеть, т. е. что я не вскочил, и уехал.

Слава Богу, от одного я избавился!

Но второй должен быть здесь, неподалеку. И действительно. Я перешел на другую сторону бульвара, пошел вверх. Там было мало народу. И хотя сильно темнело, мне удалось установить, что фигура (его длинное пальто расходилось внизу «клешом») телепается за мною.

Тогда я решил сделать вот что: дойти до такого места,

где будет стоять один извозчик. Сесть и уехать. За неимением другого извозчика, он не сможет за мной следовать.

Дойдя до Владимирского собора, я взял влево по Нестеровской. Тут, когда он подлез под яркий фонарь, а я был в тени, я подверг его, так сказать, мгновенному снимку. Он был хорошего роста, в приличном черном пальто, с барашковым воротником. В барашковой шапке, длинных панталонах и калошах. Шел он с невинным видом, опустив глаза и даже как будто держа ручки на животике. Меж тем шел, подлец, быстро, ибо поспевал за мной, а я не дремал. Лицом был чуть похож на покойного Николая Николаевича Соловцова, если кто помнит (увы, таких немного). Словом, я его хорошо рассмотрел и уже не мог бы ошибиться, смешать с кем-нибудь другим. Изучив его, а это продолжалось мгновение, я пошел дальше. На углу Фундуклеевской, которая теперь неизвестно как называется, я увидел «одного» извозчика. Поспешно сел в сани.

— Куда ехать?

Да, куда. Много планов проскочило через голову и было отброшено в течение полусекунды. А вылилось все это:

— К новому костелу... Знаешь?

— Как не знать.

— Ну, поскорее!

Поехали. Обрато по Нестеровской. Я поднял воротник и отвернулся, чтобы не показать лица. И потому не видел, что он делает. А сказал я к новому костелу потому, во-первых, чтобы не сказать улицы: забыл, как она по-новому называется. А во-вторых, потому что я знал, там есть места темные, то есть плохо освещенные. В-третьих, потому, что я там недавно был, когда ходил на кладбище. В-четвертых... в-четвертых, я сказал это инстинктивно, чувствуя почему-то, что так надо.

Санки бодро бежали по ледку. К ночи подморозило. Владимирский собор под светом электрических фонарей был загадочно красив.

Мы минули его и ехали по бульвару. Оборачиваясь, я видел и Нестеровскую — наискосок. Вдруг заметил, что там кто-то едет, и хорошо едет. Нахлестывали лошадь. Она быстро приближалась к повороту, т. е. к бульвару. Куда возьмут? Если вниз, — направо, то, значит, спешат на вокзал. Это хорошо. Если вверх, т. е. влево, то это — за мной.

Взяли влево. Я был в это время уже около второй гимназии — моей гимназии. На мгновение мелькнула мысль о чем-то таком далеком, что неизвестно, было ли оно когда-

нибудь... Тот извозчик быстро приближался. Лошадь шла полугалопом. У нее была характерная дуга, больше обыкновенной, которую нельзя было бы спутать. Я ее хорошо заметил. Около первой гимназии (с которой уже, между прочим, снят дивный бронзовый орел), «Императорской» гимназии (сколько за эти слова было молодой борьбы — мои сыновья тут учились), они меня нагнали. Лошадь была с большой лысиной, т. е. с белой отметиной через всю голову, а седок... сколько он ни прятался за извозчика, я его увидел на мгновение: это был он — черное пальто...

Ему, по-видимому, посчастливилось раздобыться другим извозчиком.

Мой извозчик взял направо по Пушкинской. Лысая лошадь повернула за нами. И даже настолько приблизилась, что почти толкала меня в спину. Это было слишком ясно: меня преследовали.

Так мы ехали всю Большую Васильковскую, ныне Красноармейскую. У меня не составилось определенного плана. Смутное только было ощущение: надо юркнуть в темноту мещанских кварталов, где я был недавно.

Лысая лошадь все толкала меня в спину. Вот костел. Я приготовил целковый. Сунул извозчику, он остановил сразу. Лысая лошадь, не приготовленная к остановке, чуть не наехала на меня. Я, быстро уходя вниз в полутемноту, все же увидел, что они тоже остановились. Лицо Николая Николаевича Соловцова мелькнуло на мгновение.

Я старался уйти быстро, но это мне не очень удавалось, потому что было скользко. Я боялся упасть и повредиться. Тогда удирать было бы плохо. Но я не позволял себе оборачиваться. Пусть, если он сзади, он не знает, что я его заметил. До сих пор я ничем себя в этом смысле не выдал.

Я уходил вниз, а потом повернул влево улочкой, по которой я уже шел недавно. Да, да, вот угол, лавочка, я ее запомнил. Пройдя лавочку, я обернулся.

Вот, мерзавец!.. Какую глупость я сделал. Бросив извозчика, я шкандыбал по улице на своих на двоих, а этот негодяй ехал за мною с комфортом!..

Кроме нас, никого больше не было на улице. Я спешил по тротуару, а сани в некотором отдалении следовали за мною. Они ехали шагом. Извозчик полуобернулся к седоку, как будто они обменивались словами, конечно, на мой счет. Очевидно, седок сказал извозчику, что он по обязанностям службы преследует преступника, и вот они теперь вместе меня выслеживали. Сомнения в том, что это они, не могло

быть. Когда они подъезжали под фонарь, я увидел лошадь с белой отметиной через всю голову и эту характерную дугу — «больше обыкновенного».

Как от них избавиться?

Я сообразил, что прежде всего надо сравнять шансы, т. е. надо завести его в такое место, где он на извозчике не проедет.

И тогда блеснула мысль. Явился план.

Я узнавал эту улочку. Она выведет меня к кладбищу. За кладбищем предместье. Он будет думать, что я туда уйду — на Соломенку. Но до кладбища...

И я пошел увереннее.

Вот высокая насыпь железной дороги. Им надо ехать под рельсами, через виадук. Дойдя до виадука, я вдруг бросился вправо и стал карабкаться на насыпь. Обледенелый снег не давался, но я помог руками и влез.

Вот. Теперь попробуй-ка на извозчике «по рельсам»! Вскрабкаться на лошади на насыпь!

Прежде чем уходить по шпалам, я обернулся. Они стояли у виадука. Я не сомневался, что он полезет за мной, но сначала расплатись с извозчиком, милый друг. Будешь ведь деньги доставать из кармана и считать. Не догадался приготовить!

Я побежал в направлении вокзала. Направо от меня был город, налево — кладбище. Кладбище было темное, приглашающее. Я подумал, что самое лучшее перескочить через ограду и спрятаться среди могил. Во-первых, он, пожалуй, будет бояться мертвецов, а во-вторых, наверное, будет бояться меня. Ведь у меня может быть «игрушка». (На самом деле ничего не было.) А я проберусь среди крестов и выйду с другой стороны кладбища. Я стал искать какой-нибудь тропинки в этом направлении. Мне показалось, что я ее нашел в снегу откоса. Я ринулся туда, но скоро понял, что ошибся. Я попал в глубокий снег, завяз, загруз... Здесь нельзя было пробраться.

Пришлось возвращаться. Я взбежал опять на насыпь. Как будто никого не было. Я стал уходить в прежнем направлении, к вокзалу. Думал, избавился от него. Но, внимательно всмотревшись в темноту, увидел черное пятнышко. Его с трудом можно было уловить, и то тогда, когда оно приходилось на чуть белеющем фоне снега. Это был он. Он двигался от меня шагах в двадцати. Ему меня, должно быть, было видно гораздо лучше, потому что я выделялся силуэтом на фоне зарева вокзала.

Как от него избавиться?

Я увидел подходящий поезд. Это был товарный поезд. Он шел не быстро. Я выждал вагон с «переходом», вскочил, перебежал на другую сторону вагона, — соскочил. Значит, между ним и мною оказался идущий поезд. За этим идущим поездом оказался другой, стоящий. Я пролез под вагоном и оказался с другой стороны насыпи. Бросился вниз, стремясь, пока я закрыт поездами, как-нибудь уйти из глаз «черной точки». По снегу съехал вниз, но попал в колючую проволоку. Прорвался через нее. Перескочив через проволоку, оказался перед рядом маленьких домиков. Они уходили вправо и влево вдоль насыпи. Я вошел, с целью пройти насквозь через двор, стараясь поставить между собой и им как можно больше «предметов». Во дворе на меня набросились собаки. На отчаянный лай вышла женщина. Но она ничего мне не сказала, не остановила. Я прорвался через двор. По ту сторону была речка, а домики вдоль речки уходили вправо и влево. Значит, они были зажаты между речкой (это, должно быть, знаменитая Лыбедь, прошу вспомнить Иловайского — Кий, Щек и Хорив и сестра их, Лыбедь) и насыпью. Я пошел влево, т. е. в прежнем направлении. И стал, значит, красться вдоль стен домиков и заборов. Собаки заливались, потом отстали. Я быстро двигался вдоль стен над речкой. Я мог перебраться через речку, пожалуй, но по ту сторону реки были дома и заборы, в которых не чувствовалось прохода. Так я шел некоторое время. Несколько раз останавливался, вглядывался, прислушивался. Как будто бы никого. А вот «переход»! Да, тут переход через речку. Надо попробовать — сюда. Но предварительно, прежде чем отделиться от стенки, я присел на корточки, чтобы лучше слышать и видеть.

И услышал: в тишине снег хрустел под чьими-то ногами. И в то же время увидел: зловещее пятно кралось вдоль заборов.

Он таки меня выследил! Значит, видел, как я бросился в поезд. Перебрался и он, а потом... а потом собаки, очевидно, выдали, куда я пошел.

Но раздумывать было некогда. Я бросился через речку. И тут мне повезло. На той стороне оказался совершенно незаметный пролаз в заборе. Я франшировал его. Попал в какой-то двор... Пробежал через этот двор. Опять пролаз-перелаз. Я перелез, и снова — двор. Пробежав и этот двор, я выскочил через ворота на какую-то улицу.

Это была та самая улица, по которой он меня преследо-

вал на извозчике. Я побежал в обратном направлении, т. е. в город. Потом взял в другую улицу, третью... Тут на углу нанимали извозчика. Единственного. Я отобрал его. Вскочил, поехали... Сидел, полуобернувшись назад. Нет, другого извозчика за мной не было. Но в светлых пятнах под фонарями мне казалось мгновениями, что я вижу бегущую черную фигуру. Или это была мнительность? Я пообещал извозчику пятерку. Он погнал. За пятерку, как известно, извозчик обгонит паровоз. Черная фигура, если она и была, исчезла... Я был чист! О, Господи...

Тут я увидел, что у меня рука красная. Что такое? Кровь? Да. Откуда?

Должно быть, поцарапался на проволоке. «Улика». Поскорее вытер.

Я сказал извозчику ехать на Назарьевскую. Это тихая, пустынная улица. Одна сторона ее — большой сад (Ботанический). Снег серебрился здесь под голубыми фонарями. Я отпустил извозчика.

Никого не было. Мирно поблескивали кристаллики искристого снега. Я чист, безусловно чист. Зловещего пятна нет и быть не может. Но нервы шалют. Все кажется — черное пятно появится. И жарко мне, жарко анафемски... Как после боя.

* * *

Да, пожалуй, это и был бой... Поединок.

* * *

Теперь можно идти на свидание. В 7 часов у меня свидание с Антоном Антонычем. Ужасно, если бы я не явился. Я потерял бы единственную ниточку, за которую держусь. Я остался бы совершенно один в этой громадной стране, которая моя родина и где все же нет ни одного человека, к которому я мог бы обратиться... Да, ни одного. Ибо все те, кто меня знал, если есть кое-кто из них, как они могут мне помочь? Весьма мало. А опасность я им принесу великую. И потому я одинок. Я буду трагически одинок, если я потеряю свой единственный кончик.

Так я раздумывал, осторожно пробираясь по той самой Безаковской, где началось преследование. А вдруг они еще кого-нибудь оставили тут, на первом месте. Мало вероятия. А вдруг? Почему я знаю, сколько человек было за мною?

Я заметил двух, но разве это значит, что их именно два и было? А может быть, их было четверо? Может быть, старший приказал им тут дожидаться?

Эти мысли ползли, несмотря на их нелепость. Но не мог же я подвести того, кто меня ждал. Нет, это ни за что... Этих людей, которые мне помогают, — нет!..

И вдруг я почувствовал, что по отношению к этим людям, которых я так мало знал, по отношению к этим контрабандистам, у меня где-то в уголке сердца образовалась некоторая «вера и верность». Они доверились мне. Они не должны ошибиться.

И, подходя к памятнику Бобринского, где у остановки трамвая ждала меня знакомая фигура, я сделал знак, обозначающий, что ко мне нельзя подходить.

Я пошел мимо него и направился вниз по бульвару. Бульвар идет посредине улицы. Тут никого не было. Выследить было бы легко. Я шел и, изредка оборачиваясь, видел, как за мной осторожно, на большом расстоянии, следует знакомая, высокая фигура. Это было сладостное ощущение после зловещего черного пальто. Я чувствовал, что опытный и надежный человек у меня за спиной. Если там еще есть кто-нибудь, он его сейчас же определит. Иногда он приближался ближе, и тогда я видел, как в темноте блестят его внимательные стекла. Но нет, положительно никого нет. Одни только тополя следили наш рейс по протоптанной в снегу тропинке, да вот еще тюрьма. Мы шли мимо тюрьмы.

Так мы дошли до еврейского базара. Я остановился около чего-то, рассматривая. Он подошел и стал рядом, не оборачиваясь в мою сторону. Я спросил тихонько:

— Никого за мною?

— Никого...

— Наверное?

— Наверное...

Тут стояло несколько извозчиков. Я захотел для верности принять еще и эту предосторожность.

Мы поехали.

Он внимательно смотрел назад. Сказал:

— Нет, никого. А что случилось?

Я сделал ему знак, показав на извозчика, и сказал:

— Сейчас приедем.

Мы приехали на какую-то улицу. Отпустили извозчика. Для верности пошли еще куда-то. Я впереди, он за мною. Искали совершенно пустынной улицы, чтобы окончательно убедиться. Все это было лишнее. Но как-то все казалось

подозрительным. Автомобиль несся, ослепляя фарами. Я спрятался за телефонный столб: а вдруг это сыщики рыскают. Вдруг вся милиция и все ГПУ поставлены на ноги и по всему городу ищут высокого старика, в коротком пальто, в сапогах и с седой бородой. А фонари так ярко освещают... Черта с два, за столбом не увидите!

Где-то в пустынной улице какой-то человек долго шел за нами. Мы разделились и тщательно проверяли, не черное ли пальто.

Все казалось подозрительным. Люди, извозчики, автомобили... Пуганая ворона... Ум ясно говорил, что раз он потерял мой след где-то на окраине, то только в силу самой дикой случайности он мог бы оказаться в совсем другой части города. Но страх подозревал, что именно эта случайность и произойдет.

Однако, в конце концов, это надоело, а очень необходимо было отдохнуть.

* * *

Мы зашли в какое-то заведение — это была не то столовая, не то пивная. Тут было невероятно светло и очень пусто. Кроме нас, один человек сидел в углу. Человек этот был молодой еврей в черной рубашке. Два таких же молодых еврея, бритые, с огромными шевелюрами и в черных рубашках были на эстраде. Да, в этой небольшой комнате была эстрада в углу. И на ней двое, скрипач и пианист. Такой же молодой еврей пришел к столику принять заказ. И еще один такой же виднелся за стойкой.

Куда мы, собственно, попали? Это пахло комсомолом или просто еврейской кухмистерской. Словом, мы тут были, очевидно, не на месте. Если я и еврей, то какой-то совершенно *demodé*. «Откуда взялся этот тип?» Мой спутник в своих стеклах, которые казались моноклем, отдавал чересчур вызывающим «старо-ново» режимным. Его вид говорил без слов: «Ничуть не скрываюсь. Все вы сволочи. А я нэпман, приспособившийся белогвардеец, и плевать мне на вас». Вот такая странная пара примостилась в углу, под ослепительным светом электричества; старозаветный почти еврей (а если не еврей, так кто же он такой?) и этот презрительный денди из старо-новых. Причем денди спросил пива, а потертый старик черного кофе. А должно было бы быть наоборот. И еще белого хлеба спросили, точно голодные. Я и был голоден.

Евреи заиграли. Бог мой! Никогда я бы не мог подумать, что из одной скрипки можно было выжать столь много звука. Скверного звука, нестерпимого звука, но все же. Пианист тоже колотил, что есть силы. У обоих была несомненно консерваторская техника и чисто большевистская напористость. Это оглушало не хуже бешеного электричества, отраженного стенами, крытыми белой бумагой. Скрипка визжала, выла, скрежетала. Никогда я не видывал ничего более еврейского.

Мы хотели поговорить, обсудить положение. Немыслимо. Ни единого слова нельзя было прокричать сквозь этот самум* отвратительно верных звуков. Они выделяли чудеса техники, за которые хотелось запустить в них бутылкой. Вместо этого мы послали им пару пива. Они поблагодарили и *recomencèrent de plus belle*. Если бы они знали, что получили угощение от «погромщика» Шульгина...

Во всяком случае, здесь конспиративные разговоры исключались.

Отдохнув, мы ушли в другое место, провожаемые внимательными, чуть насмешливыми взглядами.

Я перед уходом попросил их сыграть один романс. Они сыграли. Но ясно было, что такая старина им смешна.

Они были снисходительно-пренебрежительны...

* * *

В другой кофейне было слишком тихо. Шептаться не хотелось, а если только повысить чуточку голос, это могло быть слышно людям, сидевшим за столами.

Однако мы пили чай с пирожными и все же поговорили. Я рассказал связно все, как было.

* * *

— Мое мнение, — сказал Антон Антоныч, — что за вами гонялся уголовный розыск: по грубости этой работы это совершенно не похоже на ГПУ. Геписты работают гораздо тоньше. И почти исключительно на провокации. Во всяком случае, вам никогда бы не дали заметить, что за вами гонятся. Им это просто запрещено. Как только агент обнаружен, его немедленно переводят в другое место. Для-ради его же

* С а м у м — песчаный вихрь, знойный юго-западный сухой ветер в пустынях Африки и Западной Азии. (Прим. ред.)

безопасности. Ибо... ведь это его счастье, что вы были без оружия. Если бы был револьвер, в горячности там, где вы были совершенно одни... конечно, очень хорошо, что этого не было. Ибо убийство действительно поставило бы на ноги все и вся. Я думаю, что это уголовники...

— Но почему? Разве я так похож на бандита?

— Какое-нибудь случайное сходство. Вы были на базарах. На базарах нередко ищут уголовных. Кроме того, здесь, в сущности, мало носят бороду. Могло родиться и такое подозрение, что, кто носит бороду, тот скрывается. А это подозрение вы могли усилить своим поведением. С точки зрения человека, который почему-либо следил за вами, как вы себя вели? Ходили по базарам. Но что вы делали? Не покупали, не продавали. Поточили перочинный ножик. Съели две вафли. Слушали музыканта. Затем поехали в музей. Разве все это похоже на серьезного, старозаветного еврея? Человек, который за вами следил, разобрал, что вы не еврей. Но если вы не еврей, то вы «человек в бороде». И по всем этим признакам начал следить. А затем уже профессиональный интерес взял. Ему важно было выследить, где вы живете. Очевидно, вы ему были подозрительны только, но он не был уверен...

— Или — другое. Он хотел выследить сообщников, то есть куда я хожу. Ну, словом, «воровскую малину», то есть конспиративную квартиру.

И тут меня взяло неприятное сомнение: а ведь мы совершенно не знаем, с какого места за мной начали следить! Ведь это наше предположение, что с базара. Но, может быть, это вовсе не так. Может быть, меня следят от самой гостиницы. Может быть, уже давно знают, где я живу. Может быть, сегодняшняя слежка, действительно, была только для того, чтобы выследить сообщников.

Я высказал это. Он ответил:

— Раз вы постоянно следили за собой (а по-сегодняшнему видно, что вы следили тщательно) и никогда не замечали, что за вами следят, то весьма мало шансов, что они знают вашу гостиницу. Но мы проверим это. Прежде, чем вы пойдете, я обследую, нет ли каких-нибудь подозрительных типов вокруг. Если есть, вы не пойдете. Пойдете ночевать в другую гостиницу. Документ при вас?

— Да... Но как без вещей?

— Скажете, на одну ночь.

— Но я ведь там не выявлен. А кроме того, если они знают, где я живу, то, конечно, знают и фамилию, под кото-

рой я живу. Значит, как только я заявлюсь в новой гостинице...

— А вы не заявляйтесь. Скажите, на одну ночь. Они только впишут в книгу. Вас могли бы найти только, если бы сделали внезапный этой же ночью обыск всех гостиниц. Но это маловероятно. Это могло бы быть только в том случае, если бы они знали, кто вы по-настоящему, и преследовали бы вас, как такового. Но в этом случае, вероятно, около гостиницы был бы целый штаб и вообще они себя выдали бы как-нибудь. Или, наоборот, работали бы так тонко, что ни в коем случае не допустили бы этого медвежьего преследования.

— А вы не допускаете, что этот уголовный сыщик вдруг узнал меня, «как такового»? Если это кто-нибудь из старых киевских сыщиков, то они, конечно, могли меня хорошо знать. Он сначала погнался, желая сделать неожиданную карьеру на мне, а потом... потом, упустивши, позвонит в ГПУ, и оно примет грассмеры...

— Никогда не позвонит! Самолюбие не позволит. Не позволит потому, что у него не может быть полной уверенности: вы сильно изменились...

— Значит, вы думаете, если кто-нибудь есть у гостиницы, идти в другую... А дальше?

— А дальше... А дальше надо вам уехать отсюда. Остаться дольше очень опасно. Может быть, придется переменить паспорт. С другим паспортом и в другом городе вы опять можете плавать. Но это мы все обсудим, если я, убедившись, что около гостиницы не все благополучно, приду обратно. Но я думаю, что это не так. Он не гнался бы так за вами: психология не та...

Я уже некоторое время вспоминал Достоевского «Психология о двух концах». В этих психологических предположениях совершенно никогда нельзя быть уверенным. Вот мы предполагаем, что он преследовал меня для того, чтобы узнать мою квартиру. Но, в сущности, для чего ему моя квартира? Чтобы во всякое время схватить меня? Но если на минуту предположить, что они знают, кто я, то схватить меня было бы глупо. Это имеет смысл только в том случае, если быть уверенным, что выдам всех остальных. Ну, а вдруг не выдам? Или если и выдам, то неважных, пустяковых. Запутая, обману. Гораздо больше расчету дать мне полную свободу шататься всюду, где я захочу, и только следить, следить, следить... Следить и замечать каждое лицо, с которым я буду говорить, которому сделаю знак, каждый

дом, квартиру, лавку, куда я зайду. Ведь они, конечно, будут думать, что я приехал для великой конспирации. Следя за мною шаг за шагом, они откроют всех, к кому я прикоснулся так или иначе.

Я высказал это Антону Антонычу. Он ответил:

— Это верно. И между прочим, я вам должен сказать, что, по-видимому, так и была раскрыта конспирация атамана Крука... на этих днях. Кто-то приехал из-за границы. Объезжал всех. За ним следили. И затем арестовали его, когда он собирался перейти границу обратно, и одновременно всех, взятых на заметку.

— Ну вот. Поэтому я и придаю такое значение этому вопросу, знают ли они гостиницу. Ибо то, что они следили за мной, еще ничего не доказывает. Они должны были бы следить и в том случае, если знают, где я живу. Психология-то о двух концах. Если знают, надо во что бы то ни стало скрыться. Иначе я замараю всех, к кому прикоснусь. Сейчас я чист, хотя и не без трудов, и нельзя допускать, чтобы они опять меня взяли под телескоп. Ведь верно?

— Абсолютно. Мы так и сделаем.

— Да, пожалуйста... Ибо я бы не хотел...

— Чего?

— Я не хотел бы

Утратить жизнь, и с нею честь...

Друзей с собой на плаху весть.

Над гробом слышать их проклятья...

Он рассмеялся, и пенсне блеснуло моноклем.

— «Проклятий», во всяком случае, не было бы. Мы здесь научились, наконец, понимать: «Один за всех, все за одного...»

* * *

Так мы разговаривали и пили чай. Я, кроме того, ел скверное пирожное: во время горьких испытаний всегда хочется сладкого. И когда пишешь статьи. Деятельность тоже, как известно, не медом мазанная. Ты же стараешься, — тебя же ругают...

* * *

Факт тот, что я тянул время до двенадцати часов ночи по двум причинам: во-первых, чтобы прийти в гостиницу

попозже (легче выяснить, нет ли симпатичных личностей вокруг), а во-вторых, чтобы привести в норму свои нервы. Последнее же я мог сделать только путем последовательного размышления вслух, на основе перебирания всех возможностей.

Странное дело психика. У меня психика такая. Я волнуюсь, собственно говоря, не самой опасностью. Я волнуюсь ощущением, что я чего-то не додумал, что могло бы опасность устранить или уменьшить. Когда же я или «додумал», или события положили конец «думанью», то есть когда я так или иначе пошел навстречу опасности, я больше не волнуюсь. Что-то захлопывается, и я вообще уже мало доступен «чувствам». То есть, вернее сказать, все чувства сосредоточиваются на всякого вида внимании и на какой-то своеобразной решимости: из каждого факта, обнаруженного вниманием, сделать вывод и на вывод ответить действием. И насколько мучительна первая эпоха — «думанье», настолько же вторая лишена чувств: ни мучительности, ни приятности. Когда человек на чем-нибудь очень сосредоточивается, он не чувствует чувств.

* * *

В двенадцать часов мы вышли из кофейной. На пустынной улице, где по искристому снегу вырисованы рисунки теней, я ждал его. Долго, показалось мне. Улица была пустынна, но все же гуляли парочки и изредка проходили люди. Я старался не обращать внимания. Самое лучшее (по обстановке) было изображать пьяного, которому нехорошо. Между двумя телефонными столбами я спрятался, и когда нужно было, плевал в снег. Воображаю, как гадко было любовничающим. А вот идите спать, нечего шляться по ночам.

* * *

Наконец появилась высокая дендистская фигура, у которой пенсне блестело моноклем.

— Ну как?

— Все хорошо. Я обследовал тщательнейшим образом. Не только фас, но я сделал каре, кругом четыре улицы. Положительно, никого нет.

— Значит, я иду в гостиницу. Теперь о дальнейшем.

Мы условились. Дело в том, что ему нужно было ехать через четыре дня в Москву. Конечно, хорошо было бы ехать вместе. Но что мне делать эти четыре дня? Шататься по городу, как я делал все время, становилось небезопасным сейчас. И даже попросту опасным. Моя внешность, то есть мои приметы могли быть даны, да и черное пальто я мог встретить. Сидеть в гостинице? Очень хорошо бы некоторое время посидеть. Но не особенно ловко: приехал я, судя по паспорту, по делам казенного учреждения, значит, по утрам, по крайней мере, я должен «делать дело», а для этого надо выходить. А если я сам не выхожу, то ко мне должны заходить. Но ко мне ни один человек не заходит и не может зайти. И слава Богу. По крайней мере, если бы меня схватили и стали добиваться в гостинице, кто у меня бывал, то узнали бы, что ни одного человека не было. Как же быть?

Мы решили, что я притворюсь больным.

— И буду болеть ровно четыре дня. А потом — прямо на вокзал и уедем.

— Да. Только вы сейчас, когда войдете в гостиницу, дайте мне как-нибудь знать, что вы вошли благополучно.

— Вы опасаетесь внутренней засады?

— Нет, но на всякий случай.

— Хорошо. Мое окошко в третьем. Вы увидите с улицы свет, потому что я зажгу электричество. Если после этого свет потухнет и снова зажжется, значит, все хорошо. Если совсем не зажжется — плохо: значит, схватили меня в коридоре. Если зажжется, но не потухнет, чтобы снова зажечься, тоже плохо, значит, я не мог этого сделать. Если зажегся, а потом потух и больше не зажигается, значит, я в комнате еще свободен, но жду беды. Запомнили?

— Вполне. Если свет — плохо. Если мрак — тоже плохо. А хорошо только миганье... Понял. Я буду вас навещать каждый день два раза: днем ровно в час, а вечером ровно в девять я буду проходить мимо вашего окна. Днем сигнализировать буду я. Вы меня караульте из окна. Если у меня руки в кармане, значит, все благополучно: вокруг гостиницы никого незаметно и вообще все хорошо. Если руки не в кармане, — плохо. Значит, вокруг шныряют.

— Как же мне, в таком случае, поступить?

— Как? Пока отсиживаться... Может быть, они, ну, надоест им, уйдут. Я сейчас же вам сообщу, просигнализирую. Если нет и они будут сторожить, то одно из двух: или

они сторожат вообще район, не зная, где именно вы живете, а значит, не знают и вашей фамилии; или же они все знают, но хотят выследить, что вы будете делать. В том и другом случае выгодно отсиживаться, выжидая минуты, когда можно выскользнуть. Ведь, наверное, будет такая минута. Не днем, так ночью. Когда-нибудь да зазеваются...

— Хорошо. Допустим, я выскользну. Что мне тогда делать?

— Тогда? Тогда, по-моему, лучше всего уехать.

— Куда?

— Все равно куда. Первым поездом, только вон из Киева. И затем на какой-нибудь большой станции ждите меня: дайте мне телеграмму.

— А как же телеграмму? Ведь я...

Он пришел мне на помощь:

— Не знаете моей фамилии и адреса? Но мы сделаем так.— Он дал мне указания.

— Хорошо. Еще что?

— Каждый вечер в девять часов я буду проходить второй раз, и вы мне сигнализируйте выключателем, что все благополучно. Хорошо?

— Есть! Теперь все?

— Все, кажется.

— Ну, идем...

* * *

Не без трепета я позвонил в гостиницу. Через некоторое время за стеклом дверей (он не зажег свет внутри и чуть освещался уличным фонарем) появилась невероятная голова старика-номерного. Она была точно в перьях. Он отворил, впустил меня, получил двугривенный. Ничего не сказал. Предупредил бы он меня, если бы там ждали — на темной лестнице? Может быть, да. Он вряд ли на их стороне. Но, наверное, нет: побоялся бы. Об этом я думал, подымаясь ступеньку за ступенькой. Отчего так темно? Наверное, нарочно. Сейчас сверкнет электрический фонарик и уставится на меня в упор, ослепляя. И закричат: «Стой, руки вверх». Или просто схватят в темноте.

Прошел первый поворот — нет, ничего. Прошел площадку — тоже ничего. Зашел на вторую, тут уже свет из моего коридора. Другой номерной спит на диване. Он не

спал бы так спокойно, если бы была засада. Вошел в коридор. Все тихо. Теперь...

Теперь последнее испытание: войти в номер. Как я не догадался: если меня ждут, то, конечно, в моем номере. Я вложил ключ, повернул, открыл. Заглянул в комнату. Голубоватый свет падал через окно от уличного фонаря.

Нет, никого нет. Впрочем, я так и думал, что никого нет! (Так всегда «думается» — потом.)

Я подошел к окну. Я искал знакомую высокую фигуру на противоположной стороне улицы. Но не увидел. Он был слишком осторожен. Я чувствовал и был совершенно убежден, что он в эту минуту напряженно всматривается в окна моего этажа, ожидая сигнала. Но где он может быть? Он, вероятно, там, в этой подворотне, что смотрит темной пастью напротив.

Я опустил матерчатую, достаточно прозрачную штору. На всякий случай,— чтобы меня не увидели из окон дома, что напротив. Почему я знаю! Может быть, та женщина, которую я несколько раз наблюдал, когда у них светло, за самоваром, сейчас прилипла к темному окну. Зачем ей знать, что против нее живет высокий старик с седой бородой.

Опустив штору, я зажег свет. Потом опять потушил, потом снова зажег. Я почти чувствовал, как мой сигнал воспринялся там в темноте. Белая штора на окне не была бездушная: она как-то одобрительно мягко белела складками. Сквозь нее я почти видел выражение его лица: на нем была довольная, тонкая полуулыбка. А теперь он, очевидно, выходит из подворотни и, блеснув стеклами во все стороны, быстро уходит по улице. Кому придет в голову, что он сейчас шапронировал в его логовище «опаснейшего революционера», «заграничного эмиссара»?

А интересный вопрос: являюсь ли я таковым в действительности? И да, и нет.

Я не опасен как «переворотчик» существующего строя. Что я могу перевернуть? Но я опасен как шпион. Я подсматриваю жизнь, как она есть.

* * *

Я нашел у себя остатки колбасы, хлеба и сахара. Все это я съел с жадностью. Потом с наслажде-

нием разделся. Я только сейчас почувствовал, как я устал. Ужасно!.. Наверное, завтра разыграется мое lumbago*. А если не разыграется, это значит, что я удивительно себя хорошо чувствую. Да это так и есть: физически я себя чувствую на родине превосходно! Да и морально — тоже. Я ожидал увидеть вымирающий русский народ, а вижу несомненное его воскресение...

Я потушил свет. Голубоватый сумрак вошел через штору и наполнил комнату своеобразным блаженством. Это было блаженство безопасности.

Я вытянул на постели не только усталое тело, но и усталую волю. Волю, которая была все время в сильном напряжении внимания и отпора и только сейчас это заметила.

Голубоватый свет имел в себе какую-то мелодию. В этой мелодии перемешивался французский менуэт на слова «tu l'a échargé belle» с благодарной молитвой на неведомом языке.

Молитва — без человеческого языка, это и есть интернационал.

Интернационалисты! К существующим враждующим нациям они прибавили новые, назвав их «классами». И война, злоба, и вражда закипели хуже, чем раньше.

Глупцы! Интернационал может быть только в Боге. В Божественном, ибо Бог над нациями.

Так пел свет уличного фонаря в этой дрянной комнате дрянной гостиницы.

О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была ..

И я спал...

Спал сном человека, избежавшего ГПУ. Хороший сон. Глубокий и ясный.

* * *

Я помню день... Ах, это было счастье...

(Романс)

* Боли в поясничной области (лат) (Прим ред)

ХІІІ

В БЕСТЕ

И спал я так долго. Слышал, как пошли трамваи со светом дня,—заснул. Слышал возню в коридоре, это Милочка и номерной, слышал раскатистый московский говор хозяйки, которая бранила своего пентюха-сына. И засыпал опять. Куда спешить, ежели я должен болеть. И так сладко спалось.

Но всему бывает конец. Часам к одиннадцати я поднял белесоватую штору. Серый день был на серенькой улице. Шли серо одетые люди, меся ногами серый снег, ехали куда-то серые извозчики, каких теперь не увидишь нигде больше в мире: вымирающие остатки индивидуально-лошадиной эпохи человечества. Шли посеревшие трамваи: представители коллективного быта. Все хорошо, и все плохо. Арабский скакун прекрасен, извозчик сер, как мгла. Слипинг-кар имеет свою поэзию, трамвай нестерпим...

А вот самоварчик неизменно приятен.

Я позвонил.

Рыжеватая Милочка открыла дверь:

— Вы звонили?

— Я. Нельзя ли самоварчик?

— Можно. Чай ваш?

— Мой. Да вот еще. Я, знаете, нехорошо себя чувствую...

— Простудились?

— Нет. Упал я вчера, скользко...

— Ах, ужасно... И не посыпают, безобразие такое!..

— Вот руку поранил.

Я показал на руку, которую порвал на проволоке.

Она сделала сочувствующую мордочку.

— Как же это так?

— Когда падал, за забор схватился. А там гвоздь был

— Вот как неприятно. И все-таки упали?

— И все-таки упал. Спину расшиб. А еще такая погода. У меня всегда от такой погоды. Хочу полежать. Никуда не пойду. А нельзя ли кого-нибудь послать за хлебом?

— Послать? Можно. Номерного. Я сейчас вам...

Она исчезла, пришел номерной. Вид этого человека напомнил лучшие времена русской литературы, когда

все такие вещи, как номерные и половые, тщательно описывались. Отсылаю интересующихся к классикам.

— Вам купить чего требуется?

— Да Вот купите хлеба белого и колбасы московской и чайной. Еще сахара фунт и марок почтовых две

* * *

Если я это пишу, то для того, чтобы показать, что быт плохоньких гостиниц остался приблизительно такой, каким он был раньше. Впрочем, я неправильно выразился — остался. Не остался, а восстановился. Ведь в эпоху военного коммунизма гостиниц не было. Гостиничные дома были заняты коммунистической сволочью, которая первым делом испортила уборные, затем разбила зеркала, третьим актом ободрала обивку мебели и в результате водворила общий стиль «публичного дома для горилл», где нестерпимо пахло духами девок и отхожим местом. Эта эпоха прошла. Стали стараться вернуться к человеческому образу и подобию. Стали «восстанавливаться».

Что же они могли восстановить? Какой образец носился перед духовными очами русского народа? Да только один: та жизнь, которой он жил до Эпохи Всеобщего Разрушения. Другого быта он не знал. Поэтому, естественно, как только дали ему возможность «немножечко-столечко» прийти в себя, он восстановил Милочек, номерных, самоварчики и чайную колбасу.

Все это, за исключением Милочки, конечно, он принес мне на стол, вместе со сдачей с рубля. Получил двугривенный на чай и был очень доволен.

— А марок, бар...

Он поперхнулся. Слово «барин» чуть не выскочило изо рта, вовремя застряв *dans son gosier**. Я помог ему:

— Марок не достали?

Он оправился:

— Не достал. Тут на углу бывают, да вот вышли. Колбасы взял полфунта чайной, полфунта московской.

* В его глотке (Прим сост)

Когда он вышел, а я остался наедине с самоварчиком, плохо вычищенным, но сладко шипящим, я задал ему, самоварчику, вопрос:

— Что они обо мне думают? Милочка, хозяйка, сын-пентюх и этот, который едва не подавился «барином»?

Самоварчик немедленно отшипел:

— Они думают, что ты есть то, что в твоём паспорте написано, — то есть ты служишь в советском учреждении. Но они очень хорошо почувствовали, что ты «из старых», «из бывших», «из прежних», и за это к тебе нежность чувствуют. Очень уж нынешние очертели.

Но я сказал:

— Да ведь Милочка-то молоденькая. Ей может быть десять — одиннадцать лет было, когда пришла революция. Она прежних-то не помнит и не знает.

Самовар отшипел:

— Помнит, знает... В театре видела, в опере, в киношке. Книжку какую прочла старую. Родители рассказывали. Да и так сама по себе: душа чувствует. Посмотри на нее: она как есть «низовая» — сочная, крепкая, здоровая, но разве она этим довольствуется? Разве ты не чувствуешь по всем ее ужимкам и повадкам, что она все отдаст тому, кто ее за «настоящую барышню» посчитает? Вверх тянется: самолюбие, тщеславие или что иное получше. Или ты не знаешь, как американки за свои миллиарды французских титулованных покупают? Так вот и «Милочка» тоже. Если у нее были деньги, она себе бы «бывшего» купила, ибо в ее глазах бывшие вроде как титулованные.

* * *

Так говорил самоварчик.

А он гражданин наблюдательный...

* * *

В мыслях этого рода время незаметно подбежало к часу. Я стал у окна, однако все же, на всякий случай, прячась за стенку. Человек с бородой, ça se voit издали. Улица хорошо была видна мне. Шли разные люди, ехали извозчики, трамваи порой закрывали мне ме-

сто, где он должен был пройти. Прошло пять минут. Я знал, что он точен, это было испытано. Это одно из завоеваний контрреволюции. В России до революции были точны только одни военные, да и то, пока они себя чувствовали на службе. Вся «гражданская» публика была распущенна до крайности. Это особенно сказывалось во всяких заседаниях, которые никогда не начинались вовремя. Когда разразилась революция, распущенность увеличилась в такой мере, что прежний быт (распущенный до крайности) стал казаться недостижимым идеалом. Прежние заседания начинались с опозданием на полчаса, собрания времен Керенского опаздывали на час и на два. Большевики подтянули жизнь,— зверскими мерами, по своему обыкновению. Жалкий вид представляли собою распущенные буржуи, которые спешили на советскую службу под ударами коммунистического хлыста. Но в общем в этом смысле большевики сделали то, что было необходимо: надо было дисциплинировать людей, потерявших счет времени. Но, как многое, что делали и делают большевики, они сделали это на свою голову. Всякое положительное качество, которое они прививают, обратится против них. В сущности им выгодно было бы только одно: развращать все население во всех направлениях. А самим, избранному меньшинству, или «избранному народу», сохранять нравственность дисциплины. Тогда этот дисциплинированный кулак удержит власть над распущенной, развращенной и потому бессильной массой.

<...>

Но прошло четверть часа, *quart d'heure de grâce**, а его не было... Начинаясь неточность. Но так как я не мог поверить его неточности, я начал беспокоиться.

Этот транс под знаком крещендо продолжался три четверти часа. За эти сорок пять минут чего только не передумалось.

Его выследили, открыли, схватили... Как, почему, где? Тысяча вопросов, сорок две тысячи ответов.

А что это за барышня там на улице, направо? Я ее давно вижу, она все стоит на одном месте. Не наблюдение ли это за моей гостиницей? А этот солдат в шлеме? Он три раза прошел, туда, обратно, опять туда. Это, может быть, второй из их банды. А этот жидочек? Этот

* Верных четверть часа (фр) (Прим сост)

совершенно подозрителен. Он несколько раз взглянул на мои окна.

В два часа я готов был верить, что все пропало. Я застыл у окна, не чувствуя усталости.

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,
Поймет, как я страдал и как я стражду. .

Строфы Чайковского промелькнули и заставили улыбнуться. В это время я увидел «его».

Он шел с обратной стороны. Вот где была разгадка. Я, очевидно, пропустил его, когда он шел туда в час дня. А теперь он возвращался. Он чуть заметно на одно мгновение сверкнул пенсне-моноклем на мое окно. Руки были плотно в карманах. Значит, все было благополучно. На радостях мне захотелось ему просигнализировать, что у меня все хорошо. Но как? А вот как.

Я спустил и поднял штору окна два раза. Он не мог не заметить. Руки его в карманах как-то довольно поежились: он увидел — понял.

Меня наполнила «тихая радость», и я съел остатки колбасы, заказав второй самоварчик...

* * *

Я совершенно не скучал в этот день. Более того, мне просто доставляло удовольствие сидеть «дома». Очевидно, я устал за все эти дни. Постоянное шлянье по городу, постоянное напряжение и, наконец, история с черным «пальтом»...

* * *

Только лишь вечер затеплится синий,
Только лишь звезды блеснут в небесах...

Звезд не видел, потому что лежал на кровати, спиной к окну. А вечер был не синий, а голубой, что, впрочем, не портило дело. Голубой же он был от уличного фонаря, который вырисовывал на стенке против меня те узоры, что были на стекле окна.

Как мало нужно для красоты! Для самой совершенной красоты... Она везде, всюду, только мы ее не воспринимаем. Видали ли вы когда-нибудь некоторые ужасные болезни под микроскопом? Посмотрите. Это чудные цветы.

Вот такое было на моей стене. Рисунок, несрав-

ненной красоты, нежный переплет голубых жилок света и синих стежков теней. Я бродил по этим райским полям, и чувства мои уносились в сказки Кота-Мурлыки. Помните «Мила и Нолли»? Я не помню, но знаю, что это пятно фонаря в этом роде.

И вот в эту красоту неродившихся душ вошла красота силы. Она началась слева на стене, у которой я лежал, скользнула по ней, как крыло пламенеющего архангела, отдала полный свой блеск на стене, что против меня, и ушла, замирая, по стене, что от меня справа. Она началась оранжевым прелюдом, развернулась в расплавленный золотом аккорд и ушла желтеющим постскриптумом...

Что это было?

Очень просто. Трамвай прошел по улице, и его огни пробежали по стенкам, заглушив на мгновение нежный и ровный полусвет уличного фонаря.

Я лежал зачарованный. Очевидно, я был в том особенном состоянии, которое называют разно: дурацкими фантазиями, грезами поэта, ясновидением пророка. Это в зависимости от умственных способностей как того, кто впал «в состояние», так и тех, невпавших, кои о нем судят...

Во всяком случае это продолжалось долго, так как фонари, известно, горят продолжительно, да и трамваи ходят до поздней ночи.

* * *

В этом симфоническом состоянии я говорил речь, речь, беззвучную, как игра фонаря на стене, но со словами.

Я представлял себе, что бы я делал, если бы меня действительно открыли и поймали.

Некоторое время, может быть, я скрывал бы, кто я. Но не долго. Мне нет расчета. Спасти жизнь все равно не удалось бы. Потому что все равно им бы стало ясно, что я прибыл из-за границы. А таких расстреливают, если они не могут дать исчерпывающих (неполитических) объяснений своего возвращения на родину. Таких объяснений я дать не могу: если начну врать, непременно запутаюсь. А если погибать, то гораздо выгоднее и приятнее погибать под своим именем, чем под безвестным псевдонимом. «Играть в ящик» лучше «с музыкой».

Когда выяснится, что надо строиться к расчету, у ме-

ня будет одна забота о... «безболезненной и непостыдной кончине».

Безболезненной? Будут ли пытаться? Говорят, что больше не пытаются. Что они мне устроят «пытку страхом», в этом я не сомневаюсь. Это я с Божьей помощью выдержу. Но вот настоящую пытку — физическую? Голодом, жаждой?.. Голод и жажду выдержу. Так мне кажется. Но вот пытку болью, огнем, выворачиванием суставов.

Пытают и мучат гонца палачи,
Друг другу приходят на смену,
Товарищей Курбского ты уличи...
Открой их собачью измену...

* * *

Впрочем, что же я знаю? В сущности — ничего. Я знаю только человека, который указал мне контрабандиста номер один, то есть того, который живет за границей. Этот человек мой друг, но к контрабандистам он имеет весьма малое отношение: просто поставляет им пудру Коти. А контрабандист номер один? Разве я знаю его настоящую фамилию? Нет. Знаю его адрес? Нет. Встречался с ним в кафе. Я знаю его в лицо. Это все равно что ничего не знать. И так дальше все остальные. Я знаю целую цепочку, но все так же. Фальшивые имена и фамилии, которые можно заменить номерами.

Но как я сам-то полез в такую игру? Вот — полез. Самоуверенность? Вернее, уверенность в том, что я чувствую обман. До сих пор у меня не было сомнений. Каждый новый человек был честный контрабандист. И я верил и шел дальше. А сейчас возврата нет.

Во всяком случае я ничего не знаю. Выдать не могу, если бы и захотел.

* * *

В моем положении все же очень много мне может помочь то, как я буду держаться.

Ведь прежде всего меня спросят: цель вашего появления?

Скажу правду. Скажу, что ищу сына. Но не поверят. Будут допытываться всех деталей. Ну что же, скажу детали. Только не скажу города, где его искать. Конечно, не поверят и деталям. Спросят...

Без конца будут спрашивать. Например: да на кого же вы рассчитывали? Вот так и думали действовать в одиночку? Это невероятно. У вас есть явки. Назовите.

Скажу правду. Я думал действовать в одиночку. К старым друзьям обращаться не хочу. Во-первых, неизвестно, кто остался другом, а кто нет. А если кто остался другом, то мое обращение будет для него такая страшная опасность, что это было бы с моей стороны не по-дружески. Ни на кого поэтому я не рассчитываю, кроме одного лица. А это одно лицо...

Сие требует пояснения.

Был в редакции «Киевлянина» в былое время некий Александр Григорьевич Москвич, молодой тогда, энергичный, расторопный и по всем видимостям человек идейный. В 1917 году он выдвинулся как толковый исполнитель и много нам помогал во время четыреххвостых выборов. Затем он разделял общую судьбу «киевлянинов». Эвакуировался, бегал два раза в Одессу и т. д. Но во второй раз не пожелал из Одессы бежать дальше, то есть в Крым или за границу, а вернулся обратно в Киев. Люди, с которыми он говорил откровенно в то время, рассказывали мне впоследствии, что уже под конец деникинского периода в нем образовался «соблазн»: душа не выдержала изнанки добровольчества — из-за деревьев не заметила леса.

Как бы то ни было, он вернулся в Киев. Затем к нам за границу стали доходить слухи, что он совсем передался большевикам. В 1923 году он приезжал в Берлин «по командировке» и держал себя подозрительно. Затем, то есть в 1924-м, разыгрался в Киеве так называемый «профессорский процесс». Большевики раскрыли организацию, именовавшую себя «Центром действия». Никакого действия она на самом деле не делала, почему советская власть и допустила «процесс». Был публичный суд, с заранее предрешенным решением — «быть милостивыми». Если бы организация была действительно действенна, ее ликвидировали бы без шума, *comme tant d'autres*. Но дело не в этом, а в том, что организацию выдал вышеупомянутый Москвич. Он-де в это время служил в Чрезвычайке (ГПУ), а в организацию вошел с политическим паспортом бывшего секретаря «Киевлянина».

Было ли это именно так, и до сих пор у меня нет исчерпывающих доказательств. Но вообще убеждение таково.

Вот этот Москвич и был тот человек, к которому я решился обратиться в случае надобности.

Скажут: сумасшествие!

Ничуть. «Психология-то о двух концах», — как говорил Достоевский, и кто ее правильно чувствует, сие обнаруживается только фактами.

Как бы там ни было, но так глубоко запрятанное, что его нашли бы только при очень тщательном обыске, у меня было зашито письмо на полотне следующего содержания:

«Александр Григорьевич. Обращаюсь к Вам по следующему случаю. Я прибыл в Россию, чтобы разыскать своего сына, Лялю, которого Вы хорошо знали. Помогите мне.

Мне известно все, в чем Вас обвиняют. Зная Вас, я думаю, что Вы перешли на другой берег идейно. Если это так, то Вы, вероятно, не утратили качеств, которые некогда были Вам свойственны. Я не делаю здесь никакой политики. Я ищу сына, по моим сведениям тяжело больного. Я не представляю себе, чтобы Вы отказали мне в этом деле.

Но это, конечно, сопряжено с опасностью для Вас. Поэтому, если Вы не захотите или не сможете мне помочь, Вы имеете выход просто меня не принять. Это письмо я принес лично.

В. В.».

Пустил бы я в ход это письмо или нет, в конце концов, я не знаю. Во всяком случае, оно было при мне. Если бы меня арестовали, его бы нашли. И оно подтвердило бы мое заявление, что я имел в виду обратиться к Москвичу. В конце концов поверили бы, ибо правда имеет свою особую убеждающую силу.

Обратиться же к Москвичу было бы очень ловко. Это был единственный человек, которого в случае провала я не губил бы своим обращением, ибо провокатор он или нет, я обращался к нему, как к таковому, то есть я его реабилитировал бы в глазах советской власти. «Зная Вас, я думаю, что Вы перешли на другой берег идейно»... Чего же лучше?

Конечно, был большой риск, что он меня выдаст. Но в это я почему-то не верил, да и сейчас не верю. Психология о двух концах. Доказать этого нельзя: это вера. Политика политикой, а душа человеческая...

Вот я расскажу про душу человеческую.

Это было в Одессе в 1920 году. Я скрывался в подполье. Чрезвычайка захватила близкого мне человека. Это до такой степени меня мучило, что я написал «им» письмо, предлагал обмен, то есть чтобы они его выпустили, а взяли бы меня. Разумеется, я знал, что они могут меня обмануть, то есть и меня взять, и его не выпустить. Я так и написал в письме, прибавив: «я знаю, что у нас совершенно разные понятия о чести, но я думаю, что не все человеческое вам чуждо». Если бы они согласились на мое предложение, они должны были напечатать условное объявление в своей газете. Тогда я приду в чрезвычайку. Месяц я ждал этого объявления, но оно не появилось. И я не мог понять, в чем дело.

Позже я узнал. Они письмо получили. С этим письмом они пришли к заключенному. Показали ему письмо, дали прочесть. Когда он прочел, он не выдержал... Заплакал. Они «имели деликатность отойти к окошку» и дать ему успокоиться. Потом спросили: «Вы согласны на мену?» Он отказался наотрез и в волнении говорил: «Не выйду живым отсюда! Жилы перережу стеклом». Они взяли письмо и ушли.

И не напечатали условного объявления.

Чем они руководились? Эти звери, не знающие жалости?

Вот,— дрогнула рука. Таким средством не пожелали против меня воспользоваться. А ведь в то же время они ловили меня всеми другими способами. С большими хлопотами, стараниями, напряжением. Они подсылали провокаторов, не останавливались перед расходами, два раза я был у них в руках, два раза выскальзывал, один раз просто бегством по улице. Словом, большая была возня. И вот в разгар этой возни, уже после уличного бегства, которое их весьма раздосадовало, я сам им давался в руки.

Но этой ценой не захотели взять.

Кто? Заправские чекисты.

Вот что такое душа человеческая...

Ее иногда можно угадать, ее никогда **нельзя** знать наверное.

Часы бежали. Все так же на стенке шепталась сине-голубая «сказка про Милу и Нолли», т. е. светил уличный фонарь, и так же порой врывались «крылья пламенеющего архангела», т. е. огни трамваев.

Под этот лучезарный аккомпанемент я говорил свою речь. Это была воображаемая речь, речь, которую я говорил перед воображаемыми судьями. Я говорил ее до поздней ночи. Вероятно, я продолжал ее и во сне.

День прервал ее, но «только лишь вечер затеплился синий», т. е. фонарь возобновлял свой шепот с трамваями, я говорил ее снова, дополняя, развивая, усиливая... Я говорил ее, можно сказать, четверо суток... И в этом, очевидно, был иной, не простой, сокровенный смысл «моего беста».

XIV

ОТЪЕЗД

Условленных четыре дня прошло. Каждый день в час дня и девять вечера мы обменивались с Антон Антоновичем условленными сигналами. Все было благополучно. Следовательно, предстояло на рассвете пятого дня выскользнуть из гостиницы. Я решил уходить на рассвете — для верности. При всей осторожности нельзя было быть уверенным, что нет слежки вокруг гостиницы. Но трудно было предположить, что даже коммунистическое терпение выдерживает морозные предутренние часы.

Я расплатился накануне. Все спали, кроме номерного. Было еще совсем темно. Когда я вышел на лестницу, снизу из темноты вынырнул высокий молодой человек с решительным, но привлекательным лицом. Но обратился он к номерному чуть-чуть как бы нерешительно:

— А что ж, дамочка-то?

Так как в моем положении было полезно все знать, я спросил номерного, с которым находился уже в приятельских отношениях:

— Дамочку ищет?

Номерной махнул рукой и сказал мне на ухо:

— Контрабанду!..

Так случайно я натолкнулся на «своего же брата», в не-

котором роде коллегу. Это меня очень подбодрило. Я вышел и при голубом свете фонаря увидел в стороне группу из четырех таких же, как и вошедший, молодых людей. Если бы я не знал уже, что это контрабандисты, я принял бы их за сыщиков и очень перепугался бы. Молодые люди зыркнули в мою сторону острым взглядом и, определив меня, больше не обращали внимания. Я пошел по совершенно еще ночным улицам, никем не тревожимый. Но дойдя до вокзала, я в него не вошел, а прошел на узенький, высокий мостик, который сбоку вокзала переброшен через рельсы. Там я стоял довольно долго, впивая в себя три стихии: морозный воздух, электрический свет и клубы пара, которыми дарили меня проходящие внизу паровозы. Все это было очень красиво и фантастично, своеобразной поэзией железной дороги. Но выбрал я этот мостик для того, чтобы определить, не следует ли за мной четвертая стихия — человеческая. Тут в этот ранний час почти никого не было. Сделав продолжительную паузу, в течение которой я ел бублик, купленный у ранней торговли, я определил, что совершенно чист, в смысле преследования. Тогда я вернулся на вокзал и, будто бы приезжий с поезда, взял извозчика. Сказал ехать на довольно пустынную улицу около так называемой Триумфальной Арки, где нет ни арки, ни триумфа. Извозчик весело взял по утреннему снежку, но я заметил, что за мною сейчас же отъехал другой извозчик. Он следовал за мной на протяжении нескольких улиц, и я совсем готов был уже поверить, что каким-то чудом меня опять подцепили и преследуют. Но, наконец, он свернул.

Рассвело. Я отпустил извозчика и пошел с чемоданчиком в руках по какой-то бесконечной улице в гору. Там было много снега и мало прохожих. Моя задача состояла в том, чтобы как-нибудь убить время. Пришлось мне из гостиницы уйти до рассвета, а поезд отходил только после двенадцати. Надо было как-нибудь занять это время, а на вокзале сидеть было небезопасно. И вот я брел в буквальном смысле куда глаза глядят. Все еще было закрыто, ни чайной, ни столовки — ничего. Главная подлость состояла в том, что и все парикмахеры были закрыты, а я твердо решил после истории с черным пальто изменить свою наружность.

Шел я по каким-то окраинным улицам. Мирный снежок лежал на домах и палисадниках. На какой-то площади наблюдал учение солдат. Все было, как прежде. Маршировали то в одиночку, то отделениями, то взводами. Те же суровые голоса унтер-офицеров, тот же несчастный вид молодых

солдат, вид страдающих манекенов. Внешнее их отличие от прежних — это шлем на голове, знаменитая буденовка. Да еще какие-то лацканы под старомосковских стрелцов. Ну, конечно, погон нет.

Офицеров не видно, ибо людей, занимающих у них офицерские должности, по внешности не отличишь. Правда, я знал, что отличать должность надо по воротникам: треугольники на воротнике обозначают то, что у нас были нижние чины, квадраты — это приблизительно обер-офицеры, ромбы — это штаб-офицеры и генералитет. Но к этой штуке надо внимательно присматриваться, во всем же остальном офицеров не отличишь от солдат.

В особенности я это заметил, когда встретил роту, которая шла по улице. Шли они в порядке, пели песни. Характер этих солдатских песен все тот же. Как было, так и сейчас. Но слова совсем новые. Я уловил нечто «злободневное», из которого понял только одну фразу, что-то насчет их подвигов, в число которых входил и Крым. На офицерских местах двигались фигуры, которые явно были начальниками, но удивительно похожие на всех остальных. Это мне напомнило приказ, отданный в начале великой войны, который требовал во имя сбережения офицеров, чтобы они в бою ничем не отличались от солдат. Это было сделано потому, что противник старался прежде всего выбить офицеров и тем лишить армию руководства. В этом коммунистическом прятании начальников мне почудилось нечто аналогичное. Только тут это — из области «социальной войны».

От нечего делать я стал в трамвай и поехал «до самого конца». Завезли меня Бог знает куда. И там, наконец, я нашел лавчонку, которая торговала молоком. И белый хлеб был. Я весьма аппетитно позавтракал тут же на улице. Затем стал двигаться обратно. Долго сидел на скамейке у остановки трамвая и наблюдал, как постепенно просыпается жизнь. Просыпалась она медленно и как-то неохотно. Или так мне казалось от скуки.

Наконец мне посчастливилось найти парикмахера. Дело в том, что сегодня был понедельник, то есть выходной день у парикмахеров. А потому все парикмахерские, работающие наемными мастерами, были закрыты и тогда, когда другие магазины открылись. И только одного удалось мне найти, маленького парикмахера, который работал сам от себя, без мастеров. Он держал половину комнаты. А другую занимал часовщик. Вот к этому парикмахеру я и ввалился со своими чемоданами. Сказал ему:

— Вот, знаете, я из провинции приехал. Зарос совсем. Постригите, пожалуйста, и бородку сделайте этак по-лучше.

Он усадил меня и не без удовольствия стал проектировать:

— Так как вы голову — машинкой, не правда ли, то мы и на щеки сделаем, как бы продолжение, — машинкой спустим. А тут (он показал на подбородок) сделаем бородку, такую остренькую. Вам должно пойти...

Я согласился.

И действительно, через десять минут я к своему собственному удивлению увидел в зеркале вместо не то раввина, не то факира, которым я был перед тем, довольно приличную физиономию с острой бородкой. Я напоминал петербургского чиновника прежних времен. Парикмахер очень радовался.

Я оставил у него свой чемодан и отправился еще постранствовать. Я зашел неподалеку в небольшой шляпный магазин, где увидел в окне ассортимент фуражек. Хозяин-еврей с услужливостью примерял мне всю эту компанию. Я остановился на фуражке синего сукна с желтым кожаным козырьком, которая, по его уверениям, была самая модная. Заплатил, кажется, четыре с половиной. Когда еврей заворачивал мне мою старую меховую шапку, я (так как я представлялся прежним) спросил, какая это улица. Он ответил:

— Какая это улица? Ну, так теперь она называется улица Горвица. Хорошо, пусть будет Горвица. Она есть Большая Житомирская.

Я шел по улице Горвица совсем преобразенный. Приобрел величественность взгляда и уверенность в походке, ибо на моем лице уже ясно было написано, что я советский служащий, а вовсе не какой-то смелиняк из Гомель-Гомеля.

Очень спокойно я вошел, чтобы выпить чаю, в большую столовую, которая против бывшего участка. Впрочем, он и теперь участок, тогда был полицейский, а теперь милиционный. Разница несущественная.

Большая комната была густо уставлена столиками, покрытыми белой бумагой вместо скатертей. Так как час был сравнительно ранний и почти никого не было, то было еще чисто. Надо было подходить к стойке, платить в кассу деньги, затем получать, чего душа просит. Моя душа запросила чаю и пирожков с мясом. Съела два.

Но за чаем бес попутал. Я поступил в противность поговорке «от добра добра не ищут». Для вящей убедительности мне пришло в голову покрасить свою седую бородку. Тогда, мол, я потеряю уже все общие черты с тем стариком, который убегал от «черного пальта».

Я вернулся к своему парикмахеру. Сказал ему:

— Знаете, я ведь еще совсем не такой старый! Зачем я буду седую бороду таскать? Давайте покрасим ее!

Парикмахер засуетился.

— Я бы с удовольствием. Но как я не специалист, то у меня краски нет, и вам бы лучше обратиться...

И он стал рассказывать, что тут по соседству есть парикмахерская, большая, где красят на все фасоны...

Я пошел. Но «живописная мастерская» оказалась закрытой. Ибо, как большая и шикарная, она работала на наемном труде, на мастерских, а сегодня, как назло, был выходной день.

Но как иногда бывает, когда хочешь сделать глупость, нападает непонятное упрямство. Я опять вернулся к своему парикмахеру и говорю — «заперто». И требовал от него, чтобы он меня покрасил.

Он в конце концов согласился и сказал мне, чтобы я пошел в аптечный склад и купил «хны».

— Что такое «хна»?

— Это такое, чем дамы волосы моют. Порошок такой, — вроде. Вы так и спросите — «хна»!..

Я пошел. Заходил в разные аптечные магазины и аптеки, но нигде этой хны не было. Мне было крайне неловко. Почтенный советский служащий, с седой бородкой, и вдруг ищет какую-то дамскую хну. Поэтому каждый раз, когда мне говорили, что хны нет, я спрашивал, что это такое. И когда мне объяснили, что это дамское средство, чтобы краситься, то я неизменно ругал свою жену, возмущаясь, что она черт знает что поручает покупать. Наконец я в каком-то, на четвертой улице, аптечном магазине нашел хну. Спросили — сколько. Я сказал фунт. Оказалось, что этим можно выкрасить эскадрон.

Принес моему парикмахеру. Он взялся с готовностью, но если бы я не был так загипнотизирован своей мыслью покраситься, то заметил бы в нем некоторую дрожь. Во всяком случае, усадив меня в кресло перед зеркалом, он пошел за перегородку и там с женой кипятил хну. Время от времени он приходил и сообщал, что пробует хну на седой волос (мне почему-то казалось, что на конский, но я не знаю в

точности, потому что дело было за занавеской) и что выходит хорошо.

Наконец приблизилась роковая минута. Он вышел с кастрюлечкой, в которой шевелилось нечто бурое. Это бурое он стал поспешно кисточкой наносить на мои усы и острую бородку. День был серый, кресло в глубине комнаты, и в зеркале было не особенно видно, как выходит. Намазавши все, он вдруг закричал:

— К умывальнику!

В его голосе была серьезная тревога. Я понял, что терять времени нельзя. Бросился к умывальнику.

Он пустил воду и кричал:

— Трите, трите!..

Я тер и мыл, поняв, что что-то случилось. Затем он сказал упавшим голосом:

— Довольно, больше не отмоете...

Я сказал отрывисто:

— Дайте зеркало...

И пошел к окну, где светло.

О, ужас!.. В маленьком зеркальце я увидел ярко освещенную красно-зеленую бородку...

Он подошел и сказал неуверенно:

— Кажется, ничего вышло?

Я ответил:

— Когда я пойду по улице, мальчишки будут кричать «крашенный»!

Он кротко и грустно согласился:

— Да, да, не особенно...

Но сейчас же оживился.

— Но я вам это поправлю!

И энергично послал мальчишку «за карандашом». Прошла минута, в течение которой часовщик, невозмутимо до той поры во время всей этой сцены крутивший какой-то механизм, обернулся на меня. Он вынул из глаза тот страшный инструмент, который часовщики в нем держат, и посмотрел на зеленую бороду. В этом взгляде я прочел окончательный ей приговор.

Вернулся мальчишка и принес обыкновенный карандаш. Парикмахер очинил его тщательно. Усадив меня снова перед зеркалом в кресло, в котором я чувствовал себя хуже, чем у дантиста, и взяв в левую руку гребешок, а в правую карандаш, он подхватывал на гребешке злосчастные волосы и тщательно растирал каждый волосок карандашом. По мере работы лицо его прояснялось, я же пока ви-

дел, что в зеркале борода темнела. Наконец он сказал:

— Готово! Хорошо!

Я взял зеркало и пошел к окну.

Боже! Из зеленой она стала лиловой... лиловато-красной. Это был ужас.

Парикмахер говорил:

— Я всегда так дамам делаю...

Но то, что выходило у дам, не подходило к советскому чиновнику. Что было делать?

Единственный исход! Надо было сбрить к черту всю эту мазню. Я сказал коротко:

— Режьте...

Но он запротестовал:

— Ах, нет, не надо!.. Такая хорошая бородка вышла!

Жалко.

Я повторил мрачно:

— Режьте все...

— И усы?

— И усы...

Нельзя ж было оставить лиловые усы...

Машинка заиграла, и лиловые перья, как листья в сентябре, падали вниз.

Под эти *les zanglots longs des viclons de l'automne** я думал о том, что, черт возьми, мое положение становится опасным... Из зеркала появилось мое прежнее, подлинное, «эмиграционное» лицо. Теперь не дай Бог встретиться с кем-нибудь, кто меня видел за границей. Узнать не трудно. А фотографические карточки, как мне было известно, большевистские агенты украли у меня еще в Париже.

Когда все было кончено, парикмахер сказал:

— Как изменяет! Когда вы ко мне пришли сегодня утром, и теперь... Кто бы мог сказать, что это один человек?!

В его голосе слышалось неподдельное изумление. А для меня в этом апострофе было одновременно и утешение и сожаление. Утешение в том смысле, что черное пальто теперь меня ни за что не узнает, сожаление, что мне пришлось расстаться с великолепным гримом.

* * *

Расстроенный парикмахер отказался **взять с меня деньги**. Я взял чемоданчики и, провожаемый **взглядом часовщика**, вышел на улицу.

* Протяжные рыдания осенних скрипок. (Прим. сост.)

Через несколько мгновений я почувствовал, что моя наружность еще более выиграла в смысле мимикричности. В витринах магазинов я видел явственного партийца. Бритого, в модной фуражке, в высоких сапогах. Оставалось только сделать лицо наглое и глаза импетуозные.

По-видимому, мне это удалось, потому что прохожие явственно уступали мне дорогу. А я шел на них, как будто бы это были не они, а воздух. Считать людей за пустое место, как известно, привилегия власти...

* * *

Я отправился в адресный стол. Хотя я должен был через час уехать из Киева, но я хотел для верности узнать адрес Москвича. Неизвестно было, как в конце концов повернутся обстоятельства.

Кроме того, в адресном столе мы должны были встретиться с Антоном Антонычем. Так было условлено — на пятый день моего сидения, в одиннадцать часов утра.

Адресный стол был такой, как раньше. Может быть, за столами, выдающими справки, сидели не те личности, но за столом, получающим справки, была приблизительно та же публика. То есть неопределенно-бессмысленного, беспомощного вида, какими бывают люди во всяких справочных бюро.

Я подошел к какой-то загородочке, где, очевидно, выдавали бумажечки, на которых надо было написать, кого ищешь. Висело какое-то объявление, из которого я отнюдь не понял, что мне, собственно, надо спросить. Чи желтое, чи зеленое? Я сказал наугад, и мне дали розовую бумажку.

Усевшись за большой стол, я стал выводить как можно явственнее и стараясь не вклеить смертельного твердого знака, который сразу бы обозначил, что я за птица.

В это время как бы некий свет озарил комнату, и я увидел с порога устремленный на меня «монокль». Это был Антон Антоныч.

Он узнал меня, несмотря на все мое травестирование*. Я видел это по чуть дрогнувшим губам. Но он не подошел ко мне, пошел к загородке, явственным и недовольным голосом спросил бумажку, сделал какое-то замечание чиновнику и затем, усевшись рядом со мной, стал выводить какую-то

* От фр. *travestir* — преодолевать. Употреблено в перен. см.— преобразаться. (Прим ред)

фамилию. Только для верности заглянул боком в мою розовенькую бумажку. Прочтя, он, очевидно, окончательно решил, что не ошибся и что этот бритый, неприятный господин явно советского вида и есть тот самый вышедший из моды старичок, которого он знал пять дней тому назад.

Я подошел к загородке и подал молодой даме сильно акцентного вида свою розовенькую бумажонку. Она прочла громко: Александр Григорьевич Москвич.

Мне казалось, что ее еврейское «р» носит все признаки злорадства и звучит приблизительно так: а, попался, погромщик! Но она больше ничего не прибавила и исчезла во внутренних апартаментах.

Я вернулся и сел на место. Пока она искала Москвича, я думал о двух вещах: во-первых, я вспоминал, как в 20-м году большевистский комиссар хотел получить справку из адресного стола по телефону. Это было ночью. Барышня ему ответила, что это совершенно невозможно, ибо электричество потухло и она себе разбила голову о шкаф. Теперь не то. Этот фарс, политый кровью, прошел. И если кровь продолжает литься, то уже размеренно-бюрократической струйкой.

А кроме того, я думал, что сейчас она звонит по телефону в ГПУ и говорит:

— Какой-то тип спрашивает Москвича.

И слышит ответ:

— Задержите его как можно дольше!

И она действительно задерживала. Уже Антон Антонович получил свою справку и ушел, сделав мне знак одной половиной лица, что он будет ждать меня на лестнице. И несколькими другим дали справки, а мне все еще ничего не было.

Наконец она появилась:

— Москвич выбыл неизвестно куда...

* * *

Если Москвич выбыл, то последний смысл моего пребывания в Киеве исчезал. Надо было ехать.

— Поздравляю вас,— сказал мне на лестнице Антон Антоныч,— великолепно... Узнать невозможно. Теперь идите вперед не оборачиваясь, я иду за вами.

Так мы прошли несколько улиц. Наконец он нагнал меня.

— Все в порядке. За вами нет никого. А что касается Москвича, то я могу вам сказать больше, чем адресный стол.

Он сказал мне несколько слов, о которых помолчу. И прибавил:

— Теперь вот что. Едем. Побродите еще немного и приходите на почту, что против вокзала. Я принесу вам туда билет, чтобы вам не стоять около кассы.

Так и сделали.

Я подождал его на почте минут пятнадцать, которые употребил на то, чтобы писать мифическую открытку мифическим лицам. А почта была такая же, как раньше. Кстати, я купил марок и определил, что и на почте и в адресном столе, как, впрочем, и на вокзале, как, впрочем, и во всех столовых, магазинах и вообще, куда бы я ни обращался, все неизменно говорили по-русски, а не по-украински. В первые дни своего пребывания я неизвестно почему однажды вообразил, что хоть с солдатами надо говорить по-«украински». Шел я мимо тюрем и как-то попал в такое место, где мне стало ясно, что идти сюда нельзя. То есть нельзя, если ты не арестован, а я по счастью был на свободе. А тут какраз часовой. Я решил, что нужно брать инициативу в руки, пошел прямо на него и спросил:

— Прохаю, як тут пройти?..

На что он ответил приблизительно следующее:

— Какого черта вы тут шляєтесь! Сюда вали...

Да вот еще однажды в трамвае увидел какого-то рыженького господина. Он что-то балакал на явно несуразном языке, который должен был быть «украинским». Очевидно, он хотел выслужиться перед мрачного вида личностью, которая его слушала с благосклонным отвращением.

Вот и вся «украинская словесность», которую мне удалось вычерпать из Киева в течение десятидневного пребывания в столице Украины.

Пришел Антон Антоныч, чуть-чуть поскользнувшись на каменном полу, посыпанном отрубями. Он недовольно ругнул порядки, что он делал неизменно при всяком случае, а мне сказал:

— Вот вам билет. К сожалению, на хороший поезд, которым я хотел вас возить, не достал. Но и этот ничего. Отходит в двенадцать сорок. Идите в «мягкие», то есть во второй класс. Я там буду, но в другом купе. Мы друг друга не знаем. Познакомимся в дороге. Не идите раньше, а идите к самому отходу поезда. Возьмите носильщика, он вас проведет.

И вдруг прибавил, причем его строго наморщенное лицо сделалось совершенно иным:

— Ох, я вас ужасно люблю. Но вздохну я свободно только тогда, когда с вами расстанусь... Это будет мой счастливый день...

Я не мог бросить Киеву прощального взгляда через решетку железнодорожного моста, как это полагается, потому что, во-первых, был туман, а во-вторых, окна замерзли. Вещи мало совместимые, но иногда бывает. Впрочем, особенных вздохов я бы не мог из себя выдавить.

В самом деле, что я покидаю в этом Киеве? Что-то покидаю. Но что именно, я и сам еще не мог определить. Во всяком случае, я не покидал здесь ничего такого, о чем вздохнул бы раньше. Нет, решительно ничего...

Я подумал о том, что за десятидневное пребывание, из которого шесть дней я непрерывно шатался по улицам, я не встретил ни одного знакомого лица. В любом большом городе Западной Европы это было бы невозможно: кого-нибудь я бы узнал или кто-нибудь меня бы узнал. А здесь, кроме «черного пальта», которое оказало мне любезность обратить на меня внимание, никто, можно сказать, даже не чихнул. Да и черное пальто это было еще какое-то подозрительное опознавательство: быть может, он узнал во мне какого-то разбойника, каким я при всех своих грехах никогда не был.

Вот тебе и родной город.

* * *

И все-таки было что-то родное... Но что, не разберусь. Если бы я был синзитивом, то есть существом, обладающим такой чуткостью, что оно видит следы всех существ, которые когда-либо прошли в данном месте, я бы понял, что я тут чувствовал родное: это тени прошлого. Но так как я груб и нечувствителен, как коряга, которая лежала лет пятьдесят на дне Днепра, то, конечно, это было что-то другое...

XV

В МОСКВУ

Вагон нес мягко, как и полагается доброприличному пульмановскому вагону, хотя бы и на советской службе.

Все места были заняты, то есть, по русским понятиям, вагон был полон, а по заграничным — наполовину пуст. Ибо каждый имел спальное место, как полагается в России, и было нас в просторном купе четверо.

Несмотря на день, верхние полки были подняты, потому что отчего же не поспать и днем, ежели можно? Для верности я отправился туда, наверх, а остальные трое беседовали внизу.

Средних лет еврейка занимала полку подо мной. Я рассмотрел ее, когда лез наверх. Она была совсем ничего себе дама. Сейчас она отдыхала-лежала. Мне видны были только ее туфли и чулки — все как следует.

Против нее сидел великолепный мужчина лет за сорок, но без седого волоса, купчина по всей форме, в прекрасной синей поддевке, в шелковой желтой косоворотке, в лакированных сапогах. Когда отходил поезд, он набожно перекрестился и затем делал это на каждой станции, при каждом отходе поезда.

Четвертым пассажиром был еврей средних лет, одетый в европейский костюм, т. е. в то, что теперь считается европейским. В наше время обязательно было носить крахмальное, белое белье. Только летом разрешалось, и то иногда, носить мягкие воротнички. Теперь мягкие воротнички во всей Европе таскают лето и зиму. Такая мягкая рубашка с галстуком была на еврее средних лет и помятый, но приличный пиджачный костюм. Надо сказать, что Антон Антонович, который стоял в коридоре и барабанил по стеклу, с презрительным видом всматриваясь в мелькавшие снежно-сосновые русские пейзажи, был одет точно так же. Но я чувствовал, что и мой серый свитер, который закрывал меня по самый подбородок при высоких сапогах, тоже еще «сходил». Пожалуй, я мог даже рассчитывать на некоторое уважение. Так сказать — внешнее уважение, под которым тайная насмешка: один, мол, из «последних могикан» эпохи военного коммунизма...

Купчина нарушил молчание, плотно покушавши пирожков, штук пять, бутылки две лимонаду, приступая к десятому яблоку.

— В Москву изволите ехать?

На это последовал томный голос, ответивший с полки, находившейся подо мною, причем туфли и чулки шевельнулись:

— В Москву... Я теперь совсем москвичка стала... Но на самом деле я таки киевлянка. Я сейчас приезжала в

Киев, потому что у меня мама больная. Она очень серьезно заболела, и я должна была в ту же минуту выехать. Но, слава Богу, все обошлось, и, когда я выезжала, она себя чувствовала-таки лучше. Теперь я дождусь не дождусь, когда уже приеду в Москву. Ну, теперь, кажется, поезда уже хорошо ходят?

Вмешался еврей.

— Теперь уже хорошо!

Но купец сказал:

— Ну, это положим... Хорошо, да не очень. Хотите пари держать, что опоздаем?

Еврей ответил:

— Пари, зачем пари? Только если бы не пари, то я бы утверждал, что мы не опоздаем.

— Ну хорошо, завтра увидите.

— А когда он, собственно, приходит? — спросила еврейка.

— Завтра в девять часов. А вы очень спешите в Москву, позвольте вас спросить?

Она ответила:

— Ну, еще бы! Мои девочки там меня ждут. Я, чтобы поспеть к мамаше, должна была их бросить. Это, вы знаете, ужасно, когда семью разрывают на две половинки.

— Но что, смею вас спросить, заставило вас переселиться в Москву? Дела, конечно?

— Дела делами... Но, знаете, есть вопросы, которые, может быть, больше дел. Я же должна дать образование своим девочкам?

— Как так? Разве в Киеве вы не могли дать им образование?

— Что значит образование?! Что значит теперь к и е в с к о е образование?

Я почувствовал, как она под полкой разгорячилась, — туфли пришли в нервное движение.

— Вы мне скажите, кому нужно это киевское образование?

— То есть это вы про украинский язык говорите?

— Ну да!.. Что вы хотите! Мои девочки должны знать такой язык, который был бы для чего-нибудь им нужен. Вы мне скажите, что они с этой мовой будут делать?!

— Ну, а все-таки! — сказал еврей примирительно.

Но она не унималась:

— Что значит «все-таки»?

Он ответил:

— То значит, что Украина тоже не малое пространство... Будут иметь, где хлеб кушать!

— Нет, позвольте,— вмешался купец.— Что это за язык?! «Самопер попер до мордописни»...

Мне стало тошно. Этот самопер, который попер в какую-то никогда не существовавшую мордописню, намозолил нам уши уже в 17-м году. А они его все еще повторяют.

Но еврейка убежденно захохотала. И они стали вдвоем с купчиной измываться, приводя цитаты из украинского языка самоперно-мордописного характера. Мне очень хотелось вмешаться и сказать им, что не так надо бороться с украинством, что это приемы «кацапо-еврейские», которые до пути не доведут, а что с украинством нужно бороться «по-малороссийски». Но я вовремя удержался. И так как купец в это время кончал одиннадцатое яблоко, которое очень вкусно пахло, то я слез с полки, едва не поставив свои сапожищи на чулочки томной еврейки, и, воспользовавшись тем, что поезд остановился, пошел на перрон.

Там был морозный воздух, приятный, после душно-теплого вагона. Это была станция из сугубо хохлацких, не то Конотоп, не то Бахмач, не то «крути, да не перекручивай». Что-то в этом роде. Я вмешался в толпу, которая галдела и выпускала из сотни ртов пар, что придавало ей типично русский зимний колорит. Толпа напоминала какое-то серое неуклюжее месиво, в котором перепутались кожаные, поддевки, меховые шапки, женские платки и шлемы со звездами. Среди них весьма ощутимыми прожилками прошмыгивали «европеизированные», но преимущественно еврейчики. Я пробился через месиво и, заодно выпив у стойки горячего чая с неизменной плюшкой, купил несколько больших желтых «антоновок», знакомых антоновок, которые некогда покупались на Днепре целыми пудами, по рублю за пуд и меньше.

Вернувшись в вагон, я решил познакомиться с Антон Антоновичем. Он стоял у стекла и, глядя на эту серую косматую толпу, недоумевал: и каким образом это может существовать на свете?

Я понимал это «это». Его презрение к советской власти и советским порядкам удивительно совмещалось с отдаванием им должного. Выражение его психического лица всегда было неизменно. Оно говорило: «Вы, несомненно, способные мерзавцы, но все-таки вы — мерзавцы были и будете, и ваши способности ничего вам не помогут. Кончи-

те вы там, где шпана всех веков всегда кончала».

Я подошел к нему и спросил, копируя купчину:

— В Москву изволите ехать?

Он ответил, что в Москву, и мы вступили в разговор. Сначала громко, потом вполголоса. Он сказал:

— Я осмотрел вагон, никого подозрительного нет. А в вашем купе совсем хорошие люди.

В его купе тоже были ничего люди. И тоже была дама, — молоденькая, кто ее знает, еврейка или нет, но совсем хорошо одетая, в шляпке, в шубке и в серых ботинках.

Мы продолжали вполголоса разговор, а в моем купе все было то же самое. Купец хохотал и в сотый раз повторял:

— Нет, подумайте, «попер самопер в мордописню»!

Меня это, наконец, разозлило. Я сказал ему:

— А позвольте вас спросить: как это вы скажете по-русски?

Он посмотрел на меня, все еще сохраняя на своем добродушном лице, своеобразно красивом, искреннюю веселость.

— По-русски? Да очень просто: автомобиль поехал в фотографию.

А я сделал такое лицо, которое приходилось делать в Государственной думе, когда я обращался в былые времена — «налево».

— И вы думаете, что это по-русски?

— Ну, а по-каковски?

— Да в том-то и дело, что не по-каковски. Смесь парижского с нижегородским.

Он посмотрел на меня беспомощно.

— То есть как это?

— Да вот так. Автомобиль слово не русское, не то французское, не то латино-греческое... Точно так же и фотография. А вы говорите, что это по-русски.

— Но позвольте, — заволновался он. — Эти слова, так сказать, вошли в русский язык.

— Вошли. Но почему же вы думаете, что они не могут войти в украинский и что нужно вместо автомобиль говорить «самопер» (кстати, такого слова никогда не было — говорили они «самохид»)?

Он несколько опешил. Но потом нашелся:

— Позвольте, вы, значит, за украинскую мову?

Я улыбнулся. Он, конечно, не мог знать, чему я улыбнулся. А улыбнулся я тому, как повел губами Антон Антоныч.

Я в качестве защитника украинской мовы — это выходило занимательно.

Я ответил ему:

— Нет, я против украинской мовы. Но я также против великорусских ошибок.

— Но в чем же ошибка?

— Ошибка в том, что когда хочешь с чем-нибудь бороться, то надо этот предмет знать. Иначе приходится пробавляться анекдотами от царя Гороха, которые не ослабляют, а только укрепляют украинскую позицию. Вы вот, например, думаете, что «самопер попер» это действительно так. А этого никогда не было. Это просто шутка, насмешка. А время насмешек прошло, и надо бороться по существу. То есть надо указывать на действительные недостатки. На настоящие слабые места, а не на воображаемые. Иначе вы будете делать брешь там, где и так дырка. А настоящих позиций украинских не возьмете.

— Какие же это настоящие украинские позиции?

Я собирался развить эту тему в речи так минут на сорок, но, по счастью, Антон Антонович вмешался в это дело и увлек меня покупать газеты.

Но, уходя, я слышал, как примирительный еврей подхватил мою аргументацию и что-то доказывал, но довольно беспомощно.

Когда я вернулся второй раз, спор продолжался. Меня опять вмешали в это дело. Но тут я занял более безопасную позицию. И напал на украинцев «с точки зрения партии», коммунистической партии, разумеется. Если говорят «партия», то значит — партия коммунистическая.

Я говорил о том, что на пути к интернационалу лежит деление на мелкие народности. Что чем большее количество людей и чем большая территория занята одним языком, тем легче переход к интернационализму. Что хотя временно партия согласилась на образование самостоятельных республик, в которой каждой представляется говорить своим языком, но это вовсе не есть идеальное положение, и что поэтому каждый истинный коммунист должен стараться восстановить бытовое господство русского языка, как главного на всем пространстве СССР.

Прочтя эту маленькую лекцию, я с достоинством отправился на верхнюю полку, где и принялся грызть яблоки.

Внизу разговор не умолкал, но уже на другие темы.

— Как вам нравится теперешняя Москва? — спрашивала томная еврейка. — Вы ведь настоящий москвич?

Он ответил:

— Да, я настоящий москвич, природный. Вы хотите знать, нравится ли мне теперешняя Москва? Нет, скажу откровенно, не нравится...

— А почему? Она теперь, кажется, еще оживленней, чем была?

Купец немножко помолчал, как будто не то колебался, не то собирался с мыслями. В это время поезд стоял на какой-то станции, и было тихо, как бывает во время остановок. Но скоро тронулись. Он перекрестился, как он делал после всякой остановки, и вместе с движением поезда заговорил:

— Пожалуй... Шума — много! Старая Москва, та была тише. В московских особняках этого, что сейчас, шума не было. Зато другой шум был. Золотой шум... Сейчас вот семь вагонов мануфактуры отправили. Боже мой, какой шум поднялся! Семь вагонов... Можно подумать — Европу зажгли. А раньше? Семьдесят вагонов отправят, никто бровью не поведет. Пустое дело было... Ежедневное. Ну, придешь, скажем, к Петру Петровичу, вот позавтракаешь. Спросишь, Петр Петрович, семьдесят-то вагонов идет? Петр Петрович подумает, скажет: идет. Если уж сказал, — кончено. Больше тебе ничего не надо. Уже семьдесят вагонов — твои, уже пошли. Почему? Потому что купец это было — слово. А слово — это был купец. А теперь на самую пустяковину, на то, что и смотреть нечего, он мне сейчас тащит бумагу, условия, векселя, подписывать контракт, да что вы, в самом деле? Не могу я этого понять. Как так дела делать? Не то чтобы семьдесят вагонов отправить по одному слову, а из-за одного вагона семьдесят человек на тебя набрасываются! Все вместе кричат, все что-то предлагают, один тащит в одну сторону, другой в другую, друг у друга перебивают, семьдесят тысяч слов сыпят в минуту! Вы не подумайте, пожалуйста, что я с точки зрения национальной говорю. Нет, я в национальном вопросе совершенно беспристрастен, а просто так, обычай пошли иные, и к ним душа не лежит... Старая Москва иная была. Тихая. Да в тишине этой золотой шум звучал...

Я посмотрел на него сверху, у него в эту минуту было красивое лицо. А рука выразительным жестом как бы сыпала золотые струйки, куда-то в пространство, в далекое прошлое...

Еврейка помолчала: по-видимому, на нее подействовала эта старомосковская золотошумная сюита.

А купец продолжал:

— Я лично хорошо живу. Жаловаться нельзя. Я с самого начала, как началась революция, не скрывался. Вот видите, купеческое платье ношу и всегда носил. И на всех бумагах и анкетах, где приходилось писать, всегда писал — купец. Не стыдился и не отрекался... И вот, ничего. Сейчас — служу. Дело большое. Начальники мои коммунисты. Ну что они понимают? Надо дело знать. И им это ясно теперь стало. И вот, ценят. Я им сказал: «Служить вам буду, но только вы моих убеждений не трогайте». А мои какие убеждения? Религиозные. Коммунизм — коммунизмом, а религия — религией... Я им сказал: «Не препятствуйте мне молиться, в церковь ходить, посты соблюдать и праздники чтить». Они смеются. Но не препятствуют. Вот я сейчас возвращаюсь на праздники. На наши праздники, по-старому. В командировке был ответственной, но в сочельник должен дома быть. Это уже как хотите! Или уважьте, или работать не буду, голову с плеч рубите. А без иной-то головы в деле не обойдешься. Уважили. Вот еду, завтра сочельник у нас.

Он перекрестился.

* * *

Потом разговор перешел на другие темы. Он рассказывал увлекательно, про разное, преимущественно из старого. Острых тем не касался. Рассказывал и про железнодорожный мир, благо вопрос о том, опоздаем ли мы или нет в Москву, еще раз всплыл. Рассказывал на ту тему, что все хорошо и все плохо. Как на какой-то железной дороге применили премию машинисту за прибытие в срок и за сбережение угля. И это давало хорошие результаты. А на другой железной дороге, когда применили что-то в этом роде по отношению к начальникам станции, в страшное крушение влипли. При этом он свободно оперировал старыми фамилиями бывших железнодорожных тузов, с которыми был в приятельстве. Он совершенно не стеснялся говорить о том, что он был и что он делал, как не стеснялся креститься и носить купеческое платье. Видимо, эта крепкая порода действительно выдержала революционный самум и сейчас почувствовала свою силу. Можно было с уверенностью сказать, что он из старообрядцев.

Увы! Бог его знает, какими путями это произошло, что, можно сказать, цвет деловитости русской оказался в

раскольниках. Впрочем, это понятно. Пусть неверно верили эти люди, но крепко верили. Остальные же, которые легко пошли на новшества, только в некоторой своей части были просвещенней и умнее, в остальном же были просто партией КВД — куда ветер дует...

Сугубо было бы интересно углубиться в вопрос, почему торговая купеческая деятельность исторически нередко была связана с глубокой религиозностью. Что это так, мы могли бы проследить на трех примерах: солидные вековечные английские купцы как-то неразрывно связываются с торжественным чтением Библии по воскресеньям; торговое еврейство всех веков, до самого последнего времени, отличалось фанатической набожностью; и, наконец, почти все наше именитое купечество — раскольники, которые из-за вопросов веры готовы были идти на костер.

Мне кажется, что солидные торговые предприятия создавались многими поколениями. Необходимо, чтобы сын делал то же самое, что отец, а внуки и правнуки наследовали дело дедов и прадедов. Для этого необходимо, чтобы люди в течение ряда поколений (в общем) жили бы одними и теми же идеалами и руководились одними и теми же правилами. Словом, это должны быть устойчивые психические типы, с традицией в крови.

Это условие чаще всего встречается у натур религиозного склада. Ибо религия, которая не меняется на протяжении тысячелетия, есть самая мощная производительница традиции. В то время, как люди нерелигиозные вечно мнутутся из стороны в сторону, следуя за взаимно противоречащими рационалистическими доктринами, вечно повторяя на мировой арене гениальную драму Тургенева «Отцы и дети», религиозные люди не знают этой трагедии взаимно враждующих исканий. Сын молится так же, как молился отец, и вместе с молитвою наследует мирозерцание — комплекс моральных понятий. А вместе с этим и вкусы и навыки. Кроме того, ведь натуру человеческую нельзя перерезать ножом: если человек идеен в одном, он будет таким же и в другом. Если человек способен из-за религиозных соображений пойти на всяческие жертвы, лишения и даже муки, то он будет тверд и последователен и во всех остальных областях своих деяний. Отсюда и это подслушанное мной выражение: слово — это купец, купец — это слово...

Большие дела не могут твориться без кредита. А что такое есть кредит? Кредит это есть выражение доверия. Вот говорят, если человека выбрали в парламент, ему ока-

зали доверие. Может быть. Но когда человеку на слово дают крупные деньги, то пожалуй — это есть «кованое доверие», которое больше стоит, чем избирательное.

Известные моральные твердые основы необходимы в солидном торговом деле. Но скажут: а евреи? Ведь евреи — это, по ходячему представлению, есть антитеза морали.

К сожалению, здесь кроется грубое заблуждение, за которое так называемый христианский мир уже много раз платил и будет платить.

Евреи почти весь окружающий мир рассматривают как некую враждебную стихию. И по отношению к этой стихии они применяют мораль войны. Чтобы понять еврейскую силу, основывающуюся на еврейской морали, надо твердо понять: солидные коммерческие евреи глубоко честны по отношению друг к другу. Прожив много лет в нашем, юго-западном крае, я наблюдал, как еврейство ведет большие хлебные операции самым упрощенным путем: рассылаются открытки во все стороны от Челябинска до Кишинева. И по этим открыткам без всяких гарантий и обеспечений хлеб притекает туда, куда надо, т. е. туда, где сидит какой-нибудь еврей-мукомол, которому верят евреи — отправители хлеба. Если бы купеческое еврейское слово не было бы твердо по отношению к евреям же, эти операции не могли бы производиться.

Религия есть великая ось. Поэтому люди религиозные всегда будут созидателями длительных больших вещей, рассчитанных на много поколений.

* * *

Вопрос о том, опоздает ли поезд в Москву или нет, разрешился утром. Выиграл купец, поезд опоздал. Но победа эта, можно сказать, была пиррова. Ибо опоздал он на десять минут. На пробег между Киевом и Москвой, совершенный в 21 час, это можно сказать, не считается.

Спал я прекрасно, благословляя русские железные дороги. Ибо надо было иметь большой талант, настойчивость и изворотливость, чтобы после всеобщего разрушения движения его так восстановить. О товарном я не знаю и потому говорить не буду. Не знаю также, как функционируют малые пассажирские ветви, но большие работают хорошо.

И, конечно, это сделано не кем иным, как старыми железнодорожниками. Заслуга «верхов» может сводиться здесь

только к тому, что, когда действительность ударила своим жестким концом по коммунистическим лбам, они кое-что поняли и позволили железнодорожникам работать.

То есть, другими словами, они поняли то, чему их учили многие, в том числе и я, еще на большом Совещании, в Большом Московском Театре, под председательством Керенского и в присутствии генералов Алексеева, Каледина и Корнилова в августе 1917 года.

— Слыхали ли вы про «митинговую починку паровозов», когда вместо того, чтобы передавать «диктатуру ремонта» опытным мастерам, суверенный пролетариат собирается митингом вокруг искалеченного локомотива и речами в стиле революционной демократии стремится залечить зияющие раны поршня и подшипников? Так вот, пока это будет продолжаться, у вас не будет железной дороги, как уже нет армии. Митинги и работа — вещи несовместимые.

Так говорили мы на этом совещании. Большевики, которые составляли половину залы, то есть около тысячи человек, яростными криками встречали выступления каждого из нас, но намотали на ус наши мысли. И, дорвавшись до власти при помощи митингов, эти митинги разогнали, и с той поры паровозы стали чиниться и таскать поезда...

* * *

В течение переезда у меня никто не спросил документа, да и вообще, как мне сказали, это теперь совсем не принято. Если спрашивают документ, то это уже плохо: это обозначает, что против этого лица имеют определенное подозрение. В таких случаях его обыкновенно просят кой-куда на станцию, где всюду есть отделения ГПУ, и там просят документ и многое другое. Огульной же проверки документов, в поездах, как бывало раньше во времена военного коммунизма, не бывает, об этом сейчас забыли.

Не было проверки и на московском вокзале, где просто только отобрали билет.

* * *

Мы пошли с Антон Антонычем в сопровождении носильщика, который тащил багаж такой незначительный, что его прекрасно можно было нести самому. Но что вы хотите? Русские — большие бары, а человеческого материала в России достаточно, — хватает и на носильщиков! Мы прошли в

буфет первого класса. Разумеется, там не было написано, что это буфет первого класса, но это было совершенно ясно.

Красива эта зала, где на стене под часами весьма изящно сделана карта-чертеж всех направлений, с одного вокзала начало берущих (разумеется, вокзал построен при царском правительстве), где города указаны своими гербами. Она была уставлена маленькими столиками, под белыми скатертями. И даже цветочки стояли. Народу почти не было, и потому можно было оценить чистоту паркета и всей обстановки.

Мы сели в уютном уголку и пили недурное кофе с традиционными «бутербродами». Это немецкое слово, кажется, распространено только в России. Бутерброды были с «швейцарским» сыром (название, которого тоже нигде, кроме как в России, не существует) и икрой, тоже вне России недоставаемой. Здесь это запросто, как в былое время. Но дороже — вдвое и втрое.

Затем к нам подошел «один гражданин», который нас радостно приветствовал. Он был очень недурно одет, а лицо у него было в высшей степени симпатичное, гостеприимное и доброе. Пока они говорили с А. А. о своих делах, я отправился на телеграф.

Немного я волновался, откровенно говоря, производя эту операцию, ибо кто ж его знает, а вдруг, когда я подам телеграмму с адресом Париж, из-за окошечка выскочит гепист и схватит меня.

Но ничего подобного не случилось. Меня предупредили, что телеграмму нужно подавать французскими буквами, но на русском языке. И что содержание ее лучше всего сделать коммерческим. Так как мне важно было подать своим весть, что я жив и на свободе, то я вывел: telegrafiouite tzenou.

Чиновник за окошечком прочел ее по складам и сказал сколько.

Получив квитанцию, я ушел, все еще осматриваясь, но никто за мной не пошел, и это ясно можно было определить, когда я шел по большим, прекрасным залам вокзала, где народу совершенно еще не было. У газетной стойки только что привезли свежий тук «Известий» сегодняшних.

* * *

Мой новый знакомый знал, кто я. Антон Антонович сказал мне, что он меня покидает, так как у него неотложные дела в Москве, и что его друг, которого будем для просто-

ты называть Петром Яковлевичем, поможет мне на первых порах, а свидимся мы в течение дня в бывшем «Мюр и Мерилиз»*.

Мы вышли на большую площадь перед вокзалом, где было не очень много извозчиков, ибо они уже разъехались. Но заповвав, наконец, одного, поехали.

XVI

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Я не видел Москвы с августа 1917 года. Тогда она находилась в апогее керенской распущенности. Было лето. Теплый воздух улиц был пропитан тяжелым запахом проститутских духов. Развал социальной гнили праздновал свой апофеоз. Это был какой-то кабак на кладбище. Среди этого Валтасарова пира, окруженный юнкерами военного училища, — единственная часть, на которую можно было положиться, — стоял Большой московский оперный театр, в котором заседало Государственное Совещание. Впрочем, оно больше напоминало оперу, чем последнюю попытку сговора людей, которым иначе предстояло вступить в смертельную борьбу. Однажды я вошел в этот театр, запоздал к началу (совещание длилось несколько дней) и был поражен: этот Керенский на сцене, с двумя адъютантами-офицерами, столбями в полной форме за его креслом, эта трибуна, крытая роскошным бархатом, эти столы под ярко-красными сукнами — совсем «состязание певцов» из «Тангейзера»...

* * *

Опера быстро кончилась, и началась трагедия. В этой трагедии действующими лицами были те, у которых за актерством таилось «настоящее». Те, которые могли не только «выступать», но и поступать. Те, кто могли не только говорить речи, но и принимать решения.

К их числу, конечно, не принадлежал Керенский...

* * *

С тех пор я Москвы не видел. Но и тогда я ее видел как сквозь туман, весь поглощенный Государственным Со-

* Теперь это ЦУМ. (Прим. сост.)

вещанием, с одной стороны, и отвращенный от самой Москвы нестерпимым запахом революционной корчмы. Впрочем, и вообще Москву я знал очень плохо. Поэтому москвичи да простят мне несчетное число промахов, которые я сделаю в дальнейшем изложении, не запомнив и не обратив внимания на то, что каждому москвичу бросилось бы в глаза.

День был морозный, но серый. Первое впечатление была картина, развернувшаяся с моста на Москву-реку, столь известная, много раз воспроизведенная кистью. Она была все та же. Могу сказать только это.

Затем меня поразило неистовое количество извозчиков — всяких: легковых и ломовых. Ломовые, эти огромные васнецовские кони, с рыжими, кудлатыми гривами, с кистями, ниспадающими на копыта, через некоторое время куда-то исчезли. Зато легковые извозчики, всем известные ваньки, безмерно увеличивались в числе, пока не превратились в сплошную вереницу. Эта гусеница еле протискивалась по обе стороны трамвая. Вся эта история, т. е. вся эта бесконечная колонна лошадей, останавливалась в то же мгновение, как останавливался трамвай.

— Это у нас строго, — сказал Петр Яковлевич.

И действительно. Пока трамвай стоял, никто не смел шевельнуться. Поэтому можно было рассмотреть, что делалось у трамваев. Тут шел штурм.

— Поглядите, — сказал Петр Яковлевич. — А когда расходятся из учреждений, около шести часов — хуже... Попасть невозможно.

Действительно, лезли, как могли. Однако чувствовалась во всем этом какая-то сильная рука. Эти извозчики, замиравшие на месте, эти люди, которые перестали штурмовать набивши до предела, чему-то повиновались и чего-то очень боялись. Это было несомненно. Уличная дисциплина почувствовалась сразу.

Кто лез в трамвай, разобрать в этой каше трудно было. Но толпа, скучившаяся у остановок, давала об этом представление, и в особенности та толпа, которая двигалась по улицам.

В общем была она «салопная», и еще более, чем в Киеве, «валенчатая». Сказывался климат. Валенки мелькали всех сортов и фасонов. Начиная от изящных белых валенок, прошитых чем-то «для кокетства», стоящих до тридцати рублей, как объяснил мне Петр Яковлевич, и кончая простыми, безобразными, коричневыми.

Но среди этой салопчато-валенчатой толпы было много

хорошо одетых или все же недурно одетых. Мелькали шляпки на дамах, шубки, ботинки. Пожалуй, можно было сделать некоторое различие между публикой, стремившейся в первый вагон и во второй вагон трамвая. По крайней мере мне так показалось. А Петр Яковлевич сказал мне:

— Вот будете ездить в трамваях, обратите внимание, в первом вагоне всегда публика «чище». Больше жидов, но и тех, кто получше одет.

— Почему? Разве тут есть два класса?

— Нет. Одинаковы оба вагона, и плата совершенно одинаковая, никаких классов нет. А вот сама публика отбирается. Кто попроще, лезет в вагон, который похуже... Потому что, надо вам знать, второй вагон хуже,— трясет и шумит. Но им как-то там приятнее, так сказать, среди своего брата...

— Послушайте, но это ведь совершенно невероятно! В вашей-то «крестьянско-рабочей» республике! Ведь когда это все начиналось, словом, когда мы были еще здесь, было же как раз наоборот. Так называемый пролетариат лез во все первые классы, а презренных буржуев выбрасывали на задворки...

Он оживленно перебил меня:

— Вы об этом забудьте! Этого всего уже нет. А вот, вы думаете, с квартирами как дело обстоит? Помните, в начале «рабоче-крестьянской» знаменитое «вселение в квартиры»? Когда рабочими набили все буржуазные квартиры... А знаете, как теперь? Все они вернулись на прежние места, в свои рабочие квартиры... А буржуазные квартиры заняла буржуазия. Правда, новая буржуазия, но тем не менее буржуазия...

— Да почему же это?

— Почему? Во-первых, они сами поуходили. Ну скажите, на кой ему черт роскошные квартиры, в которых он ни черта не понимает? Ведь это хорошо было побаловаться. А в общем кресла и ковры ему очень быстро надоели, тем более что за ними надо ухаживать. Все это они превращали в пакость благодаря своей некультурности, и что же тогда оставалось, как «реальность»? Как реальность, оставалось огромное расстояние, которое каждое утро и вечер надо делать пёхом или же штурмовать трамвай. И платить, потому что трамваи у нас дороги. Вот тогда и предпочли вернуться на старые квартиры, которые близко от фабрик и заводов... Убедились, что недостаточно завладеть буржуйскими квартирами, чтобы стать буржуями.

А кроме того, этому весьма содействовала и покровительствовала сама наша власть... Ведь для бесконечного числа чиновников и просто евреев нужны же были квартиры в центре? И они быстро раскусили, что с точки зрения «целесообразности» перенесение рабочих квартир в кварталы, отдаленные от фабрик, нелепо. Ведь теперь с рабочими не церемонятся. Теперь мы помешаны на «экономическом фронте». Значит, подавай работу, повышай «производительность», выбивай «довоенные нормы», — и никаких гвоздей! Все остальное саботаж и контрреволюция!

* * *

Мы ехали бесконечными улицами, узкими, все больше мимо невзрачных домиков, столь характерных для Москвы.

Я смотрел на все это «анархическими» глазами.

По-моему, есть на свете две хороших вещи: старина и роскошь. Эти две штуки обыкновенно исключают друг друга. То, что старинно, не роскошно. То, что роскошно, есть продукт последнего слова науки, техники и искусства.

А вот в Москве невероятное количество домишек, которые и не старина и не роскошь. Эти домишки без всякой архитектуры, построены, должно быть, во второй половине XIX века и ровно ничего из себя не представляют. Таких домишек можно встретить сколько угодно в любом губернском городке. Они имеют только одну особенность, но весьма печальную: занимают драгоценное место.

Если можно жертвовать этим местом для старинных зданий, хотя бы и не больших, если следует сохранить знаменитые московские особнячки, представляющие поэзию известного стиля, то остальное надо бы безжалостно ломать. Где нет старины, там надо создавать роскошь; роскошь современных возможностей, роскошь небоскребов. Ведь подумать, этот город, если его застроить прилично, совершенно свободно вместил бы несколько миллионов людей, а сейчас он задыхается от тесноты только потому, что перевалил за миллион...

Впрочем, это судьба всех русских городов. Если сравнивать наше строительство с западноевропейским, то можно изречь, что в то время, как там лезут вверх, мы расплощаемся вширь. Возьмите французский городок, насчитывающий едва несколько сот жителей. Он имеет трех- и четырехэтажные дома, благодаря чему весь концентрируется на ничтожной площади. Протяжение его иногда в сто-пол-

тора — двести метров. Но благодаря такой ничтожности протяжения, он может себе позволить хорошую мостовую, уход за несколькими, но прекрасными деревьями, украшение крохотной, но уютной площади, на которой есть «фонтан, церковь и памятник».

У нас деревня в тысячу и две тысячи человек постоянное явление. Она растягивается на версты, замостить невозможно, разводится фантастическая грязь, дойти в церковь и то уже подвиг.

Конечно, перестроить нашу жизнь в «порядке декретности» могло бы прийти только в <...> голову Ленина или кого-нибудь в этом роде. Но осознать, что ползать по земле вовсе уж не такое достоинство и что в известных случаях необходимо лезть на небо, это полезно было бы и всем нам.

По крайней мере всем тем, кто придет после большевиков и кому придется бесконечно строить. А это непременно будет, ибо послереволюционные периоды отличались строительством, хотя бы взять в пример императорский Рим и императорскую Францию. Пока же, к слову сказать, большевики ничего не строят. Я по крайней мере (забегаю вперед) за все пребывание в Москве строящихся домов не видел.

— Но зато «реставрируют», — сказал Петр Яковлевич. — Мы на этом тоже помешаны. Мы уже все сделали, все исправили, жизнь наладили, мы можем даже позволить себе роскошь служить искусству и науке: мы реставрируем. Мы реставрируем какой-то (т. е. он не сказал «какой-то», а это для меня, провинциала, он какой-то) Шереметьевский особняк, снимаем с него штукатурку позднейших наслоений и вообще и вообще. «Исторических музеев» у нас тьма-тьмущая. Мы стремимся во что бы то ни стало доказать свою культурность. Остаткам человеческим мы рубим головы без всякого сумления. Но то, что уцелело от старого режима в смысле вещей, мы бережем любовно. Это, чтобы Европа знала и понимала... Растрелянных ведь не показывают. А вот музеи — пожалуйста. Но самое интересное, вот полюбуйтесь...

Мне очень стыдно, я так плохо знаю Москву, что могу напутать. Однако несомненно, что мы были в это время на площади, с которой хорошо виден так называемый Китай-город, то есть историческая зубчатая стена, насколько я понимаю, опоясывавшая Большой Кремль.

— Вот, полюбуйтесь, — сказал Петр Яковлевич. — Ведь

вы, конечно, слышали, что Москву называют Белокаменной. Но где же эта белокаменность, когда все эти исторические стены красного кирпича? Так вот советская власть решила восстановить белокаменность. Ибо под красной кладкой действительно белые стены. Вот смотрите...

Действительно, это ясно было видно, потому что часть стены еще оставалась красной, а часть, уже освобожденная от позднейшего покрова, была серо-белой.

Эта история, что красная власть поставила себе целью восстановить белую Москву, показалась мне символом, над которым я бы мог без конца философствовать, если бы мы не въехали в какую-то улицу, одну из очень известных в Москве, но о которой я из благоразумия помолчу, где мой спутник подыскал мне гостиницу.

— Москва переполнена. Здесь достать комнату в гостинице, это надо иметь просто счастье. Тем более недорогую.

— А какие тут цены?

— Самый дешевый номер стоит семь рублей.

— Семь рублей? Три с половиной доллара? За эту цену я могу нанять лучший номер в лучшей гостинице в Париже.

— В Париже!.. А это — Москва. В Париже сколько евреев?

— А почему я знаю!

— А вот здесь чуть ли не все, которые уцелели в России! Я зашел в эту гостиницу, куда я вас везу, и мне обещали, что оставят мне номер. Но это еще не значит, что оставят. А у вас документы в порядке?

— Как будто в порядке. В Киеве жил без всяких затруднений.

— Ну и здесь будет то же. Лишь бы достать номер.

Мы подъехали. Вошли. Это была скромная гостиница. Поднялись по лестнице, вошли в какую-то комнату, которая за границей называлась бы бюро. Здесь заседал какой-то молодой человек, напомнивший мне этого же типа субъекта в киевской гостинице. Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом и спросил:

— По командировке?

Я ответил:

— Да, командировочное.

— Предъявите.

Я подал ему мои документы, стараясь понять по его лицу, какое они производят впечатление.

«Но на челе его высоком не отразилось ничего...» С этим

лицом он мог бы свободно дать мне комнату и здесь, и в чрезвычайке. Я уловил явственно запах ГПУ.

Но он сказал:

— Зайдите в шесть часов вечера. К этому времени, может быть, освободится комната. Семь рублей. Оставьте ваш документ пока здесь.

Я попросил разрешения оставить вещи в конторе, на что он милостиво соизволил, и мы решили с Петром Яковлевым побриться здесь же в гостинице, благо парикмахерская была против конторы.

Пока мы ожидали очереди, еврей парикмахер с очень изможденным и очень неприятным лицом кончал голову какого-то добродушного россиянина, попавшего в комиссаты (между прочим, это слово сейчас совершенно неупотребительно). Петр Яковлевич объяснил мне про того величественного, что в конторе:

— Это общее правило. Гостиница может быть частная, имеет хозяина и все такое, но для наблюдения всегда приставлен некий партиец, который сидит в конторе и следит за всеми приезжающими.

Еврей работал хорошо, как работают в России, где вы никогда не рискнете натолкнуться на то, чтобы вам вдруг мылили щеку холодной водой. Все было в порядке, и бритва, и одеоколон, и пудра, только лицо его было неприятное до нестерпимости. Мне все казалось: а вдруг он мне отрежет голову.

Освеженные, мы ушли и погрузились в «кипяток огромного города».

Следить тут за тем, не следят ли за мной, было абсолютно невозможно, а потому я бросил это занятие, что было весьма приятно и беззаботно.

* * *

Петр Яковлевич, человек очень религиозный, хотел, чтобы я первым делом поехал поклониться могиле Патриарха в Донской монастырь. Это мне было очень по душе. Случилось так, что и в Киеве я первым делом попал в церковь.

От всех впечатлений у меня в голове немножко путалось. Я помню только очень много людей, как в любом большом городе. Но только люди эти были иначе одеты, как-то грубее и теплее. Тонконогих, в шелковых чулках эмигрантов, напоминающих зябнувших птиц, здесь не было видно.

Если шелковые чулки и были, то они засовывались в ботинки. Так как становилось все холоднее, то все больше было поднятых воротников, и вообще было много меха, скверного, дешевого, но все же меха.

Лица? Здесь было не так много бритых, потому что Москва все-таки оказывала свое влияние, борода сохранилась. Но все же их было много. Из этого большого числа бритых огромный процент были, несомненно, евреи. Количество их поразило меня в Москве, именно в Москве. Были они всякие, явно советские, явно спекулянтские. В общем они были одеты лучше.

Наконец мы вышли на знаменитую площадь, которая волнует сердце всякого русского, хотя бы он не был москвичом.

Передо мной был Кремль, к каковому слову прибавить больше нечего. Сказать Кремль — это достаточно.

<...>

* * *

<...> Кремль и все, что там такое есть, непередаваемое и неопишуемое, смотрело на меня со всех сторон.

Трамвай тащил нас бесконечно. Сначала улицы были лучше, потом началось бесконечное вроде как бы предместье. Страшно раскинулась Москва. Не пожалели, можно сказать, земли русской. Ехали через какие-то базары, где водоворотом шла толкучка в валенках и в мехах. День был серый, и все это казалось не особенно веселым, но полным движения. Жизнь кипела, несмотря на серость и мороз.

Ехали мы и мимо совершенно бесконечных больниц и благотворительных учреждений. Теперь это захватила коммунистическая власть и что-то там делает. Но надписи остались: все это частные пожертвования. Глядя на эти огромные усадьбы, многокорпусные, грандиозные, я после долгого перерыва ощутил, что русская ширина натуры не исчерпывается безудержным пьянством. Здесь размах жертвователей был достоин именитого московского купечества.

Без конца длился какой-то бульвар, и, наконец, мы приехали.

Кто не видал Донского монастыря, тому надо бы посмотреть. А кто видел, для тех описывать бесполезно.

Мы вошли в ворота и сначала пошли в главную цер-

ковь, которая стоит высоко, т. е. на высоком основании, как в Париже на рю Дарю, 12. В церкви было величественно, холодно и пусто. Потом пошли к какому-то домику у главных ворот. Здесь жил патриарх Тихон. Это был домик для сторожа раньше. Тут решили поместить Патриарха всея Руси, духовного пастыря величайшей державы. Впрочем, это не имеет никакого значения. Сила их не в палатах. И Патриарха в сторожке обожали во сто тысяч крат больше, чем церковных владык во всей пышности их великолепия.

И я выслушал от Петра Яковлевича рассказ участника и очевидца того, как хоронили Патриарха.

Это начиналось здесь и шло на много верст вот по всей той дороге, по которой мы только что ехали. Тут были сотни тысяч людей. Царил полный порядок. Когда вынесли гроб, было так тихо, что все свечи горели. И этого нельзя рассказать.

Да, эти вещи не передаются. Их только можно почувствовать. Я почувствовал, что это было нечто такое, что потрясло на всю жизнь всех, кто это видел. Это был какой-то психический ток необычайной силы. Огромное количество людей соединилось одновременно в одном чувстве, и чувстве высоком. Это не могло пройти без последствий. Эта грандиозная волна куда-то побежала и что-то сделала. И она даст какие-то результаты. Но какие, в настоящее время наше сознание еще бессильно перед этими проблемами. Мы объясним это себе совершенно иначе и не сможем связать то, что произойдет, может быть, еще не скоро, с этими похоронами тишайшего Тихона.

Когда камень падает в воду, от него идет круг. Круг бежит далеко и доплеснется до всех берегов озера. Когда Патриарх лег в гроб, белая волна побежала во все стороны. Она забежала в самые различные уголки и везде что-то колыхнула...

* * *

Мы пошли в другую церковь, поменьше. Там было уютно, как бывает только в русских церквях. Было бы темно, если бы не множество свечей, которые молились Богу во всех углах. Шла служба. Было много народа, но не в этом дело, а в том настроении этого храма и этой молитвы... Вовсе не все храмы одинаковы, и вовсе не везде одинаково молятся. В некоторых эмиграционных русских церквях мо-

лятся хорошо: горячо и искренно. А вот в этом храме Донского монастыря, здесь молились люди еще с большим сосредоточием, чем мы молимся в рассеянии... Служба была какая-то старинная, и этим она отличалась от наших эмиграционных церквей, куда люди вкладывают свои «последние достижения». И то, и другое хорошо. Лишь бы не было «умственности». Когда Богу служат, стараясь что-то кому-то «доказать», ничего не выходит. Надо стараться сделать как можно лучше. Сделать так, как больше всего нравится человеку, — в наивном, но глубоко верном представлении, что и Богу это приятно. Божеству, если об этом можно говорить, собственно, нужна любовь к Дому Божьему. Она может проявляться различно, но она должна быть.

* * *

Справа у стены была могила Патриарха. Гробница была накрыта шитьем и вся уставлена цветами и свечами.

Простоял я у этого гроба некоторое время, и было тут хорошо. Что можно сказать больше? Я никогда не знал Патриарха лично. У меня не связывалось с ним никаких воспоминаний. Но я знаю, что было тут хорошо. Было, как надо. Человек становился чище и тверже. То, что нельзя сказать словами, говорили свечи своим трепетанием. Недосказанное свечами договаривали цветы. Впрочем, вековые слова, все те же, древние, тысячелетние и каждый день новые, неслись величественным журчаньем эктении*. В этих молениях было все. И не надо было ничего больше, как только присоединить к этому огромному потоку чувств, стремящихся из храмов всей земли к небу, и свою незаметную молитву. Истекая этой маленькой струйкой, душа росла и становилась больше.

Так капля, соединившись с миллионами других, перестает быть каплей и мыслит себя мощной рекой.

* * *

Мы вышли, и на пороге храма я купил крестик. Петр Яковлевич спросил у благообразного старичка продававшего:

* Эктения (ектения) — моление, читаемое дьяконом или священником во время службы. (Прим. ред.)

— А где сейчас митрополит Петр Крутицкий? Не будет служить?

Старичок ответил:

— Митрополит? Да ведь он арестован!

— Как?

— Арестован... или этой ночью, или прошлой.

Петр Яковлевич был этим очень расстроен. Мы отошли. И пошли на кладбище, где он хотел показать мне одну могилу. По дороге он говорил:

— Этого следовало ожидать. Они употребляют все усилия, чтобы разрушить Церковь. Но не берут этого прямо в лоб. Это они оставили. Поняли, что прямое нападение невыгодно: похороны Патриарха показали, какая за ним была сила. Они даже теперь официально проповедают, что религия не должна подвергаться насилиям, ибо от гонений вера только крепнет. В этом последнем они, конечно, не ошибаются. Поэтому они действуют иначе. Они стараются разложить духовенство, иерархов, к сожалению, это им удается. Заместителю Патриарха, митрополиту Петру, до известной степени удавалось продолжать дело покойного. Вот и надо было его свалить. К сожалению, по моим сведениям, раз он арестован, то по доносу не живцов*, а тихоновцев же. У них идет раскол и игра в честолюбие. По моим сведениям, они донесли, что митрополит Петр ведет антисоветскую деятельность. Это неправда, потому что, продолжая путь Патриарха, он держался вполне корректно по отношению к властям предрержащим. Но ведь для них это не важно, правда это или нет. А важно было его арестовать. Потому что они твердо решили уничтожить Патриаршество, т. е. единоначалие в Церкви и создать коллектив, т. е. восстановить Святейший Синод. Они его назовут как-нибудь иначе, увеличат число членов, например до шести, и в этом коллективе всегда сумеют делать все, что хотят, при помощи обер-прокурора. Обер-прокурор будет называться иначе, а персонально им будет Тучков, чекист, который заведует церковными делами. Вот и весь смысл этого ареста. Впрочем, есть и другой. Но пойдут ли они на это, еще неизвестно. Они хотят пустить версию, что Патриарх был отравлен. А это им нужно для того, чтобы вскрыть тело Патриарха. А вскрытие им нужно для того, чтобы предупредить возможность будущей канонизации. Они думают, что канонизация вскрытого тела невозможна.

* Так называемая «живая церковь» (Прим. сост.)

Мы подошли к могиле.

— Это могила служки Патриарха, убитого в его передней. Эту могилу очень чтут, и, видите, тут всегда цветы.

Кладбище было хорошо тем, что тут никого не было и потому можно было проверить, нет ли за нами слежки. Как будто бы все было благополучно.

Мы вышли и поехали обратно в город. На рельсах трамвая шутили и перекликались веселыми голосами молодые еврейки, недурно одетые... После впечатлений Донского монастыря было противно на них смотреть.

Кстати: ведь собственно монастыря нет. Монахи разогнаны, хотя и существуют, так сказать, вроде частных лиц, а в монастырские помещения вселены рабочие. Это «на пакость». Ибо рабочим-то тут, конечно, в высшей степени неудобно.

А еврейки хохотали, перепрыгивая с одной ноги на другую, потому что становилось холодно. Ничего. Эти барышни к морозу привыкнут. А вот привыкнем ли мы к этим наглым взглядам, которыми они окидывали людей, явно пришедших от могилы Патриарха, это бабушка надвое сказала.

XVII

ГУМ

Мы возвращались тем же путем, и я откровенно признался Петру Яковлевичу, что адски хочу есть.

— Ну, в таком случае, чтобы раздражить еще вам аппетит, я вас проведу по обжорным рядам.

И действительно! В этом смысле Москва, кажется, восстановилась вполне. Бесконечные ряды, где навалена в титанических количествах всякая еда. Но преимущественно балыки и всякое такое. Огромные рыбы туши, перерезанные пополам, гипнотизировали своими красными дурхшнитами, серебрились чешуей. Валялись горы дичи, в перьях и общипанные, неистовое количество всякого рода «икр», да и вообще всего. Я перечислять не мастер, но это грандиозно.

— Ну где же мы будем есть? — взмолился я.

Перебрав то и другое, решили, что лучше всего там, где нас будет ждать Антон Антоныч, т. е. у «Мюр и Мерилиза».

И вот мы подошли к этому огромному зданию. «Мюр и Мерилиз», как всем известно, был большой универсальный магазин, вроде «Ка-Де-Ве» в Берлине. Теперь он сохранил тот же характер, только перешел в собственность казны, т. е. советской власти. Подходя, я увидел в нижних огромных зеркальных витринах всякие принадлежности туалетов, среди которых узрел достаточное количество крахмальных воротничков, рубашек, галстуков и тому подобных вещей. Это сильно уступало роскоши западных столиц, но явно было на пути к ней. То же самое и дамские принадлежности. Советская власть не поспевает за буржуазными правительствами, но все же бежит за ними петушком, вприпрыжку.

— Кто и когда это одевает? — спросил я.

Петр Яковлевич ответил:

— А вот пойдите вечером в какой-нибудь шикарный ресторан. Туда нельзя явиться как-нибудь одетым. В толстовочке не пойдете, неудобно-с!

— Но как же Его Величество Пролетариат на это смотрит?

— Никак не смотрит, потому что его туда не допускают. Это ему не по средствам. Он глухо ворчит. Но на ворчанье есть ГПУ. Впрочем, я должен сказать, что если вы в этих ресторанах будете появляться слишком часто и кутить слишком вызывающе, то к вам может подойти молодой человек из завсегдаев этого места, безупречно одетый, и спросит вас: «Кто вы такой и где вы служите?» И тогда у вас будет внезапная ревизия. И могут обнаружить растрату. А если не обнаружат растрату, то могут к чему-нибудь другому придраться. И если у вас нет сильной протекции, то вас могут выслать. Вообще, на всякий случай, существует энное количество всяких статей, под которые вас могут подвести. Поэтому кутить можно, но с оглядкой. Так-то у нас, в рабоче-советской республике.

Мы стали входить, вернее, втискиваться. Ибо в огромные двери валила толпа. Толпу эту как-то выкручивало туда-сюда, очевидно, это сделано, чтобы избежать сквозняков и очень резкого перехода температуры. Ибо внутри, действительно, оказалась жара. Толпа эта частью растекалась по

нижнему этажу, остальное потоком перло вверх по лестнице, так что и на лестнице была давка.

— Сегодня еще ничего,— сказал Петр Яковлевич.— А бывает так, что и не влезешь.

По мере того как мы поднимались, толпа рассыропливалась по этажам. Наверху стало свободно, и я мог рассмотреть кое-что. Случайно это была музыкальная витрина, где я увидел новое изображение, гитару с двумя одинаковыми грифами (оба грифа с ладами) о четырнадцати струнах. Я видел лютни в Германии о тринадцати струнах, и второй гриф был без ладов: это значит, мы переплюнули немцев. Тут же были кавказские товары: шелка, ковры и «серебром да чернью» всякие штуки. Пройдя сие, мы очутились в ресторане, большой комнате, уставленной столиками, совсем как у «Ка-Де-Ве» в Берлине. Только там надо стоять у кассы и что-то выпрашивать, а здесь барышня приходит сама. Я не решался ни завтракать, ни обедать, а потребовал себе кофе с бутербродами. Бутерброды подали истинно московские: шириною в Черное море. Больше двух одолеть нельзя было. Очень вкусно и очень дорого.

Публика была тут разная. Полуевропейски одетая, но и романовские полушубки встречались. Лица всякие. Евреев достаточно. Но далеко не исключительно. Очевидно, как это ни странно, в Москве есть и русские, которые могут поесть.

Некоторые анекдоты бродят по миру, вроде как испанка. И по поводу еврейского засилия в Москве я услышал от Петра Яковлевича то самое, что слышал в Берлине, Париже, Белграде... А именно:

— Вы знаете, один еврей встречает другого в Москве словами: «Можете себе представить, Липерович, здесь-таки довольно значительная русская колония!» Липерович отвечает: «Ах, эти русские, они во все щели лезут».

* * *

Барышни одеты довольно прилично, но не слишком любезны — служат в слегка повелительном стиле, однако на чай берут с удовольствием. Обращаться к ним официально надо «гражданка», но лучше «барышня».

Кстати, о барышенстве: как раз, кажется, в это время вышел декрет, запрещающий называть телефонных барышень барышнями. Действительно, с точки зрения советской власти, не может быть барышни. Ибо барышня значит боя-

рышня, нечто совершенно непереносимое, а кроме того, выйдя замуж, барышня становится барыней, а ведь в начале русской революции был провозглашен лозунг, что «нет господ»! Но так как мы из примера французской революции, а также и многих других знаем, что господ уничтожить нельзя, а что единственный результат революции состоит в том, что все становятся «господами» (monsieur, madame), то я твердо уверен, что декрет о барышнях останется мертвой буквой.

* * *

Через некоторое время пришел Антон Антоныч. Затем мы все втроем вышли из ресторана и включились в поток. В потоке Антон Антоныч познакомил меня с новым лицом, успев сказать: «Вы можете во всем довериться Василию Степановичу. И он вас устроит. Комната найдена. Бросьте гостиницу». И затем они оба, то есть Антон Антоныч и Петр Яковлевич, растворились в потоке, оставив меня с Василием Степановичем. Поток понес нас ниже, и там мы выключились в бок.

Тут я рассмотрел его. Он был в романовском полушубке, в барашковой шапке с наушниками. Ему не было, конечно, тридцати лет. У него были очень красивые, выразительные глаза, которые я несомненно видел где-то. Может быть, не эти самые, но этого рода, племени. И было это племя хорошее.

— Вас как надо называть? — спросил он меня.

— А вы знаете, кто я?

— Знаю.

— Меня зовут Эдуард Эмильевич Шмитт...

— Так вот, Эдуард Эмильевич, я нашел вам комнату. Это под Москвой. У одной там старушки. Я сам там живу неподалеку и сказал ей, что вот нужно для знакомого. Она вас ни о чем особенно расспрашивать не будет, только бы деньги ей заплатить. Хорошая старушка. Я ей сказал, что вас перевели сюда в Москву или, вернее, переводят, что вы хлопчете и что вы немножко расстроены, потому что у вас семейные неприятности. Так вот вы потому с места службы уехали и вообще немножко странный. Вы так, значит, и держитесь. Только вот не знаю, это все ж таки версты: две ходить от станции.

— Это пустяки. А вот она мне постель даст? У меня ничего нет. Ни подушки, ни одеяла, ни простынь.

— Подушку-то, пожалуй, даст. А вот не знаю, как одеяла и простыни.

Быстрый разумом Ньютон, я сообразил, что эти вещи надо купить. Кстати, тут все это было под боком.

Мы пошли в один из бесчисленных рядов, где тоже шла бойкая торговля.

— Простыни есть?

— Есть... Три рубля штука,— сказала барышня и огорошила меня вопросом: — Вам на книжку или за деньги?

Так как я хотел купить «за деньги», то сообразил, что в этом вопросе ничего нет страшного. Купили простыни благополучно, но, проходя мимо кассы, куда нам дали бумажечку, увидели нескончаемую очередь. Василий Степанович сказал:

— Я стану в очередь у кассы, а вы идите покупать одеяло. Вам тоже там дадут бумажечку, и вы мне ее принесете. Таким образом мы сэкономим время.

Я последовал мудрому совету местного человека, и благо мне было, ибо там, где продавали одеяла, а вернее, пледы, пришлось тоже порядочно подождать. Выбрал я себе недурной синий плед, но кусачий, за тринадцать рублей.

Затем я пошел к кассе. Там стоял очень длинный хвост. Мой новый знакомый и «лидер» был приблизительно в половине хвоста. Я передал ему бумажечку на плед, причем он сказал мне:

— Тут всегда так делают: жена покупает, а муж в очередь около кассы или наоборот.

У него были хорошие глаза, которые я где-то видел, и добрая улыбка. Этот человек не мог быть предателем. Я ему вполне верил. Он держался уверенно конспиративно. Я почувствовал, что я ему «поручен» и что он правильно оценивает размер опасности и встретит ее, если надобно, соответственно. Очевидно, он был из их контрабандистского сообщества, но когда-то был чем-то совсем иным. Впрочем, все они ведь были такие. Чувствовалось, что одним миром мазаны. А разве набожный Петр Яковлевич похож на контрабандиста?

Чем мог быть раньше этот человек в романовском полушубке и «финке», что стоял в длинном хвосте женщин и мужчин? Чем? Офицером, конечно...

Хвостов было несколько, по количеству касс. И всюду стояли эти цепи людей, в то время как остальные метались около прилавков. Насколько можно было судить, толпа эта была «демократическая». То есть я говорю, если

судить по лицам, потому что по одежде трудно судить в советской России. Преобладал простой тип лица, ну и одежда тоже. Но были и всякие. По национальности толпа эта была по преимуществу русская. Среди продавцов было много и евреев.

Вообще же говоря, бывший «Мюр и Мерилиз», теперь называющийся ГУМ* (Государственный Универсальный Магазин), если употребить избитое сравнение, напоминал улей, набитый пчелами. Он гудел и деловито суетился. Количество людей, здесь толпившихся, должно измеряться многими сотнями, может быть, тысячами.

Улей — так улей. Но каков мед?

* * *

В качестве товаров мне не удалось разобраться, но было ясно, что хороших вещей тут нет, а так, среднего качества. Цены? Судя по моей покупке, цены сравнительно с заграничными высокие**.

Что привлекает сюда такую массу людей? Ответов может быть несколько. Ответ № 1: «товарный голод», то есть что товары сравнительно недавно появились и потому потребности населения, обносившегося и вообще лишенного всего необходимого в течение «военного коммунизма», удовлетворяются им пока что бурно. Ответ № 2: недавно у населения появились средства, — во время военного коммунизма все было ограблено «коммунистами» и заработать было нигде. Ответ № 3: этого рода товары есть только в Г у м е и вообще в Г о с т о р г а х. Ответ № 4: товары есть и у «частников», но их, товаров, вообще не хватает. Ответ № 5: в Гуме дешевле.

Весьма важен вопрос: если в Гуме дешевле, то какую ценою куплена эта дешевизна? Другими словами, есть ли это дешевизна искусственная или естественная. Искусственная дешевизна может быть достигнута прямыми приплатами казны государственным предприятиям, которые в таком случае работают в убыток. Но она может быть получена и другими мерами, а именно: целым арсеналом стеснительных мер так давить частную промышленность и торговлю, что она не может развернуться и поэтому бессильна подать населению товар по той цене, по какой она могла бы

* Теперь это ЦУМ. (Прим. сост.)

** Дальнейшее, до конца главы, читателей, которых не интересует моя доморощенная «политическая экономия», прошу пропустить. (Прим. авт.)

это сделать, если бы предоставили ей свободу. Одна из главных мер в этом направлении это не давать капиталу сосредоточиваться в больших размерах в одних руках.

Азбука производства говорит, что (за некоторыми исключениями) товар тем дешевле выбрасывается на рынок фабриками и заводами, чем больше размер производства. В этом отношении очень яркий пример являет собой всемирно известный завод Форда, который дал дешевый автомобиль, потому что стал выпускать самое ограниченное число моделей, но в неслыханных количествах. На этом же примере основано так называемое «трестирование», то есть добровольное соединение многих предприятий одного и того же рода (напр., «железный трест», «керосинный», «железнодорожный» и т. д.) в одно. Это «одно», естественно, будет более сильное, более богатое, будет работать по увеличенным масштабам и поэтому давать товар лучше и дешевле. В то же время оно будет лучше оплачивать своих рабочих, мастеров, инженеров. Идеал всякого треста — это забрать в свои руки всю промышленность данного рода, а если условия производства это допускают, и все подсобные промышленности.

К сожалению, где дела человеческие подходят к «идеалу», там непременно таится какая-нибудь гадость. В этом отношении история мироздания от века себя повторяет. Ведь дьявол-то был первым ангелом, ближайшим к Богу, то есть к Идеалу. Но, забравшись на большую высоту, Дьявол возомнил о себе, сделал гадость, за что и был низвергнут в пропасть, куда он падал «сорок тысяч веков». То же самое происходит с трестами, когда они забираются на «идеальную» высоту, то есть забирают в свои руки всю промышленность данной отрасли. Слишком много власти кружит человеческие головы. Когда вся промышленность сосредоточивается в одних руках, эти руки становятся «монополистами», то есть кроме них человеку негде и купить. Скажем, табачный трест забрал в свои руки всю торговлю табаком. Он в этом случае может назначать какую угодно цену на табак. Курить хочется, и трест может эксплуатировать, сколько влезет, человеческую слабость, других, кроме трестовых лавок, нет, куда пойдешь. Конечно, могут появиться люди, которые захотят сломить деспотизм треста, для какой-либо цели откроют свои заводы, не трестовые, и станут продавать по более низкой цене товар. Однако развитой трест очень легко справляется с такими попытками. Есть многие способы. Во-первых, такому предприятию трудно бу-

дет с рабочими, ибо трест, обдирая потребителя, может по-царски содержать рабочих. На этой почве нетрудно инсценировать забастовки со всеми их прелестями. Во-вторых, к услугам треста соблазн: конкурирующему, не трестовому, предприятию предлагают продать предприятие по очень выгодной цене или же предлагают вступить в трест на выгодных условиях. Обычно люди уступают немедленному выгодному предложению, вместо того чтобы преследовать журавля в небе. Наконец, если воинствующие конкуренты очень надоедают, у треста есть средство, которым он при правильном расчете может бить наверняка. Чтобы убить всех остальных, он временно назначает предельно низкие цены. Так как трест является самым в данное время экономически сильным предприятием, то он один может выдержать их, эти цены, все же остальные должны погибнуть. Когда это сделано, трест опять становится полным хозяином рынка и снова подымает цены.

Разумеется, все это нужно понимать несколько относительно и не слишком прямолинейно. Жизнь имеет тысячу лазеек. Скажем, в случае табака. Во-первых, есть печать, есть общественное мнение, которое встанет против треста и, кроме статей и речей, может устроить трестовикам ряд скандалов, включая до разбития бюро правлений и тому подобного. Затем за известным повышением цен начнется сокращение потребления: люди станут меньше курить или же станут курить суррогаты.

Однако если представить себе «трест трестов», в который войдут и соединятся для обирания потребителя все главные промышленности, то это может поставить в тяжелую зависимость одну часть населения от другой. Это особенно могло бы быть у нас, в России, с ее огромным крестьянским населением, являющимся в отношении некоторых товаров явно выраженным односторонним потребителем. Другими словами, город, понимая под этим словом в данном случае «фабричных» всех рангов и степеней, жил бы «незаслуженно» хорошо за счет остальной, то есть деревенской, России.

Что значит «незаслуженно»? Это не так: заслуженно, раз заслужили! Заслужили же потому, что оказались способными сорганизоваться, соединиться, подчинить себя и свои самолюбия, свои скверные характеры, неуживчивость и сварливость одному общему делу. Всем этим они проявили бы, что они люди более высокого порядка, чем остальная масса, не способная соединять свои усилия. В качестве

таковых, т. е. лучшего социального края людей, они и должны зарабатывать больше.

Но из этого отнюдь не следует, что другие люди, в данное время находящиеся на более низкой ступени развития, не должны бороться за лучшее. Наоборот, надо находить такие «мироустройства», чтобы каждый надеялся влезть повыше, и был бы сие нормальный порядок, а не катастрофа.

С незапамятных времен идет мысль, что в экономическую борьбу должно в известных случаях вмешиваться государство. «В известных» случаях — вот где таится источник многих бед. Это все равно, что сказать, что грамотным надо быть «в известных случаях». К сожалению, если человек вообще безграмотен, то «для известного случая» так скоро не выучишься.

По этой причине, когда государство вмешивается «в известных случаях», начинаются похождения риносероса* в посудной лавке. Сокрушительные походы эти обыкновенно сводятся к целому ряду запретительных мер, причем излюбленным носорожьим приемом являются «твердые», то есть принудительные, государством продиктованные цены. Излюблен прием сей потому, что уж очень это просто: самая примитивная голова может это не только «придумать», но и ввести в жизнь. Но следствие этого детского жеста во все времена было одно и то же: товар исчезал с рынка. Ибо твердые цены своим несгибающимся каркасом ставят в слишком трудные условия производство и торговлю. Оба эти занятия требуют постоянного приспособления к изменяющимся условиям рынка — в этом и состоит искусство предпринимателя и торговца. Искусство это малодоступно государственным чиновникам, если они в то же время сами не являются участниками производственных и торговых процессов. А если доступно в этом последнем случае, то только в той области, в которой государство через чиновников само является фабрикантом или купцом. Но как фабрикант мыла не считает себя компетентным в торговле хлебом, так точно добросовестный чиновник никогда не возьмется за дело, в котором он ничего не смыслит. А таким совершенно закрытым для него делом будет вся экономическая практическая жизнь страны, в которой государство, как заводчик или торговец, само не выступает. Требовать от чиновников всезнания нелепо, а поручать ничего не понимающим людям тончайший аппарат цен еще

* Носорог (Прим. сост.)

глупее. Если бы и нашлись чиновники, которые понимали бы кое-что, каждый в данной области торговли, то пришлось бы для того, чтобы не стеснять торговлю и производство, посадить по такому знающему чиновнику в каждую лавку и каждую мастерскую. Это обошлось бы так дорого, что товары стали бы гораздо дороже, чем без государственной нормировки. Нормировать же цены одних товаров и не нормировать других опять выйдет чепуха. Если нормировать цену на хлеб, то придется государству устанавливать и цену на косарей и жниц, а ну-ка, попробуйте это. На что уже Ленин был странная голова, в которой воля неистово превышала мозги, но и он под конец жизни сообразил, что если по социалистическому учению государству полагается всюду совать свою лапу, то прежде всего необходимо, чтобы государственные чиновники практически знали экономическую жизнь, какую они рвутся перефасонивать. Посему сей муж и завопил на удивление всей Европе и прочим странам: «Товарищи коммунисты, вы, которые отрицаете торговлю, прежде всего выучитесь торговать, потому что, если не выучитесь торговать, сей самой торговли не уничтожите». Правда, когда коммунисты выучатся торговать, они перестанут быть коммунистами, ибо поймут, что мир настолько сложен, что в убогую, детскую, примитивную социалистическую доктрину его не уложишь, но тем более по своим результатам окажется великим исступленный вопль Ленина,— сие предсмертное просветление совершенно слепого человека...

Но если насильственные, запретительные меры государства ничего не приносят, кроме вреда, в экономических процессах (в особенности, когда государство выступает внезапно, «в известных случаях», каковые случаи обыкновенно имеют место именно тогда, когда экономическая жизнь болеет сама по себе), то это не значит, чтобы государство не могло влиять, и очень сильно, на экономическую жизнь, если оно подходит к ним с совершенно другой стороны.

Я говорил выше о выгоде и невыгоде трестов. С одной стороны, они великолепный аппарат для концентрации, а следовательно, сбережения народной энергии, то есть они целесообразны и экономны, как монархия (и недаром главарей трестов называют «стальными», «керосиновыми» и иными королями), а с другой стороны, они, злоупотребляя своей силой, опасны, как деспотии. Как же пройти в этом случае так, чтобы волки были сыты и овцы целы?

Теоретически говоря, можно бы предложить следующую концепцию: пусть бы было в каждой области только два «великана». Один великан, это будут все частные предприятия, добровольно соединившиеся в одно целое, а другой великан да будет государственная в этой области коммерческая деятельность.

Очень трудно говорить отвлеченно. Возьму лучше пример этого рода, уже почти осуществленный. Во многих странах есть железные дороги казенные и частные. И это является наиболее благоприятной комбинацией. Почему?

Да потому, что если бы были одни казенные железные дороги, то, как всякое казенное предприятие, они рисковали бы, так сказать, заплесневеть и заостенеть. В чиновничьем хозяйстве всегда есть склонность застыть в установившихся рамках, в нем всегда обнаруживается недостаток инициативы, такая некоторая степенность чиновничья, которая весьма недалеко от китайской неподвижности.

Если бы были одни частные железные дороги, они в конце концов слились бы в единый трест, который взял бы в свои руки всю экономическую жизнь страны, возил бы, что хотел, как хотел и по каким ему угодно ценам.

Конкуренция в этом деле двух начал, государственного, которое не только гонится за прибылями, но преследует и другие цели, и частных железных дорог, которые именно гонятся за прибылями и потому будут применять все новейшие изобретения, эта комбинация является наиболее выгодной и наименее опасной.

То, что удастся в железнодорожном деле, может, конечно, удаваться и в некоторых других областях. Сергей Юльевич Витте учредил в России водочную монополию. Возобновление идеи «царева кабака» встречало и встречает сильные возражения с точки зрения государственного достоинства, а также с точки зрения «трезвости», к которой винная монополия должна была будто бы привести, но не привела. Но, как чисто хозяйственное предприятие, водочная монополия себя очень оправдала. И водка была хороша, и цены были умеренные, и прибыль предприятие давало огромную.

Однако эта государственная водочная торговля совершалась под знаком монополии. Это вовсе не идеал. Наоборот — государственное производство должно стать в одни условия с частниками. Допустим, государство заинтересовалось табаком. Все частные табачные плантации и фабрики надлежало бы в таком разе оставить в покое, пусть себе

плодятся, множатся, трестируются между собой. Трестирование надо было бы всячески поощрять для того, чтобы частные предприятия становились экономически сильнее, давали бы продукты лучше и дешевле и дороже платили бы своим рабочим. Но параллельно с этим государство могло бы завести свои табачные плантации и открыть свои табачные магазины. Являясь в высшей степени мощным противником, ибо государство обладало бы сильным капиталом, оно этим самым вынуждало бы мелкие предприятия сливаться в большие и удешевлять табак. Идеал — это чтобы в конце концов в стране был только «трестовый» табак и «государственный» табак. Конкуренция этих двух больших спрутов, поставленных в совершенно одинаковые условия (т. е. чтобы государство ни в чем не жало и не стесняло частников), дала бы, на мой взгляд, наилучшие для потребителя результаты.

Допустим, однако, что государство в какой-нибудь области оказалось неподготовленным и неумелым, а это непременно будет. В этом случае государственная промышленность начнет давать убыток. Тогда ее нужно закрыть, передав в частные руки. И наоборот: допустим, что частники не могут с государством конкурировать. Тогда, наоборот, — частники принуждены будут отступить, однако вовсе не навсегда, а только до той поры, когда государственная промышленность в силу всегда возможного в казенном хозяйстве окостенения до такой степени отстанет от жизни, что для частной инициативы опять появятся нужные условия.

Словом, я хочу сказать, что свободная конкуренция государства и частников является, на мой взгляд, в настоящее время той формой сожития, которая могла бы использовать всю силу огромных частных хозяйств, называемых трестами, и не опасаться в то же время их хищных когтей.

* * *

Сказанное в высшей степени различно прививалось бы в разных странах. В странах с развитой частной энергией, с большими практическими навыками, мощными частными капиталами позиции государства были бы весьма ограниченными. Наоборот, там, где частный капитал вял и незначителен, деятельность государства по необходимости должна была бы быть гораздо шире.

Это последнее положение, несомненно, имеется в России. Если представить себе, что государственная деятельность —

это те снега, которые одевают высокую гору сверху, то русская гора расположена в северном климате, где эти снега спускаются далеко вниз, даже летом. Чтобы они отступили наверх, туда, подальше, к самому пику, для этого нужно энергичное солнце горячей личной инициативы, которое пока в России отсутствовало.

Насколько в России казенное хозяйство может хорошо работать, это я наблюдал близко во время войны. Я был членом Особого совещания по обороне, от самого его основания и до самого его конца. Многим, вероятно, памятна та шумиха, которая была поднята, когда у нас не хватило снарядов. Без конца говорилось о том, что надо использовать частную промышленность и что, если к ней обратиться, она сделает чудеса.

Обратились. Но частная промышленность особых чудес не сделала. По крайней мере, до самого конца ее участие в поставке снарядов было сравнительно небольшое. Я не ошибусь, если скажу, что 90 процентов снарядов и всего, что к ним полагалось, поставляли казенные заводы. И эти, действительно, сделали чудеса! Они увеличили свою деятельность во много раз, в то же время поставляя снаряды по более дешевой цене, чем промышленность частная. При этом еще надо заметить, что наиболее крупный частный завод, а именно завод Путиловский, пришлось взять в казенное управление, ибо в частных руках он все время «скандалил», вместо того чтобы работать. Но как только он попал в управление генерала Маниковского (истинного героя «снарядной» кампании¹), завод заработал, как часы. Передача частного сего завода казне состоялась не по требованию каких-нибудь «социалистов», коих в Особом совещании по обороне и духу не было, а по настойчивому требованию Родзянки и всех нас, убежденных «частников». Ибо нам нужна была защита России, каковую защиту мы ставили выше всяких теоретических мнений какого бы то ни было политического лагеря. Практика же показала, что в условиях военного времени казна лучше справляется с металлургией, чем многие частные предприятия. Почему мы и «национализировали» Путиловский завод задолго до того, как этим делом («национализацией») стали заниматься большевики. Вся разница состояла только в том, что мы передали Путиловку в руки опытейших военных (а этот опыт они приобрели на огромных казенных заводах, и з д р е в л е ф у н к ц и о н и р о в а в ш и х), а большевики всех знающих свое дело чиновников и офицеров разогнали или обессили-

ли, а приставили к делу «коммунистическую» накипь, которая когда не грабила, то занималась проведением в жизнь нелепейших декретов, изобретением коих занимался круглый в то время невежда в этих делах, Ленин. Впоследствии он поумнел, а когда поумнел, то прикрикнул на свою шпану, требуя, чтобы она прежде всего выучилась азбуке практической хозяйственной жизни, раз она в таковую неумытым рылом своим суется.

* * *

Но как бы там ни было, нельзя отрицать, что казна в известных условиях может выступать как сильнейший фабрикант и торговец. И это в особенности в России, где казна в силу отсталости и инертности населения всегда должна была идти впереди и вести на поводу остальных. Интересно знать, если бы Петр Великий не «вздернул Россию на дыбы», то сколько столетий еще раскачивалось бы население, прежде чем соблаговолило бы что-нибудь делать в смысле движения вперед. Ведь наша промышленность была создана Петром, как и бесчисленное число иных областей жизни. А наука? В странах западных университеты выросли сами собой, исторически, из усилий самого населения. Но если бы русская власть стала ждать, пока из русского народа сами собой выползут университеты, то «роса бы очивыела». Вот поэтому вместо «самостийных» Сорбонны и Гейдельберга, которые были государства в государстве, у нас появились Императорские университеты, в которых все, до последнего кирпича, было сложено просвещенным абсолютизмом казны. Да разве только это? Тут от бесспорно великого до чуть смешного только один шаг. Теоретически вызовет улыбку мысль, что государство занимается изготовлением танцовщиц, выделыванием изящных безделушек и препарированием сказок для детей и взрослых. Но все это было в России. Императорская балетная школа выпускала превосходных балерин, всемирно известных, Императорский фарфорный завод выделывал роскошные чашечки (во время войны он же делал прекрасные бинокли), и Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, которая была лучшей типографией в России, печатала всем известные «русские сказки» с великолепными иллюстрациями Библина.

Такова была старорежимная Россия, в которой начало и родник всякой культуры надо искать около трона, а про-

должение в предприятиях казны, которая «династическую» инициативу доводила до государственного масштаба. Лишь гораздо позднее и под влиянием примера сверху начинали шевелиться частники. Конечно, с течением времени и они захватили серьезные позиции. Однако пример мировой войны показал еще раз силу казны в чисто фабричной деятельности, когда сию казну обстоятельства и напор общественного негодования заставили встряхнуться.

* * *

В сущности это явление совершенно естественно. Ведь русская культура — культура заимствованная. По тысяче и одной причине мы отставали от столетия. Что было делать государственной власти, когда она осознала, что так дальше идти не может? А поняла это власть, когда убедилась, что военная слабость России происходит от ее культурной отсталости. Государственной власти представлялось два пути: первое — ждать, пока подвластный ей народ создаст собственными усилиями собственную культуру такой высоты, которая могла бы противостоять просвещенным соседям, второе — заимствовать и вооружить себя, пусть чужой, но готовой культурой. Евразийцы полагают, что надо было идти первым путем, то есть ждать, пока наша Россия создаст свою развитую культуру на едва обозначившемся московском фундаменте. Но сие есть великое заблуждение, ибо возможность выбора только кажущаяся, на самом же деле никакого выбора не было.

Россия отбилась от монголов только потому, что заимствовала у них высшее их достижение и сильнейшее их оружие, а именно — ханат, то есть самодержавие. Собранным в одной руке восточным ордам нельзя было противопоставлять вечно между собой грызущуюся систему удельно-феодалную. Точно так же отбиться от западных соседей России удалось только потому, что Россия переняла у них ту минимальную дозу западной культуры, которая обеспечивала возможность ввести у себя западную военную науку и технику (вернее, некоторое ее подобие). Ждать, пока Россия создаст свою собственную стойкую культуру, это значило распротиться с государственной русской самостоятельностью; другими словами, после столетий татарского ига подвергнуться на века владычеству шведов или иных западников. При этом европейская цивилизация все равно была бы введена, но под совершенно иным углом. Вряд ли при этой

концепции мы родили бы Пушкина и все то, чем мы привыкли гордиться. Во всяком случае, на такую «историю» государственная власть, заслуживающая этого имени, пойти не могла. Она предпочла заимствовать, чтобы защищаться, заимствовать второстепенное (внешнюю культуру), чтобы спасти главное (государственное бытие). Можно, конечно, видеть главное во второстепенном, то есть считать, что нельзя было жертвовать бородами и длинными полами для спасения государственного бытия. Но тогда надо принять теорию непротивленчества врагу внешнему. Если так, то надо было отречься от России, как самостоятельного государства, и всю свою душу вложить в охранение «русскости» (понимая под «русскостью» московщину семнадцатого века).

Так как даже самая постановка этого рода вопросов требовала умственного развития, значительно превышающего уровень тогдашней «общественности», то все было решено горсточкой людей, состоявших из самих государей и их ближайшего окружения. По их инициативе шли заимствования, и вот почему столь многое в России шло «сверху», насаждалось, вместо того чтобы расти самосейкой. Не вина русского государства, что «частники» наши были, как лес дремучий, в отношении тех неумолимых вопросов, которые ставили соседи милые... Хорошо бы жить по старинке, да никак нельзя было — заморские новшества стучались в дверь не клюкой подорожной, а рукояткою меча.

* * *

Вот откуда идет усиленная «промышленная» деятельность русской государственной власти в прошлом. Какова она будет в будущем?

Это зависит от того, насколько частники будут отвечать требованиям жизни. Надо думать, что деревня, покончив с социализмом, как «республиканским», так и «императорским» (поземельная община), станет на ноги и сумеет выдвинуть свое первостепенное в сей земледельческой стране значение. Другими словами, деревня через людей просвещенных и талантливых, которые будут и в правительстве, и в общественности, потребует соблюдения ее деревенских интересов. И тут между землей и фабрикой произойдет весьма серьезная борьба.

Русская частная промышленность, чувствуя себя бессильной бороться с промышленностью привозной, будет тре-

бовать покровительственных пошлин. На первых порах такие пошлины и будут декретированы в медовый месяц национализма. Но обратная сторона не замедлит сказаться: под защитой покровительственных пошлин русская промышленность будет поставлять русской деревне товары гораздо дороже, чем таковые же товары могли бы быть получены из-за границы. Деревня это скоро расчухает и потребует снятия покровительственных пошлин. Но ее урезонят, доказав ей, что из соображений патриотических надобно сию дороговизну терпеть. Однако деревенский вопль не пройдет бесследно. Заработает мысль в том направлении, отчего да почему русская промышленность не может работать так же дешево и хорошо, как промышленность иноземная?! Подумают и, вероятно, придут к той мысли, что, помимо всего прочего, дело тут в том, что русские предприятия слабенькие, малокровные, вернее сказать, малокапитальные. Что поэтому именно они не могут взять тот размах, какой имеют предприятия заграничные. А покровительственные пошлины, давая возможность выходить не на величине оборота, а на высоких ценах, именно этой мелкотравчатости и покровительствуют. Когда эта мысль укоренится, то будет уже рукой подать до возвращения к исконной русской системе: очень крупные хозяйственные предприятия взваливать на плечи государства. И вероятно, взвалят. И весьма возможно, не без успеха. По крайней мере во всех тех областях, где секрет, действительно, коренится в масштабах производства. Государство ведь сразу может выступить крупнейшим фабрикантом. Оно может соперничать с Фордами, Круппами, Ренами и Ситроенами. Под защитой пошлин государственные заводы разовьются и постепенно начнут понижать цены до такой высоты, когда пошлины можно будет снять за ненадобностью. Одновременно с этим русская частная промышленность будет исчезать в нежизненной своей части. Все же частные заводы и фабрики, которые способны работать не только в таможенных парниках, но и на вольном воздухе, будут, вероятно, трестироваться в крупные предприятия. И таковые будут конкурировать с государственной промышленностью.

* * *

С такими мыслями я смотрел на роившийся около меня Гум. Коммунисты воображают, что, открыв государственный магазин, где они торгуют всякой всячиной, галстухами,

гитарами и простынями, они совершают нечто глубоко социалистическое, некое таинство в стиле чистого ленинизма. Не понимают, что они просто вернулись к старо-русским навыкам, когда Императорское Правительство не только нас обучало, возило, пило (монополькой, удельными винами и шампанским Абрау-Дюрсо), но даже готовило нам балетин, тонкие сервизы и раскрашенные детские сказочки Спрячься, жалкий Гум, старой русской казны в таком «социализме», если сие социализм, не перещеголяешь!

Впрочем, сей Гум, наверное, чепуха. Должно быть, дает убыток, а если не дает убыток, то какое-нибудь мошенничество под этим, какие-нибудь скрытые субсидии или что-нибудь в этом роде, напр [имер], налогов, вероятно, Гум не платит, налогов, которые душат частников. Да и вообще это чепушная мысль, чтобы государство занималось этой мелочью; его дело массовые производства Крупно-Фордовского масштаба.

Но не в том сила. Вопрос состоит в том, чтобы найти правильный водораздел в будущем. Когда большевики уйдут, люди, добросовестные и свободные от предрассудков, будут рассудочно и на ощупь искать: где же проходит выгодная грань между государственной и частной хозяйственной деятельностью?

Где остановить линию государственных снегов, одевающих Россию сверху? Где проложить черту, за которой должна быть зеленая поросль сочной частной инициативы?

Да, в этом весь «гумский вопрос»...

XVIII

ДОМИК

Мы вышли из Гума и нырнули в город в тот час, который, может быть, для красной Москвы наиболее типичен.

Это — часть, когда советская, чиновничья стихия заливают улицы.

Народ не помещается на тротуарах. Это в буквальном смысле слова человеческий поток, который хлещет через Москву. Каким-то образом мы вышли на Тверскую. Тверская, хотя и главная московская, но сравнительно узенькая улица. Тут взгромоздиться на тротуар было совершенно невозможно. По обеим сторонам, занимая часть мостовой, стесняя извозчицье и автомобильное движение, двигался этот бюро-

кратический поток, перемешавшись с «обычным» населением.

Первое, что бросилось в глаза в этой реке, это ее национальная окраска. Огромное количество евреев. Закутанные в меха, дешевые и дорогие, они представляют современную вариацию традиционного «русского медведя». Впечатление было еще, может быть, более резкое, чем Крещатик в Киеве. Может быть, потому, что в Москве особенно подчеркивалась эта еврейская струя, ибо евреи и Москва не успели, так сказать, вступить в законный симбиоз, освященный веками, как в Киеве.

Но во всяком случае здесь повторялось то же явление: захватывался центр. Большая Москва — окраинная Москва, так сказать, — лучи пятиконечной звезды могут быть русскими. Но сердце должно быть юдаизировано. Сделалось ли это по некоему плану или само собой — это пока не ясно. Вероятно, было и то и другое.

На Тверской можно было увидеть если не хорошо, то богато, по-советски, одетых людей. Между прочим, входила в моду нелепая фуражка, сделанная из каракуля. Это пахло каким-то шкловским безвкусием. Я заметил также некую тенденцию в «военном» мире. К шлемам, «буденовкам», к «стрелецким» застегкам на груди — некоторые прибавляют желтые сапоги, так сказать, гримируюсь «под рынду». Славнофилы — чекисты! Комбинация на первый взгляд удивительная. Но, при дальнейшем размышлении, нельзя не признать, что опричники царя Иоанна Васильевича имеют некоторое духовное сродство с партией коммунистов. У тех и у других была одна и та же задача — бороться с «земщиной».

* * *

Насчет «электрификации». В ленинском смысле, то есть в рассуждении сотворить что-нибудь доселе невиданное в мире, ничего не вышло. Но вообще говоря, если предъявлять требования обыкновенного большого европейского города, то Москва сейчас освещена хорошо. Много просто фонарей, сверкают светящиеся вывески, которые между прочим, по советской привычке, «поучают». Они учат гражданина, чтобы он ходил по правой стороне, чтобы он не лез на мостовую, ибо сие опасно... Но последнее тщетно. Поэтому, как мне сказали, в Москве за хождение по мостовой людей штрафуют. Три рубля, которые немедленно взыскивает тут же мили-

ционер. Вообще говоря, порядок поддерживается, и, видимо, суровой рукой. Иначе, при несомненном великом переполнении Москвы, произошел бы грандиозный кабак. Между тем такового не замечается. При большой напряженности движение все же течет сравнительно гладко.

Движение очень большое. Извозчики постоянно образуют сплошные вереницы, голова в голову, насколько видит глаз. Положим, сей глаз недалеко увидит из-за кривости улиц, но все же... Около трамваев образуются человеческие «стоки». Автомобилей довольно много в Москве. Разумеется, не столько, сколько в Париже, но порядочно. Неистово носятся красные мотоциклетки с лодочками. Их много, и они хорошего типа. Много движется и автобусов. Эти ослепительно сверкают. Все это, вместе взятое, плюс свет магазинов, и принимая во внимание искрящийся снег, делает вечером Москву нарядно-кипящеобразной. Дневная сырость зданий, сравнительная убогость рядовой московской архитектуры стусшеваются, и получается нечто резко-контрастное, от чего легко может сделаться мигрень, но что живет искрометной жизнью.

Мы, по дороге, заходили в несколько магазинов. Везде шла напряженная толкучка этого часа. Например, колбасная, где, кажется, было собрано все, что может изобрести человеческий ум в свинском направлении. Кафельные полы, посыпанные отрубями, отдавали чем-то ужасно знакомым. В булочной было то же самое. Столпотворение вавилонское творилось и в каком-то «государственном» магазине, который торговал всем, чем угодно, начиная с самоваров и кончая калошами. Я там спрашивал «толстовку» и штаны «галифе». Но таковых не оказалось. Толпа расхватала все. Вообще московская толпа, кажется, способна все поглотить, съесть все калоши и выпить все самовары. Я понял выражение «товарный голод». Именно — голод. Но откуда деньги берутся?

Книжные магазины, как и в Киеве, сверкают колоссальными витринами. Книг масса, но все то же самое. Политика и техника. Первое, конечно, никто не читает, и кажется, слава Богу, очень читают второе. Беллетристика почти отсутствует, появляясь разве в переводных изданиях.

По-видимому, в Москве должно достать все, что угодно, сейчас. По крайней мере витрины предлагают многое. Хотя, надо сказать, московские витрины все же какие-то бледные после Парижа, Берлина. Блеска Западной Европы еще здесь нет. Но к этому идет...

Наконец мы попали на ту площадь, где три вокзала. Площадь очень красивая. Наверное, советские шантажисты показывают ее иностранцам как свое произведение. Особенно хорош Ярославский вокзал. На мой вкус в нем найден стиль для будущего московского строительства. Ведь не век же будет состоять Москва из двухэтажных домишек, которые и не старина, и не роскошь. Придет когда-то день великого творчества. Мне глубоко противна квасная самобытность, но между таковой и удачным нахождением родственных данному городу архитектурных форм — дистанция огромнейших размеров. Посадить Ярославский вокзал в Киеве нелепо. Киев должен найти какой-то свой собственный стиль под стать Софийскому, Михайловскому и иным соборам. Москва же обязана «кремлить». Москва без Кремля ничто. Всякий, конечно, волен чувствовать, как ему угодно, но мне бы хотелось, чтобы Москва перестраивалась в стиле Ярославского вокзала. А самое назначение этого здания показывает, что кремлевский стиль может приспособливаться к современным зданиям.

* * *

Впрочем, я отъехал куда-то совершенно в сторону. Это потому, что мне хотелось передать, что в морозные вечера, когда снег горит, эта площадь, окруженная контурами необычайного типа зданий и вместе с тем оживленная световой толкотней трамваев и автомобилей, — есть нечто сугубо московское и очень красивое.

* * *

На большой доске, указывающей расписание поездов, я мог убедиться, что в некоторых направлениях пригородное сообщение очень интенсивно. Уходит в сутки до тридцати поездов в одну сторону. Я сначала не поверил этой таблице. Пишется одно, а выговаривается другое. Но в дальнейшем оказалось, что это так. Движение под Москвой большое, вроде берлинского, и очень точное. Да и при таком количестве поездов оно не может быть не точным: они все наскочат друг на друга.

Большие залы были полны народом. Как и на других вокзалах, и здесь публика отобралась. Ясно чувствовалось

«разделение»: это — буфет «первого и второго класса», а это — третий класс. Мы сидели в отделении, так сказать, «для мягких» и пили чай. Ярко освещенная публика была в общем наряднее, чем в Киеве. Но все же совершенно иная, чем в Западной Европе. Проще, грубее, но теплее. мех, правда дешевый, доминировал. В национальном вопросе нужно отметить опять ни с чем несуразный процент евреев. Но все же — это только «процент». Несмотря ни на что, основная стихия в Москве — русская.

Сказать несколько слов о своей собственной психологии? С тех пор, как я обрил свою старозаветную бороду и надел фуражку с желтым козырьком, я чувствовал себя совершенно мимикричным. Мне опасным мог быть только какой-нибудь человек, который видел меня в эмиграции. Но встреча с таковым была весьма проблематична. Поэтому я вращался в этой толпе довольно спокойно. Кроме того, я ведь находился под неусыпным наблюдением моего нового друга.

Однако, не доходя до Казанского вокзала, мы эмансипировались.

* * *

В вагоне мы ехали также поодаль друг от друга. Вагон был теплый и сравнительно чистый. Публики было много. Мы доехали совершенно благополучно. Куда — я не знал. Он мне сказал следить за ним и выйти, когда он выйдет.

Вышли. На перроне был опять тот же человеческий кипяток, на который я насмотрелся в Москве. Очевидно, они высыпали сюда солидной пригоршней. К проходу, где контролировали билеты, теснилось сплошное месиво. Пролезая в этом тесте, я заметил, что сейчас же за железнодорожным контролем стоит достаточное количество людей в военной форме, т. е. в серых шинелях, со стрелецкими лацканами, в «кубанках». Они рассматривали публику привычными, равнодушно-зоркими глазами. Скользнули эти глаза и по мне.

* * *

Вырвавшись из гущи, я пошел за своим руководителем на приличном расстоянии. Так мы шли, пока человеческий поток рассосался. Тогда он остановился и дал себя догнать.

— Все хорошо, — сказал он.

— А что же может быть?

— Они тут очень следят. Всякое новое лицо обращает внимание. Но ничего. Вы, по-видимому, малозаметны.

Пошли. Тут были высокие сосны, среди которых были домики. Ужасно уютно это выходит. Эти домики, которые светят красными окошечками в зимнюю ночь, всегда имеют в себе нечто сказочное и такое — святочное. Впрочем, ведь так оно и было. Сегодня был сочельник, — по-настоящему, по-старому...

Мы шли довольно долго. Мороз становился крепче, небо яснее и звездистее, и вся обстановка все более «елочная». В Добровольческой армии сказали бы, что «кидает на елку».

Вечер был, сверкали звезды,
На дворе мороз трещал ..

* * *

— Вы куда же меня ведете?

— А к старушке.

— Ага.

* * *

Шла дорогой той старушка,
Приютила сироту...

* * *

Мой спутник, Василий Степанович, введя меня по скрипучим ступеням в маленький домик, где ютилась эта старушка, сказал:

— Вот, Пелагея Ильинишна, — Эдуард Эмильевич, ваш квартирант.

Она приняла меня приветливо, показала мою комнату. Комната эта была размером такова, что по длинной стороне точно помещалась кровать, а по короткой кровать стать не могла бы. За это она просила 25 рублей в месяц. Я не торговался, меня загипнотизировала лампадка, уютно горевшая перед большой иконой в углу. В сочельник это было как-то особенно приятно и звучало приветом «оттуда».

Заметив мой взгляд, она спросила:

— Прикажете убрать икону? Многие сейчас не признают.

Я ответил:

— Нет, оставьте. Мы никому не мешаем исповедовать свои религиозные верования.

Это «мы» мне самому понравилось: веско было сказано.

* * *

— Она вас особенно расспрашивать не будет,— сказал тихонько Василий Степаныч.— Я ей порассказал, что вас переводят в Москву из провинции, что у вас вышли крупные семейные неприятности. Что вам нужно немножко отдохнуть и лучше не задавать вопросов. Вы ей только заплатите вперед.

И он ушел.

А я остался в этом рождественском домике. Акклиматизация произошла в тот же вечер. Тут жить самостийной жизнью невозможно было. Дом представлял из себя, собственно говоря, одну комнату, разделенную дощатыми перегородками. Так что все обитатели дома, не выходя из своих «комнат», вели общий разговор. Я, усевшись в своей каморке, должен был отвечать, например, на такие апострофы:

— Эдуард Эмильич (она сейчас же усвоила мое имя). Может, чайку выпили б?.. Оно хорошо с морозу... Я, грешным делом, чайница большая. Прикажете, самоварчик поставлю!..

Я не зажигал лампы и сидел наедине с лампадкой. В глазах хозяйки я должен сохранять облик советского служащего, равнодушного к религиозным вопросам, и потому я не мог ей выразить, что она меня тронула своей заботливостью. Именно в этот Рождественский вечер.

В том отделении, где у них была столовая, стоял большой киот, весь уставленный образами. Елку не зажгли, детей еще не было. Но все же она стояла в другом уголку, поблескивая орехами. Мы стали чайничать вдвоем и вели осторожный разговор о том о сем. Разговор этот, если бы я мог его вспомнить, наверное, показался бы мне смешным впоследствии.

* * *

И вот я зажил в этом домике. По моим делам мне приходилось некоторое время просто выжидать. Мои друзья — я говорю об Антоне Антоныче и тех, кто стоял за ним (а я уже ясно чувствовал их, так сказать, невидимое присутствие), употребляли в это время все старания, чтобы найти моего сына, по данным мною указаниям и приметам. Это требовало времени.

Обитателей этого домика было трое, кроме меня: старушка, дочь и сын. Дети разговаривали с матерью немного грубо, за что я их журил. Это была, кажется, первая почва для сближения с этой семьей. Трудно описать, как это вообще происходит в человеческих отношениях, как и почему люди привыкают друг к другу. Словом, они стали относиться ко мне доверчиво, быстро разобрав, что я хотя, конечно, советский служащий, но естественным своим принадлежу к старому миру.

Старушка не стеснялась высказывать передо мной свои мысли и воззрения. В особенности это делалось во время вкушения пищи, ибо я стал у них столоваться — для простоты.

Лейтмотив был всегда один и тот же. Разве теперь так, как было?! То «время» казалось золотым сном невозвратным. Между тем социальное ее положение было самое маленькое «при царях». Муж ее занимал ничтожное местечко, но все же, слава Богу, жили хорошо. И вот этот домик у них был построен до войны еще. На счастье поставили такой крохотный, что его у нее не отобрали. Но все прелести революции пережили. Голодали жестоко. Ездили, как и все, в южные губернии, к хохлам, за продовольствием.

— И знаете, Эдуард Эмильевич, как они ели! Это вот поставят такую целую миску, как большой умывальник, мяса и хлеба каждому по три фунта кусище! Просто удивительно, чтобы мог человек это выдержать... право!

И это было именно тогда, когда Северная Россия буквально умирала с голоду. Удивительный пример того равенства, которое установил коммунизм.

Затем все остальное — по программе. Вся унижительная цепь голодного рабства, что и есть социализм.

Старушка говорила тем певучим голосом «московских просвирен», у которых Пушкин советовал учиться русскому языку. Иногда она рассказывала интересные вещи. Я спрашивал ее, кто тут живет вообще в этом месте.

— Да тут, Эдуард Эмильевич, все больше жиды квартиры снимают. Некуда им деться-то. Ведь всем надо в Москву,

а Москва не вмещает. Вот они, значит, по соседству тут и помещаются. Можно сказать, ни одного дома тут нет, чтобы не сдавали жидам. Ну что же! Деньги у них есть, хорошо платят. Только уж очень их много. Один за другого, один за одним — двое наймут, а скоро будут десять. И детей-то у них, Эдуард Эмильевич! Чадолюбивые. Только я до них не очень охоча. А впрочем, разные бывают. Вот у меня прошлую зиму тут двое жило. Он-то русский был, рабочий, а она жидовка. Так то есть как, Эдуард Эмильевич, она всех этих коммунистов-то честила! Она ему прямо в глаза, — а он коммунистом был: «Вас всех, коммунистов, перевешать надо». А он ей: «Ну да, я знаю, ты самый советской власти враг и есть!»... Эта — ничего была жидовочка, чистенькая...

— Отчего, Пелагея Ильинишна, они, собственно, так в Москву полезли?

— А это потому, Эдуард Эмильевич, что опасаются. Это я сколько раз от них самих слышала. Трепка, говорят, им будет. Так вот тут поближе хотят быть, оно все безопаснее, к Кремлю, значит, поближе, их цари там сидят. Вот в Петербург — не так едут...

* * *

Но преимущественно разговор был на тему о том, как сейчас все дорого и ничего нет; о том, что купить дешево — в очередь становись, целый день из-за какой-нибудь кастрюльки или чашки прстоишь. То же самое и насчет материи. Самый нестоящий материал, на который раньше и смотреть не стали бы, — недокупишься в магазинах. Ну, а если в советском — значит, очередь.

Но и насчет дочери бывали разговоры — сердечные.

— Вот с Соней — беда мне, Эдуард Эмильевич, замуж пора — 20 лет. Уж я замужем была в 18. Да за кого выдать-то? За молодого какого-нибудь? Так ну его к Богу! Да она и сама-то на молодых смотреть не хочет. Они все какие-то нынче стали дерзкие. Нет, нет, она этого не допускает. За человека солидного вот она бы вышла. Да где его такого найти?

Дочь Соня, действительно, была для меня некоторое время загадкой. Она нигде не служила и ничего не делала. Не служила она потому, что ее не принимали. А не принимали потому, что она не была коммунисткой. И кроме того — советского образования не получила. Она почти целый

день если не пропадала где-нибудь, то читала. Однажды спросила меня:

— Эдуард Эмильевич, нет у вас книжки почитать?

Я дал ей книжку. Единственную, которая у меня была — какой-то переводной роман советского изделия.

Она взяла и через десять минут принесла обратно:

— Не хочу этого читать — неинтересно...

Почему неинтересно? Роман как роман, да и как она могла это узнать за 10 минут, что он неинтересный?

Проходя мимо книжного магазина в Москве, я купил еще один такой же и дал ей. С тем же результатом. Неинтересно.

Что за притча?

Однажды они все ушли из дому, и я остался один в этих сумерках, в этот вечер... Кстати, о сумерках. Хорошие сумерки — это когда снег синий и огни желтые. А что же за сумерки без снега? Так вот в такие сумерки сидел в этом домике один около печки, ощущая за окном крепкое и твердое нарастание мороза. Он перебрался за 15 градусов и делал небо того особого оттенка, который только мороз — великий маляр — выписывает. Наскучив, пошел поискать почитать. И тут я нашел книги, которые вот уже несколько дней и сын и дочь хозяйки читали не отрываясь, часами. Какие же это были книжки? Это была самая удивительная смесь, имевшая только одно между собой общее: все эти книжки были напечатаны старой орфографией. Тут был Тургенев, Шпильгаген, Виктор Гюго, Желиховская, «Нива», Жюль Верн и всякое такое.

Я потом разными хитросплетениями проверил это наблюдение и потому могу говорить *en pleine connaissance des choses**. Анализ «на интересность» они делали очень просто, для этого им не надо было книжку читать. Они раз навсегда и твердо усвоили: все, что написано старой орфографией, — интересно, новой — скучно.

Это, может быть, был самый сильный приговор «новому строю», который я когда-либо слышал, тем более что это был приговор без слов.

* * *

Отсюда происходило и отвращение Сони к «молодым» женихам. Она душевно жила в старом. Судя по ее возрасту, она его помнила, чуть-чуть, это старое, но книги воскресили

* С полным знанием дела. (Прим. сост.)

перед ней этот мир, и она отвращалась от действительной жизни. Как у чеховских трех сестер, у нее была своя мечта, в которой бессознательно концентрировалась вся тоска и все стремление куда-то в неизведанное. Только эта мечта была, конечно, не Москва, куда она ездила каждую субботу в кинематограф или есть пирожные, эта мечта была — море. Ей казалось, что если она увидит море и горы, то наступит какая-то дивная жизнь, очевидно, вычитанная из Тургенева, Шпильгагена и Жюль Верна.

А пока что по воскресеньям она бегала на лыжах. Надо сказать, что вообще лыжничество сильно развилось. По праздникам эти странно размахивающие руками и ногами фигуры испещряли снега вокруг нашего домика... Я смотрел на это положительно с удовольствием. Считаю, что одной из существеннейших и важнейших прорех старого строя было пренебрежение к спорту. Если советская власть сему покровительствует, то слава Богу. В свое время советская власть, совершив ей положенное, улетучится, а мускулы, легкие и сердца останутся.

Спорт, по-видимому, поощряется здесь во всяких видах. Советчики прекрасно разобрали то, чего не могло понять царское правительство: что спорт отвлекает от политики. И это по двум причинам: во-первых, потому что спорт направляет мысли, так сказать, в другое место, а во-вторых, — потому что, укрепляя тело, делает менее злобными души. В политику в очень большом числе случаев вовлекаются «злобствующие». Чем человек болезненнее, тем ему все кажется хуже и тем более он инстинктивно ненавидит тот мир, «старый» или «новый», который его до сей болезненности довел. Известна злобность, переходящая в садизм, всякого рода дегенератов. Это что? Это бессознательная мстительная ненависть ко всему вообще миру, — миру, превратившему человека в выродка.

Свои наблюдения над этой стороной советского быта я делал не только из окошка брошенного в снега домика. Я прочитывал советскую печать. Спорт — серьезный интерес советской жизни. Есть несомненное повышение деятельности в спортивной и смежных с этим областях. Русское население, деспотически отодвинутое от возможности что-нибудь делать в политике, стремится куда-то убухать накопляющуюся энергию и инициативу. В значительной мере она сейчас идет по пути спортивному, техническому, научному. У меня такое впечатление, что под ужасно неудобным советским колпаком русская прикладная наука, например, что-то делает. Я не хо-

чу сказать, что достигнуты большие успехи, но, мне кажется, могу утверждать, что есть движение воды. Мне кажется, есть какое-то повышенное стремление, например, к «изобретениям».

Одной такой штукой я даже специально интересовался.

Прочел я в «Красной газете» («Красная газета» как бы заменила «Биржевку»), что проф. Ковалев изобрел какие-то аппараты, которыми возможно будет существенно улучшать акустику в концертных залах и даже просто улучшать голоса певцов или, вернее, их тембр. Этот вопрос меня давно, правда, чисто дилетантски интересует. Я даже убежден, что на почве аналитического разложения звука и затем синтеза его в нужных комбинациях будут в недалеком будущем достигнуты удивительные новшества. Имея много досуга в своем домике, я написал в «Красную газету» письмо, вернее, маленькую статью, в которой убеждал «их», что давно пора создать совершенный звук, который, при желании, они могут назвать совсовзвук («совершенный советский звук»), и указывал «им» пути для сего. Подписался я какой-то невероятной фамилией, почерк изменил, но так как у меня не было уверенности, что они «совсовзвук» напечатают, то я просил переслать письмо проф. Ковалеву, в случае если редакция его не примет. Действительно, не напечатали. Но через несколько дней появилось «интервью с проф. Ковалевым», где я нашел отзвуки моего звукопонимания.

Тут кстати могу упомянуть, что в одном из ближайших номеров, в отделе «три строки», неожиданно прочел: «Небезызвестный черносотенный писатель В. Шульгин заболел язвой желудка». Я испугался. Ибо что такое есть «факт»? Факт, как известно, есть то, что мы вспоминаем или что предчувствуем. А вдруг собственный корреспондент «Красной газеты» предчувствовал мою будущую болезнь? Но старушка кормила меня очень хорошо кислыми щами и вообще скромным сытным обедом, и «язвы» я не ощущал. В это же время в «Правде» стали меня припекать за какое-то место из моих «Дней». У меня было довольно странное ощущение. Мне казалось, что проф. Ковалеву надо сделать еще одно изобретение: определить, каким образом, забившись в снежное подполье, как мышь зимою, у моей старушки, — я все-таки лучеиспускал какие-то эманации, которые нервировали корреспондентов советских газет и бессознательно заставля-

ли их что-то такое обо мне писать. Или они как-то смутно чувствовали мое присутствие?

Сидение в этом домике, отрезанном от всего мира, давало мне возможность странно сосредоточиваться на том, что меня невидимо окружало. Я читал эти советские газеты, и сквозь богомерзкую орфографию, сквозь подло-дурацкую коммунистическую «словесность» ко мне прорывался пульс России. Да, под этой внешностью (ибо это все-таки внешность) живет и трепещет русский народ. И когда так живешь, — там, с ними, проходит то отвращение к тамошней жизни, которое так характерно для эмигрантской психологии. Ортодоксальный эмигрант даже просто не верит, что в России есть жизнь и что эта жизнь может представлять свои интересы, огорчения, радости, поражения и победы. Издали кажется, что все это вымазано одним тоном, нестерпимо гадким. А это не так.

Советская власть — советской властью. А жизнь — жизнью. И, сидя там, я понял, что можно, например, и при советах работать над каким-нибудь изобретением или научным трудом. Или даже просто жить, увлекаться, страдать и радоваться, мало обращая внимания на советскую власть. Или даже очень обращая, но так, как тяжело больной человек, который уходит от своей болезни, сосредоточивая свой дух в других областях. Есть больные, которые ни о чем другом не могут говорить, как только о своей болезни. Если они при этом интенсивно лечатся, то это хорошо. Но если они и не лечатся, а только хнычут, то это ни к чему. Пусть лучше забывают о болезни.

Так, не долго прожив в этой обстановке, я стал до известной степени понимать психику подъяремных советских людей. Я стал помимо своей воли интересовываться некоторыми явлениями жизни. Меня заинтересовал Ковалев, заинтересовало распространение радио, заинтересовали аэросани, заинтересовала какая-то колясочка с пропеллером, которая будто бы летом бешено носится по шоссе.

Я это пишу потому, чтобы передать (хотя чувствую, что делаю это очень плохо) — как можно всеми силами души быть против советской власти и вместе с тем участвовать в жизни страны: радоваться всяческим достижениям и печалиться всяким неудачам, твердо понимая, что все это — актив и пассив русского народа, как такового. Ибо он был, есть и будет еще века, а советская власть есть не более как печальное приключение, грустный эпизод тысячелетней русской истории.

Словом, я мысленно уже переходил в психологию «приспособившихся». Я вполне представлял себе уже, как под каким-нибудь псевдонимом я мог бы вести какое-нибудь дело, которое признавал бы полезным для России, пройдя школу лицемерия в отношении властей предержащих, каковая для такой позиции необходима. То, что казалось мне совершенно невероятным в эмиграции, удивительно просто формировалось здесь. Ибо какой же выход? Злобно сидеть в подполье и ничего не делать? Или же делать все то, что позволяют обстоятельства? Первый выход — ни к чему. Второй есть что-то. Конечно, самый лучший выход — третий. Это одной рукой участвовать в жизни страны, делая все, что можно, а другой, понимая брэнность советской власти, готовить ей, в подполье, преемников. Идеал — «коварно-приспособившиеся». Впрочем, еще вопрос: коварство ли это? Или это просто знание того, что неизбежное неизбежно...

ХІХ

ЧАСТУШКИ

Василий Степанович жил неподалеку, то есть через две станции. Я часто к нему пробирался. Нужно было идти через бесконечные дачи, где огромные елки и длинно-свесившиеся березы жадно ловили иней, одеваясь в белое... Кстати, бывала нередко луна, придававшая всему этому совершенно фантастический характер. Мороз свирепел и перешел за 20 градусов по Реомюру. Снег хрустел за версту под моими высокими сапогами и блестел, как будто бы вся местность была сделана из рафинада. Нужно было пробираться на вокзал, где толкучка бедно, но тепло одетых местных людей перемешивалась с теми, кого сюда выплеснула Москва, преимущественно евреями. В зале ожидания было тепло и дымно, и сесть было негде — так много народу. Сквозь толпу шныряли геписты в кубанках.

Я помещался где-нибудь за столиком, в тени, избегая очень мозолить глаза. Подходил один из бесчисленных поездов, и человеческая гуща, скользя по обледенелым ступеням, вливалась на перрон. Прорезая лунно-сахарную ночь желтыми красивыми огнями, лихо подкатывал поезд, ловко останавливался. Люди штурмовали вагоны, стараясь забраться поближе к середине, ибо в середине поезда поме-

щался вагон-печка, который отапливал все вагоны, но ближайšie лучше.

Две остановки, и я у цели. Опять елки, белыми зубцами подпирающие спящее небо, иней-сахар, таинственно-мерцающей алмазной пылью посыпавший мир, и ряд уютных домиков, кладущих неизъяснимой красоты оранжевые узоры из пряничных окон на билибинский снег.

В один из таких домиков я стучал и, порядочно подмерзший, был впускаем в темные простые сени. Пройдя их, входил в крохотную комнатку, где он жил вдвоем с женой.

Это были люди так же, как и я, пришедшие из эмиграции. Но они пришли сравнительно давно, акклиматизировались здесь и, как все мои новые друзья, работали на контрабанде. Этому делу они были преданы беспредельно и совершенно им поглощены. Они пробирались сюда самостоятельно, не так, как я, которого, можно сказать, перевели под руки. И была эта повесть полна самых ужасных приключений, которые, впрочем, рассказывались (говорила больше она) весьма веселым тоном.

Трое суток скитания по лесам, ночь, проведенная по пояс в болоте — все глубокой осенью — это была *la moindre des choses** в этих рассказах.

Я слушал их с величайшим интересом еще и потому, что они шептались в довольно характерной обстановке. Перегородка тут была такая же, как и у меня, т. е. со щелями вверху и внизу, так что каждое слово было слышно в соседних помещениях. А соседи были у нас такие. С одной стороны — старшее поколение, отец и мать, так сказать, отжатые в кухню. Они мало значили в своем доме, но, конечно, и им контрабандистские рассказы не могли быть доверены. А с другой стороны каждый вечер собирался «комсомол». У них были дочки, и вот к ним наваливалась компания таких же девушек и соответствующее количество парней. Все это вопило за стеной, преимущественно в музыкальном направлении. Когда они заводились, можно было говорить, но строго захлопывая рот в минуту пауз. Шептать можно было, но тоже с опаской, ибо шепот мог навести на подозрения.

И мне нравилось это. За стеной звенела гитара и женский голос выводил частушки. Разухабистые, они пелись на какой-то минорный мотив, однообразно повторяющийся. Содержание их было фабрично-идиотское, вроде:

* Пустяк, самое незначительное, что могло быть (фр.). (Прим. ред.)

Я у зеркала стояла,
Сама себя видела,
У подруги я отбила,
Бедную обидела!..

После такого заявления деланно-вызывающего не следовало никакого взрыва веселья. И вообще, ничего, относящегося к «этому делу». Refrain, так сказать, как бы отбывался по обязанности (должно быть, так они понимали свою дань «ленинизму»). Затем начинался общий разговор. Единственным ценителем певицы был один только голос, очевидно, парня и, очевидно, сугубо болвана. Вероятно, желая выразить свое обожание, он после каждого куплета закатывался каким-нибудь бессмысленным апострофом.

Поехав сверху вниз по гамме, как бы поставив этим способом нестерпимо глупый восклицательный знак, он принимался ржать. В этом его никто не поддерживал, но никто и не мешал. Видимо, к этому шуту все там привыкли.

Прасковья Мироновна (так она себя называла, и так это к ней подходило, как лапти к шелковому чулку) — продолжала свои болотно-лесные ужасы.

— А в речку, помнишь, как ты провалился!.. Лед шел. Можете себе представить. Зато потом, когда добрались до жилья. Какое блаженство! Вымыться. Самое ужасное это болото. Все было черное, липкое, грязь по всему телу...

За стеной звучало:

На столе стоит цветок,
Туда-сюда клонится,
За хорошею девчонкой
Все мальчишки гонятся!..

После чего идиот закатывался.

— И вот,— продолжала Прасковья Мироновна,— вы понимаете, как нам повезло. В этом доме была ванна. А впрочем, бросим... Послушайте, я хочу вам сказать, что я с вами не согласна, совершенно не согласна. Мне кажется, что вы ужасно ошибаетесь в этом вопросе...

Ах, Боже мой! Наш «эмигрантский крест» я принес и сюда с собой. И здесь мы спорили. О чем? Неужели, чтобы кого-нибудь любить, надо кого-то ненавидеть?

А гитара дзинкала за стеной:

Я собою некрасива,
Некрасив и мой наряд,
Но не знаю, почему уж
Много гонится ребят!..

И болван за стеною «поддерживал».

На этот раз певица подарила нас еще несколькими куплетами:

Ты не думай, что красив,
Я тобой не дорожу:
Я такими ухажерами
Заборы горожу!..

Но затем оказалось, что, по-видимому, «он» тоже ею не дорожит. Впрочем, она утешилась:

Изменил, так наплевать,
На примете еще пять,
Неужели из пяти
Такой дряни не найти?!

Тут ее поклонник заржал с особым усердием.

А мы продолжали шептаться на темы, то острые, разъединяющие, то, наоборот, спаивающие и во всяком случае волнующие. Конечно, они были контрабандисты, но вся политическая жизнь, по ту и по эту сторону, их живо интересовала. Они влачили существование, на которое страшно было смотреть, потому что оба кашляли. Она только что переходила на ногах воспаление легких в этом карточном домике, где можно было кое-как натопить, но к утру мороз забирался во все щели. Между загнанными в угол стариками и расхулиганившейся молодежью — они вдохновенно и цепко мечтали о какой-то новой России.

И этот наш шепот между этими двумя берегами порою приобретал просто мистический характер. Ведь так оно и есть! Ведь так оно и будет, если что-нибудь будет. Именно между обессиленным Старым и зазнавшимся Новым станет это Среднее, которое разобьет дзинкающую гитару на дурацкой голове комсомола, выгонит трусливых родителей из-за печки и заставит тех и других жить по образу Божию и подобию!

XX

СУД

Разумеется, я часто ездил в Москву. Один раз я поехал со специальной целью. Прасковья Мироновна решила меня повести в народный суд.

Пришли. Прошли такие коридоры, какие почему-то всегда бывают в судах, где толпились разные люди. Тут же был буфет, где продавали скверные, но очень большие пирожки (такие же, как в былое время продавались на маленьких станциях) и пили горячий чай «с морозу».

Когда мы вошли в залу заседания, суд уже начался. Это была большая комната, наполовину наполненная скамьями, каковые скамьи также были заполнены наполовину. На возвышении сидел суд. Было тихо. Мы тоже вошли тихонько, но все же на нас обратили внимание. Председатель внимательно всматривался, когда мы занимали места. Человек, который был, очевидно, прокурором (он говорил, глядя от нас, с левой стороны), тоже на минуту обдал нас своим еврейским взглядом. Он был еврей, да еще местечковый. Впрочем, был он все же умнее, чем его акцент:

— Товарищи судьи! Товарищ защитник стремился доказать, что будто бы товарищ подсудимый совершенно не виноват ни в чем. Может быть, ему еще надо награду дать?! Но не в этом дело. А дело в том, что советская власть, она совершенно не признает буржуазной доктрины, по которой есть «вина». И вообще нет вины. Советская власть стоит исключительно на почве «теории целесообразности». Так называемый преступник — он есть такой, какой он есть, т. е., так сказать, он является следствием того, что было раньше до него, и потому как он может быть виноват? И потому это совсем не важно. Важно, или он может вредить советской власти, или нет? Важно сделать так, товарищи судьи, чтобы он больше вредить не мог. Советская власть не преследует наказаний, как таковых. Как я уже говорил, она стоит на почве целесообразности. Но из этого не следует, как делает товарищ защитник, что то, что было — не было, и то, что не было — было. Я вас спрашиваю, товарищи судьи, искалечена рука или не искалечена? Вы видите, что она искалечена. Кто это сделал? Нам хотят доказать, что это сделала машина, станок. Но машины сами по себе не ходят. А если станок, вместо того чтобы резать сталь, режет людей — значит, что-то не в порядке. А это что-то — это что именно? Не в порядке ли была эта работница, что она всунула свою руку в станок, или не в порядке были те порядки, которые это допустили? Говорят, были «палочки», только их надо взять. Говорят, она сама виновата, что палочку не взяла, потому что палочка лежала в чулане. Но вы, товарищи судьи, можете заметить из показаний свидетеля, что иногда чулан бывал заперт. Может быть, он и тогда был закрыт?

А кроме того, товарищи судьи, для чего существует старший товарищ, для чего существует технический надзор, который должен был осуществлять товарищ подсудимый, если он его не осуществлял? Или он не должен был смотреть за тем, чтобы работницы не совали прямо пальцы в станок, а брали палочки и подсовывали, что там надо подсовывать? А кроме того, товарищи судьи, почему именно надо иметь такой станок, который представляет категорическую для жизни опасность? Отчего не сделаны были приспособления? Ведь мы не знаем, что на других заводах были такие приспособления. В этом товарищ подсудимый виноват! Да, он виноват. Конечно, он не виноват с той точки зрения, что таковым его сделала его прежняя жизнь и бывшая среда, то что эти так называемые «верхи» всегда очень мало обращали внимания на то, что они называли «низы» или, говоря конкретно, товарищи судьи, — инженеры на рабочих. Таким его сделала эта его бывшая среда, и такой он есть. Но не за это советская власть его судит, если он по совести хотел отказаться от прежних навыков и привычек, а за то его судит, что допущена конкретная небрежность. Советское правосудие стоит на теории целесообразности. Нецелесообразно, если бы он дальше не понимал своих обязанностей. Товарищи судьи, своим приговором вы ему скажете: если вы хотите добросовестно служить советской власти, то вы прежде всего должны добросовестно охранять жизнь и здоровье тех работников, которые находятся под вашим руководством. Это вы ему скажете, товарищи судьи!..

Прокурор в синей толстовке — официального казенного коммунистического вида бритый молодой еврей с огромной шевелюрой — кончил.

Председатель, русский, рыжий детина, на вид из тех рабочих, которые, прочтя пятикопеечную брошюру, становились в ряды марксизма, — имел по правую руку молодого краснощекого парня, тоже такого приблизительно типа, а по другую тупое лицо, очевидно плохо соображавшее, что происходит. Узкую часть стола занимал секретарь — тоже еврей, до такой степени похожий на прокурора, что, если бы они переменились местами, никто бы этого, пожалуй, не заметил.

Слева от судей, немножко ниже, сидел подсудимый, человек под сорок, солидный, плотный. Около него стоял защитник в пиджачке, в мягкой рубашке с галстуком. Русский, блондин, с вьющимися волосами.

— Товарищи судьи! Товарищ обвинитель позволил себе перенести ваше внимание в область, которую, может быть,

на этот раз не следовало затрагивать. Да, советская власть, и все мы в этом ей сочувствуем,— стремится защищать рабочих и крестьян от всякого угнетения со стороны тех, кто раньше назывался высшими классами. Все это так, и напрасно товарищ обвинитель помахивал здесь перед нами этим знаменем. Мы его никому не уступим и сами понесем его впереди правосудия! Но какое это имеет отношение, позвольте вас спросить, товарищи судьи, к моему подзащитному? Вам хотели внушить, что этот человек по своему происхождению, навыкам, привычкам — относится к тем высшим классам, против которых справедливо было поднято революционное знамя труда. Какое заблуждение! Ведь перед нами не инженер прошлого типа, дипломированный буржуазными университетами, закостенелый в своих кастовых предрассудках. Перед вами — сын народа, человек истинно пролетарского происхождения. Ведь и диплома-то у него никакого нет! Ведь если он выдвинулся на степень такого руководителя, то исключительно благодаря своим природным способностям и усидчивому труду в течение всей жизни. Перед вами русский самородок, который талантом пробил себе жизнь и тяжким трудом поднимался по ступеням! Ему ли непонятны тягости и опасности трудовой жизни? Он ли не знает, что такое этот станок, причинивший в данном случае несчастье, когда он перед этим станком простоял, может быть, полжизни? Он ли не понимает, что такое эта «палочка», о которой говорил товарищ обвинитель? Нет, товарищи судьи, эти палочки ему известны лучше, чем кому бы то ни было! И как показала экспертиза, как мы могли судить по ответам, которые он дал на вопросы товарища эксперта,— его технические знания простираются так глубоко, что больше этого не может требовать от него самое строгое отношение к делу. Был ли он добросовестен? Да, он был добросовестен, палочки были, стоило их только взять, правила были вывешены, и каждый работник, каждая работница хорошо знали в этой мастерской, что нельзя соваться в станок голыми руками. Товарищ обвинитель спрашивает, почему не было сделано на этом станке приспособления, которое было на других заводах. Да потому, товарищ обвинитель, что на других заводах — другие станки и что для этого станка таковых приспособлений, к сожалению, еще не изобретено. Что же вы хотите судить человека за то, что он еще не изобрел этого приспособления? Так за это, пожалуй, нужно судить всех, столько же его, сколько и всех тех, что стоят над ним, и, пожалуй, так пришлось бы судить совет-

скую власть, которая его судит. Много есть еще опасностей и трудностей трудовой жизни, против которых не изобретено еще приспособлений. За это судить нельзя. И тем более нельзя судить этого человека, ибо, как вы могли заключить из заключения экспертов, те-то приспособления на другие станки, которые есть на других заводах,— ведь это приспособления именно этого человека, этого русского самородка, этого истинного сына народа, этого блестящего представителя таланта, таящегося в пролетариате, это его изобретение! Товарищ обвинитель иронически спрашивал, не заслуживает ли этот человек награды. Да, заслуживает, товарищи судьи! Заслуживает награды, которая выразится в вашем приговоре, в вашем объявлении от несправедливо взведенных на него обвинений. И это будет достойная награда за целую беспорочную трудовую жизнь. То же, что произошло с пострадавшей, есть несчастный случай, о котором можно только сожалеть, и, конечно, пострадавшей надо помочь всеми находящимися у советской власти средствами, но без обвинения невинного!..

* * *

Так журчала эта болтовня, и перед моими мыслями вставал прежний суд. Ах, товарищи коммунисты, не очень-то далеко вы ушли от «старого мира». В чем перемена? Вместо прокурора — русского по национальности, юриста по образованию,— вы посадили молодого кучерявого еврейчика, который с местечковым акцентом старается по силе возможности выпутаться из трудного положения: совершенно неведомые ему теории о существовании суда и наказания применить к конкретным случаям жизни. Он выкручивается, как может. Вместо защитника, который раньше часто был по национальности евреем, но по образованию юристом, вы поставили дилетанствующего русского. Этот природной сметкой старается заполнить недостаток подготовки. Вместо коронных судей с хорошим образованием и подготовкой — вы посадили людей с туповатым взглядом, придав им, чтобы они не наделали окончательных глупостей,— сообразительного секретаря из мишуристов провинциальной гостиницы. Вот и все.

По существу же все осталось то же. И ваш «народный суд», до удивительности напоминая мещанина во дворянстве, старается всеми силами скопировать прежний, действовавший по указу Его Императорского Величества.

Стоило огород городить, чтобы вернуться к тому что было, но только гораздо хуже...

* * *

Публика была демократическая, очевидно забравшаяся сюда из любопытства, — рабочие того завода, на котором разыгралась история. Я сильно опасался, что мы здесь белые вороны, ибо председатель, прокурор и секретарь усиленно пялили на нас глаза. Они, очевидно, полагали, что мы — кто-то из коммунистической аристократии, кто забрел сюда «проверить» народный суд.

Положение, на мой взгляд, еще более обострилось, когда Прасковья Мироновна, наскучив слушать по существу неинтересную пикировку сторон, — стала мне рассказывать... про бега! Она, оказывается, была страстная лошадистка в былое время. С лошадей ее рассказы перескочили вообще в былое старое время, в фантастические страны азиатского русского пограничья, где она когда-то побывала, — истории, полные восточного колорита, истории с «благородными разбойниками» в пустыне, истории то боев, то дружбы их с русскими офицерами. Сквозь эту своеобразную шахеразаду до меня долетало журчание товарища прокурора и товарища защитника, которые со свойственным всем судебным сторонам упорством заморачивали голову судьям всеми находящимися в их распоряжении способами.

Все это становилось немного опасным, ибо шепчущаяся наша пара безусловно обращала внимание этого зала. Я поскорее увел ее, мало интересуюсь знать, к чему присудили русского самородка за то, что он оторвал руку советской работнице.

Уходя, однако, я слышал все же предложение прокурора, который «ради целесообразности» советовал не заключать подсудимого в тюрьму, а оставить его на том же самом месте, чтобы он продолжал делать свое дело, — сместив его только «на несколько категорий».

* * *

Мы вышли на морозный воздух. Был уже вечер. Мы прошли мимо одного дома, который красиво изогнулся покоем вовнутрь двора. Сквозь изящную решетку на темном фоне здания с херувимской чистотой был выписан прекраснейший

узор заиндеветших деревьев. Казалось, это какие-то огромные белоснежные цветы.

— Вы знаете, что это такое? — спросила Прасковья Мироновна.

— Очень красиво, но не знаю.

— А это другой суд — попроще. В этом здании, внизу в подвалах, расстреливают тех, кто на «народный суд» не попадает!..

XXI

РАЗНОЕ

По делу отыскания моего сына мне нужно было иметь свидание с одним человеком. Свидание это представляло известную опасность для меня.

Объяснять сие длинно, но так складывались обстоятельства. Я вызвал его на один из бесчисленных московских вокзалов. В назначенный час я сидел у столика, поглядывая на входную дверь.

Он пришел, мы поговорили, но, увы, никаких указаний он мне дать не мог.

Я рассказываю это только вот почему. Когда он уехал, я вернулся в залу и за столиком, «под газетой», обнаружил Василия Степановича.

— Вы как здесь?

Он улыбнулся той улыбкой, которая ему была свойственна, немножко детской. И опять я обратил внимание на глаза, которые я где-то видел. Не именно эти глаза, но в этом роде. Он сказал:

— Мы немножко боялись за вас.

— Ну так что же? Что бы вы могли бы сделать?

— То, что мне было приказано...

— А что вам было приказано?

— Мне приказано было их задержать, если бы к вам пристали.

— Как задержать?

— Так. Начать скандал...

— Какой скандал?

— Всяческий. В крайности...

Он сделал жест, обозначающий, что у него револьвер в кармане.

— Это, действительно, крупное «нарушение общественной тишины». Но чем бы это мне помогло?

— Вы могли бы убежать в суматохе...

— А вы?

— Я — это не важно...

— То есть как — «не важно»?

Он не ответил. Но я был очень тронут. Я почувствовал определенную решимость в случае чего пожертвовать собой, чтобы меня спасти. До этого, слава Богу, не дошло, но эта психика, менталите,— это то, что двигает горами...

Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда и усилья
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой...

* * *

Но большей частью я путешествовал по Москве самостоятельно. Однажды был большой мороз. Он доходил до 27 градусов по Реомюру, и это было так холодно, что я постоянно был принужден забегать куда-нибудь, чтобы согреться. Как-то я зашел в чайную, самого простого разбора, неподалеку от вокзала.

Мне подали обычную порцию, т. е. мало сахара и неслучайное количество горячей воды. Публика была — извозчики, чернорабочие и всякий такой люд. Все это сидело в валенках, в тулупах, в шапках с наушниками. Медленно, истово прикусывали сахар крошечными кусочками.

Было бедно, грязно, но тепло.

Вдруг в эту мирную атмосферу певуче-гуторящих про свои маленькие дела влетел некий живчик. Был это человек средних лет и неопределенной наружности. Лицо у него было красно-синее от мороза. Одет в драный пиджачок.

Заговорил он громко, как говорят актеры, конференсье. Сразу все беседы смолкли. Общее внимание обратилось на него. Многие лица оторвались от блюдец и расцветились улыбкою. Выходило, как будто его уже знали.

— Здравствуйте, граждане! Очень рад вас видеть. Я кое-что вам сейчас расскажу. Слушайте меня, слушайте, я в ударе сегодня. Вот, например, вы думаете, Европа, ну там, Англия, Франция... Так я вам скажу, граждане, нет Европы! Т. е. она была, граждане, но ее уже больше нет, конечно... Что такое?

А то, что мы ее взорвали. Мы ей такую бомбу послали, что от нее ничего не осталось. Кончилась Европа, граждане! А знаете, какую бомбу? «Тише, осторожнее, взрывает»... Легче, граждане, посторонитесь...

И после паузы:

— Эта бомба — «Ин-тер-национал»!!!

Иронию поняли. Засмеялись.

Он продолжал дальше:

— А в запасе есть еще бомбочки — «исполком», «совнарком». Страшные взрывчатые вещества... А пока что, граждане, я вам расскажу что-нибудь из внутренней политики. У нас великие перемены. Вот всероссийский староста Калинин повысился. Ему уж, кажется, некуда повышаться бы. Такой уж важный. Мужички к нему из села приходят: «Здравствуй, землячок». Не тут-то было. «Я вам покажу — землячок. Я тебе всероссийский староста, а не землячок!» Ну, так вот, он еще повысился, граждане.

Тут он что-то такое сказал, что я не разобрал и не понял. Но они все поняли и смеялись. Подбодренный этими рыжими бородами, добродушными лицами, которые скалили зубы над чайниками, он сделал руками так, как будто аккомпанировал себе на гитаре. Запел какие-то куплеты, которых я не помню, но смысл коих был тот, — и это он приговаривал скороговоркой за каждым куплетом в виде морали — что «старых буржуев перерезали, а новыми хоть пруд пруди». Куплеты сопровождались соответственными кривляньями. Иногда он вдруг внезапно обрывал, съеживался, изображал стремительный ужас и кричал:

— Тише, ни слова, молчи!

А не то... в «пролетарские тиски»!..

Все это воспринималось остро, живо, с величайшим сочувствием, но без удивления. Мне казалось, что это явление привычное здесь.

Откривлявшись, он пошел с шапкой, приговаривая:

— Принимаются все деньги, кроме червонцев...

Обойдя чуть ли не бегом помещение, но получив кое-что — давали, — он сделал общий комический поклон и исчез так же стремительно, как ворвался.

А я остался допивать свой чайник, раздумывая над тем, что это такое? Провокатор? Но для провокатора он как-то вел себя не очень. Смеялись все, и никого особенного он выловить бы не мог.

Если же он провокатор, то уж мне показалось такое выступление смелым. Открытое глумление над советской

властью. Что же это? Так ли она крепка, что позволяет себя ругать, или же наоборот, так ослабела, что уже не может заткнуть рты?

* * *

Шел я в этот очень морозный день посмотреть сенсационную вещь, о которой советские газеты кричали с утра до вечера. По их мнению, это верх кинематографических достижений. Это фильм — «Броненосец Потемкин-Таврический». Пришел в огромное здание, где одновременно синема идет в трех залах. Кажется, это «первое — госкино». Плата до 6 часов вечера 50 копеек, а позже дороже. Крутят здесь синема с 12 час. дня до 12 час. ночи. У кассы много народа. В зале ожидания — толпа. Наконец, пустили. Началось.

Лента изображала броненосец, собственно, кухню броненосца. Матрос-повар нашел в мясе червей. Публике преподносится отвратительное кишение этих гадов: вероятно, в ателье их долго и любовно разводили. Пришел судовой врач. Неизвестно почему, сей судовой врач утверждает, что никаких червей нет. К этому присоединяется и дежурный офицер. С точки зрения исторической правды все это глупо до нестерпимости. Кто немножко знает военный быт прежнего времени, не представляет себе врачей и офицеров, которые без всякой надобности «не увидели» бы червей. Тем более это было невозможно на флоте. Известно, как «цацкались» у нас со флотом, вызывая иногда справедливую ревность других родов оружия. А в особенности в то время, в эпоху первой революции. Чтобы что-нибудь подобное сочинить, нужно быть твердо уверенным в невежестве зрителя. К этой нелепице присоединяются и остальные офицеры и командир судна. Черви кишат, и никто из офицеров их не видит.

Из этого, мол, рождается бунт. Это неосторожно. Все остальное, т. е. возвеличивание броненосца и взбунтовавшихся матросов, как героев освобождения, выходит, благодаря червям, подрезанным в самом основании. Ни о каком «пролетариате» матросы, оказывается, не думали, а просто не хотели кушать червей.

Затем идут варварские сцены избиения офицеров, глумление над убиваемым священником. Но некоторые из офицеров дерутся, как настоящие герои, в одиночку, против зверской отвратительной матросни. Конечно, авторы хотели другого, но не выходит...

Поставлено все это грубо в смысле эффектов, но тща-

тельно в разработке деталей, с явным применением русской реалистической школы.

Есть картины удивительно, на взгляд, красивые. Например, когда целая флотилия одесских парусных лодок бросается к броненосцу, стоящему в море.

Отвратительные сцены расстрела бунта высмакованы всласть. Особенно распространились на счет гибели несчастных старушек и невинных матерей с младенцами на руках.

Заключение совсем нелепое. Броненосец «Потемкин», как известно, никаких геройств, кроме варварского убийства своих офицеров, не совершил. Теснимый остальной черноморской эскадрой, он удрал в Румынию, где матросов разоружили, а корабль отдали России. Сей неблестящий эпилог отвратительного начала изображен у большевиков как некий подвиг. Так босяк, которому набили морду на базаре, величественно отходит, приговаривая:

— То-то!..

Но из этого фильма можно кое-чему научиться. В особенности извлекут практические уроки из него современные матросы, которые весьма возможно будут и некогда «красой и гордостью к о н т р р е в о л ю ц и и».

Они вновь научатся, как делать восстания из-за «скверной пищи». Эта традиция, как известно, идет из каторги и острогов, где она твердо истари установлена. Она обильно применялась и в 1905 году. Применялась, между прочим, и в Киеве во время так называемого «саперного бунта». Во всех этих случаях пища была превосходная. Из этого следует, что советская власть может очень хорошо кормить красных матросов и все-таки они взбунтуются.

А как они поступят с офицерами? С «красными командирами»? К сожалению, и этому фильм обучает. Я не кровожаден, и повторение пройденного мне совершенно не улыбается. Я бы очень хотел, чтобы даже с красными командирами так не поступали. Но советские крутильщики, очевидно, задались целью разжечь кровавые страсти на свою голову. Что ж, если Бог хочет наказать, Он отнимает разум.

* * *

В этот день мороз загнал меня вторично «под крышу», на этот раз в кабак. Это было помещение, где, можно сказать, яблоку некуда было упасть, но куда я все-таки всунулся. В воздухе стоял сизый дым, сквозь который четыре девы, стоя на эстраде в фантастических костюмах, — нечто вопили.

Это нечто оказалось некое мистическое слово — «Мосельпром». Они воспевали его в разных вариантах:

О, Мосельпром, о, Мосельпром!
Перевернул ты все вверх дном:
Исчезли беды и напасть,
Жизнь наша стала просто сласть.
О, Мосельпром, о, Мосельпром...

При этом они дрыгали ножками и ручками.

Я посмотрел кругом себя, что спрашивают. Увидел, что дуют водку и пиво, причем с пивом подаются какие-то кругляшки. Пиво оказалось скверным, кругляшки — сырым горохом, а Мосельпром «московской сельской промышленностью». Девы, очевидно, казенные. Это — советская реклама.

Потом появился мужской хор, который очень недурно пел какие-то песни. Публика подвывала и вообще вела себя неприлично. Была она мрачно пьяная, надрывно пьяная, как бывают русские. Здесь не было веселья, а было мутное опьянение. Но между собой были вежливы. И это меня поразило. Конечно, это может быть слишком смелое обобщение, но у меня вообще такое осталось ощущение, что в России меньше недоброжелательства друг к другу, чем было раньше. Человеческая злоба идет куда-то по определенному руслу, не в бок, не во все стороны, а в одну точку, вверх.

А «друг в друге», если можно так выразиться, человек как будто видит такого же пострадавшего, как он сам, человека. Есть какая-то «шпанская» солидарность в современной России. В сущности — она вся — только одно огромное подполье. В нем некоторые мыши просто прячутся, но другие грызут советские стены. Но все-то они — мыши и все дружны между собой «по отношению» к советскому коту.

Над подавляющим большинством тяготеет мысль: «Сильнее кошки зверя нет». Но небольшая часть уже знает, что и на кошку есть управа.

Пусть это мое наблюдение в тысячу раз преувеличено: но уменьшите его до микроскопического масштаба, и все-таки это будет нечто большое...

* * *

Не помню, в какой день я переоделся. Дело в том, что мой синенький пиджачок и штаны с полоской не клеились с моим «положением». Я зашел в один из магазинов на

Тверской, в котором было выставлено готовое платье. Я, собственно, наметил себе некий «дантон», полагая, что это сейчас самое модное. Но «дантона» не оказалось по росту, и я купил себе просто синюю «толстовку» за 18 руб. Толстовка эта ничего не имеет общего с той рубашкой, которую носил граф Лев Николаевич. Она скорее походит на френч, но, пожалуй, более удобна. В дальнейшем я убедился, что в носке сия толстовка весьма приятна: не стесняет движений и прочее. Поэтому я с неудовольствием прочел в «Красной газете», что на диспуте, собранном в Ленинграде со специальной целью обсуждения толстовки и пиджака, победил последний. Знатоки заявили, что, мол, в складки толстовки забивается пыль. Может быть, оно и так, но не скажу, чтобы пиджачный костюм, который изобрели английские квакеры со специальной целью себя обезобразить, не отвечал своему первоначальному назначению. Я, по крайней мере, на костер за пиджак не пойду.

Там же я купил себе штаны-галифе. Мне рассказывали между прочим, что в былое время галифе были мечтой всякого буденовца. И до такой степени, что слово «галифе» стало у них в ходу и употреблялось в самых неожиданных случаях. Известно, что Богдан Хмельницкий, обращаясь на Переяславской Раде к тогдашним «дядькам», вопрошал их: «Вси ли тако соизволяете?» И они отвечали громовыми голосами: «Вси, вси, вси». Буденовцы же, когда им ставили подобный вопрос, конечно не на счет присоединения Малороссии, а насчет ее ограбления, отвечали: «Галифе, галифе, галифе!» — что означало высшую степень согласия.

Так вот такое согласительное галифе я себе купил тоже за 18 руб., итого 36, итого 18 долларов — сумма, за которую в Париже я мог бы себе купить совсем шикарный костюм и даже паршивенький смокинг.

Частник, у которого я покупал, был со мной обворожительно любезен. Оно и понятно. Надо же чем-нибудь обернуть дороговизну.

* * *

Кстати, о частниках. Теснимые сверху, они, естественно, главным образом, захватили низы. Кажется, нигде в мире нет столько уличной торговли, как в России. В Москве по сему поводу постоянно совершается на глазах у всего населения глупое безобразие. Дело в том, что наиболее выгодно оказалось торговать «на ходу». По какому такому закону, я хоро-

шенько не знаю, но, словом, этим несчастным людям не разрешается «доторкнуться» до земли. Опасаются ли большевики, что все торговки переодетые Антеи, и что если баба поставит корзину на землю, то она сразу приобретет такую силу, что перевернет Мосельпром вверх дном, — но, словом, образовалось целое сословие, «которое ходячее». Конечно, они иногда не выдерживают и нет-нет остановятся. Однажды я, изумленный, увидел, как от тротуаров хлынули целые цепи. Они бросились бегом на площадь, с корзинами и лотками в руках. Так мечутся пескари от щуки — на берег. Щукой оказался конный милиционер. Он показался из-за угла и довольно равнодушно, очевидно привычно, взирал на эту картину. Убежав на площадь, все эти молодые и старые, мальчики и старушки, глядели на милиционера совершенно с детским вызовом:

— А тут ничего нам не сделаешь!..

Потому, ежели какой «под тротуаром», тот наверняка, подлец, корзину на панель поставил. А кто на площади, тот, значит, правильный человек — «ходячий».

Премудрость...

* * *

Жестокий мороз, должно быть, разогнал «беспризорных детей» по каким-нибудь совершенно невообразимым трущобам. Или действовала какая-нибудь другая причина, но я не видел их так много, как ожидал. Однако каждый раз, когда мне приходилось ехать в подмосковном поезде, я видел одну и ту же картину. Тихонько растворялась дверь вагона, и двое-трое мальчишек с типичными лицами прокрадывались внутрь. Один оставался тут же у этих дверей, другой занимал пост у дверей противоположных.

Они принимали эти меры предосторожности потому, что приказано было их всячески излавливать. Третий, обеспечив себя спереди и с тылу, приступал к концертному отделению. Под звук колес он пел резко хриплым мальчишеским альтом какие-то песни. Не всегда можно было разобрать слова. Однажды я выслушал длинную сентиментальную любовную историю, сервированную á la Соломко, то есть с применением старорусской бутафории. В другой раз это была какая-то, кажется, довольно известная песня про Россию, как ее погубили. Что-то и про Деникина там имеется. Были они, мальчики, собственно оборваны. Закутаны в лохмотья. Кончив петь, обходили с шапкой. В общем публика давала

им копеечку. Иные заговаривали с ними. Без всякой сентиментальности, но и без грубостей. В зависимости от индивидуальности: одни с оттенком жалости, другие на предмет позабавиться ответами зверьков, почему-то владеющих человеческой речью. А в общем к ним так привыкли, что особого внимания на них не обращают.

Один раз я видел, как стационарный гепист (современные жандармы) поймал такого мальчишку. Он тащил его куда-то, высокий, серый, а около его ног отбивался десятилетний клубочек из ножек, ручек и лохмотьев. Кажется, он даже пытался кусаться. Серый не бил его, а только тащил профессионально-равнодушно-неумолимым движением. Кто-то сказал:

— Все равно убежит!

Это правда. Милиция вылавливает их и препровождает в особые дома, откуда они убегают немедленно. Не знаю, дома ли так хороши, что ужасная их доля «на свободе» кажется им лучше, или же что другое. Почему дикий зверь стремится в лес, хотя человек предлагает ему пищу, кров и все такое? Несомненно, что по отношению к таким детям требуется система терпеливого приручения. Кто подойдет к ним с поверхностным сентиментализмом, тот через короткое время их возненавидит. Но тот, кто имеет столько любви, что способен жалеть змеенышей и тигренков, тот может отвоевать часть из них у каторги и виселицы.

Как-то я видел их передвижение по Москве. Это была стайка детей душ тридцать. Я ехал в трамвае. А они бежали по панели. И почти не отставали. Мороз был сильный. Такой бег, может быть, для них, при их экипировке, единственный способ не замерзнуть. Я наблюдал, как они ныряли в толпу, когда она попадалась на их пути. На несколько мгновений они совершенно пропадали из глаз среди взрослых. Так стая гончих исчезает в лесу. Но вот прогалинка, лужайка, то есть — где толпа реже. И там я улавливал их снова, — маленькие, оборванные, бегущие фигурки. Вот открытая площадь. И они вынырнули на мостовую всей стайкой, не уменьшившись в числе, очевидно, прочно спаянные какой-то своеобразной организацией или общей целью. Позже я как-то видел известный фильм «Воробьи». Да, в этом роде стайка, но только, увы, без ангела-хранителя во образе хорошенькой американки Мери Пикфорд. Найдутся ли — не для синема, а в действительной жизни, — для них, для беспризорных русских детей, такие спасительные ангелочки? От коммунистических мегер сего ожидать трудно.

Я любил, когда перед отходом поезда из Москвы в вагонах начиналась сарабанда «частников». Сидишь это на лавочке в вагоне, а они дефилируют на все голоса и распевы:

— Яблочки хорошие, яблочки! Булочки горячие, булочки! Леденцы, пряники! Папиросы, спички!

А один, очевидно железнодорожник, все ходил похлопывая двумя свечами деревянным стуком:

— Свечи имеются.

Потом все это смывалось, публика набивалась, заполняя своей зимней толщинкой вагон до тесноты, и поезд, играя морозными окнами с голубоватыми лучами фонарей, мчался теплый и парный в двадцатипятиградусную ночь. Толстые вагонные свечи (не все же распродал железнодорожник) горели, желтые, тускловатые, и было это мне на руку. Уютно забравшись в уголок, в тень, я иногда слушал разговоры. Раз ехал какой-то старик с большим мешком. Человек, сидевший напротив, разговорился со стариком. Тот с удовольствием поведал, что в мешке семечки подсолнечные и что он ими торгует. Но на беду тот другой пошутил:

— Ну что, червонец в день зарабатываешь?!

Старик страшно обиделся:

— Целковый, если наберешь, и то рад! А ты — червонец, экий ты...

И пошел его ругать крепкими. Московскими...

Тут вмешался третий, который пока что молчал, молодой.

— Не надо ругаться так.

Старик окрысился, что молод, мол, учить.

С этого затеялся у них с молодым разговор. Я уловил несколько фраз. Молодой говорил:

— Что ж вы, старики, лучше нас жили. Нам такой жизни, как ваша была, уже не знать. Так что ж ругаться-то. Мы вот терпим, и вы терпите. У вас хоть вспомнить есть что, а у нас и этого нет. Так что ж ругаться-то зря, от дурного слова лучше, что ли, станет?

Я слушал и думал: есть, значит, и такие молодые здесь, не один комсомол...

Поезд ловко останавливался, и бодро бежалось по искри-стому, скрипящему снегу. Народ быстро растекался по домам, и я шел один. Иногда, впрочем, кто-нибудь долго

поспешал той же дорогой, и уже начинало казаться — за мной. Но когда совсем уже решишь, что «надо принять меры», он возьмет и мирно забежит в свою квартиру. Значит, бежал так же, как и я, гонимый морозом. И я уходил дальше один, но всегда начеку, всегда тщательно следя, не крадется ли кто вдоль черных заборов, не прячется ли за высокими соснами, не перебегает ли вслед за мной белые пустыри. Но нет, слава Богу, все сходило благополучно. Подходя к своему домику, я каждый раз имел отчетливую уверенность, что за мной никого нет. Впрочем, если бы почувствовал, что — есть, я не вошел бы. Несмотря на 25 градусов мороза, пошел бы бегать, делать петли, улепетывал бы куда-нибудь в поле, в лес, куда угодно, пока не избавился бы от «хвоста».

Но все шло гладко. Один только раз, в самой Москве, какой-то человек обогнал меня, обернулся и пристально взглянул мне в глаза. При этом его лицо показалось мне знакомым. Оглядев меня, он пошел дальше. Я следовал за ним, как будто ничего не заметив, но, перейдя площадь, взял вбок и, обойдя полукругом, вернулся на Тверскую. Пошел в обратном направлении. Каково же было мое неприятное изумление, когда через некоторое время я вдруг опять увидел его перед собою. Что это было? Я не стал философствовать на эту тему, а убежал в первый попавшийся переулок. Вскочил на извозчика, который очень кстати стоял там в единственном числе. Погнал его, сказав, что спешу на вокзал.

Убедившись, однако, что за мной никого нет, затеял с извозчиком разговор. Мы ехали тихими улицами. Он жаловался:

— Плохо. Овес два рубля с лишним. Лошади дорожают, кажись бы, кормам подешеветь...

— Почему так?

— А как же иначе! На лошадей цену прибавляют, значит, мало лошадей-то. Ну, ежели их маловато стало, кормов должно оставаться, значит, дешеветь должны — корма-то. А они еще дороже стали. Да не будет порядку, пока... Вот, поглядите. Ну чего они тут балуются? Вместо чем работать — толкутся! Позаводили! А какой толк с них?

Мы проезжали в это время мимо рабочего клуба, из которого выходил народ, мешая уличному движению. На этот клуб и ворчал извозчик.

Вообще говоря, извозчики очень недовольны советской властью. Может быть, потому, что цена легкой лошади от трехсот до пятисот, а цена ломовиков до тысячи рублей.

Цены такие при царях — неслыханы. Да и с Европой если сравнить, ни с чем не сообразно выходит. Во Франции, напр [имер], ломовик стоит вдвое дешевле. Но дело даже не в этом, а в том, что извозчикам вообще плохо при советской власти, хуже, чем было при царях. Вот они и ворчат. А впрочем, ворчат все, потому что всем хуже.

* * *

Иногда, в солнечные дни, я уходил... в лес. Так, в один подмосковный лес, не все ли равно в какой?

Говорят, словом можно изобразить все. Кто может, пусть изображает. Я не берусь. По крайней мере не берусь рассказать лес, который нарядился в иней. Вот упрекают женщин, что они наряжаются с головы до ног, красятся, мажутся, притираются, завивают каждый волосок, вообще доделывают себя до самого последнего, т. е. до двадцатого, розового ноготка. Но что же сказать, когда это делают почтенные сосны, ели, березы в столетнем, скажем, возрасте? Как заклеить это развратное украшательство себя не до двадцатого, а до... мириадного листика. Да добро бы «листика»! Листья вещь нужная, утилитарная. А то ведь ни одного листика не осталось, а только почки, веточки и вдовы прошлогоднего лета — хвоинки. И вот все это, чему полагается спать мертвым сном до весны, все это, неисправимое, даже в глубоком своем оцепенении видит «развратно-нарядные» сны. Естественно, что эта грезная мысль, мысль о будущих весенних нарядах, это сонное видение как-то действует на мороз. Он, мороз, залег в лесу и, крепко обнимая каждую веточку и хвоинку, подслушивает их беззвучный, сквозь сон, шепот. Слушая их, он волнуется чем-то непонятным ему, и сладким, и мучительным. Что это? Это любовь и ревность. Мороз ревнует к весне. И чтобы они, эти веточки, почки и хвоинки, не мечтали о весенних листьях, он горит дать им наряды. Вдруг по зову морозной любви мириады мириадов кристалликов начинают свою сребротканую работу! Бесшумные, шустрые, быстрые, они отделяют каждую веточку, каждую хвоинку, каждую почку — каждую отдельно. В их распоряжении нет красок, или, вернее, одна — снежная. Но зато они самые ловкие в мире ретушеры. Они работают над тем, чтобы ни одна самая маленькая мелочь не пропала. Их девиз: индивидуализм! Старый Черномор-Мороз прекрасно знает женскую душу. Каждой веточке, каждой хвоинке, каждой самой молоденькой почке он гово-

рит: «Ты прекраснее всех, и потому-то я тебя так любовно наряжаю». Дурочки верят, потому что хочется верить. Сквозь сон они расцветают улыбками. И вот плакучие березы уже стоят в длинных, ниспадающих плерезах, только что сделанных из снежных перьев. А иглы сосен и елей, каждую отдельно, мороз дорисовал так, как там, далеко, где тепло и женщины чернооки, как там делают ресницы, удлинил, посеребрил, показал миру, какие они, ресницы, есть. Роща оделась. Ждет в фате. Невеста.

— Товарищ Дедушка, желаете жениться? Как венчаться будете? По-советскому? По-православному?

Это солнце смеется с высоты совершенно беспорочного неба.

Оно забавляется на снегу совершенно непереносимыми оранжево-золотыми пятнами и кладет тут же совершенно нерасказываемые синие тени...

* * *

...Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз...

Раз вспомнился Пушкин в этой благостной и благотворной тишине, где ничто не шелохнется, чудесно сосредоточившись на каких-то таинственных, чародейственных действиях, то хочется еще иначе объяснить, что тут происходит, в этом лесу.

Зима, строго говоря, украдала целиком весь план Весны. За это можно было бы ее нацукать: зачем чужое берешь! Надо бы свое «самобытное». Но нельзя нацукать, и жалок был бы тот, кто это сделал бы. Пусть план тот же самый — весенний, то есть: каждую веточку одеть как бы листвою. Да в том-то дело, что «как бы». План-то тот же, а на поверку выходит, что совсем на весну и не похоже. Совсем вышло другое, совсем по-иному красивое, совсем, то есть в высшей степени, самобытное. Как же это так вышло, ежели план-то тот же самый? А очень просто, государи мои: материал-то другой! Из другого штофа план выполнен. У весны листья, а у зимы — иней. Разница. Это в а м на потребу, друзья евразийцы!

Вы гневаетесь, зачем, мол, Петр Алексеевич чужой план взял, свой надо было бы. А затем, государи мои, что своего-то плана не было. К тому же вышло, в конце-то концов, неплохо. План-то чужой, а материал свой. И из этого смешения что произошло? А вот что: господин Пушкин, стихотворец,

родился. А он, чтобы вы знали, уж куда самобытный. Такой самобытный, такой русский, такой морозный, как вот этот зимний лес, даром что он, лес, по весеннему плану разделан.

Да-с, чужого нечего бояться, если в груди свое есть. Чужое в свою оправу чеканится. А вот когда в сердце ничего нет, кроме злости, то сколько ни нападай на чужое, оно все равно воцарится. Ибо недаром говорится: «Природа пустоты боится».

А впрочем, и еще одно: верно ли, что план «чужой»? Что-то мне кажется, что план-то подо всем на свете один-единный. Только материалы — разные. Поэтому именно сдаётся мне, что самобытность только и может быть «материальная», ш т о ф н а я. Но вот что знать душевспасительно: бывает так, что один народ дальше прошел, чем его сосед, т. е. в р а с с у ж д е н и и п л а н а. План-то один и тот же, да разобрать его хитро. Один народ, скажем, англичане, французы, немцы кое-что превзошли, а другой, скажем — русский, еще не достукался. Так что ж ему, русскому, у них, басурманов, учиться стыдно, что ли?

Учиться никогда не стыдно. А вот злобствовать завсегда грех...

XXII

ТРИ АСПЕКТА

Наступили «советские праздники». Мрачные праздники. Что они празднуют? «Смерть Ленина» и «Кровавое воскресенье». Но кому дедушка Владимир Ильич доставил несомненное удовольствие, скончавшись, это школьникам. В одной из школ вышел скандал. В главном зале шли бесконечные речи на тему о том, как велик был покойник и что он сделал для человечества. В это время мальчики и девочки потихонечку смывались из зала и в классах и в коридорах отпраздновали смерть Ленина по-своему: танцами.

Я не поехал в этот день в Москву, потому что испугался мороза. Впрочем, говорят, что казенное дефилирование депутатов перед саркофагом нового Рамзеса очень скучно и неинтересно.

Я, однако, все же отпраздновал смерть Ленина, но, разумеется, не по неприличному примеру скверных мальчиков и негодных девочек, а как подобает подпольному мыслителю.

Сосредоточенное молчание, посвященное размышлению о Ленине, дало мне возможность увидеть коммунистического диктатора в трех аспектах.

* * *

АСПЕКТ НОМЕР ПЕРВЫЙ

Можно рассматривать Ленина под углом зрения Сионских Протоколов. Протоколы очень талантливо рисуют такую схему. Революционной, демагогической пропагандой разрушив современные общества, перво-наперво ввергнуть людей в ужасы голода, нищеты и всяких иных бедствий. Когда это будет сделано, люди через некоторое время потеряют всякую силу сопротивления. Они превратятся в мятущееся жалкое стадо, молящее только о хлебе насущном, крове и тепле. Всякая гордость человеческая будет утеряна в сердцах. И вот тогда, на эту психологию, придет человек, который даст им элементарные возможности жизни. Естественно, что этого человека морально сломленные примут как спасителя, как вождя, как владыку, как Царя.

Другими словами, это та же теория относительности, которую будто бы открыл Эйнштейн. Нет, она была известна очень давно. Человек, который имеет некий достаток, жалуется, что ему плохо. Надо ввергнуть его в горчайшую нищету, и тогда половина того, что он имел раньше, покажется ему раем. Эта старая сказка о том, как мудрый раввин научил одного бедного еврея. Еврей жаловался, что ему невыносимо тесно в его маленьком домике с женой, тещей и пятью детьми. Раввин приказал ему поместить с собой еще козла, собаку и петуха. Продержавши его в таком положении неделю, стал постепенно освобождать — сначала от петуха, потом от собаки и, наконец, от козла. И когда еврей оказался опять «в составе человеческом», изгнав вон скотов, то есть вернулся к прежнему своему положению, он благодарил Небо и раввина, чувствуя себя счастливым.

Ленин дает все возможности рассматривать себя именно с этой точки зрения. Его хитренький, прищуренный глаз, всегда светившийся какой-то насмешкой, позволяет думать, что он делал все это «нарочно». Он прекрасно знал, что будет, когда он разрушал Россию, когда он отнимал тот скромный достаток, которым она пользовалась при царях, когда он доводил ее до предела нищеты, голода и страдания. И когда это было сделано, когда вся дурь и фанаберия испарилась из русских голов, а к небу неслись только один

неумолчный крик: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», тогда хитренький, прищуренный глаз сказал: «Пора. Теперь можно возвратить им хотя бы крохи того, что они имели при царях. Если я им это дам, они сами меня сделают царем и прославят во всех концах земли».

И тогда он декретировал нэп.

* * *

ВТОРОЙ АСПЕКТ

Можно себе представлять Ленина совершенно иначе. Н. Н. Чебышев рассказал мне однажды следующее. Прошу заметить, что это было в 1921 году, задолго до того, как обнаружилась ленинская болезнь.

— В одном из городов,— так рассказывал Чебышев,— где я служил, была мужская гимназия. И вот с некоторого времени директор и весь учительский персонал стали замечать, что с гимназией творится что-то неладное. Какие-то удивительно мерзостные шалости и пакости начались во всех классах. В конце концов узнали в чем дело. Оказывается, один из учеников, недавно поступивший, подчинил своему влиянию чуть не всю гимназию. Мальчишки его слушались, как Бога. А он употреблял свою власть исключительно для того, чтобы натравливать их на всякую гадость. Когда это было обнаружено, его исключили. И гимназия вернулась к прежнему, очень хорошему состоянию. Затем прошло некоторое время, год или два. Я служил там же. Однажды был благотворительный концерт, на который собрался «весь город». Пел какой-то тенор. Во время его арии в зал вошел юноша. Он прошел средним проходом, дошел до первого ряда, повернул направо, сделал несколько шагов, остановился против старика-генерала, который сидел в первом ряду, выхватил револьвер и убил генерала наповал. Его схватили. Он не мог дать никаких объяснений, почему он это сделал. Освидетельствовали, признали сумасшедшим, посадили в сумасшедший дом. Через короткое время он умер. Вскрытие показало, что у него был нарыв в мозгу. Болезнь эта подготавливалась очень давно. Этот юноша оказался тем самым гимназистом, который перед этим перепортил целую гимназию. Это я говорю к тому, что у сумасшедших в первом периоде, когда болезнь только подготавливается, бывает иногда совершенно неизъяснимая сила влияния на окружающих. Разумеется, ей поддаются не все. А преимущественно натуры, в которых тоже есть какая-то порча, но таких всегда оказы-

вается достаточно. И вот, когда я думаю о Ленине, мне всегда вспоминается этот гимназист. На меня Ленин производит впечатление, что у него такого же характера влияние! Иначе трудно себе объяснить, каким образом он завладевает окружающими его людьми, заставляя их делать фантастические глупости и гадости. И я убежден, что у него сидит какая-то болезнь в мозгу! <...> и вы увидите, что это когда-нибудь обнаружится!..

Как известно, этот диагноз оказался пророческим. Прогрессивный паралич, таившийся в мозгах Ленина, предстал миру через два года после этого нашего разговора.

Однако разница между гимназистом и всероссийским диктатором состоит в том, что первый кончил убийством «представителя старого мира», старика-генерала, а Ленин наоборот, начал с убийств генералов. Зато перед смертью, получив свыше некое просветление, Ленин путем нэпа открыл возвращение в «старый мир».

* * *

ТРЕТИЙ АСПЕКТ

Представим себе, что в силу каких-то бедствий человечество стало бы дичать до такой степени, что люди опять стали бы гориллами. Это состояние дикости сопровождалось бы многими ужасными явлениями. В частности, забвением самых необходимых знаний. Например, гориллы забыли бы, как добывать огонь. Они жалко мерзли бы в своих лесах, чувствуя, что им чего-то не достает, что им ужасно плохо. Но чего им не достает, они вспомнить бы не могли. Пережевывая сырое мясо, они смутно чувствовали бы, что это гадко, что может быть как-то иначе, но как — забыли... И вот среди этой ужасной, беспросветной жизни, где неясные воспоминания о чем-то лучшем отравляли бы даже скромные радости горилловского бытия, вдруг появляется некая гениальная горилла. Она вспомнила огонь! Вспомнила, что есть такой «красный цветок», который согревает в ужасные морозные ночи, который делает пищу мягкой и вкусной, который светит в темноте и всю жизнь делает прекрасной как сказку. Вспомнив, горилла добыла бы и самый огонь. Разве в глазах остальных горилл непомнящих, горилл, воспользовавшихся великим просветлением гориллы вспомнившей, эта последняя не казалась бы полубогом? Прометей, укравший огонь с неба, навеки запечатлелся в глазах человечества.

Но чем был бы меньше подвиг этой гориллы? Ведь она вторично родила огонь!

Вот именно так, как некую гениальную гориллу, можно рассматривать Ленина. Ибо на наших глазах совершился процесс совершенно невероятного одичания. Под влиянием коммунистического учения рядовые коммунисты, в течение нескольких лет, превратились в совершенно дикие существа, которые физически ощущали голод, холод и всякие страдания, но, благодаря своей одичалости, совершенно забыли о том, как с этими бедами бороться. Казалось бы, ведь это было так недавно: старый мир не голодал и не мерз. Казалось, так просто вспомнить, что было раньше, вернуться к этому прежнему и перестать страдать. Но нет, они не могли вспомнить. Забравшись в дебри коммунистического леса, они забыли дорогу назад. И нашелся только один, только одна гениальная обезьяна, которая в этом ужасе одичания и мрака сохранила воспоминания. И вот это воспоминание, эта искорка спасла всех. Ленин вспомнил, Ленин вновь открыл огонь, открыл, как согреть замерзающих горилл, как дать им возможность опять выйти на уровень, если не людей, то человекообразных...

И тогда он декретировал нэп.

XXIII

СЛИПИНГКАР

Я получил, наконец, кой-какие сведения, правда очень сбивчивые, относительно моего сына. Хотя мои друзья-контрабандисты всячески помогали мне, но эти сведения требовали личной проверки. Надо было ехать — и далеко. Куда именно, мне позволено будет об этом умолчать.

* * *

Для того, чтобы все испытать, я просил своих друзей достать мне билет самый лучший, какой существует в «этой стране». Мне объяснили, что, за неимением классов, первый класс заменяет то, что раньше было «международными спальными вагонами». И действительно, мне принесли красную бумажку, на которой было напечатано:

«Первая категория. Номер такой-то. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! СССР». Затем стоял герб путей сообще-

ния, то есть якорь и топор. Под ним было «НКПС», т. е. народный комиссариат путей сообщения. Потом: «Отделение спальных вагонов прямого сообщения. Доплатная квитанция к билету номер такой-то. От станции такой-то до станции такой-то. Взыскано за мягкость столько-то, за плацкарту столько-то, за комиссию столько-то, всего столько-то».

Затем стояла фамилия пассажира и дата.

На другой стороне красной бумажечки было напечатано: «К сведению пассажиров».

Спальные вагоны прямого сообщения курсируют по маршрутам от Ленинграда: на Москву, Севастополь, Тифлис, Ростов, Минеральные Воды (через Воронеж), Одессу, Новороссийск, Евпаторию и Туапсе. От Москвы: на Харьков, Ростов, Баку, Тифлис, Минеральные Воды (через Харьков), Севастополь, Одесса, Киев, Архангельск, Екатеринбург, Новониколаевск, Иркутск, Читу, Владивосток, Ташкент, Саратов, Екатеринослав, Нижний Новгород, Евпаторию, Туапсе, Столбцы. От Харькова: на Киев, Шепетовку, Одессу, Ростов, Севастополь».

Рассмотрев эту бумажечку, я определил, что ночь в спальном вагоне, считая мягкость, плацкарту и билет, обходится около тридцати рублей, т. е. около пятнадцати долларов. Цена весьма подходящая для рабочих и крестьян. Естественно поэтому, что на этой красной бумажке, над гербом путей сообщения, красуется вышеупомянутая надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

* * *

В вагоне я с ними соединился. Как только я вступил на подножку, меня охватила знакомая, слипингкаровская роскошь. Сколько раз я щелкал зубами на эти самые спальные вагоны во всех «странах рассеянья». Но только здесь, на родине, неожиданно я обрел свое прежнее «социальное положение».

Мягкие ковры, яркий свет электричества, очаровательные двухместные купе, в которых уже были постланы постели с белоснежным бельем, с знакомыми, прежними, толстыми красными одеялами. Все дышало негой и покоем. Проводник предупредительно проводил меня в мое купе, где уже сидел какой-то гражданин, которого можно было бы назвать и господином. Был он чистенький блондинчик, в европейском платье, русский. Впрочем, он был так мил, что сейчас же куда-то смылся, а потому о нем впредь не будет речи.

Я разделся и уселся пока что читать около уютного столика, где лампочка удобно прикрыта колпачком. Сейчас же появился проводник:

— Чаю прикажете?

Я приказал. И принесли чай в тех же самых серебряных подстаканниках, какие всегда были в употреблении в этих вагонах. Только больших сухарей с сахаром не принес. А их всегда давали раньше. Это большое упущение. Ставлю это на вид народному комиссариату путей сообщения республики рабочих и крестьян.

* * *

Я мирно читал коммунистическую брошюру о религии. В ней среди всякой иной прочей дребедени было сказано, что коммунистическая власть уже решила не преследовать религию, ибо замечено, что «от преследований религиозное чувство усиливается». Ну вот, давно бы так. Надеюсь, что через короткое время коммунистическая власть убедится, что усиливается вообще все то, что она преследует, например патриотизм и чувство собственности. Впрочем, это почти одно и то же, ибо «чувство собственности» есть «патриотизм» в отношении своего дома, а патриотизм — есть чувство собственности по отношению к своему государству. Но это в данную минуту к делу не относится.

* * *

Вагон нес так, как полагается этому роду вагонов, т. е. как бы неслышно скользил в черноте ночи. Мы нигде не останавливались и проносились через какие-то станции, где, очевидно, какие-то люди так же «щелкали зубами» на мой вагон, как и я в эмиграции. Впрочем, смотрел я на таковые всегда без злобы, без всякой зависти, наоборот, весьма радуясь за англичан и американцев, что они хорошо проспят ночь. Надеюсь, что и мои соотечественники преисполнены таких же чувств. Если они так будут мыслить, и им Господь Бог пошлет когда-нибудь прокатиться...

Двери в коридор я не закрывал. Не прятаться же мне в самом деле! Я был в темно-синей толстовке, в штанах галифе, в высоких сапогах, в синей фуражке с желтым козырьком. Выражение бритого лица было у меня строгое и пуританистическое. Я читал истинно правоверную брошюру, я не участвовал в легкомыслии этого вагона, я всем своим

видом показывал, что «есть еще судьи в Берлине», что есть еще истинные коммунисты, которые, хотя и принуждены по своему положению пользоваться вагонами «первой категории», но осуждают эту роскошь и скорбят о ней. Я видел, как весьма прилично одетые личности и очень надушенные дамы немножко этак ежились, когда мой бескомпромиссный взгляд, оторвавшись от книги, на них останавливался.

Что касается национального вопроса в этом вагоне, то, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что русских была треть.

Многие заскрежещут зубами. Треть, что за безобразие!

Господа, это очень много. Собственно говоря, глупости нашей ради, нас бы следовало подольше проморить в кухонных мужиках. Как? Не прошло еще и десяти лет, как мы выдержали экзамен на «незрелость», и вот, смотрите, опять уже ползем на верхи! Вундеркинды какие-то...

* * *

Итак, вот вам «равенство»...

— Нет, ты мне докажи. Разве я не такой человек, как и ты? Почему ты, буржуазная морда, перетарарам твоих родителей, на бархатах едешь? На серебре чай лакаешь? А я должен, как свинья, вповалку, — так, что ли?!

И дрызг, брызг, бей, бах — окна вагонов вдребезги.

Давно ли так было?

А теперь попробуй! Попробуй нарушить покой вот хотя бы мой, ежели я заплатил столько-то рублей, копеек «за мягкость» и «за плацкарту». Сунься, железнодорожная чека тебя упрячет туда, где крабы проводят лето, покажут тебе *la mère de Kouzka!**

Коммунистическая власть строго охраняет те «категории собственности», которые она установила «ради коммунизма».

Что вы понимаете, несчастные несознательные? Развитой коммунист давно уже знает: ежели на человеке лежат серьезные обязанности, возложенные на него республикой рабочих и крестьян, — то он не имеет права утомлять и ослаблять своего тела бессонными ночами в скверных поездах. Что ж толку, что он не поспит ночь, ежели утром он придет утомленным, решит дело не так, и миллионы рабочих и крестьян от этого пострадают? Скажем, например, товарищ Троцкий.

* Кузькину мать!

Если бы у него не было отдельного вагона и повара, то он не выиграл бы Крым у Врангеля. Известно, что Наполеон проиграл Ватерлоо только оттого, что у него был в тот день насморк. А значит, чтобы народные комиссары сберегали рабоче-крестьянскую республику перед натиском хищной мировой буржуазии, их здоровье и силы, целиком отданные республике, надо беречь, яко зеницу ока. Но разве одни только комиссары служат коммунистическому государству?! Все ответственные работники и даже все партийцы, ибо партия есть авангард пролетариата! Но и этого мало. Раз Владимир Ильич признал необходимость новой экономической политики, то этим самым он установил, что в данном положении борьбы за мировое господство пролетариата нэпман есть необходимый винтик в наступающей армии Интернационала. Здоровье, спокойствие и сила нэпмана должны быть так же свято оберегаемы, и потому разумно и целесообразно, а следовательно, даже обязательно, чтобы нэпманы пользовались всеми усовершенствованиями жизни, какие хищная мировая буржуазия выдумала для себя. В буржуазном государстве пользование этими удобствами будет всегда бесстыдной роскошью, в коммунистическом — это есть сбережение сил бойцов за лучшую долю рабочих и крестьян. Естественно, что жены бойцов разделяют с ними их удобства, ибо человек испытывает неудобство, когда около него нет жены. А кто этого не понимает, тот саботажник и контрреволюционер и явно работает в пользу белогвардейщины!

* * *

Так говорили слипингкары...

Под их убедительную речь читал я свою религиозную брошюру довольно долго. Я не заметил, сколько было остановок. Приличный блондинчик, как сказано, бесследно куда-то смылся. Я ехал один. Это было сугубо приятно, и я собирался улечься спать, когда поезд остановился, произошла некоторая возня в коридоре, и свободное в моем купе место заняли. Поезд снова тронулся, мой новый спутник закрыл дверцу купе и тоже уселся читать. Так мы и читали, сидя друг против друга, когда я вдруг заметил, что у него в руках моя книга «Дни».

В эту же минуту я увидел устремленный на меня взгляд. И затем он спросил:

— Вы автора этой книги знаете?

Признаться, я похолодел. Но он прибавил:

— Василий Витальевич.

Тут уж я совсем вздрогнул и готов был выдать свое волнение. Я не знал, как мне быть. Возмутиться, отнекиваться, сказать ему, что он ошибся, или как?

Но он прибавил:

— Я один из... «контрабандистов». Предположим даже, что я один из главных контрабандистов. Вам неинтересно было бы со мной побеседовать?

И он рассмеялся милым и добродушным смешком, который успокоил меня больше, чем самая настоящая «карт д'идентитэ». Но все же я еще не решался что-нибудь ответить.

Он сказал:

— Антон Антонович приказал вам кланяться. Он забыл вас предупредить, что я сяду в поезд. Вы простите, пожалуйста, что мы прибегаем к таким приемам. Но ничего не поделаешь — приходится. Ведь правда, так лучше? Вы меня не знаете и не будете знать. Сделав ваши дела, даст Бог, уедете благополучно, и таким образом мы, так сказать, на нейтральной почве побеседуем... Мы будем иметь возможность высказать все то, что сказать надо. А вы сможете, если захотите, передать тем, кому следует. Но на вашей совести не будет лежать слишком неприятных сведений. Если хотите, я вам скажу, кто я. Но судите сами, стоит ли вам брать на себя такое бремя?

В то время, как он говорил, в моей психике происходил очень сложный процесс. С большим напряжением всех способностей я взвешивал этого человека. Это было как при переходе границы. Молоденькие сосны, выплывая из снежного мрака, ставили свой роковой вопрос: да или нет? Жизнь или смерть?

И уходили, не ответив.

Но за них ответили другие. Ответили Иван Иванович, Антон Антоныч, целая вереница прошедших перед моими глазами людей. Ответило и то, что я вот сейчас еду один в этом слипингкаре, свободен выйти на любой станции и нырнуть в океан России. Я взвешивал всю цепь событий и людей и больше всего этого человека, ее заключительное звено.

Он смотрел на меня с выражением добродушным и тонким. И молоденькие сосны со своей свитой ответили: да!

Я сказал:

— Нет, я не хочу знать, кто вы. Я вам верю.

Мы проговорили часа два, то есть до следующей остановки, кажется.

На этот раз меня не называли Эдуард Эмильевич, дело шло начистоту.

— Сказать по правде, — говорил он, — что мы не контрабандисты, было бы не правда. Мы безусловно занимаемся контрабандой, и в этом смысле вы нас правильно понимаете. Но истина «многогранна». Мы контрабандисты, но мы не только контрабандисты. Контрабандой не исчерпывается «круг наших занятий»...

И он перебил себя смешком, который был для него характерен.

— Мы помогали вам, Василий Витальевич, чем могли. Мы надеемся, что, если ваше личное дело, я говорю о вашем сыне (кстати, я до сих пор не могу сообщить ничего утешительного, но розыски будут продолжаться до исчерпания всех возможностей), если ваше личное дело не увенчается успехом, то все же мы надеемся, что вы совершите благополучно свой «рейд», и мы вас целехоньким переправим обратно... И Антон Антоныч, наконец, почувствует себя «счастливым».

Я улыбнулся, потому что вспомнил, что Антон Антоныч неоднократно повторял: он почувствует себя счастливым, когда я перейду границу.

— За это время, — продолжал он, — я думаю, вы убедились, что не все здесь в России именно так, как вам казалось издали...

— Да, — перебил я. — Оказалось совершенно иначе. Я думал, что я еду в умершую страну, а я вижу пробуждение мощного народа.

— Вот. И это то, что никак до сих пор нам не удавалось передать в эмиграцию. Как это происходило и почему, это даже трудно объяснить... Но, словом, вы там, в эмиграции, Россию похоронили... И всеми гвоздями крышку гроба забили! А мы, вот тут похороненные, чувствуем, что если мы и похоронены, то заживо похоронены. И что если мы и лежим в гробу, то все же у нас «силушка по жилкам этак живчиком и переливается». И что, неровен час, как бы мы эту самую крышку гроба и не сломали бы. Как это там говорится у Александра Сергеевича: «Поднатужился немножко, вышиб дно и вышел вон»!

Он засмеялся, затем продолжал.

— Вот это ощущение пробуждения России, как я говорю,

не удалось нам до сих пор передать. И вот есть у нас к вам просьба, Василий Витальевич, так сказать, коллективная, от погребенных, от покойников: скажите вы им там, что мы живы!

Наступившее молчание подчеркнуло важность этого момента. Он был центральный во всех моих приключениях. И я это почувствовал в выразительной тишине, которую баюкали мягкие колеса слипингкара. Это были слова, которые законченным контуром подрисовали все то, что пока бесформенной тушевкой ложилось на мою душу. Я ответил:

— Я передам. А поверят ли мне, ручаться не могу... Очень уж сильны ходячие представления о том, что Россия... «безглагольна, недвижима, мертвая страна».

— Да нет же!.. Безглагольна — это правда. Но не «недвижима» и не «мертва». Движемся мы с вами, вот сейчас, довольно недурно? Жизни, скажем, например, в Москве, даже слишком много, как вы видели. А вот насчет «глаголов», действительно. Не поговоришь. Но рассматривайте меня сейчас как глагол. Это купе защищает нас достаточно, приняты все меры... Рассматривайте меня в данную минуту как то свободное слово, которое при иных условиях в России услышать нельзя. И я вам скажу, возвращаясь к тому, с чего начал... Да мы не только контрабандисты. В России, в противность тому, что думает эмиграция, никогда не умирал не только бессознательный жизненный инстинкт, но и сознательная воля сопротивления. Я не могу говорить вам подробностей... Я могу раскрывать скобки только, как вы понимаете, очень осторожно. О размерах наших возможностей вы могли составить, быть может, сами себе некоторое представление. Они совершенно недостаточны для поставленной цели, но они вполне достаточны, если понимать нас как некий организм, который и развивается органически, пусть медленно, но зато неуклонно, который врос в самое тело советской России, так что не выскребешь нас никакой ложкой хирурга (читай Дзержинского), и который, организм, в свое время скажет свое слово. Не будем говорить о сроках. Я надеюсь, что вы достаточно опытни, Василий Витальевич, чтобы понимать невозможность «срочной» постановки дела. Это не фрак шить заказчику к определенному дню!.. Кто не умеет пользоваться обстоятельствами, кто хочет идти наперекор событиям, тот дело выиграть не может. Важно быть готовыми к минуте «удобной и благоприятной». Но даже если таковая наступит, а подготовка не будет сделана достаточно, преступно покушаться с негодными средства-

ми. Мы понимаем точку зрения эмиграции. Там думают, что мы здесь умираем. Раз организм умирает, надо спешить, ибо каждую минуту может наступить окончательная агония. Но скажите, разве мы похожи на умирающих? Разве сегодня, в начале 26 года, вы видите перед собой то, что вы испытали в 1920? Куда показывает стрелка жизненного компаса? Мы с каждым днем, как народ, как нация, как государство, оправляемся от страшных ударов, которые нанес нам социализм! И потому мы можем ждать спокойно того часа, который... который неизбежен.

Он сделал паузу и потом заговорил снова:

— Кстати, о коммунизме. Тут дело ясно: карта бита! Никакого коммунизма больше нет, есть глупая болтовня людей, которым стыдно сознаться, что они кругом провалились, опростоволосились, в «планетарном масштабе» сели в лужу. Вот и все. В остальном — это отчасти искреннее желание что-то сделать (конечно, только для того, чтобы удержать за собою власть!), отчасти отрыжка. Социалистическая отрыжка пройдет, и мы все больше будем приближаться к типу обыкновенного государства, но... но с некоторыми обыкновенными особенностями. Особенности эти состоят в свирепой ненависти всего населения к властям предержащим. Ненависть эта не может пройти. И она неизбежно даст свои последствия. Представим себе на минуту, что мы совершенно бездушны... Что мы не люди из плоти и крови, что мы какие-то абстрактные мыслители, из которых вытравлены и оскорбленное национальное чувство, и вся боль, и негодование против тех, кто совершил то, что они совершили... Так даже и в этом случае, если мы одарены хоть малейшим даром предвидения, мы обязаны готовить преемника советской власти! Удержаться она не может. Она падет, но если не подхватить из рук коммунистической партии власть, то мы снова очутимся перед всероссийским кабаком в стиле Львов — Керенский, за повторение которого покорнейше благодарим! Довольно! Не два раза то же самое!

Я не перебивал его и тихонько пережидал его паузы.

— А она падет, потому что на такой ненависти сидеть нельзя. Мы явственно это видим. Эта ненависть захватывает с каждым днем все более широкий круг. Эта ненависть уже не скрывается населением. Знаете ли вы, что делают так называемые наши «мильтоны», когда народ на улицах и площадях в голос честит советскую власть? Отворачиваются. Раньше хватали, теперь не перехватывают. Ненависть

эта имеет две главные причины. Ведь, слава тебе господи, еще немного прошло, еще ведь люди прекрасно помнят, что «они» обещали. И видят, что они дали! Это сравнение такое разительное, что, я думаю, по чистой совести можно сказать: нет во всей республике гражданина, будь он самым последним мужиком, который не знает, что советская власть, т. е. коммунистическая партия, это первейшие обманщики в свете! Ходячая формула: если что объявляется, — врут! Все это знают, все понимают, а «они» — они продолжают свою «словесность»! Мужикам землю обещали, земли не дали. Мужик сейчас сплошь мечтает об одном: дайте ему кусок земли в собственность, и больше ему ничего не нужно! И это мы ему дадим, Василий Витальевич, этот вопрос решенный. То, что хотел сделать Столыпин и не успел, то, что болванье-коммунисты сделать не сумели, это мы должны сделать! К этому надо готовиться, и эту великую земельную реформу надо обмозговать всякому вперед, кто за государственный руль России хочет браться. Вот в эмиграции кричат: скорей, скорей!.. А позвольте вас спросить, готовы ли эти понукающие? А позвольте их спросить, а что бы они делали с этой Россией, если бы она им в один прекрасный день свалилась на голову!

* * *

Он продолжал:

— Да — так обстоит дело с крестьянами. А о рабочих мы уже не говорим. Мы вели пропаганду среди рабочих. Но сейчас бросили. Ничего нет нецелесообразнее, чем *prêcher des convertis*...* Рабочие распропагандированы советской властью до конца. Тут рядом с жгучим презрением к обманщикам работают и другие мотивы. Как вы думаете, вот были, например, два товарища-коммуниста, партийца. Один, скажем, сегодня товарищем министра, а другой у него шофер. Так вот этот шофер рассказывает про своего друга: «Вот сволочь проклятая! Как он из комиссариата выходит, садится в машину, он меня хоть бы заметил! За человека не считает. И это коммунист?! Все они такие. Только бы добратся до власти, а там все забудут, что говорилось, что обещалось...» Такие примеры вы на каждом шагу встретите. Тут, где ни ступишь, кровавая обида, которая кровью только и смывается...

* Учить ученого. (Прим. сост.)

А к этому прибавьте еврейский вопрос. Я не смотрю так, как иные. Многие и из наших рядов полагают, что в России царит беспросветное еврейское засилье. Я бы несколько смягчил этот диагноз, я бы сказал, что в современной русской жизни рядом с еврейским потоком, несомненно, пробивается и очень сильная русская струя на верхи. Конечно, евреи пока гораздо сильнее, и все в их руках, по существу. И я даже согласен на это слово — «засилье», если его только не понимать как «русское бессилье». Нет, русского бессилья нет! Русский элемент все-таки ключом бьет кверху! И это потому, что мы вовсе не так бездарны! Нас только придавить хорошенько надо, сжать хорошенько, так, чтобы мы пищали! Тогда мы показываем свои лучшие стороны. Никогда бы одни «жиды» не восстановили всего того, что вы могли видеть восстановленным в России. Это сделано русскими руками, и потому, хотя мы и щеголяем сейчас в еврейской ермолке, но под ней, слава тебе Господи, с каждым днем нам Бог мозгов прибавляет...

Так вот о еврейском вопросе. Все же пока — еврейская гегемония несомненна. После всего того, что эта гегемония совершила, всех ужасов, оскорблений, обманов и позорного отступления, после всего этого антисемитизм, который, как вы знаете, всегда был в Южной и Западной России, не мог не разлиться «по шестой части суши». Можно сказать, что тактически евреи на этой революции страшно выиграли, но стратегически необъятно проиграли. Значит, при этих двух ненавистях, социальной, т. е. ненависти низов к новым коммунистическим верхам, и национальной, т. е. ненависти русских к евреям, эта коммунистическая еврейская власть утвердиться не может. Она падет, и мы должны это предвидеть...

Я спросил:

— Вы думаете, простите, что я вас перебиваю, но этот вопрос очень серьезный. Вы думаете, что падение советской власти вызовет большие потрясения, короче говоря, будет сопровождаться жесточайшими еврейскими погромами?

— Этот вопрос находится в прямом отношении к степени подготовленности и организованности тех, кто на смену советской власти придет. Чем организованность будет меньше, тем эксцессов будет больше. Разумеется, всякая уважающая себя власть будет стремиться всеми силами к тому, чтобы этого не допустить. И это по двум причинам. Во-первых, из соображений общеморального характера и совершенной невозможности ознаменовывать начало новой эры, т. е., так сказать, возвращение к человеческому житью, этими безобразия-

ми, а во-вторых, и из чисто эгоистических соображений: еврейский погром есть начало анархии вообще. Это есть начало так называемого «черного бунта». Начнут с «жидов», но кончат непременно избиением всего более или менее культурного и разгромом того, что с такими величайшими трудами удалось восстановить. Но, разумеется, бороться с этим движением, которое может принять стихийный характер, представит значительные трудности, если не будут приняты меры в первые же часы после падения советской власти. Меры же эти теми, кто вступит на ее место, могут быть приняты только в том случае, если еще при существовании советской власти, в ее подполье, выкуется настолько сильный организм, который сразу может задать тон всюду, где это требуется. С этой точки зрения еврейство, я говорю о еврействе в целом, которое равнодушно взирает на приближающиеся события и не оказывает всем своим весом помощи преемникам советской власти, совершает грубейшую ошибку. Ибо события все-таки наступят, советская власть все-таки падет, но падет при условиях для еврейства трагичных, если сейчас же после ее падения не образуется сильная власть. Таковая же власть не может образоваться без предварительной, серьезнейшей, упорнейшей работы. Казалось бы, симпатии мирового еврейства целиком должны были бы сконцентрироваться именно на этих людях, которые готовятся взять на себя тяжесть Шапки Мономаха, шапки, которая нынче налита свинцом вместо драгоценных камней!.. Заметьте, что я говорю, совершенно отбросивши в сторону симпатии или несимпатии к евреям, как таковым. Одни их ненавидят больше, другие меньше... Отдавая им должное, мало кто их любит. Но люди, которые хотят мыслить государственно, стихийный взрыв страстей должны рассматривать так, как опытный моряк рассматривает шквалы. Шквал нужно, конечно, учитывать, безумен будет тот, кто о нем забудет, но учитывать его нужно для того, чтобы его победить, а не ему поддаться. Может быть, в наших собственных сердцах под влиянием всего того, что произошло и происходит, тоже нередко нарастает шквал. Но мы отдаем себе ясно отчет, что звериная расправа с еврейством в высшей степени невыгодна для будущности русского народа со всех точек зрения. А потому мы считаем своим долгом сдерживать стихию, и не только стихию, а и самих себя, если кто из нас выбрыкнется за дисциплину. В этом отношении, как и во многих других, мы должны брать пример с коммунистов. Вы знаете, с кем они строже всего? Со своим братом, с коммуниста-

ми же! У них для коммунистов, перешедших известные границы, есть один конец: расстрел без суда. Даже в тюрьмах (слава богу, у каждого из нас есть солидный тюремный стаж, и я сидел, конечно!), даже в тюрьмах, это, кстати, вам будет интересно, существуют три категории. Первая — это уголовные. С ними возятся и носятся. Вторая категория — контрреволюционеры — этим жутко приходится. Но хуже всех это коммунистам — этим прямо гроб. Но это в скобках. При всем том я вовсе не хочу преуменьшить значение еврейского вопроса в России. Кто-то, говоря о советской России, написал, что это страна «еврейского фашизма». Это глубоко правильно, так оно и есть. В России несомненно произойдет длительная борьба между сравнительно немногочисленным, но очень дружным между собою и очень психически сильным еврейством и русскими, многочисленными, но разрозненными, борьба за гегемонию. Эта борьба идет, и она будет крайне трудна. Но безумие думать, что ее можно решить физическими способами, т. е. погромами. Безумие хотя бы потому, что физическое истребление всего еврейства невозможно, частичное же избиение невероятно укрепляет психическую мощь остального еврейства и в то же время глубоко ослабляет психику русской стихии, развращая ее. Борьба произойдет совершенно в других плоскостях, это будет борьба за духовное преобладание, и победа в этих областях определит уже, как неизбежное следствие, преобладание политическое и экономическое.

— Простите, я перебил вас, обратив ваше внимание на еврейский вопрос. Вы говорили...

— Мы говорили о том, что делать на следующий день после падения большевиков. В общем я бы предложил формулу, которая может показаться вам странной: поменьше ломки! Надо сохранить все, что можно сохранить. Я хочу этим сказать, что в силу той огромной ненависти, которую вызывает к себе советская власть, сама по себе безмерна будет «пропорция новизны». Столько всего сметется и будет уничтожено само собой, что нужно не «углублять контрреволюцию», как углубляли революцию коммунисты, а, наоборот, локализовать ломку. С этой точки зрения нужно подходить и к так называемой «советской конституции». По идее она вовсе не так плоха. Если отменить все злоупотребления власти и все специфические глупости, как-то: зачисление «буржуев» в разряд париев, советская конституция представляет из себя попытку самоуправления и децентрализации, причем представительные учреждения

избираются на основании двух признаков: территориального и профессионального. Профессиональный признак вовсе не плох. Надо признать, что люди знают друг друга лучше всего именно в пределах своей профессии, ибо товарищи по профессии постоянно сталкиваются между собой. Возьмите, например, любой большой городской дом. В таком доме могут жить четыреста человек, которые никогда между собой не встречаются — просто незнакомы. Но каждый из этих людей входит в какие-то профессиональные, служебные организации, где друг друга знают: знают друг друга рабочие одной мастерской, приказчики одного и того же магазина, служащие одного и того же банка и так далее. Но рядом с этим территориальный признак, т. е. совместное жительство, играет тоже колоссальную роль. Для резкости возьмем деревню, где крестьяне все знают очень хорошо друг друга, но зато не знают никого больше. Следовательно, совокупность этих двух признаков, профессионального и территориального, и может дать наиболее полное представительство. Территориально большевики нарезали (правда, по немецкому плану) энное количество «самостоятельных республик». Эта самостоятельность, конечно, вздор. Никакой «самостоятельности» эти республики не имеют, а все правится приказами из Москвы, но и по существу республики — это чепуха! Республик, как таковых, конечно, не будет. Но, скажем, областная децентрализация в этом роде теоретически осуществима и желательна, а практически на первых порах надо будет оставить ныне существующую географию. В пределах этих географических единиц и будут существовать некие организмы местного значения, с очень большими местными правами, управляемые на первых порах чем-то вроде «советов без коммунистов». Да, эта идея не так плоха, если не принимать ее буквально. Надо будет внести целый ряд совершенно необходимых коррективов, но, я опять-таки повторяю, коррективов, а не предвзятых ломок. Нужно совершенно отрешиться от зоологической ненависти, от упрощенного мирозерцания: все, что было при большевиках, должно быть уничтожено. Если мы так будем рассуждать, мы бог знает куда зайдем! Мы должны рассуждать совершенно иначе. Перед нами какое-нибудь явление. Мы должны себе давать отчет, хорошо оно или плохо с точки зрения чисто объективной. То есть соотвечает ли оно нашим общим представлениям о том, что есть благо для государства. В этом случае мы его оставляем, хотя бы оно было сделано исключительно большевистскими руками. Если же оно плохо, мы его уничтожаем,

хотя бы оно из себя представляло пережиток дореволюционной эпохи, ибо не все же, в самом деле, до революции было хорошо. Если бы все было хорошо, то, может быть, и революции бы не было!..

* * *

Он говорил дальше:

— Вы понимаете, что конкретизировать я не могу. На это у нас и не хватило бы времени до следующей остановки, когда я должен, к сожалению, вас покинуть... Кроме того, конкретизация была бы сейчас просто вредна. Важна общая тенденция. Но в одном вопросе я позволяю себе выразиться немножко конкретнее. По той причине, что в этом вопросе, насколько я понимаю, во всяком случае придется считаться со стихийным, массовым отливом «от противного». Это о форме правления...

— Это ужасно важно и интересно. Как вы себе это представляете?

— Василий Витальевич, я вас очень прошу в данную минуту отрешиться от всяких влечений, вкусов, прирожденных, наследственных, классовых, национальных, словом, от всего решительно, что могло бы предопределять линию вашего или, скажем, моего устремления. Давайте рассуждать бессовестно холодно. Форма правления России? Пожалуй, можно сказать несколькими иными словами: форма управления русским народом. Не забудьте, что этот народ сейчас не тот, каков он был до революции. В одном отношении он прогрессировал или регрессировал (как хотите!), но во всяком случае удивительно развился. Тот, прежний народ, не рассуждал о власти. Власть была, и этим все исчерпывалось. Это было для него, как явление природы. Ну что рассуждать о море, о горах, о тучах! Для теперешнего народа власть есть нечто совсем иное. Может быть, он этой власти боится гораздо больше, чем прежней, но он рассуждает о ней. Да, рассуждает, для него власть уже не есть какое-то «северное сияние». Для него власть это есть нечто, сотворенное человеческими руками, нечто, о чем он, ненавидя его, думает. И вот это думание, рассуждение о власти, какое бы оно примитивное ни было, есть великий новый фактор, важная новинá...

— Вот с этой точки зрения теперь и подойдите к вопросу о форме правления. Какие бывают формы правле-

ния, Василий Витальевич? Республика да монархия. Все остальное оттенок, а, грубо говоря, остаются только эти два раздела. Теперь, допустим, слетают большевики. Что вы будете предлагать этому народу, имейте в виду, рассуждающему народу, первобытно рассуждающему, но рассуждающему? С чем вы к нему сунетесь? С республикой? Да ведь то, что сейчас есть — это именно называется республика! Всякий последний мужик в советской России знает, что он живет в республике. Эту республику он ненавидит всеми силами души. И что же, вы ему опять будете предлагать республику? Отвлекаясь совершенно от вопроса, хорошо это или плохо, нельзя не предвидеть, что это вызовет громадный психический отпор. Такой психический отпор, что с ним нельзя не считаться. Поэтому, я думаю, что с этим лозунгом, после падения большевиков, далеко не уедешь. А следовательно, что остается? Остается монархия. Мне кажется, что здраво рассуждающий человек, хотя бы он был убежденнейшим республиканцем, при этих обстоятельствах будет трудиться над учреждением в России монархии. Как это сделать, это другой вопрос. Это опять конкретизация. Несомненно, однако, что будет некое переходное время, в течение которого опасно предварять окончательное решение. Окончательное решение должно быть принято в каком-то согласии и единении с массами русского населения. Механическая реставрация старого закона Павла I о престолонаследии невозможна. После всего, что произошло, требуется некое «волеизъявление» народа, скажем затасканным, но довольно удачным словом. В какой форме это волеизъявление совершится, сейчас нельзя сказать. Но какой-то «конкордат царя с народом», какое-то своеобразное, приспособленное к требованиям века «крестное целование» должно быть. Этого не избежать, и этого не надо избегать, ибо было бы нелепым из-под будущей монархии вырывать самые твердые камни ее фундамента. Это все равно, что из-под династии Романовых вырвать «избрание на царство» Михаила Феодоровича. Но пока дойдет до этого, будет довольно продолжительный период времени какого-то «временного правительства», не в обиду будь сказано временному правительству Львова — Керенского. И в эту эпоху нет и не может другого пути, как сконцентрировать народное внимание на имени. Какое же это может быть имя? Если взять русский народ в его огромной массе, то он знает только три имени. Он знает Керенского, который выпустил «керенки». Об этом не стоит говорить. Эта фигура отошла в архив смешного. *C'est le*

redicule qui tue!* Простите, что я начал с этого конца. Затем надо назвать другое имя, трагическое имя. Имя покойного государя. Ведь для многих он не умер, Василий Витальевич. И его скорбная тень послужит еще источником больших бедствий. Самозванцы, по всей вероятности, еще будут. Но, разумеется, люди, которые знают печальную правду, не могут же базироваться на ужасном обмане. Остается третье имя. Нет самой бедной хаты в России, где бы не знали имени великого князя Николая Николаевича. Это имя занесли солдаты пятнадцатимиллионной армии, которой он был водителем. Его знает и помнит вся Россия. Из этого, я думаю, вы сделаете сами вывод, на ком можно сконцентрировать народное внимание, любовь и пьетет в переходную зону...

* * *

— Дальнейшее в руке божьей! Повторяю, конкретизировать не нужно и опасно. Значит, если подытожить, выходит что? Что вы могли бы отсюда вынести такое, что следовало бы, чтобы и там знали? Это, во-первых, что Россия жива; что она воскресает экономически; что под внешней «безглагольностью» в ней работает мысль и закаляется воля; что в ту минуту, когда судьба сведет счеты с большевиками, эта недремлющая мысль и формирующаяся воля скажут свое слово; что скорее нужно желать, чтобы это было несколько позже, чем слишком рано, ибо время работает на нас; что воскрешение русской жизни не есть усиление советской власти, ибо население никакой благодарности за улучшение жизни к коммунистам не чувствует, твердо зная, что сие есть победа России над коммунистами, а не наоборот; что та подпольная среда, которая выступит в нужную минуту, представляет себе в общем управлении России под водительством единственного для всех авторитетного лица, в течение некоторого времени, по истечении какового периода будет некая стабилизация государственного строя России; что сей строй та деятельная группа, которую я имею честь представлять в этой нашей с вами беседе, мыслит как монархический, но вобравший в себя необходимую самодеятельность населения; что самодеятельность надо не угашать, а развивать; что, однако, чтобы эта самодеятельность не выплеснулась за рамки, за которыми кончается созидание и начинается

* Смешное убивает. (Прим. сост.)

разрушение, требуется, чтобы на страже основных устоев человечества была сила, мощная духовно и достаточно численная количеством, сила приблизительно в типе выступившего сейчас на мировую арену фашизма. Основными же устоями человечества эта группа признает то, что до коммунистических экспериментов лежало в основании человеческих единений всего мира: уважение к религии и моральному началу, здоровый национализм, не переходящий в шовинизм, сознание важности духовной культуры, наравне с материальной, не только не угашение, но пробуждение человеческого духа во всех областях, свобода трудиться, работать и мыслить, всяческая поддержка творчества, то, что выражал Столыпин лозунгом «ставка на сильных», и вместе с тем смягчение этого сурового лозунга во имя христианского чувства, которое мы все исповедуем, смягчение его милостью к слабым...

* * *

Поезд неожиданно, но мягко остановился.

— Простите, что я обрываю так разговор. Кажется, я успел сказать почти все. Я должен здесь вас покинуть. До свидания. Желаю вам устроить ваши личные дела, не забывайте нас...

И он ушел в темноту зимней ночи так же неожиданно, как и появился, оставив меня наедине с колесами слипинг-кара, которые достукивали недосказанное...

XXIV

ПЕТРОГРАД

Вернувшись из путешествия, о коем говорится в предыдущей главе, путешествия, которое было для меня неудачно в том смысле, что я ничего не узнал (сведения о сыне оказались неверные), я решил предпринять новое. До сих пор я видел две столицы: Киев и Москву. Как было не посмотреть Петрограда?

* * *

На вокзале меня приветливо встретил один из моих новых друзей. Мы прошли, не задерживаясь, бывший Николаев-

ский, а ныне Октябрьский вокзал. Множество извозчиков, как и всегда раньше, боролось за приезжающих. По петербургскому обычаю мой спутник самоотверженно торговался. Он проходил с решительным, неостанавливающимся видом мимо задков саней. Извозчики в Петербурге, или, скажем, Ленинграде, сейчас куда лучше московских. И наряднее, и кони бойчей. Первый мой взгляд был, естественно, обращен на площадь. Стоит ли памятник Государю Александру III? Стоит. Меня это одновременно обрадовало и огорчило.

* * *

Это было лет пятнадцать тому назад. День был весенний и нарядный. Кругом всей большой площади стояли палерами войска в самом торжественном уборе, с развевающимися знаменами. Вокруг этого живого барьера была несметная толпа.

Ждали государя. И вот наступила торжественная минута. Медь заструила гимн, которому аккомпанементом был непрерывный рокот войск. Это «ура», действительно, напоминало шум моря.

Государь проходил вдоль линии и, приближаясь к знаменам, отдавал им честь, а великолепные шелковые прапоры медленно склонялись при его проходе.

Это было потрясающе красиво. Потом были какие-то еще церемонии, церемониальные марши, одна часть проходила с задорными свистульками, смеявшимся голубому небу. И можно было сразу различить всех хохлов в этой несметной толпе. Играли известную малороссийскую песенку «Ой, за гаем, гаем», и даже каменно-торжественные конные городовые, статуями возвышавшиеся над толпой, кое-где улыбались в усы.

Этот день мог бы быть апофеозом Империи: он собрал на свою палитру только радостные краски самодержавия. Но кончилось это, увы, чем-то, что нельзя назвать иначе, чем оскорблением величества...

* * *

Серые покрывала, закутывавшие огромный памятник, внезапно куда-то смылись. И вот перед глазами исполинская бронза на гранитном постаменте с надписью: «Строителю Великого Сибирского Пути».

* * *

Да, велик был этот путь — десять тысяч верст, в океан Азии, через непролазные и неприступные тайги, и стоило поставить памятник его строителю.

Но кого же мы увидели вместо мощного императора, перед которым «дрожала Европа».

Увы! Не государя во всем величии своего бескровного царствования, на мощном коне, достойном тяжеловесной, но великой России, мы увидели какого-то обер-кондуктора железной дороги верхом на беркшире, превращенном в лошадь.

Ужасно...

* * *

Я помню негодование, помню боль. «Новое время» и частично Государственная дума подняли компанию за то, чтобы немедленно ассигновать миллион, снести памятник, поставить другой.

Но стали говорить, что Государь одобрил проект, вопреки комиссии под председательством графа Витте, которая его забраквала...

Как это случилось, одному Богу известно.

* * *

Уже в эмиграции я узнал из посмертного дневника Паоло Трубецкого, что это оскорбление России и династии было им сделано умышленно. Совершенно оторвавшийся от России, он тем не менее был напичкан бессмысленной ненавистью оппозиционной русской интеллигенции к Александру III. И вот заплатил ему «долг благодарности», взяв в натурщики для изображения царя на коне большого роста солдата из пехотного полка. Солдат этот потом служил швейцаром в Государственной думе, мы все его каждый день видели...

* * *

Большевики умело использовали огромный бронзовый промах.

Я подошел к памятнику и прочел надпись, которая заменила прежнюю надпись, сочиненную Демьяном Бедным:

Мой сын и мой отец при жизни казнены.
А я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

* * *

Когда я прочел эту издевательскую надпись, при всем том, что я отчетливо понимал, какая ошибка здесь была совершена старой властью, все бешенством застонало у меня внутри. И стиснув зубы, я проскрежетал ответ Демьяну Бедному:

Не то беда, что беден ты, Демьян,—
Бывало, на мозги богат иной бедняк;
Не то беда, что у тебя в душе кабак
И что блюешь на мир ты, «Ленинизмом» пьян.
А то беда, что ты — природный хам;
Что, подарив плевки царям,
Ты лижешь, пес, под кличкою Демьяна,
Двуглавый зад Жида и Чингисхана!..

* * *

За два рубля мы сторговались с извозчиком, и он помчал нас по Невскому проспекту.

* * *

Как передать это чувство? Если Москва была мне всегда немножко чужая, то в этом Петербурге я прожил десять лет, и это сказывалось. Это волновало.

Я жадно ловил прежнее. Он, Невский, после Москвы, показался мне необычайно красивым и величественным. Широкий, спокойный какой-то.

Здесь не было того сумасшедшего движения, той все-российской толкучки, того потока, бурливого, но полугрязного, который не вмещается в узкие, кривые, московские улицы.

Здесь было величие великой Эпохи, свежескончавшейся. Новая жизнь как бы с известной опаской, с известным уважением только еще начинала струиться по улицам, где еще, казалось, недавно скакал Медный Всадник.

Вот великолепные юноши и кони Аничковского моста. Сегодня изморозь взяла их, и они из матово-черных стали искристо-белыми. Вот памятник Екатерине, нетронутый и прекрасный.

— Если бы вы знали, какие тут летом цветники. Пред-

ставьте себе, что мы помешаны сейчас на цветах. Да, да...

Вот Казанский Собор с его удивительной колоннадой, и Барклай-де-Толли да Кутузов по-прежнему «спасают Россию от французов».

От «жидов» только спасти не могли...

Их много и здесь. Но гораздо меньше, чем в Москве.

Публики — есть. Конечно, это не прежний Петроград, но уже и не «пустыня», как я ожидал его встретить. Нет, нет, и здесь жизнь латает старые раны.

Будет ли когда-нибудь он столицей опять? Кто знает.

Но он ею был! И это чувствуется, этим веет от каждого камня.

Вот огромный дом Зингера, с бронзовым колпаком, вроде шапки Мономаха на челе, т. е. я хотел сказать: на углу. Сейчас он превращен в колоссальный книжный магазин, который, кажется, называется «Всекнига» или что-то в этом роде.

Вдали показалась Адмиралтейская Игла. Трудно решить, что красивее, Пушкин или этот шпиг, который он воспел.

— Стой, извозчик, налево!

Да, я хочу к Исаакию. Нельзя его не увидеть, и надо увидеть поскорее. Вот!

Никогда, кажется, он не был так красив. Может быть, эта красота покупается тем, что с ним случится какая-то беда, но только в первый раз в жизни я его увидел совсем без лесов. Он совсем чист и сейчас как бы весь выточен из белого мрамора. Это потому, что мороз взялся сверху донизу и сделал его таким. Эта белая изморозь как бы легла для того, чтобы резче выделить самую идею этого храма. Так, должно быть, бывает во время марева в пустыне или на океане, когда мираж показывает сказочные города, храмы, освобожденные от пут вещества, взятые только как идеи; как некие геометрические мысли, как некие платоновские чертежи.

Такого храма нет в Европе. Он не православный, не католический, не протестантский: он храм Богу Единому. Он взят именно как идея, идея возвышения над местным, над преходящим, над временным, над «сепаратизмами», сколь величественными они ни казались бы тем, кто их переживает...

Напротив Исаакия по-прежнему стоит Николай I на темном фоне Мариинского Дворца. Только традиционных часовых в невероятных исторических уборах уже нет.

Пустяки. Поставить часовых нетрудно. Трудно поставить такой памятник, каким является этот город.

Поездив еще немного, мы отправились в гостиницу. Очень приличная гостиница. По-старому приличная. Внизу был швейцар как швейцар, затем мы попали в бюро, где какая-то барышня и молодой человек (молодой человек гораздо менее чекистского вида, чем в Москве и Киеве) просили предъявить документ. Затем отвели номер за три с полтиной, прекрасный номер с зеркальным шкафом, с весьма приличной обстановкой, темноватый, как и полагается в Петербурге, без всяких новейших выкрутасов, вроде яично-желтых письменных столов, шифоньерочных стульев и всякой такой модернистской дряни. Все солидное, темное, подержанное. И ковер такой же на всю комнату.

По бесконечным коридорам мы вышли опять на улицу. Мне не терпелось.

Вернулись на Невский, еще полупустой в этот ранний час. Зашли в какую-то не то кофейню, не то кондитерскую, где было хорошо натертый паркет и совсем чистенькие, нарядные барышни, как полагается в таких учреждениях. Они дали нам очень хорошего кофе, с очень вкусными пирожками, за очень зверскую цену: что-то рубля полтора это обошлось. Положительно в этой республике не стесняются с деньгами. Но, к сожалению, ни рабочих, ни крестьян за мраморными столиками не заметил. Все были какие-то личности интеллигентско-спекулянтского вида.

После кофе мы временно распростились с моим спутником, и я отправился странствовать один. Пошел сначала на телеграф. Там пришлось долго ждать очереди, очевидно, в СССР после долгого поста люди особенно пользуются электричеством. Но когда я добился, наконец, до окошечка, барышня очень любезно вычеркнула лишнее слово из моей заграничной телеграммы. Телеграмма моя была чисто торговая, хотя должна была обозначать, что я жив, здоров и все благополучно. В очереди было достаточное количество лиц иудейского вероисповедания, остальные, надо полагать, были русские, если они не были немцы.

Затем я отправился по Каналу на призывный привет ярких куполов храма, «что на крови».

Дивной мозаики, разумеется, не удалось испортить. Храм был открыт, шла служба. Говорят, тут всегда идет служба. Место трагической гибели Александра II привлекает людей и по сию пору. Между четырьмя колоннами, под тяжелой куполообразной шапкой, кусочек сохраненной мостовой расска-

зывает приходящим нечто такое, от чего они не могут оторваться. Не помню, в какой книжке и на каком языке, я однажды прочел такую фразу:

«Русские имеют обыкновение убивать своих Государей...»

Ничего более ужасного в жизни своей я не читал. Ибо — это правда...

* * *

Оттуда я прошел на Марсово поле. Передо мной была огромная площадь, вся засыпанная снегом, прячущая свои отдаленные очертания в сероватой дымке петербургского дня. По тропиночке в снегу я пошел к чему-то посреди площади, о чем я уже угадывал, что это должно быть.

Да, так и есть. Это то место, где впервые были отпразднованы так называемые «собачьи похороны». Здесь были зарыты без креста и молитвы так называемые «жертвы революции». Около ста человек, погибших во время февральского переворота, причем в число павших героев, говорят, попали всякие старушонки, никому не ведомые китайцы и прочие случайные личности, случайно погибшие во время перестрелки.

Так легко далось на сей раз свержение старого режима, «кровавого и тиранического». Погибло несколько десятков людей, и трехсотлетняя твердыня, забравшая под свою руку сто семьдесят миллионов человек и «сто одно» племя, рухнула.

Теперь им поставлен памятник. Если это можно назвать памятником.

Квадрат из стен, вышиною в человеческий рост, сложенных из больших гранитных камней. На этих стенах, вместе с именами погибших борцов, высечен всякий вздор, в назидание потомству.

Язвительнейшей насмешкой, издевательством, перед лицом которого, казалось, может захохотать самая мгла серого петербургского дня, звучат эти высокопарные слова на тему о том, что здесь лежащие погибли, дав народу «свободу, достаток, счастье» и все блага земные.

Миллионы казненных, десятки миллионов погибших от голода, доведение страны до пределов ужаса и бедствия и затем возвращение вспять. Тяжелое, ступенька за ступенькой, восхождение опять к тому же общему положению, которым жила дореволюционная Россия, к «довоенным нормам»...

Вот и весь смысл вашей революции, и ничего этот дурац-

кий квадрат над сотней бессмысленных жертв, считая в том числе старушек и китайцев, изменить не может.

* * *

А в другом конце, охраняя вход на мост, стоит великолепный Марс, он же памятник Суворову.

* * *

Я прошел через красивый Троицкий мост с его гроздьями белых шаров-фонарей, взглянул на замерзшую Неву, на кайму дворцов, на идеальный шпиль Петропавловского собора.

Трамвай бежал по мосту, и с него люди на одно мгновение, но с любопытством, взглянули на некоего «последнего из могикан», который одиноко брел вдоль парапета, на комиссарского вида человека, в высоких сапогах, штанах-галифе и синей фуражке с желтым козырьком. Этот вышедший из моды тип, еще хранящий облинявшие заветы коммунизма, был я. О, ирония судьбы.

* * *

И вот пошел я, и пошел по бесконечному Каменноостровскому проспекту. Не хотел сесть в трамвай, хотел все измерить своими собственными длинно-сапожными ногами, раз нельзя ощупать руками. Заходил я часто в боковые улочки, знакомые и незнакомые... И тут я видел следы разрушения, которыми, как говорят, еще недавно щеголял весь Ленинград. Тут я видел заброшенные дома, разрушающиеся здания, уничтоженные сады, падающие решетки. Но главная артерия, Каменноостровский, уже ожила, здесь есть магазины, движение, люди.

В какой-то чайной, в подвальном помещении, я пил порцию чаю, с огромными пузатыми чайниками и очень небольшим количеством сахара. Ибо тут пьют вприкуску. Здесь я мог наблюдать, как же живет этот народ в рабоче-крестьянской республике, для счастья и благоденствия которого будто бы сделаны все всем известные ужасные преступления. Здесь я не был еще на социальном дне, но на низших ступенях. Тут были извозчики, бедные старушонки, рабочие и всякий другой такой люд.

Да, вот они результаты. Обыщите всю Европу, и таких чайных вы не найдете. Убожество, грязь, весь тот стиль, ко-

торый при царях можно было бы отыскать только в самых отчаянных трущобах. Теперь трущоба поднялась вверх. Океан бедности залил несколько ступеней, тех ступеней, которые у него отвоєваны были царями. Вот и весь результат пролетарской революции для пролетариев, для «рабочих и крестьян».

Заплатив вместе с хлебом за все сорок копеек, я побрел дальше. Все дальше, дальше, по нескончаемому Каменноостровскому, столь знакомому, ибо мчаться на острова было когда-то единственным отдыхом затуркавшегося до одурения петербуржца.

Была мягкая погода, и пошел снег. Совершенно невозможно рассказать моим прозаическим и неуклюжим языком непередаваемую поэзию этого тихого дня. Этот снег, бесшумно падая белыми клочочками, вырисовывал каждую черточку, как бы именно для того, чтобы мне показать это все, чтобы ничто, самая укромная извилина, не укрылось, не спряталось. Он нес с собой какое-то необычайное спокойствие и беззвучно выговаривал какие-то нерасказываемые, утишающие слова:

Все было, все будет... Тишина, тишина...

Так шептал снег и проворными, быстрыми, непрерывными маленькими движениями надевал на Красный Ленинград белый венец.

К чему он готовил его, накрывая этой фатой? К смерти, к новой жизни?

* * *

Я перешел еще мосты, прошел мимо знакомой часовенки, взглянул, как по Невке бежала вереница лыжников, и, взяв налево, очутился в зачарованном царстве загородных вилл, засыпаемых снегом. Я не встречал ни одного человека, и эта тишина усиливала впечатление.

Здесь, на взгляд, не так много разрушено. Здесь много домов стоит, как новые, или, может быть, они подновленные. Почему так опрятно сверкают зеркальные окна, как будто их только что вымыли?

Скоро я понял, в чем дело. Все то, что раньше называлось «острова», т. е. большое множество то нарядных, то роскошных, то попроще дач, захвачено коммунистической властью и превращено в «дома для отдыха».

Кто здесь отдыхает летом, я не знаю. Есть ли в них рабочие и крестьяне, или, как все в этой республике, и эти учреж-

дения — «под псевдонимом», и здесь просто отдыхают члены коммунистической партии, то есть современная аристократия? Вероятно, так.

Сейчас же не было никого, и судить я об этом не мог. Но содержатся, видимо, эти дома в порядке, и нельзя не сказать, что неизмеримо лучше было поступить с ними так, чем бессмысленно разрушить и уничтожить. Кому пришла счастливая мысль сберечь таким образом ближайшие окрестности Петрограда, которыми он по справедливости может гордиться, не знаю. Но, по всей вероятности, это — заядлый контрреволюционер и белогвардеец.

Я шел по бесконечным аллеям, местами протаптываясь через свежий снег, и необычайная ласковость, теплота и уютность этого зимнего дня действовали мне на нервы. И я думал о том, будут ли владельцы, которым возвратят отнятые у них эти прекрасные виллы, будут ли они ими пользоваться лучше и больше, чем они это делали раньше.

Острова всегда были пустыни. Дачи большей частью принадлежали богатым людям, которые проводили лето в Крыму или за границей, а эти полудворцы пустовали в знаменитые петербургские белые ночи.

Когда такие дома пустуют, очевидно, они кому-то лишние. Но ведь место под Петроградом считано! И неправильно с высшей точки зрения, чтобы сии острова пустовали. Sapienti sat*.

* * *

Неуловимо темнело, а снег шел все гуще и все сочнее вырисовывал белым контуром сады, рощи, изгороди. Я перешел еще какой-то мост, и у меня не хватило сил идти на Стрелку. Да и дороги тут уже почти не было. Какая-то парочка проплелась на извозчике, так сказать, «по целинке». Я сел на скамейку и долго так сидел, ничего не делая и ни об чем не думая. Вот просто слушал снег, хотя его нельзя слышать, и видел весь этот огромный город, хотя ничего не было уже видно, кроме занесенных снегом деревьев.

Подошел какой-то человек и спросил у меня, где тут милицейский. Я подумал: «Это ты, наверное, ищешь милицейского, чтобы с его помощью меня арестовать. Так вот он там на мосту, в будке». Я показал ему, и было так тихо и так

* Умный поймет (лат.). (Прим. ред.)

особенно, что мне было почти что все равно, арестует ли он меня или нет.

Ну, конечно, это я преувеличиваю, но все же такое было настроение какой-то необычайной красоты всего происходящего... И было ощущение, что, что бы ни произошло, все равно, в конце концов, будет прекрасно.

Все было, все будет... Тишина, тишина...

Так говорил снег. А человечек не арестовал меня, а мирно о чем-то заговорил с будочником, и я даже подошел к ним — хотелось «покалякать». Но я только спросил, как пройти к трамваю, и они мне очень любезно рассказали, что нужно идти правым берегом, потом перейти Невку, и тогда выйдешь в Новую Деревню, что я сам знал не хуже их.

Пошел я правым берегом, когда начали уже зажигаться огни. До нестерпимости красиво ложился желтый свет из окон на совершенно голубой снег. Прошел мимо бывшего ресторана Фелисьен, который превращен в «дом для отдыха рабочих», кажется, номер 42. А на той стороне Невки женщины стирали белье тут же у реки — это зимою-то, на морозе!

Эти, кажется, были настоящие работницы, скорее жены рабочих. И ничуть им не помогло, что напротив уничтожили Фелисьен. Пожалуй, те, кто там проводил ночи в бессмысленных кутежах при старом правительстве, были все же мягче и добрее, а главное, совестливее, чем новые владыки.

* * *

Этак, пожалуй, прошел я в общем верст пятнадцать, и сил уж моих не было. С отменным удовольствием сел в трамвай № 2, который тут от века ходил. В трамвае скоро стала давка, какая-то гражданка усиленно мостила мне на голову, но в общем было весьма благоприлично, ни скандалов, ни грубости, все, как приблизительно было раньше. Только публика много победнее, попроще, хуже одета.

Так доехали до Садовой. Я еще имел время до свидания с друзьями и пошел шататься по Гостиному Двору. Не особенно удобно было мне рассматривать вывески, и я смотрел витрины. Было здесь все. И ювелирные магазины были. Всякие колечки, брошечки блистали золотом и камнями. Очевидно, рабочие покупают крестьянкам, а крестьяне работницам. Но удивительно не это, а то, каким образом Чека не грабит эти магазины. Как она выдерживает искушение? Кто этих профессиональных грабителей так обуздал? Теперь они защищают священное право собственности «буржуазных

хищников», таящихся за этими витринами. Дивны дела Твои, Господи!

Стоит это какой-нибудь несчастный пролетарий около окошка и вспомнит, как батюшка Ильич приказывал: «Грабь награбленное». И слезы у него текут из глаз...

Прошло, и никогда не воротишь золотое времечко. Шевельнись тут, и те же самые чекисты, ущемив тебя между коленями, будут поучать:

— Знаешь десятую заповедь? Что сказано, мерзавец? Сказано: «Не пожелай ничего, елика суть ближняго твоего». А что ж нэпман не ближний тебе? Как же не ближний, если Ильич приказал уважать. Какой народ несознательный, право!

* * *

И иконы продаются. В дорогих ризах, и крестики, какие хотите, можете иметь.

Нехорошо только, что иногда так бывает: в одном и том же магазине в правом окне — иконы, кресты и все церковные принадлежности, а в левом — всякие пятиконечные звезды, красные знамена и все такое коммунистическое, что из золота и парчи тоже делается.

* * *

И автомобильчики прокатные около Гостиного имеются. Только бы деньгу иметь, хорошо можно пожить в граде Ленина.

* * *

«Встреча друзей» назначена была в одном ресторанчике, в отдельном кабинете.

— Да-с, вы не думайте-с, — говорил мне приглашавший меня мой новый друг, — у нас здесь не Москва. Это в Москве отдельных кабинетов не полагается, по наивности думают, что за общими столами конспирировать нельзя. А здесь у нас умнее и тоньше. Отдельный кабинет? Сколько угодно!

Я вошел в знакомый вестибюль, посмотреть на аквариум, в котором плавали, очевидно, те же самые рыбки, что десять лет тому назад, по крайней мере мне показалось, что я узнал одну стерлядку. И поднялся в кабинеты. Гражданин лакей весьма предупредительно провел меня в оставленную для

сего комнату. Через несколько минут собрались все, кому полагалось, принесли закуски и карточку, причем лакей, как и в былое время, поучительно-уверенно склонившись, ласковым баском уговаривал взять то или это, утверждая, что сегодня «селянка очень хороша». Так как в хороших ресторанах они никогда не обманывают, то к этим указаниям нужно относиться со всем вниманием.

Водку закусывали икрой и семгой. Шампанского не пили — не по карману. Но его сколько угодно, и я даже заметил на Невском магазин, где надпись огромными буквами «Шампанские русские и заграничные».

Надсон когда-то писал о петербургских цветочных витринах, что они сияли из-за зеркальных окон.

...своею наглою красой...

Что бы он написал в наше время про сие заграничное шампанское?..

Ну, что там об этом распространяться... Всякому ясно.

* * *

Беседа наша текла мирно и интересно. К сожалению, я не могу ее здесь воспроизвести. Но смысл ее был приблизительно таков.

Не важно, что Зиновьев грызется с существующим правительством, то есть с большинством партии, не надо возлагать на это преувеличенных надежд. Но важны причины, почему Зиновьеву ерзается, почему он считает необходимым поднимать голос, протестовать.

Потому что слишком опасно все пообещать и ничего не дать, мало того — ухудшить положение масс, и затем, после этого страшного обмана, демонстрировать перед лицом народа, который ничего не забыл и очень многому научился, демонстрировать нарастание нового богатого класса, класса, к тому же ярко окрашенного в национальные еврейские цвета.

Страшно! Всем страшно. Не только Зиновьеву, но и Бухарину. Но Бухарин крепится и говорит: «Да что же делать? Возвращаться к прежнему, т. е. ко времени военного коммунизма? Опять грабить и опять резать? Нельзя. Это путь испробованный. Так что же делать, товарищ Зиновьев?»

Но товарищ Зиновьев ничего не может придумать, что надо делать. Он только кричит: «Караул! Боюсь!»

И он прав. Нарастает и нарастает грозное.

— Вот,— говорили мне,— вам пример современной психологии. Тут есть один матрос из старых. Из тех, кто был «красой и гордостью революции». Из идейных. Из тех, что верил, что, действительно, революция принесет что-то хорошее. Во всяком случае нечто уравнилельное. С их точки зрения, он был героем. Он ведь Зимний дворец брал! Так вот он теперь присмотрелся, что делается. Увидел, что новые-то буржуи почище старых: грубее, жесточе, беззастенчивее... Первое время он как-то столбенел, просто как-то не мог в толк взять, как же это происходит! Ну, не верил — долго! И, наконец, понял. Так это надо было видеть! Надо было увидеть выражение лица этого человека, когда, убедившись, что все было ни к чему, все неправильно, все не так, это «все» он вылил в диком вопле: «Так зачем же я им трамперетрам-тарарам, зачем же я им Зимний дворец брал?!» Надо было это видеть! Трагедия... Взрыв вулкана... Ведь среди них были идейные. И они, конечно, были лучшие. Их разочарование горячо, искренно... О, они «им» покажут... в свое время.

* * *

После ужина разошлись каждый в свою сторону, но мой первый спутник пошел меня провожать и вдруг сказал мне:

— Вы немножко осмотрелись в «нашем Ленинграде»? Ничего себе «мы» живем, правда? Плохо только то, что ГПУ здесь свирепо работает.

Да, да, ведь об этом я как-то временно забыл. Это даже удивительно, как это легко забыть и как это опасно. Ведь в те времена, скажем в 20-м году, когда я жил под большевиками, вся жизнь была вообще сплошным кошмаром. И вот среди этого кошмара врывались по ночам в квартиры, грабили, бесчинствовали и затем голодных, изможденных, потерявших всякую силу сопротивления людей тащили в чрезвычайки и там расстреливали. Все как-то подходило одно к другому.

Но теперь, теперь было иначе. Вместо жутких темных улиц весело горит электричество, мы только что разошлись после хорошего «товарищеского ужина», в перспективе — спокойная ночь в гостинице, в удобной постели, в тепле и неге. И как-то мысль отказывалась верить в то, что под этой мирной поверхностью вод, тут же, сейчас же, бродят страшные акулы и что стоит зазеваться, и тебя нет. Да, весь лик России изменился с той поры. Но из этого не следует, что Чека,

называемая нынче ГПУ, не работает и не уносит своих жертв. Она только делает это сейчас гораздо тоньше и умнее.

* * *

— Хотите, я вам покажу еще для полноты впечатлений один бар? Вы не думайте, у нас «бары» есть. Русских перерезали, но американские завели!

Пошли мы по Невскому и взяли направо, кажется, по Михайловскому. Словом, здесь в былое время была какая-то мирная не то кофейня, не то кондитерская.

Теперь не то. Сразу меня оглушил оркестр, который стоит самого отчаянного заграничного жац-банда. Кабак тут был в полной форме. Тысячу и один столик, за которыми невероятные личности, то идиотски рыгочущие, то мрачно пропойного вида. Шум, кавардак стоял отчаянный. Это заведение разместилось в нескольких залах. Но всюду одно и то же. Между столиками шлялись всякие барышни, которые продают пирожки или себя *ad libitum**. Время от времени сквозь эту пьяную толпу проходил патруль, с винтовками в руках. Я заметил трех матросов, которые с деловым видом путешествовали из залы в залу.

— Что это?— спросил я.

— А это, видите ли, «внешкольный надзор». У нас ведь доблестному воинству разрешено свободно, в неслужебные часы, куда хочешь. Но зато есть всегда и дежурные патрули. Они безобразников своих вылавливают и отводят. А впрочем, мы очень неудачно пришли. К величайшему сожалению, я не могу вам показать этого места во всей красоте. Тут редкий день обходится без колоссального скандала. А бутылки здесь вместо междометий. Летают! Оно, впрочем, и к лучшему. Просто не безопасно. Развлечения его величества пролетариата бывают иногда очень экспансивны и непосредственны. Но все же вы можете заключить, что если русский человек желает выпить, то ему в Ленинграде «есть куда пойти».

* * *

— Желаете на закуску дня посмотреть нечто интересное? Как вы думаете, какое учреждение в «республике рабочих и

* По желанию (лат.). (Прим. ред.)

крестьян» открыто всегда, т. е. не закрывается ни днем, ни ночью?

Подумав, я сказал:

— Наверное, государственный кинематограф.

— Нет, не угадали.

— Ну так библиотека, родильный приют, Агитпросвет...

Он рассмеялся и сказал:

— Идем.

Пройдя несколько улиц, мы попали на бывший Владимирский проспект, а как он сейчас называется — не поинтересовался. Вошли в освещенный подъезд, где обширная вешалка ломилась от платья. Поднялись по достаточно торжественной, ярко освещенной лестнице. Взяли какие-то билеты и затем вошли в залу. Посередине ее журчал фонтан, ниспадая на какие-то ноздревато-тошнительные камни, как почему-то бывает у таких фонтанов. Кругом стояли столики. Напротив была стена с огромными окнами, через которые виднелась другая зала, еще ярче освещенная, очевидно, концертный зал. На эстраду взошел солидный человек, впрочем, хорошо одетый, который не мог быть не чем иным, как баритоном. Действительно, он массивным голосом стал «просить позволения»:

— Позвольте, позвольте!..

И полился пролог из «Паяцев», нестерпимо надоевший и все же ужасно красивый.

Но мы предоставили ему изъясняться с публикой о страданиях салтимбанков и прошли в другую залу, дверь в которую виднелась налево. И там я увидел нечто, пожалуй, более интересное, чем творение Леонкавалло.

Отвратительный, мутный дым стоял в этой зале. От него тускнел яркий свет электричества. И физическая и психическая атмосфера этой комнаты была нестерпима.

Вокруг столов, их было штук десять, больших и малых, сидели люди с характерными выражениями...

— Что это? — сказал я. — Игорный дом?

— Да. Это то учреждение, которое в пролетарской республике не закрывается ни днем ни ночью!

— Как? Никогда? Даже для уборки?

— Никогда. Республика не может терять золотого времени. В четыре часа утра, в двенадцать часов дня, в шесть часов вечера — когда ни придите, здесь все то же самое: все те же морды и все тот же воздух.

Я не мог тут долго выдержать. Здесь было слишком отвратительно. Кроме того, моя строгая фигура, в девственно-синей толстовке, была живым укором этому ужасному падению коммунизма.

Мы вышли в соседнюю залу и у журчащего фонтана слушали баритонов и теноров, видели пляшущих барышень, вообразивших себя балеринами, пили чай с пирожными и философствовали.

И фонтан, не умолкая,
В зале мраморном журчал,
И меня в мечтаньях рая...

Так вот, значит, каков социалистический рай! Не видя ее, я еще лучше улавливал коллективное выражение лица гнусной соседней залы. Мужские и женские лица, старые и молодые, сливались в одну скверную харю, нечто вроде химеры с лицом скотски-отупевшим.

Публика тут была разная. Были хорошо одетые, но большинство было мятых и грязных, очевидно, небогатых. От этого делалось еще сквернее, ибо не с жиру пришли сюда эти люди; их притянула страсть, неумолимая, севшая уже на них верхом, как ведьма на Хому Брута.

— Кто ж содержит этот притон? Неужели государство?

— Почти что. Номинально какое-то общество, но львиная часть доходов идет... на народное просвещение.

— Черт возьми!

Выспался я прекрасно в своем солидном номере, и никто меня не беспокоил. А утро следующего дня мы решили посвятить «осмотру музеев». Так ведь всегда делают «знатные иностранцы».

И вот мы пришли на удивительную площадь, что против Зимнего дворца. Здесь «они» сделали только одну гадость: сняли красивую решетку, с императорскими вензелями, — золотом по стали, — которая была вокруг Зимнего дворца.

— Они говорят, что это позднейшая пристройка, которая испортила первоначальный план, но на самом деле, конечно, — из-за вензелей...

Но единственная в мире Александровская колонна стоит исполинской свечой среди площади.

— Умора была с этой колонной!.. Они ее не решились тронуть, но ужасно им не нравится Ангел, что наверху. Так вот они соорудили этакий колпачок, довольно художественный, чтобы Ангела прикрыть. Но как его туда надеть? Ведь никак на колонну не взберешься... И вдруг нашлись: с воздушного шара! Чуть ли не весь Петербург собрался смотреть. Хохотали до упаду. Только это шар подвернут к колонне, а ветерочек чуть-чуть подует... Отъехал! И несчастные в корзинке болтаются с своим колпаком! Опять прицелились надеть, опять поехали! В толпе крик, гвалт, улюлюканье. Целый день возились. К вечеру бросили! Оставили Ангела в покое, вот он и стоит себе там...

* * *

И великолепная колесница над аркой генерального штаба стоит, хотя кони и просятся улететь в небо... Подождите лететь! Рано...

* * *

Дивная площадь. На ней, на пушистом снегу, упражняется конная милиция в красных шапках. Раздается раскатистая кавалерийская команда, и эскадроны маневрируют.

Старайтесь, голубчики. Пригодится воды напиться. Шапочки-то мы вам переменим, а лошадей оставим. Учитесь же ездить верхом: ученье — свет!

Мы вошли в Зимний дворец. Внизу холодно, неуютно, нетоплено. Взяли билеты в «музей революции», кажется, стоит тридцать копеек. Поднялись по каким-то, видимо, служебным лестницам и вошли в залу, где, замерзая в сапогах и валенках, дремали какие-то «бабы — сторожевые».

И вот мы начали осмотр. Все больше фотографии. Февральские дни, февральские газеты, все хорошо знакомое, всевозможные члены Государственной думы, Родзянко в бесчисленных видах, Керенский тож. Все это собрано добросовестно, но скучно.

Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет, с большими усами и еще с большими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце.

Этот господин был мне скорее несимпатичен и во всяком случае очень далек от меня. Между тем это был я собственной персоной.

Держу пари, что если кто-нибудь сбоку наблюдал нас обоих, портрет и меня, то никакими средствами он не мог бы установить тождественность этих двух личностей — этого непервосортного представителя дореволюционной буржуазии и этого правоверного коммуниста с неприятным, но строгим лицом.

* * *

Очень долго оставаться в этом музее революции не стоило. Для историка-корпидолога, может быть, и важно, но для вольного вдохновения ни к чему. Они здесь наставлены без всякого смысла и толка в каждом углу и в каждой щели.

* * *

Мы спустились и вошли в другой подъезд. Тут, наоборот, было много народа. Чего-то поджидали. Нам объяснили, что из кучи, как мне сначала показалось, грязного белья, которое оказалось на поверку коллективом сандалий, надо выбрать себе по росту пару и надеть поверх обуви. Когда мы завязали наши тесемки, сверху по лестнице спустилась партия, которая начала свои развязывать. Это, значит, те, кто уже совершили рейс по дворцам. Две барышни немедленно повели новую партию наверх, в которую и нас включили.

Первая барышня шла впереди и давала объяснения, вторая барышня шла сзади, очевидно, для того, чтобы чего-нибудь не украли.

Первая барышня, судя по выговору, когда-то, может быть, бывала в этих стенах в несколько иной роли. Она давала объяснения холодно, но совершенно прилично. Без всякой тенденции.

— Вот эта комната служила приемной. Вот целый ряд картин, изображающих батальные сцены. Это победа русских при...

Следовали имена и даты.

— Вот этот длинный коридор весь увешен сподвижниками Александра II. Это...

Она перечисляла, называя главнейших.

— Вот комната, где принимал Николай I. Прием был стоя. Сравнительно с последующими приемными она отличается холодностью и торжественностью. Строго выдержана в стиле.

— Вот приемная Александра II. Она носит уже более интимный характер.

И так далее в этом роде, холодные, заученные, бесстрастные, более бесстрастные, чем рассказ любого гида в любой стране, лились эти указания, ясные и вразумительные.

Шедшая за ней горсть людей, в которой были мужчины и женщины разных возрастов, от молодежи до пидстарковатых, не позволяла себе никаких апострофов.

Что они думали? Кто их знает. Привыкли молчать в СССР.

Покои менялись один за другим. Прекрасные в своем роде, часто непонятные с точки зрения современной роскоши.

Вот эта маленькая комната без света служила столовой Николаю I. В любом сильнобуржуазном доме в эпоху, предшествовавшую революции, такой столовой не потерпели бы.

Эти комнаты, указывавшие на скромную личную жизнь государей и в особенности государынь, производили некоторую сенсацию среди окружавшей нас горсточки людей. Произносились не особенно ясные междометия, смысл которых был, однако, очевиден: не того ждали.

* * *

Морозный воздух, который был холоднее, чем на дворе, сменился приятной теплотой отапливаемого помещения. Мы вошли в личные покои последнего Государя. Они по жестокой иронии охраняются его убийцами с особой тщательностью.

И внимание горсти людей как-то повысилось, обострилось. Они стали еще тише, впечатлительнее. Трагизм недавнего мученичества веял в этих комнатах.

Здесь был чудный кабинет, кабинет-библиотека покойного Государя, весь выдержанный в темных тонах, где над превосходным камином толпились нарядные шпалеры кожаных книг. И, кажется, это только одна комната, которая могла претендовать на звание «царских апартаментов».

— В покоях Николая II и Александры Федоровны нет особо ценных вещей: все это вещи интимные, которые имели ценность только постольку, поскольку они были им дороги. Здесь сохранились перья и ручки, которыми писал Николай II, это бювар Александры Федоровны. Это — коллекция пасхальных яиц, которые она получала в подарок...

Так, ледяной струей, журчала барышня.

Было нечто в высокой степени тяжелое в обнаруживании этих интимных комнат, так сказать, перед могилой, еще

свежей. Чуткая к этого рода вещам русская душа это понимала. Ни одного скверного вопроса не сорвалось в этих комнатах.

Когда мы проходили мимо большого бассейна для купанья, единственная роскошь, которую, кажется, позволял себе покойный Государь, мой спутник показал мне винтовую лесенку, убегавшую вверх. И зашептал мне на ухо:

— Вот там есть комната, где этот прохвост Сашка Керенский жил...

* * *

Из теплых покоев последнего Государя мы еще раз вернулись в величественный холод Николая I. Это была дивная зала с превосходными вазами. Из яшмы, кажется...

И затем — конец, опять вниз и сняли сандалии.

* * *

— Ну, еще и в Эрмитаж зайдем, чтобы все увидеть. Огромные троглодиты из зеленого мрамора все так же поддерживали тяжелый фронтон Эрмитажа.

Мы погрузились в этот океан искусства.

Рассказывать Эрмитаж бесполезно. От Египта до Репина здесь есть, кажется, все, что оставило свой след в истории человеческой культуры.

Но, действительно, удивительно, каким образом все это уцелело во время «жестокого и беспощадного русского бунта». Что же, русский народ оказался слишком культурным или, наоборот, дико невежественным? Сознательно ли он пощадил это сокровище или только потому, что не понял ценности «жемчужного зерна»?

Говорят, что многое тут раскрали. Может быть. Но это нужно знать. Человека же, который поверхностно знаком с Эрмитажем, может только подавить неисчислимость собранных русским абсолютизмом и пощаженных русским бунтом сокровищ.

Ведь даже сохранилась зала, сплошь наполненная драгоценными перстнями! Это, кажется, не трудно было разобратить, что деньги стоит. Как же не украли?

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и великая, ты и бессильная,
Матушка Русь!

Если бы своими глазами не видел бы, не поверил. Правда, в этой комнате тихонечко, но внимательно, притаился человек у телефона. Он, по-видимому, висит на трубке всегда, чтоб в случае чего сейчас же дать знать в караул, который, как говорят, где-то сидит внутри.

* * *

По всем залам Эрмитажа видны стайки экскурсий. Это водят детей под присмотром руководителей. Воображаю, что они там врут несчастным ребенкам! То же, вероятно, что и иностранцам. Что, мол, все это собрал для деток добрый дедушка Владимир Ильич, отнял у гадких людей — буржуев, которые за завтраком кушали бедного рабочего, а за обедом беденького крестьянина...

Но ребеночки-то в Триэсерии шустрые, пожалуй, разберутся...

* * *

Целый день у меня ушел на эти музеи. А обедать я пригласил своего милого спутника «к себе».

Это звучит гордо, не правда ли? Но «у меня», в гостинице, нашлась весьма приличная зала, сплошь крытая хорошим старым ковром, с уютными столиками под мягко-нарядными абажурами и золоченой мебелью, потрепанной, но стильной.

Здесь мы мирно, не шикарно, но доброкачественно пообедали за полтора рубля. Был хороший суп с пирожками, рыба, какая-то дичь. Лакей был весьма приличный, хорошая сервировка, а салфетки, очевидно, краденные из какого-то дворца.

Что ж вам боле? Свет решил,
Что «рай» умен и очень мил.

За соседним столиком обедали какие-то две декольтированные дамы в черных шелковых платьях. Это, очевидно, были искательницы приключений еврейского рода-племени. Мой спутник, демонстрирования нравов для, заговорил с ними и скоро узнал, что они помещаются в этой же гостинице, в таком-то номере. Но я был строг и презрителен, как и подобает правоверному коммунисту, печально отживающему свой век среди современного Ваала. Впрочем, это имело совершенно неожиданный результат. Младшая, накло-

нившись к старшей, сказала тихо, но так, чтобы я слышал:

— Мне ужасно нравится этот бритый: у него такое скверное лицо...

Я получил этот двусмысленный комплимент во время кофе. Оставалось ровно столько времени, чтобы попасть в театр. Мы решили посмотреть сегодня сенсационную пьесу «Заговор императрицы».

* * *

На подъезде Суворинского театра, что на Фонтанке, была Ходынка. Двери не вмещали потока людей, желавших увидеть пьесу, которая сегодня шла в двухсотый раз. С трудом добившись кассы, мы узнали, что есть билеты только в семь рублей. Все остальное распродано. С трудом сдав платя у вешалок, мы пробрались на свои места в партер. Мое место пришлось совсем с края как бы в уголку, соседей слева у меня не было, а сосед справа был свой.

Я не успел рассмотреть публику, потушили свет, и взвился занавес.

Сразу я не понял, что это такое. За первым занавесом оказался второй, посредине которого красиво горела всевозможных цветов камнями... шапка Мономаха. Затем я увидел, что эта эмблема находится на груди огромного двуглавого орла, который во весь занавес. И еще через мгновение понял, что этот орел изображен растрепанным и истерзанным, что корона слетела с искаженных мукой голов и когти беспомощно роняют скипетр и державу. В то же мгновение я уловил в оркестре, игравшем шумную прелюдию, нечто, от чего я вздрогнул. Пусть в издевательском темпе, пусть раздерганные и искривленные, как этот орел, но все же это были звуки гимна, да, гимна, «Боже, царя храни», и его нельзя было не узнать! Правда, его сейчас же заглушили ужасные фанфары, завывания с применением хроматизмов и тремолирующих железных листов (это, очевидно, должно было изображать нарастание революционной стихии), но он, гимн, прорвался еще раз, и снова был потоплен каскадом звериных звуков, и выплыл опять, чтобы окончательно погибнуть под тяжестью все заливающей меди, неистово трубившей Марсельезу.

И затем, после этой звуковой победы, все смолкло. Тогда под шапкой Мономаха, продолжавшей гореть, таинственно мерцая изумрудами и яхонтами, открылось нечто вроде каюты. В этой каютке, ярко освещенной, в то время как все

остальное было в тени, оказался стол, обыкновенный стол заседаний под красной скатертью, за каковым столом сидело четыре индивидуума в пиджачках. Средний субъект изображавший председателя, стал городить какую-то чушь. Затем приказал ввести «подсудимую». Из правой кулисы выползла женщина в большом платке, главная достопримечательность которой состояла в том, что она хромила.

— Анна Вырубова,— обратился к ней председатель тоном плохого адвоката,— вы находитесь перед верховной следственной комиссией. Нам известно, что вы находились в самых близких отношениях с семьей, которая привела на край гибели двухсотмиллионный народ, семьей Романовых. Скажите, что вы знаете об этом.

Хромая некоторое время отнекивалась, но потом, когда председатель ткнул ей какую-то кипу бумаг и угрожающе сказал: «А это вам знакомо?»,— села на стул и горестно поникла.

И, значит, все дальнейшее надо понимать так, что пьеса написана на основании показаний Анны Вырубовой.

— Да кто написал-то?— спросил я.

— Разве вы не знаете? Граф Алексей Толстой в сотрудничестве с одним тут «профессором истории» Щеголевым.

* * *

И вот началось.

Никакого, разумеется, «заговора» не оказалось. Это название только гнусный предлог, чтобы оправдать себя в своих собственных глазах, оправдать человеку, продавшему свое перо и несомненный талант тем, кто грязные перья покупает.

А все дело в том, что графу Алексею Толстому приказали рассказать распутинскую историю над еще не закрывшейся могилой трагической императорской четы. И его сиятельство поручение принял и написал. Что ж? «Орден Хамовников» существовал во все века и рекрутировал своих верных во всех слоях общества.

Впрочем, нужно быть справедливым даже в негодовании. Толстой не посмел бросить в императрицу той грязью, которой ее одно время забрасывали. Эротический мотив в пьесе отсутствует.

В сущности пьесу следовало бы назвать «Заговор Пуришкевича». Все остальное в конце концов есть только подготовка к этой сцене, т. е. к убийству Распутина. Она поставлена в точности по запискам покойного Владимира Митрофановича. И поставлена хорошо. Пуришкевич даже похож, и до известной степени уловлена его персональная манера, его нервная жестикуляция. Но, к сведению дражайшего актера, он не был брюнетом, а скорее рыжеватым.

Хорош Юсупов. Он не похож персонально. Но он взят, как красивый экземпляр старого. В особенности когда он появляется в начале пьесы в военном мундире, в погонах, от него без карикатуры веет чем-то гвардейским. На сцене и великий князь Дмитрий Павлович, который изображен без издевательства. Много сил потратил актер Монахов, чтобы дать образ Гришки Распутина. Но ничего не вышло. Он играет, и хорошо играет, мужика пьяного, распутного. Большого наглеца, но умного и хитрого. Но он совершенно не передает той таинственной силы, которая должна же была быть в этом человеке, раз он мог завладеть императорской четой. А без изображения этого хлыстовского колдовства, даже оставив в стороне боль и негодование, которые вызываются некоторыми сценами, непонятно вообще все.

Актриса, играющая императрицу, менее других издевается над ней. Она изображает ее стареющей женщиной, больно чувствующей свои года, безумно любящей своего мужа и фанатически, истерически, но все же героически преданной тому, что она считает своим долгом. Издевательски звучал бы английско-немецкий акцент, с которым она говорит по-русски, если бы этот акцент не был уловлен тонко. Но издевается над несчастной императрицей не кто другой, как автор. Дело в том, что идея предательства или, вернее, сепаратных переговоров с Германией идет от темных кругов, окружающих Распутина. Через Митьку Рубинштейна, за деньги, Распутину приказывают убедить императрицу. Но она сопротивляется, она не хочет. Тогда Гришка вдруг употребляет свою власть и кричит:

— Не хочешь? На колени! Бей сорок поклонов!!!

И вот женщина-императрица, какая бы она ни была в известном понимании, истерически больная, но все же женщина тонкая и по-своему властная, вдруг, упав на колени, начинает бить «сорок поклонов» перед грязным мужиком при медленно опускающемся для вящего эффекта занавесе.

Алешка Толстой! Ты, который придумал эту мерзость на потеху ржущей толпе, подумал ли ты о том, что когда-нибудь темная сила, которой обладал Григорий Новых, может добраться и до тебя, и горько заплатишь ты тогда за унижение тех безответных, что уже защищаться не могут?

* * *

Все это ничто перед тем, что они сделали с государем! Просто ногти впивались в бархатную ручку кресла. Они изобразили его каким-то рыженьким простачком, говорившим с каким-то нестерпимым бытовым акцентом.

И кресло жгло, и хотелось устроить невероятный скандал, орать, кричать, бежать туда вот к рампе, на середину театра, остановить спектакль.

— Врете!.. Он не был таким. Я знал его и говорил с ним!.. Лжет мерзавец Алешка!

Тридцать лет с плеч долой и бокал горячего шампанского, может быть, я так бы и сделал. Но если шампанское легко достать в СССР, то и в социалистическом раю не течет река годов — обратно...

И я досмотрел пьесу.

* * *

О публике.

Одета она серо, бедно. Так сказать, по-третьеклассному. Есть кое-где туалеты получше, но общий фон жалкий. По национальному составу достаточно евреев, но подавляющее большинство все же русское.

Ее психология? Трудноуловима. Это сфинкс безглазый, хотя у него две тысячи глаз. Когда императрица била поклоны под нагло опускающийся занавес, они смеялись.

Но кто «они»? Ведь те, что чувствовали болезненное сжатие сердца, те не смеют говорить. Можно отметить одно: огромный интерес, жгучий интерес этой толпы ко всему, что касается царя и царицы. Это трагическое чувство и эксплуатирует Толстой, чтобы делать сборы. В Москве эта же пьеса идет ежедневно в трех театрах разом. И всегда полно.

Что их влечет? Желание ли посмотреть, как издеваются над ушедшими властителями, или, наоборот, хоть на сцене увидеть то, что ушло?.. Шапку Мономаха, двуглавого орла, царский дом, прежнюю жизнь?

Обоюдоострая это вещь такие пьесы, господа хорошие!

— Пойдем ужинать?

— Пойдем.

Вот ресторанчик, который открыт до трех-четырех часов утра. Масса народу. Огромная стойка. Столики беспорядочно расставлены. Публика весьма, можно сказать, смешанная, масса дыма, много света и много шума. Довольно грязно.

Мы насилу нашли свободный столик. Но не успели заказать себе «блины со сметаной», как какой-то человек попросил позволения присесть. Мы разрешили. Он был еще молодой, так нечто среднее между шофером и механиком. Впоследствии оказалось, что он электротехник.

Не успел он присесть, как его отыскал другой. Этот был немолодой, совершенно какой-то растрепанный и несуразный. Он спросил:

— Ну как же, есть?

Молодой ответил:

— Да нет, хозяин говорит, вышла вся.

Но тот заволновался:

— Как так можно — вышла!

И озабоченно пошлепал куда-то. А молодой сказал нам:

— Я ему нарочно сказал. Зашибает он больно. Только — довольно! Третьего дня пили, вчера пили, сегодня пили... надо ж конец когда-нибудь?

Но конца не вышло: несуразный таки притащил графинчик.

Присел и он к нам. Молодой, нечего делать, согласился пить водку. Тогда оба стали к нам приставать неистово, чтобы и мы пили, — они, мол, угощают. Упрашивание происходило в деликатной форме, как только умеют угощать русские, и потому трудно было отказываться, но все же мы решительно отказались. Они все-таки налили нам по рюмочке, и мы все-таки отказались.

Тогда они выпили вдвоем — и раз, и два, и три. И, наконец, несуразный сказал мне:

— Какой, могу спросить, вы национальности?

Я ответил, улыбнувшись:

— Той же, что и вы, — русский.

Но он хитро подмигнул мне уже опьяневшим левым глазом:

— Нет-с, не проведете!.. Хорошо по-русски говорите, а только вы не русский.

— А кто же?

— Это вам самим известно. Или швед вы, или англичанин... А вот они (он показал на моего спутника) из немцев.

Я рассмеялся:

— Это вы потому, что мы водки не пьем?

— И по тому, и по другому. Что мы русские, мы — дураки... А вы вот... Да, так и надо! Вы умницы! Знаем мы вас... Вы нашу Россию вот этак сгребете (он показал кулаком, как я сгребу Россию), — и англичане, и шведы, и немцы... вы народ стоящий. Да-с... А мы что? Русскому человеку выпивать надо!..

Тут перебил другой, тоже уже пьяневший, электротехник:

— Надо, надо!.. Только уж очень шибко... Как бы опять в милицию не попасть... Они вот как запьют (он показал на несуразного), так уж до последнего... Домой ничего не принесут!

Несуразный сказал:

— И сгребут они Россию, сгребут... Какие люди были!.. Я вот поваром служил у князей... (тут он сказал одну очень громкую фамилию).

Электротехник пояснил:

— Они отменный повар... И теперь иной раз зайдут, так им все предоставляют: только сделай майонез, сабайон...

— Да-с, — продолжал повар, — а где все это? А вот вы — вы швед!.. В какой компании служите? По делам тут? Покупаете что-нибудь или, может быть, по электричеству? Так вот они электротехник!

Электротехник сказал:

— Да я теперь, действительно, опять работаю. Могу.

— А то что — запивали? — спросил я.

Он ответил, как-то по-детски улыбнувшись:

— И запивал, и другое было. Знаете, там, на Владимирском.

Я сказал важно:

— Знаю...

Он продолжал:

— Так это меня затянуло, хуже водки. Верите, по пять суток не выходил. Ну, теперь баста! Больше не играю. Был хозяином, теперь поступил мастером. Все равно, буду работать!

Пьяный повар опять стал приставать:

— Англичанин вы и есть!

Мне это, наконец, надоело, и я сказал:

— Какого черта я англичанин? Русский я самый настоящий. Вот потому и водки не пью! Пропили мы Россию!..

Это произвело в нем перемену, как всегда бывает у пьяных. Так сказать, «пошло на слезу». И когда мы кончали блины, он уже говорил мне, что я настоящий русский, что слава Богу, что я не пью, и что «как-нибудь Рассею высвободим». И хныкал.

* * *

Была еще барышня, которая приставала с какой-то лотереей. Тут такого рода нищенство, по-видимому, в распространении. Носит на щитке каких-нибудь двадцать билетиков и, когда их разберут, тут же разыгрывает. Я выиграл плитку шоколада, которую мы и съели с поваром и с электротехником.

И пошли себе...

* * *

Ночь протекла благополучно. На следующее утро я делал кой-какие покупки и между прочим, к сведению любителей шоколада, сообщаю, что возобновился знаменитый магазин Крафта. Правда, он уже не на том месте и какой-то маленький. Мне завернули фунт этого самого Крафта, который стоит три с полтиной.

Потом для полноты впечатлений послушал я уличное радио на Невском. Стоит этакая тумба, из которой начинает говорить не то актер, не то адвокат, вразумительно и ясно, голосом, который заглушает уличный шум:

— Это радио поставлено такой-то компанией, находящейся там-то и т. д.

Самореклама. Затем дзинкает и бринкает, как в плохом граммофоне. Шансонетный оркестр, романс, комик-куплетист. Для ума замечательно, для слуха пренеприятно. Порядочная толпа слушает эту крошку с ботвиньей.

* * *

На Невском я оформил наблюдение, которое я сделал еще раньше. Свободная любовь — свободною любовью в социалистической республике. Но порнография, должно быть, преследуется. Ибо нигде я не видел даже того, чем пестрят витрины всех городов Западной Европы. Голости совсем не замечается.

То же самое надо сказать насчет уличной проституции.

В былое время с шести часов вечера на Невском нельзя было протолпиться. Это была сплошная толпа падших, но милых созданий. Сейчас ничего подобного нет. Говорят, они переместились и по преимуществу рыскают около бань. Другие объясняют, что вообще проституция сократилась, дескать, мол, нет в ней нужды: и так все доступно. Но это, конечно, преувеличено. Мне кажется, что в этом вопросе что-то произошло. А что именно, я дешифровать не мог. Спрашивал, может быть, милиция очень преследует. Говорят, нет. В Ленинграде не притесняют.

* * *

Обратно я хотел ехать самым скверным поездом. Гаруну-аль-Рашиду необходимо везде побывать.

Самый скверный поезд это «Максим Горький», где, говорят, сидят на голове друг у друга. Но это поезд местного сообщения. В Москву самое скверное место оказалось в жестком вагоне почтового поезда. Но все же на городской станции мне дали плацкарту, за все вместе заплатил восемь рублей с копейками.

Жесткий вагон оказался очень приличным, я получил в свое обладание целую длинную и широкую жесткую скамейку, на которой, постелив плед, прекрасно выспался.

Сопутчиков по купе было трое, барышня в кушаке и мужской рубашке, молодой человек в европейском костюме и еще кто-то бесцветный. Они мне не докучали. Ехали мы часов восемнадцать, но за это время никто не сказал между собою ни единого слова. Не очень принято в СССР разговаривать с незнакомыми. Высколила Чека.

XXV

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я сделал все, что мог, и надо было думать о возвращении. Все предпринятые розыски не привели ни к чему, никаких следов моего сына я не нашел. Личное мое дело не удалось. Впрочем, и это трудно сказать. Все же я получил то спокойствие, которое сменяет психическое состояние человека, вечно терзаемого мыслью, что он не сделал чего-то, что, если бы сделал, было бы хорошо. Теперь я это что-то сделал.

Но если не удалось мое личное дело, то все же я имел с со-

бою багаж, который представлял для меня не малую ценность. Этот багаж был новое мирозерцание или, вернее, Россиезерцание.

* * *

Впрочем, последнее мое впечатление о сердце России, Москве, было трагикомическое.

Я шел по той самой площади, которую я любил за блеск ее снега под светом электричества и за красивые очертания — произведений современности — вокзалов, стилизованных по кремлевскому образцу. Я переходил эту площадь напрямик. В середине ее был только блестящий снег и больше ничего. Впрочем, нет: был один человек, высокая фигура... Он стоял посреди площади и жестикулировал весьма оживленно, по-видимому, в разговоре с самим собою. Подходя, я понял, что это просто пьяный, который «разоряется». Следовало бы его обойти стороной, но неведомая сила понесла меня прямо на эту нелепую фигуру. Когда я подошел, он замолчал и внимательно меня осмотрел. Я, скользнув по нему взглядом, прошел. Прошел с поднятым воротником, держа руки в карманах своего короткого полупальто. Сделав несколько шагов, я понял, что он идет за мной. Но я не обернулся, продолжал идти. Однако услышал, что он что-то такое бормочет. Затем его голос стал возвышаться и, наконец, превратился в отличную дикцию. Каждое слово, весьма хорошо тонируемое, доносилось до меня. Эта была маленькая речь или рассуждение, относившееся ко мне, — так сказать, мысли вслух, которые он пускал мне вдогонку. Он говорил: — Вот идет... по крайней мере... «председатель коллегии»! За многолетнюю... беспорочную службу... советская власть пожаловала ему: фуражку с желтым козырьком и тужурку... тужурку, в которой он мерзнет...

Последовала пауза, впрочем, недлинная, так сказать, для возбуждения внимания каких-то невидимых слушателей. Он продолжал:

— Да, мерзнет русская интеллигенция... В тужурочках, фуражечках. Но есть такие, что в соболях ходят. Да-с, такие есть... А кто-с, спрошу?

Опять последовала пауза. И затем с новым подъемом красноречия и явственности дикции:

— А не довольно ли? А не пора ли, чтобы русским народом... русская интеллигенция управляла?!

И опять пауза. И заключение, произнесенное на всю площадь:

— В Палестину!!!

* * *

Последнее приглашение, очевидно, относилось к «жидам», ходящим в соболях. Я продолжал свой путь, не оборачиваясь, понимая, что заговорить с ним — это значит легко впутаться в какой-нибудь публичный скандал... Сей публичный скандал для него может ограничиться неким сидением, а для меня пахнул чем-то совсем иным. А кроме того, что он мне мог сказать больше того, что сказал?

* * *

Я продолжал путь, и он отстал. Но не отстали его мысли, и я продолжал их наедине с собою, впрочем, не вслух, конечно...

Я говорил, мысленно обращаясь к какому-то коллективному еврейству. Не к еврею-коммунисту, кровожадному извергу и бессовестному мошеннику, а к тому среднему еврею, который «тоже хочет жить». Он весьма был недоволен когда-то царским правительством, которое не давало ему равноправия и, по его мнению, устраивало погромы. Но за девять лет советчины средний еврей, конечно, убедился в том, что «лучше быть поденщиком в царстве живых, чем царем в царстве мертвых», а что касается погромов, то, пересчитав по пальцам жертвы царских погромов, он убедился в их количественном ничтожестве сравнительно с погромами «великой бескровной». Я обращался мысленно к этому коллективному среднему еврею и говорил ему:

— Слушайте, Липерович! Знаете что? Я таки вовсе не думаю, что все евреи коммунисты. Я таки хорошо знаю, что вы, Липерович,— а таких, как вы, сколько их есть!— что вы всех этих сволочей — коммунистов, если бы могли, то перевешали бы в один день, в один час, в одну минуту. Я вам, Липерович, скажу еще что-то. Я вам заявляю, что я вот такой, какой я есть, «черносотенец и погромщик», каким вы меня держите, я таки вовсе даже не считаю, чтобы все евреи были жида. Совсем не все. Ну, вот, например, вы, Липерович, вы настоящий еврей! Вы даже очень хороший еврей, и я вам совсем решительно никакого зла не желаю. Я хорошо знаю, что вы тоже хотите хлеба кушать и что вы тоже человек, Липерович, и что с вами таки можно дела иметь. Это, конечно, не значит, Липерович, что я вам позволю мне голову оторвать,

этого таки да не будет, и тут мы будем спорить. Но если я вам не дам себе делать убыток, то я вас также кушать не желаю. И даже вам скажу больше, Липерович, знаете, мы ваших и наших коммунистов могли бы топить в одной речке, которая называется Москва-река... Но слушайте, Липерович! Что же выходит? Ваши коммунисты, вы сами знаете, что они самые пархатые жидаы, они вам сейчас в России испортили всякое дело. Мы с вами, Липерович, слава Богу, не первый год друг друга знаем. Так я могу различать, я знаю, что есть Липерович, я знаю, что есть Бронштейн. Так я знаю, что это не одно и то же. Но, как вы думаете, Липерович, те, которые вас так хорошо не знают и так сдавна, они могут различать? Нет, Липерович, они этого не знают, что есть человек и человек, потому я вам даю совет: я вам даю хороший совет, золотой совет. И я, имейте в виду, Липерович, совершенно бескорыстно даю, я эту свою выдумку, большую выдумку, не за деньги вам отдаю, а так вот, потому что, Липерович, я знаю, что вы хороший человек, так я потому вам такой хороший совет хочу давать.

Знаете что, Липерович? Вам, на всякий случай, вам таки надо думать, как вы будете эвакуацию делать. Стойте, господин Липерович, вы не кричите! Вы сначала послушайте. Может быть, даст Бог, все обойдется хорошо. А если нет? Вы сейчас будете кричать, что я хочу погром. Липерович, верьте моей совести, ну, я вам даю честное слово! Липерович, не хочу. Вы же меня хорошо знаете. Ну, разве ж я могу этого хотеть? Мене же это гадко, Липерович! Но только что ж вы думаете, так меня и послушают? Кто послушает, а кто — нет. А может быть, таких, что не послушают, таких будет много, Липерович, и что тогда? Слушайте же, Липерович, эта эвакуация, может быть, не на завсегда. Ну, пройдет время-времечко, немножко это все себе поутихнет, и вы себе вернетесь. Слушайте, Липерович, вы посмотрите на нас: мы должны были эвакуацию делать. Мы уже скоро десять лет, по всем этим Франциям, Германиям, Америкам (дай им Бог здоровьичка!), мы уже десять лет блукаем, как козы. Но и что же, Липерович, придет день, мы таки вернемся... Може, и вам так Бог даст. А может быть, вам там понравится за границей, — разве я знаю?! Не надо, Липерович, кричать, а надо хорошенечко себе подумать: ну, а если ее делать, то как делать? Вот, Липерович, слушайте мой совет! Вы не думайте, я тоже имею копф на плечах.

Как же оно выходит, Липерович? Ну, вы все теперь собрались у Москву, и вы сами хорошо знаете почему. Тут,

под стеночкой Кремлевской, оно себе вернее. И хорошо, Липерович, пусть так и будет, пусть — до самого конца. Но когда станет немножечко, чем теперь, горячее, так пусть вы все, сколько здесь есть ваших, пусть не долго думают и раздумывают... Ну, сколько из Москвы имеется сейчас железнодорожных дорог?.. Что? Вы спрашиваете куда?!

Слушайте, Липерович, вы меня за дурака тоже не держите! А зачем «колонизация»? И вы думаете, что я таки да поверю, что вы, Липерович, и если не вы, так кто-нибудь из ваших таких, как вы, что они будут там сидеть, ковырять поле, капусту сажать!.. Слушайте, Липерович. И вам не стыдно мне в глаза смотреть?! Разве же это еврейское дело? Вы мене не замарачивайте голову, потому не заморочится! Ну хорошо. Так сколько же железнодорожных дорог имеется в Крыму? Вы не знаете, и я не знаю. Так это важно?! Что, у нас нет таких, что посчитают? Слушайте, Липерович, когда была «мировая», была мобилизация, — нет? Так вы спросите генералов! Они вам скажут, они вам высчитают до одного, сколько миллионов и за сколько дней можно куда провезти. Так вас, Липерович, и всех ваших нет столько, сколько было этих миллионов солдат, которых надо было доставить на фронт. Значит, что же? Значит, Липерович, надо сделать мобилизационный план, вы понимаете, м о б и л и з а ц и й н ы й п л а н! Что это за план? Это такой план, чтобы по этим железнодорожным дорогам доставить вас и всех, кто с вами, и в такое-то (точно — Липерович!) количество дней в Крым. Вы говорите: зачем, почему в Крым? Липерович, вы стали совсем какой-то непонятливый! Ну, когда будет нехорошо, ну, вы меня понимаете, когда будет плохо. То есть когда станет совсем ясно, что н а д о д е л а т ь э в а к у а ц и ю, то куда ее делать, я вас спрашиваю, Липерович! Что?! Во Владивосток?! Так вы подождите, чтобы кто-нибудь еще четыре линии построил. Что? В Петербург?! А если море замерзнет? То что вы там будете делать, Липерович? И это совсем неважно, что оно замерзнет! А есть кое-что поважнее, может быть! Что, я вас спрашиваю, Петербург остров? Или, быть может, он неприступный? Вы, Липерович, не говорите всяких таких пустяковин, вы себе уедете в Крым! Или вы не слышали, что генерал Врангель там-таки хорошо сидел? Что у него было? Ничего у него не было. А советская армия, вы не хуже меня знаете, Липерович, что она имела целых пять миллионов на котле. Ну, на котле завсегда бывает больше, чем на фронте, но все ж таки, Липерович, их там довольно было. Ну, так, знаете что, если генерал Врангель

мог там удерживаться, я не знаю сколько месяцев, так и вы будете удержаться. Что, вы говорите, что то был генерал Врангель, а мы, бедные евреи, что мы можем делать? Не рассказывайте мне, пожалуйста, Липерович, старые волынки на новые погудки! Что вы сделаете с вашим ГПУ? А с вашими «вохрами», а с вашими «чонами»? Вы хорошо знаете, что им тоже надо будет поспешно уходить. Так они вам будут держать Крым! Вы говорите, Липерович, а дальше? А дальше, разве у вас нет Лиги Наций, разве у вас нет пресса,— я хочу сказать, газет — во всех, как есть, странах света? Разве у вас мало друзей в Англии, Америке, Франции?.. Вы можете быть совершенно спокойны, Липерович! Если генерал Врангель мог уйти на сто один пароход, то вы будете иметь тысячу и одна вымпел! Ваши друзья из Америки, Англии будут привозить вам хлеб и все, как есть, продовольствие, пока вы там будете сидеть... И будут вас с моря охранять! А ГПУ и все вохры, чоны — с берега! А потом вы себе будете садиться на пароход и будете себе, Липерович, разъезжаться. Ах, вы говорите, Липерович, как это может быть, чтобы целый народ от разу выехал? А я сказал «от разу»? Вы будете выезжать, Липерович, может быть, один год, может быть, два, а может быть, целых пять годов! Что, вы не выедете за пять годов?! Один миллион человек в год не выедет?! Это много?! Чтоб вы знали, Липерович, это составляет 3000 человек в день. Что значит?! При этом расчете вы можете себе приблизительно составить, как все это будет, и совсем это уж не так страшно, как думается. Вы мне можете поверить, Липерович, потому что мы это все уже делали! Ну хорошо, значит, через пять годиков вы все, слава Богу, себе уехали, тихо, мирно. Крым опять пойдет себе к России, само собою разумеется! А вы себе будете жить да поживать, где себе хотите. Или вы можете себе устраивать одно свое государство у Палестина, или вы можете себе расселиться, как русская эмиграция, по всем какие ни на есть страны. Поверьте моей совести, Липерович, это совсем не так страшно! Мы себе живем и хлеб кушаем, и дает Господь Бог, и вам будет давать, Липерович. Слушайте, Липерович, что у меня нет сердца в грудях? Так оно там есть, чтоб вы знали! И оно очень себе хорошо понимает, как ваше будет обливаться кровью, когда вы будете уезжать, когда вы будете бросать эту Россию, которая была... вашею второю родиной! Слушайте, Липерович: так она же была нашей... п е р в о й! И мы же мусили* уехать.

* Вынуждены (укр.). (Прим. ред.)

Ну и что? Ну и вернемся! И даст Бог, когда-нибудь, Липерович, когда все пройдет, когда все будет по-другому, и мы будем другие, и вы будете другие, ну и тогда, вы сами понимаете... Ах, слушайте, Липерович, и вас и мене слеза прошибает, так мы уже кончим этот разговор...

* * *

Но пока что приходилось думать не о великом исходе евреев из России, а о моем собственном возвращении в «страны рассеяния».

Увы, все так просто в этом мире. В один прекрасный день я сказал старушке, что на несколько дней меня вызывают на место моего служения, что я ей плачу за месяц вперед и скоро вернусь. Домик, утонувший в сугробах на опушке леса, последний раз мигнул мне желтыми окнами в синеву морозной ночи, последний раз проскрипел снег под моими шагами, и сказка, посыпанная сахаром инея, осталась позади...

* * *

Скромный поезд тихонечко вез меня обратно. В отделении для «жестких» мы произвели с Антон Антонычем некоторый беспорядок, ибо оказалось, что на одно и то же место было выдано несколько плацкарт. Антон Антоныч громил порядки на весь вагон, что он неукоснительно делал, так сказать, по долгу оппозиции, сохраняя лукавый уголок в своих тонких губах:

— Это всегда так! О чем они думают? Трудно ли, кажется. Столько-то есть мест, столько-то выдай плацкарт. Надо особое искусство, чтобы путать в таком простом деле. Что они спят, или мечтают? О чем они мечтают? Довольно мечтать, пора дело делать!

Это встречало полное сочувствие публики, а мне было смешно, ибо я ясно видел повторение пройденного. Революционеры всех стран мазаны одним миром и находят всегда уголки, куда впустить свой яд. Ваше здоровье, товарищи коммунисты! Поднимаем бокалы «за наших учителей»!

Дело, конечно, устроилось, ибо кассиры на железных дорогах вовсе не какие-нибудь коммунисты, а просто немножко затурканные люди, но очень опытные. Они перепутали номера, но выдали плацкарт столько, сколько было мест. Это скоро разъяснилось, и мы тихо, мирно разлеглись среди жужжащего вагона. Вагон жужжал потому, что в нем было

много евреев. Но евреев, так сказать, обывательского типа, из стилия Липеровичей. Они жужжали о своих всяких гешефтах так же, как делали это раньше. Впрочем, рядом со мной два молодых еврея вели политический разговор, лежа на полках. Сколько можно было судить по обрывкам, до меня долетавшим, это были разговоры о том, что хотя Зиновьева, так сказать, сократили, но по существу он прав: ибо где же этот коммунизм?!

Время от времени по вагону ходил удивительно несчастный проводник, который предлагал пассажирам чайку. Он где-то в своем маленьком отделении устроил чайную и этим, очевидно, пополнял свой скудный бюджет.

Один молодой еврей сказал другому тихонько, но я слышал:

— Вы знаете, что этот получает основного 27 рублей в месяц. Вы думаете, на это можно жить? Вы думаете, он может быть доволен?

Когда все как будто бы заснуло, а я, наскучив лежать, стоял у окна, в которое ничего не было видно, кроме отражения нашего же вагона, я слышал, как из темноты крошечного отделения проводника слышался приниженный, старческий голос. Напоив всех пассажиров чаем, он философствовал, бедняк, жалуясь кому-то, очевидно, такому же, как он:

— Нет, прежняя жизнь не вернется... Прежнее время светлое оно было какое-то. Тоже не Бог знает что платили. Но все-таки жить можно было. И что-то такое впереди ожидалось всегда. Что-нибудь проблескивало... Ну, прибавка там или улучшение какое. А теперь темно. Ничего нет. Могила...

* * *

Утром выяснилось, что погода тоже определенно готовится к моему отъезду. Сильно потеплело, мороза уже не было, шло на оттепель, и день был пасмурный, туманный.

— Очень хорошо,— сказал Антон Антоныч.— Самая подходящая ночь будет. Иван Иванович нас ждет.

* * *

Все это промелькнуло. Последний герас*, во время которого гостеприимный хозяин всячески старался оставить

* Еда: завтрак, обед, ужин (фр.). (Прим. ред.)

добрую память по себе и России, прошел слишком быстро. Затем сердечное прощание с Антон Антонычем.

— Теперь вы счастливы?— спросил я его.

— Нет, Эдуард Эмильевич, я буду счастлив, когда получу известие, что вы благополучно перешли...

— Об этом мы постараемся!— сказал Иван Иваныч.

* * *

Несколько раз меняя извозчиков, мы очутились на окраине города, затем шли пешком, пока нас не нагнал Мишка.

— Ну что?

— Хорошо.

Стали усаживаться в удобные, хорошие сани. Поехали.

* * *

Долго ли, коротко тупал Васька,— не все ли равно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... В другом месте, очевидно, был задуман переход,— мы ехали другой дорогой.

Все с теми же предосторожностями, не пропуская ни одного человека, ни встречного, ни тех, кто обгонял, ни тех, кто прицеплялся в затылок, то включаясь в бесконечные обозы, то обгоняя их, где дорога была пошире, то подмерзая под холодной струей ветра, то оттаивая в затишье лесов, неуловимо привыкая к неслышно, но быстро прокрававшейся темноте, мы вступили в полосу, где начиналась серьезная опасность.

Опять я переставил на «fен». Опять, пробираясь таинственными дорожками, среди огромных черных деревьев, с которых стаял снег и которые заволакивал туман оттепели, мы двигались медленно, но неуклонно, и только сани шуршали жутко, гораздо громче, чем этого хотелось. Чуть-чуть заблудились и, оставив Мишку с как бы сознательно затихшей лошадей, бродили, попадая след в след, держа револьверы наготове, отыскивали нужную дорожку. Страшно? Нет. То же положение вызывает те же чувства. Напряженное внимание без остатка съедает страх, и все чувства сосредоточиваются в глазах, ищущих роковых человеческих фигур за стволами елей, да еще в этой руке, прилипшей к револьверу.

Прошли туда, сюда, наконец, Иван Иваныч нашел дорогу. Подозвали Мишку и еще ехали кусок, присевши на сани,

все более погружаясь в изощренную внимательность. И вот наконец опушка.

— Стой, Мишка. Ну, Эдуард Эмильевич...

Я взял свои чемоданчики, теперь их у меня уже было два, прежний и новый, из Москвы, сплошь набитый советскими газетами, которые я читал за это время. Приготовился идти.

— Прощайте, Михаил, спасибо...

— Счастливого пути...

* * *

Мы крались на этот раз по-открытому. Иван Иванович шел уверенно, отыскивая дорогу по одним ему ведомым приметам, никогда не сбиваясь и только все торопя меня привычным ему знаком, махая револьвером сзади наперед. Справа стоял большой лес, мы проходили какие-то ложбинки, пригорки, иногда останавливались, прислушивались. Все было тихо. Мысль о том, что, может быть, сейчас, через несколько минут, будет конец всем испытаниям, выбрасывалась из сознания... Инстинктивно чувствовалось, что это расслабит твердую суровость внимания. Опять внезапная остановка. Мгновенье затаенного дыханья. Нет, ничего. Показалось... Иван Иванович наклонился ко мне к самому уху:

— Будем обходить хутор. Тише и скорее!

Мы перешли какой-то замерзший ручей и поднимались на холмик. Там справа чувствовалось жильё. Влево была горка с глубоким снегом. Ох, эта горка. Ноги увязали по колени, а Иван Иванович шагал в этом снегу, точно его не замечая. Поверху была ледяная корка, которая проламывалась, предательски потрескивая. Он сказал «тише и скорее», а я шел все громче и медленнее. И все-таки сердце, не выдерживая этого подъема в глубоком снегу, стучало нестерпимо, я чувствовал, что начинаю задыхаться... Клял про себя свои чемоданы. Я говорил себе, что это безумие брать с собой что-нибудь. Иван Иванович выхватил у меня чемоданчик с газетами, и это меня облегчило. Затем он отнял и второй. С величайшими усилиями мы влезли на эту горку. Там на гребне, на меже, выступившей под снегом, где росло несколько кустиков, он бросился на снег, шепнув мне:

— Отдохните... Сейчас будет самое трудное.

Полежали. Пошли опять. Пробравшись через какое-то поле, мы попали опять в лесочек и, наконец, выскочили на большую дорогу. Тут с двух сторон стояла густая заросль молодняка. Иван Иванович остановился на одно мгновение,

посмотрел вправо, влево и ринулся по дороге уже не шагом, а подбегивая. Револьвер его описывал в воздухе круги, без слов выговаривая одно слово: «Скорей!»

— Граница!..

Это он прошептал мне на ходу...

* * *

Но мы бежали еще некоторое время, и я понимал почему. Ведь если бы нас увидели на самой границе, могли бы преследовать некоторое время и на чужой территории. Наконец, и приблизительная «граница дерзости погранохраны» была оставлена позади... Под какими-то высокими деревьями, громоздившимися на пригорке около дороги, мы снова бросились на снег. Некоторое время только «отдыхивались». Наконец я спросил, хотя твердо знал, что это так:

— Перешли?

К Иван Иванычу вернулось его веселое расположение духа.

— Эдуард Эмильевич! Да ведь я же вам показывал границу-то!

Конечно, он мне ее показывал, но все-таки как-то не верилось. А он прибавил:

— Ну, как я рад!.. Знаете, просто гора с плеч. Задали вы нам тут беспокойств... Ну, слава Богу!

Я крепко стиснул ему обе руки...

* * *

— Ну, что же теперь, Иван Иваныч? Как будет дальше?

— Да вот так. Будем здесь отдыхать. Они сюда придут. Кто это были «они»? Я не хотел спрашивать. Будет ли это кто иной или тот человек с усталыми глазами, которого я уже знал?

Прошло, может быть, четверть часа, не больше.

— Идут.

Он на всякий случай опять схватился за револьвер, потому что еще неясно было, с какой стороны идут. Ведь и большевики, увы, люди.

Но это были наши. Горсточка людей подвигалась по дороге. Когда она поравнялась с нами, Иван Иваныч их окликнул. Через минуту кто-то крепко пожимал мне руку и тихонько шептал:

— Ну, слава Богу...

Через четверть часа мы расстались с Иван Иванычем. Навьюченный двумя огромными тюками, которые он перебросил через плечо, в последний раз бросив нам какое-то веселое слово, он ушел обратно. Вся группа долго прислушивалась на самой границе, притаившись... Расчет был такой, чтобы броситься ему на помощь, в случае крика, выстрела... Одно мгновение нам показалось, что донесся какой-то голос с этой дороги, затерявшейся в зарослях.

Но нет. Должно быть, ошибка. Все тихо. Сейчас он, должно быть, уже пробивается с своими двумя тюками сквозь глубокий, с ледяной корочкой, снег на откосе; вот он обходит хутор — «тише и скорей!» — вот идет по ровному полю, вот приближается к высокому лесу, вот увидел Мишку, вот со стоном облегчения бросает тюки в широкие сани...

— Тьфу!.. Ей-Богу, в следующий раз не понесу!..

Мишка ничего не отвечает, он отлично знает, что понесет Иван Иваныч и в следующий раз, как и он, Мишка, в следующий раз поедет по этим страшным лесам, где из-за каждой сосны выглядывает смерть...

* * *

— Ну, мы можем идти... Иван Иваныч теперь уже, наверное, добрался.

И мы пошли по этой большой, белой дороге. Сколько верст шли и сколько времени, я не помню. Я был в том возбужденном состоянии, в котором такие мелочи, как усталость, время и расстояние, не замечаются. Мне кажется, я мог бы свободно дойти в эту ночь пешком до Парижа!

* * *

А человек с усталыми глазами, ибо это был он, спрашивал меня:

— Ну как, что? Скажите мне ваши впечатления хоть в двух словах.

Я ответил ему:

— В двух словах? Хорошо! Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть. Поняли?

Он ответил:

— Понял, Василий Витальевич.

— Так вы меня знаете?

— Узнал с самого начала. Еще там, в вагоне.

— Почему же?..

Я остановился. Но он понял меня и сказал:

— Не приказано было узнавать.

ЭПИЛОГ

*Одиннадцать заповедей,
или
Речь, которая не была сказана*

Меня преследует и мучит этот сон...

(Романс)

Нет, это не сон. Но и не бред. Это нечто среднее. Нет, это нечто большее. Это «мысли, что словом не одеты», это речь, которая не была сказана...

* * *

Так бывает. Например, после речей в Государственной думе. Трудно их было произносить, но «преследование и мучительство» начиналось позже... Во время бессонницы какой-нибудь. Вдруг начнешь говорить, говорить, говорить, — без конца! Все — «исправляешь»... Без конца исправляешь уже сказанную речь. А эта речь, которая меня мучит теперь, она даже не была сказана...

* * *

Это началось еще в Киеве. Когда я убежал от «черного пальто»; когда я сидел «в бесте»; когда я лежал на постели в грязном номере, а уличный фонарь соперничал с огнями трамваев. Уже тогда я, четверо суток, говорил, говорил, говорил — эту воображаемую речь воображаемым людям...

* * *

Но это не прошло и тогда, когда все вообще кончилось, и, перейдя границу «Родины», я очутился «дома», т. е. в эмиграции. Все это путешествие в Россию уже как-то уложилось в душе, пережито, передумано. И вот мучит только это: эта несказанная речь.

* * *

Нет-нет да представляется, что большевики меня все-таки поймали. Ведь могло это быть? Могло, конечно.

Что я бы в таком случае делал?

И вот,— начинается...

* * *

*Когда, еще дитя, за школьною стеною,
С наивной дерзостью о славе я мечтал,
Мне в грезах виделся, пестреющий толпою,
Высокий, мраморный, залитый светом зал...
(«Грезы». Надсон)*

* * *

Да, знакомый зал Киевского окружного суда. Он, положим, не мраморный, но сие не важно.

— Введите подсудимого!..

* * *

Я вошел. Старик с седой бородой. Вошел, оглянулся. На судейской трибуне масса народу. Кроме самого суда, за столом посередине всякие почетные юристы. Все — евреи... Все это впилося в меня жадными, любопытно-торжествующими глазами.

— Вы знаете — это кто? Черносотенец, погромщик. Это тот самый, который написал «Пытку страхом». Как, вы не знаете?

Еще бы они не знали... Ни один из них ее не читал, но все слышали. «Пытка страхом» — одно название чего стоит!

И я рассмеялся — невольно.

— Подсудимый. Ваш смех может быть истолкован как неуважение к суду.

У председателя строгое лицо в пенсне. Это пенсне мне напоминало что-то. Да. Моего контрабандиста, пенсне которого кажется моноклем...

И вдруг я увидел его среди публики. Стекла впились в меня, и тонкие губы на одно мгновение скривились улыбкой, когда мой взгляд дотронулся до них.

Боже мой! Он здесь, он на свободе, значит, я обрезал вокруг себя все нити, я чист перед людьми. И эта улыбка го-

ворит: «Вы не одни: мы с вами, дайте же им ответ, достойный ответ».

И, встав с места, я говорю председателю:

— В каждом суде, каков бы он ни был, есть идея правосудия. Всякий суд лучше самосуда. И с этой точки зрения я уважаю каждый суд. И улыбнулся я совсем не потому. А потому, что эта зала слишком хорошо мне знакома. Меня уже тут судили. Правда, давно. И при иных обстоятельствах...

— При каких обстоятельствах?

— Меня судили и осудили здесь в связи с известным делом Бейлиса.

От этого ответа горбоносый председатель как-то втянул нос. Прокурор сделал лицо Троцкого, когда «оппозиция» принесла повинную. А по всей зале, по бритым лицам, лицам кафешантанных куплетистов и бильярдных маркеров, пробежал шепот: так ветер кладет в степи чертополох. Удар был нанесен твердой рукою и в самую точку.

Как грозен был удар!.. Казалось, своды зала
Внезапно дрогнули, и дрогнула земля,
И люстра из сквозных подвесок хрусталя
На серебре цепей, померкнув, задрожала...
(«Грезы». Надсон)

* * *

Процесс шел своим чередом. Спрашивали, устанавливали вину. Я держался «мягко», не отрицая ничего. Но твердо в известном смысле: прибыл, мол, по своим личным делам, никакой политики не делал.

Начались речи. Прокурор и защитник перебирали прошлое. Прокурор потрясал «Пыткою страха», остерегаясь, однако, привести ее в подлиннике, защитник гальванизировал тень Бейлиса и твердил о громовой статье «Киевлянина», молнией прорезавшей весь мир, но также избегал сию молнию цитировать. Прокурор силился доказать, что на скамье подсудимых закоренелый монархист, черносотенец и погромщик, на совести которого кровь еврейского народа, защитник утверждал, что это человек, который заступился во имя совести и долга за еврейский народ, оклеветанный кровавым наветом.

Так как этот народ наполнял судейскую трибуну и всю залу, то обе точки зрения неистово волновали присутствующих.

Терзали и другую тему. Прокурор делал цитаты из

«Дней», чтобы доказать неисправимую контрреволюционность подсудимого, а защитник читал страницы из «1920 года», чтобы доказать, что подсудимый бесстрашною рукой вскрыл язвы белогвардейщины.

Кроме того, оба старались перещеголять друг друга в логичности, остроумии и догадливости, доказывая: прокурор, что такой человек не мог прибыть сюда без особых целей, причем называл меня ловким, но разоблаченным шпионом барона Врангеля, а защитник, опираясь на прямоту, свойственную моему характеру, прямоту, засвидетельствованную всей жизнью, выставлял меня несчастным отцом, ищущим сына, и находил, что доказан только самовольный переход границы, без намерения вредить советской власти.

И то и другое было похоже на правду. И то и другое было возможно. Обе точки зрения защищались упорно, страстно и даже талантливо.

В заключение прокурор требовал высшей меры социальной защиты, то есть смертной казни, а защитник считал, что не может быть речи о высшей мере, а совершенно достаточно применить высылку за границу.

В сущности, решение суда зависело от моей речи.

Моноколь контрабандиста смотрел на меня не отрываясь. Он как бы хотел перелить в меня все мужество великого, единого, неделимого подполья. Это стеклышко было «видящее око», единственное око, но собравшее в себя горячие лучи, и яркое, как зажигательное стекло.

В мой страшный час, в мой горький час,
Господь, меня Ты подкрепи...

* * *

П о д с у д и м ы й: Я благодарен моему защитнику, — так начал я свою речь, — он с неослабевающим упорством, горячностью и талантом защищал мои интересы. История адвокатуры когда-нибудь оценит эту блестящую речь. Маклаков не мог бы сказать лучше. А что касается его заключения, что меня следует просто выслать за границу, то это совершенно сходится и с моими желаниями. Действительно, это был бы для меня прекрасный исход. (Легкий смех в публике.)

Однако, при всей моей горячей признательности защитнику, я все же должен сказать, что если не доводы, то заключение прокурора показались мне более убедительными. Если бы я был в числе своих собственных судей, я голосовал бы за высшую меру наказания. (Движение в публике.)

И это очень просто. Какую цель преследует советское правосудие? Только одну: обеспечить невозможность вредить советской власти. Советское правосудие, насколько я его понимаю, отрицает элемент вины. Переходя к данному случаю, как можно меня винить за то, что я таков, каков я есть? Я родился, воспитался таким, а не иным. Кто тут виноват? Никто.

Если так, то отпадает и элемент наказания, т. е. социальной мести. Нельзя мстить, если нет вины. За что? Мстить человеку за то, что он, скажем, монархист или погромщик? Какое основание? Такое же, как награждать человека за то, что он «не погромщик». Вот здесь вся зала полна лицами еврейской крови. Естественно, что они не погромщики. Но неужели их нужно наградить за то, что они родились евреями?

Все это не выдерживает ни малейшей критики, раз провозглашена «теория целесообразности». Тут, мне кажется, сказано было кое-что лишнее. Касались всего моего прошлого. Но ведь это совершенно не важно. То есть это важно постольку, поскольку можно по прошлому судить о будущем. Ибо важно не то, что я сделал, оно уже сделано и его не воротишь. А важно только то, что я могу еще сделать.

Поэтому, оставив в стороне все остальное, надо сосредоточиться только на одном вопросе: могу ли я вредить советской власти?

На этот вопрос ответ совершенно ясен. Конечно, могу, если не принять известных мер. Предлагают отпустить меня за границу. А я там буду писать в газетах и журналах против советской власти! Буду принимать участие во всяких противосоветских начинаниях, буду верою и правдою служить великому князю Николаю Николаевичу, генералу барону Врангелю!..

Можно было бы взять с меня слово, что я этого не буду делать. Но во-первых, очень трудно найти такую словесную формулу, которая обняла бы все возможности вредить. Останется всегда нечто недоговоренное, чем я и воспользуюсь. Во-вторых, может явиться сомнение (у некоторых), сдержу ли я слово. А в-третьих, и этим дело исчерпывается, я такого слова не дам. (Движение.)

Можно, конечно, не высылая меня за границу, посадить меня здесь в тюрьму и этим пресечь возможность вреда. Но это очень гадательная, очень рискованная мера. Я могу убежать. Я могу найти сообщников и под псевдонимом писать из тюрьмы. Это даже было бы очень интересно. Нако-

нец, может произойти временный переворот, меня могут освободить. Всякие могут быть даже совершенно непредвиденные комбинации.

Единственная верная гарантия — это смерть. С точки зрения целесообразности, которую проповедует советское правосудие, единственная верная мера социальной защиты есть физическое уничтожение моего тела. Не духа, конечно, ибо мой дух так же, как и дух каждого из вас, бессмертен. (Иронические улыбки в публике.)

Итак, это вступление я позволяю себе закончить Пушкинским:

Что, Анжело, скажи,
Чего достоин ты? Без слез и без боязни
С угрюмой твердостью тот отвечает:— казни!

(Голос из публики: Правильно! Председатель призывает к порядку.)

П о д с у д и м ы й: Но если это правильно, как отозвался здесь один мягкосердечный гражданин, то да будет мне дозволено изложить, почему я считаю необходимым в отношении себя (разумеется, с точки зрения советского правосудия) приговор, обычно признаваемый жестокосердным. Другими словами, почему только высшая мера социальной защиты гарантирует советскую власть от моих посылных на нее покушений.

Да потому, что я не вижу в самом себе никаких проблесков «к исправлению». Правда, я прибыл сюда не с политической целью. Но я должен по совести сказать, что если бы я случайно натолкнулся здесь на противосоветскую организацию, которая внушила бы мне доверие, то я бы к ней примкнул и оказал бы ей, вернувшись в эмиграцию, все доступные мне услуги. Поэтому моя политическая невинность есть дело только случая, а не моей воли. Это ясно. (Голос из публики: «Слишком ясно!» Я взглянул на стекла контрабандиста. Они горят двумя звездами, хотя и кажутся моноклем. Я продолжаю.)

П о д с у д и м ы й: Я рад, что встречаю понимание чуткой аудитории. Но мне хотелось бы, чтобы мои судьи, которые вынесут мне смертный приговор, до конца уяснили бы себе, за что «я иду умирать». Мне кажется, что обеим сторонам, обоим человеческим союзам, ныне вступившим в роковую борьбу, т. е. коммунизму и фашизму, или, точнее сказать, ленинизму и муссолинизму, полезно знать правду друг о друге.

Я — русский фашист. Основателем русского фашизма я считаю Столыпина. (Движение.) Правда, покойный премьер, убитый здесь в Киеве, сам не подозревал, что он фашист. Но тем не менее он был предтечей Муссолини.

Фашизм, как и коммунизм, имеет свои тактические приемы и свои идеологические задачи. В отношении тактики коммунизм и фашизм два родных брата. (Движение.)

Столыпин сделал «ставку на сильных». То есть он хотел опереться на энергичное, передовое, инициативное меньшинство. Это же сделал Ленин, опершись на партию коммунистов. Так же поступил Муссолини, создав свои связки, звенья, по образцу коммунистических ячеек. Это же дело продолжает барон Врангель, создавая из остатков белых армий ячейки, из которых в будущем вырастит русский фашизм. Не забудьте, что и муссолиниевские «связки» первоначально тоже были созданы во время войны и для войны.

Следовательно, с точки зрения тактики, нам нечего упрекать друг друга. Тактика у нас одна. Что, впрочем, и естественно. При продолжительной борьбе обе стороны, путем взаимного перенимания, в конце концов сражаются одним и тем же оружием.

Эта одинаковость вытекает из необходимости. Мы, борющиеся, понимаем, что в век танков нельзя сражаться на средневековых кобылах, хотя бы и украшенных яркими перьями. Я говорю о демократиях, конечно.

Раз вера в мудрость большинства (а эта вера была самым грубым суеверием, какое знал мир) утрачена, то с самодержавием демократий кончено. Правда, большинство никогда и не управляло, управляло всегда меньшинство по существу. Но в демократических государствах это держалось в тайне. Заслуга ленинизма и муссолинизма в том, что тайное стало явным: судьбами народа и человечества управляло, управляет и будет управлять объединенное меньшинство.

Разумеется, из этого вовсе не следует, что организованное меньшинство должно держать большинство в состоянии скотов бессловесных. Если вы это делаете, то вы делаете ошибку. Или же вы просто слабы. Муссолини умнее и сильнее: он сохранил парламент. (Нарастающее движение негодования: председатель водворяет тишину и затем обращается ко мне.)

Председатель: Подсудимый, я делаю вам замечание. В ваших интересах говорить так, чтобы я не лишил вас слова.

П о д с у д и м ы й: Приношу свои извинения. Дело в том, что, когда доказываешь необходимость своего собственного расстрела, не всегда удачно выбираешь выражения. Но я хотел сказать, что советская конституция по существу вовсе не является рот затыкающей населению. Я считаю идею советов довольно удачной, а идею профессионального представительства, наряду с территориальным, заслуживающей самого серьезного внимания. Если бы выборы производились свободно...

П р е д с е д а т е л ь: Они так и производятся.

П о д с у д и м ы й: Не имея возможности в данной обстановке это опровергнуть, я иду дальше. Тем более что хотя это и важно, но не самое важное. Самое важное для меня в данную минуту установить, что руководство страной при помощи организованного меньшинства вполне совместимо с предоставлением большинству широких политических прав. При этой системе организованное меньшинство стоит словно на страже основных и как бы непоколебимых принципов. Если на эти принципы покушаются, оно, организованное меньшинство, защищает их всеми средствами — словом и делом, пером и штыком... По этой причине (это в скобках) организованное меньшинство ни в коем случае не должно выпускать из рук реальную силу принуждения. Но пока на эти основные принципы не покушаются, в интересах организованного меньшинства не только дозволять, но всячески поощрять самодеятельность большинства во всех отношениях, в том числе и в политическом. Это и делается в Италии. Я же это говорю только к тому, чтобы показать, что коммунизм и фашизм, или, что то же, столыпинизм, муссолинизм и ленинизм (к этой плеяде блестящих имен примыкает и скромный шульгинизм), тактически близки друг к другу, являясь системами минористическими. Это, между прочим, весьма ярко подтвердил Ленин, сказав: «Если Россией управляло сто тридцать тысяч помещиков, то почему ею не могут управлять двести тысяч большевиков?» Теперь помещиков нет, но их с успехом заменит один миллион фашистов, когда большевиков не станет...

П р е д с е д а т е л ь: Подсудимый, вы превращаете вашу речь в контрреволюционную агитацию. Знайте, что вашего «когда» — никогда не будет!..

(Слова председателя вызывают гром аплодисментов и служат сигналом к внушительной манифестации. Все встали и неистовствуют. Особенно неистовствовал мой контрабандист. Но стекла его, устремленные на меня, горели побед-

ным заревом. Они говорили: «Будет миллион фашистов, будет!» Наконец это кончилось.)

Председатель: Подсудимый, продолжайте вашу речь, но без агитации. Иначе я лишу вас слова.

Подсудимый: Подчиняюсь. Но происшедшая манифестация немного вывела меня из течения моих мыслей. Она живо напомнила мне, что произошло в третьей Государственной думе, когда Столыпин произнес историческую фразу: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Мы тоже с таким же энтузиазмом приветствовали эти слова... (Голос с места с сильным акцентом: «А великие потрясения все-таки были. А где же ваша Великая Россия?» Смех. Звонок председателя.)

Подсудимый: Великие потрясения «все-таки» были. Но если бы я сказал, что они все-таки будут, то председатель лишил бы меня слова. Поэтому я хочу только повторить, что тактически коммунизм и фашизм имеют много общего, и в этом смысле нам нечего упрекать друг друга. Мы могли бы упрекать друг друга только в одном: в излишней, ненужной жестокости. В этом отношении вы страшно прегрели, и, конечно, вы со временем расплатитесь. (Голос с места: «А ваши погромы?»)

Подсудимый: Что касается еврейских погромов, то я могу ответить вам словами одного еврея: «Когда по приказанию еврея была уничтожена семья, носившая имя Романовых; когда евреи принимали видное участие в избиении целых классов, русских по крови; когда громили помещиков; избивали офицеров; уничтожали под именем эксплуататоров крупную буржуазию; когда вырезывали крестьянство под именем кулаков; когда уничтожали торговцев под именем спекулянтов; когда убивали служителей религии, как таковых; когда вытоптали мещанство под именем мелкого буржуа; когда смели интеллигенцию, обвинив ее в контрреволюции; когда «били» все нации — украинцев, татар, армян, грузин, сартов, калмыков, киргизов, то как вы хотите, чтоб только одних евреев оставили в покое? Это по теории вероятности было бы абсолютно невероятно». Так говорил один еврей о еврейских погромах. (Голос с места: «Кто это?»)

Подсудимый: Биккерман. Но все это не так важно для разбираемого вопроса. Дело в данное время в следующем: почему так закоренел фашист Шульгин, раз, по его собственному заявлению, между фашизмом и коммунизмом есть много общего?

А потому, что это общее такое же, как у двух враждую-

щих армий, то есть тактика, стратегия, вооружение. Но этим дело и кончается. Цели же, ради которых они воюют, диаметрально противоположны. И здесь между нами нельзя перебросить моста. Здесь различие основное, глубокое, я бы сказал, предвечное, восходящее к первым дням творения мира, если посмотреть на вопрос со стороны мистической.

Это не есть различие политическое. Правда, я монархист, а здесь обязательно быть республиканцем. Здесь за монархизм расстреливают. Но это недомыслие, явное недомыслие. Социализм можно насаждать и при монархии. История знает этому примеры. В Китае за много веков до Рождества Христова социализм насаждали богдыханы. Правда, кончилось это страшными несчастьями, и китайский социализм привел к сильнейшей реакции, вызвавшей всем известное тысячелетнее окостенение китайского народа, но виною этому были не богдыханы, а социализм. Впрочем, зачем искать далеко: мы найдем примеры гораздо ближе. Наибольший по размеру социалистический опыт принадлежит русским императорам. Александр Второй отнял у помещиков половину земли, то есть колоссальную площадь, равную нескольким европейским государствам, и отдал ее крестьянам... в социалистическое пользование. Ибо сохранение поземельной общины, с правом передела через каждые двенадцать лет, что это было такое, как не создание «земельного социализма по высочайше утвержденному образцу»?

Совершено это было в порядке «идеальной декретности». Слова «быть посему» решили без всяких потрясений судьбу миллионов людей и десятин, освобожденных от крепостного права и отданных в социалистический режим. Я очень прошу обратить внимание на то обстоятельство, насколько «социализм монарха» обошелся дешевле, чем «социализм республиканцев». Ибо, когда республиканцы вздумали другую половину земли передать в социализм, то это привело к неслыханной в истории гражданской войне и к Царь-голоду, унесшему много миллионов людей. Я думаю, что этого примера достаточно, чтобы уяснить себе, что и с социалистической точки зрения монархия выгодна. (Смех в публике.)

П о д с у д и м ы й: Смеяться можно. Но никто никогда не опровергнет следующего: если нужна диктатура пролетариата, то есть меньшинства, то несомненно этому меньшинству тоже нужно меньшинство в нем самом. То есть так называемые вожди. Но из среды вождей всегда выделится

некто, самый сильный, самый умный, который будет вождем вождей. И когда я смотрю на то, что вы сейчас делаете с Лениным, то я еще раз убеждаюсь в правильности этой мысли. Ибо вы коммунизм подменили «ленинизмом». Когда вы решаете сейчас какой-нибудь вопрос, который поставила перед вами текущая жизнь, вы подходите к нему не с точки зрения догматов социалистического учения, как было когда-то, а исключительно ставите перед собою вопрос: как бы в этом случае поступил Ленин? Все ваши споры между собой идут только в этой плоскости. И когда, наконец, вы согласитесь между собой, как поступил бы Ленин, вы все приходите в священный восторг, ибо думаете, что нашли истину. Говорят, что императрица Екатерина II, признаваемая буржуазными историками Великой, носила на своей груди медальон с изображением Петра I, так же почитаемого Великим. И вот, когда она затруднялась, как поступить, она смотрела на медальон долго и пристально, стараясь угадать, как бы поступил в данном случае покойный Император. Вы,— некогда бывшие социалистами, теперь стали медальонисты и могли бы на запонках носить изображение Владимира Ильича для высшего руководства государственными делами...

Председатель: Подсудимый, держитесь ближе к делу.

Подсудимый: Подчиняюсь и, переходя к самому делу, я могу только напомнить слова товарища Бухарина о том, что «Владимир Ильич был великим инструментом для сбережения общепартийной энергии». Точно так же мы смотрим на монарха: это есть лучшая концентрация народной мысли, воли и силы. Я говорю это к тому, чтобы показать, что социализм и монархизм ничуть друг друга не исключают и что психологически вы уже готовы ставить авторитет одного превыше всего, а это и есть сущность монархизма, ибо монархизм есть единодержавие, власть единого. И конечно, вы правы, ибо если был бы найден один человек, самый умный и самый сильный, то ему нужно дать полную власть по той причине, что все остальные хуже, а следовательно, вмешиваясь в дела правления, они будут только их портить, разбавляя своей, так сказать, «хужестью» мысли и дела лучшего. Если бы Ленин сейчас воскрес, кто бы из вас посмел бы противиться малейшему его слову? Вы вот три года ищете после его смерти в том, что осталось после него в недосказанном и недописанном,— я бы сказал в ленинских

запятых, сокровенных указаний и велений для настоящего. Если бы Ленин воскрес, вы объявили бы его пожизненным диктатором, то есть Императором... (Смех.)

Председатель: Но так как, к несчастью, товарищ Ленин воскреснуть не может, то вы лучше сделали бы, если бы вернулись к самому себе, подсудимый. Здесь разбираются ваши деяния, а не ленинские. (Смех, рукоплескания.)

Подсудимый: Мои деяния тесно связаны с ленинскими. Не будь ленинизма, не было бы и шульгинизма. Кто скажет «а», тот скажет «б». Если Ленин альфа, то я — омега. Моя задача в данную минуту состоит в том, чтобы опровергнуть моего защитника, который утверждает, что меня можно не расстрелять. Нет, с точки зрения «ленинских запятых», здесь общеобязательных, необходимо расстрелять... (Голос: И расстреляют!)

Подсудимый: Да, но лучше это сделать «с толком, с чувством, с расстановкой», чтобы не осталось оскомины ни у вас, ни у меня... (Смех.)

Председатель: Продолжайте вашу речь...

Подсудимый: Продолжаю. Итак, пропасть, которая между нами, вовсе не в том, что вы республиканцы, а я монархист. Республиканцы-якобинцы сделали Наполеона. А монархисты были главной опорой Корнилова, который, как утверждают иные, был республиканцем, а также Деникина, который к форме правления относился именно как к форме, то есть довольно безразлично. Если я монархист, то именно потому, что я довожу до конца Ленинскую идею о том, что руководить должно просвещенное меньшинство. Но каково должно быть это меньшинство в смысле численности? Ленин полагал, что двести тысяч большевиков для населения почти в двести миллионов как раз хорошо. Но почему двести тысяч? А не сто тысяч, не десять тысяч, не одна тысяча? Ленин делал этот расчет на глазомер. Но ведь глазомер не принцип, не закон природы... Мой глазомер подсказывает мне иные цифры. С России будет достаточно, для управления ею, одного хорошего работника. Правда, этот человек, может быть, будет не рабочий и не крестьянин, но дело не в этом, а в том, чтобы он был один. Впрочем, по существу покойный Ленин был совершенно согласен со мной. Ибо, не будучи ни рабочим, ни крестьянином, управлял Россией единолично. И притом, так самодержавно, как редкий автократ: один нэп чего стоит! Представим себе, что Годфрид Бульонский, который соорудил крестовый поход для освобождения Гроба Господня из рук неверных, вдруг под стенами

Иерусалима приказал бы своим крестоносцам (из экономических соображений) отречься от христианства и принять ислам. Не только бы приказал, но заставил свой приказ выполнить. Так вот это самое сделал Ленин, с точки зрения коммунистической, когда он выдумал и провел в жизнь нэп. Это ли не просвещенный абсолютизм?

Председатель: Ближе к делу...

Подсудимый: Но если не вопрос о форме правления стоит между нами, то, может быть, другие вопросы, обычно разделяющие людей, скажем: национальные вопросы? На первый взгляд это может казаться именно так, но это только — на первый взгляд. Действительно, в эмиграции весьма распространен взгляд, что нынешняя Россия есть страна еврейского фашизма. Мое собственное убеждение, что это именно так, ничуть не поколебалось, а скорее утвердилось после личного ознакомления с Советской Россией. Состав этой залы, в которой я почти не вижу русских лиц, тоже является для меня некоторым косвенным, но довольно веским (ибо оно предсмертное) доказательством. Уходя в лучший мир, я доложу Господу, что избранный им народ занял ныне шестую часть суши... (Голос с места: «Неужели вы и на том свете будете заниматься погромной агитацией?» Смех, рукоплескания.)

Подсудимый: Это излишне, ибо грозный Иегова столько раз громил вас за вашу злобу и пороки, что очередной гнев Господа придет само собой в свое время...

Председатель: Я не допускаю здесь никаких угроз! Продолжайте вашу речь в несколько ином тоне.

Подсудимый: Я постараюсь касаться этого вопроса как можно мягче, имея в виду как указание председателя, так и персональный состав присутствующих. Но я не могу не указать, что состояние, при котором одна национальность (в данном случае — еврейская) находится в положении «первенствующего сословия», не может не породить национальной борьбы. Она непременно произойдет. В этой борьбе, если бы я остался жив, я непременно принял бы участие, и, конечно — против вас, а не за вас. Но за это вы меня не расстреляете, ибо отлично знаете, что в случае победы я буду мягче к вам, чем многие другие... Я говорю о тех, для кого еще существует сладость мести. Для меня же месть с некоторого времени представляется преступным самоуслаждением, таким же, как водка, кокаин или иные наркотики. Пьяница, наливая себя, не думает о том, что этим он обрекает на муку свое потомство, которое долгие годы будет

чахнуть и клясть свою жалкую жизнь. Так и упивающийся мезью не думает о том, что это упивательство падет на голову его детей. «Кровь Его на нас и на детях наших», — кричали некогда безумцы и не подозревали, что на много веков предсказали свою судьбу...

Председатель: Я уже несколько раз предлагал вам говорить ближе к делу.

Подсудимый: Я стараюсь всеми силами, ибо очень ценю, что вы даете мне высказываться с большой свободой. Но свойства самого предмета таковы, что он по необходимости втягивает в себя соображения из всех областей человеческого духа. Ведь дело идет о борьбе двух миров, двух мирозерцаний... Чтобы это показать, необходимо предварительно очистить всю шелуху, которая скрывает самое существо дела. К такой шелухе я отношу даже еврейский вопрос, который, несмотря на колоссальную относительную важность его для судеб человечества, все же делается маленьким перед вопросами еще большего и несравненного значения. И, чтобы это показать достаточно ясно, я принужден заявить вещь, которая покажется многим странной. В этом основном нашем споре я защищал, защищаю и буду защищать до последнего издыхания именно двух евреев: Моисея и Иисуса Христа — против Карла Маркса...

Председатель: К существу дела...

Подсудимый: Здесь мы и добрались до самого существа дела! Два еврея, из которых один по учению нашей церкви был величайший пророк, а другой Сын Божий, создали вместе одиннадцать заповедей... То, что провозглашение этих величайших доктрин досталось на долю народа, тысячелетия ненавидимого другими народами, есть явление, полное глубочайшего и таинственнейшего значения... Но останавливаться на нем я не хочу, ибо стою перед лицом смерти, за порогом которой я узнаю многое, чего не понимаю сейчас. При жизни я полагаю необходимым высказать, что в этих одиннадцати аксиомах, из которых последняя — «любите друг друга», заключены основные положения человеческого общежития. Кто захочет отступить от них, тот готовит миру величайшие бедствия. А это именно, следуя учению Карла Маркса, вы сделали. Ибо то, что вы называете «социализмом» и «коммунизмом», есть на самом деле только восстание против Моисея и Христа. Ваше учение чисто негативное, оно не содержит в себе никаких положительных доктрин. Все его содержание исчерпывающе вмещается в знаменитом лозунге «Отречемся от старого мира». Да

старый мир, даже в тех случаях, когда по внешности он отрицает всякую религию, все же исповедует одиннадцать заповедей, ибо на них стоит право, не только «Божеское», но и так называемое «человеческое». Вся юриспруденция, все законодательство, все права и всякое право — гражданское, уголовное, государственное... Одиннадцать заповедей исповедывали язычники-римляне, создавшие «римское право», их держится на наших глазах «атеистическая» французская да и всякая иная республика... Из них, из одиннадцати заповедей, проистекает всяческая мораль, всякая нравственность... На них покоилась рыцарская честь, с течением веков видоизменившаяся в буржуазную «честность». Ту честность, без которой, между прочим, невозможен кредит, тот кредит, отсутствием коего вы так страждете. Они, одиннадцать заповедей, лежат в основе всей человеческой истории. И если люди от полужвериного состояния пещерного периода дошли до той высоты развития, на которой их застало начало XX века, то это исключительно потому, что, постоянно отступаясь, «впадая в грех», но и постоянно «раскаиваясь», мир все же в общем держался одиннадцати заповедей... Он никогда не поднимал открытого бунта против этих основ... Последний раз это сделал черт, за что он, по выражению Виктора Гюго, «сорок тысяч веков летел в преисподнюю»...

Но вам лавры Сатаны не давали спать. Однако, как и он, вы не могли придумать, с позволения сказать, — ни черта, кроме голого нигилизма. Меня лично в особенности угнетает убожество этой негативной системы. Если Бог устами мудрецов, пророков, святых повелевает поступать так, а не иначе, то в силу этого одного факта вы будете требовать обратного! Элементарность этого духа противоречия напоминает сноровившуюся лошадь, которая на все доводы разума — «бьет задом»...

Председатель: Призываю вас к порядку!..

Подсудимый: Между тем, худа ли она, хороша, нравится или нет, но Божественная система есть система. Ее достоинство уже в том, что она в течение тысяч лет сводит концы с концами. Все человеческие союзы (государства, народы, расы), которые руководились деистическими системами, неизменно достигали высших ступеней благополучия и, обратно, падали в ничтожество, как только от них отступали. Если же некоторым недоучкам, вроде Карла Маркса, показалось, что мир идет недостаточно быстро по пути совершенства, то разве из этого следовало, что необходимо в

слепой ярости уничтожить именно то, что было единственной причиной его движения. Если автомобиль мчится недостаточно быстро, то что сделает разумный шофер? Исправит недостатки конструкции в машине. Но только сумасшедшему может прийти в голову сумасшедшая мысль для ускорения скорости уничтожить дорогу, по которой он едет. Это именно сделали те, кто взорвал — «одиннадцать заповедей». Они уничтожили путь, рельсы, по которым движется человечество...

Каковы же эти рельсы?

Если не дать ответа на этот вопрос, то все, что я говорил до сих пор, будет ни к чему... (Голос: «Так и останется!» Другой голос: «Дайте говорить — этот бред любопытен».)

П о д с у д и м ы й: Да, вы правы, — этот бред любопытен хотя бы потому, что когда «бредовое» мировоззрение сменяется «реалистическим», то люди в несколько лет проходят путь, который они совершили в течение тысячелетий, только — в обратном направлении, то есть из людей реставрируются в орангутангов, что и имело место в России, под вашим просвещенным водительством...

П р е д с е д а т е л ь: Подсудимый, приглашаю вас, не отвечая на возгласы с мест, держаться вашей темы. Предлагаю публике сохранять спокойствие, в противном случае мне придется очистить зал. Продолжайте вашу речь.

П о д с у д и м ы й: Я постараюсь быть как можно кратче и не вызывать «злого духа из бутылки». Моя задача вовсе не раздражение страстей, а как раз наоборот. Я хочу установить полное понимание для того, чтобы вы могли поступить обратно Красновской формуле, а именно: все поняв, — ничего не простить... Вы не можете меня простить и по очень простой причине: хотя вы меня судите, но это только одна видимость, ибо в этой зале есть только один человек, кто может сказать о себе: «Я победил», и этот человек — я... (Голос: «Совсем записки Поприщина!»)

П о д с у д и м ы й: И это я сейчас докажу. Но прежде я должен установить, против чего вы пошли.

Заповеди учили: «Аз есмь Господь Бог твой»... (Голос с места: «Знаем! Слышали!»)

П о д с у д и м ы й: Слышали. Слышали звон... да не знаете, в чем он — звон церковный... Не знаете, что этими простыми словами с души человеческой снимается самый тяжелый груз: мысль о бессмысленности человеческого существования. Внутренний инстинкт побуждает человека жить, но проснувшаяся мысль спрашивает: к чему? зачем? И запо-

ведь отвечает: затем, чтобы идти к Богу, ибо «Аз есмь», Я существую,— Господь Бог твой! Я существую, и ты, усталый, обремененный жизнью человек, придешь ко Мне. Я существую, и потому все твои страдания и горести только ступени вверх, то есть ко Мне. И потому страдания — не страдания. Это только способ стать лучше. Посмотри на гранильщика алмаза: то, что делает он с камнем, чтобы сделать его прекрасным, то самое делает страдание с твоей душой. Если хочешь быть лучше, ты должен выстрадать положенное. Но зачем «быть лучше»? Затем, что если не будешь совершен, не можешь прийти к Богу, то есть к счастью, которого жаждет твоя душа. А счастье, вечное блаженство есть, оно существует! Ибо существую Я, твой Творец, о котором сказано: «Аз есмь Господь Бог твой»...

Душа человеческая боится смерти. Она не вмещает ужасной мысли о том, что «меня не будет». И заповеди говорят: «Неразумное дитя, чего ты боишься? Ты не можешь умереть, ибо ты вечен, ты всегда был, и всегда будешь, ибо ты есть частица Того, кто тебя создал, а Он е с т ь! Не сказано ли: «Аз есмь Господь Бог твой»...

Человеческое сердце привязывается к себе подобным, мысль об их смерти еще более тяжела, чем мысль о собственном «конце». И заповеди говорят: конца нет! И утешают словами поэта: «Встретимся мы скоро в неведомой стране». Смерти нет, есть разлука, на несколько лет, которые — мгновенье перед вечностью. А вечность это и есть Господь Бог, «иже еси на небесех».

Идея вечности сама по себе глубоко моральна. Отрицание вечности роковым образом влечет к некоему мировому наплевательству. Самый аморальный человек был, по-моему, тот французский король, который провозгласил доктрину: «После меня хоть потоп». Потоп и разразился в виде французской революции, но тем, кто с высоты престола занимался насаждением кокоточной идеи «день, да мой», можно сказать: «Пожинаете то, что сеяли». Только вечность дает правильную ориентировку, как и бесконечно далекая звезда. Путник, который идет по звездам, не собьется с пути, но тот, кто бежит за болотными огоньками, в болото и попадет,— так говорил Столыпин. И это понятно. Только «звездное чувство» дает возможность человеку сообразовать свое поведение с основами мироздания. Звездное чувство иначе называется ощущением греха. Что такое грех? Грех есть поступок, не соответствующий вечным целям. Таким образом, ощущение греха тесно связано с понятием вечности. А веч-

ность, заключая в себе нечто, что мы одновременно и ощущаем и нет; представляем и в то же время не можем себе представить; понимаем и через мгновение не вмещаем в разум,— есть та дверь, через которую человек засматривает в то неведомое, но существующее, что есть Господь Бог, который устами Моисея сказал сам про себя: «Аз есть»... (Голос: «Довольно вздора!»)

Председатель: Вы удаляетесь от существа вопроса.

Подсудимый: Товарищ председатель, ведь если понятие греха или, вернее, его ощущение исчезает, то какие мотивы остаются, чтобы удержать человека от поступков и актов, которые вредны всякому обществу? Страх наказания? Но ведь, чтобы применять систему наказаний или то, что вы называете «системой социальной защиты», надо, чтобы те, кто устанавливает эту систему, чем-то руководствовались. Надо же установить, за что наказывать! Но на основании чего установить? Почему это можно, а того нельзя?

На этот вопрос может быть два ответа. Ответ номер первый: того-то и того-то нельзя делать, потому что сие грех. А грех сие потому, что это запретил Господь. А почему это запретил Господь, мы в точности не знаем, но знаем другое. Знаем, что если будем поступать против заповедей Господних, то подвергнемся страшным бедствиям, еще здесь на земле. А если не мы, то дети наши. А кроме того, и это главное, будем страдать в будущей жизни нашей, а она, будущая жизнь, есть, потому что есть Господь Бог... И — точка! И система отлита: предписано все то, что пророческим вдохновением сконцентрировано в «одиннадцати заповедях Господних». Вся человеческая мудрость есть только развитие этих основных положений, этих социальных аксиом...

Ответ номер второй: того-то и того-то нельзя делать потому, что человеческий разум определил: сие вредно. Но если такое определение есть дело рук человеческих, то назовите, кто этот человек. Называют: это Карл Маркс, немецкий еврей, и Владимир Ульянов — из русских террористов. Так это они установили непреложные законы? Они. Но почему я должен им верить? А может быть, Карл Маркс, в качестве еврея, установил такие законы, которые только для того и устанавливаются, чтобы евреям жилось хорошо, а все остальные люди были скотами бессловесными? А может быть, Владимир Ульянов, когда писал свои законы, только о том и думал, как бы побольше русского народа со свету извести за то, что русское правительство его брата родного повесило, а повесило оно его за то, что Ульяновский брат императора

Александра III убить покушался. «Нет, я так на веру не возьму, ты мне докажи, почему именно этого нельзя, а то-то можно!» И вот доказывают. Бесплодная потеря времени. Доказать нельзя. Доказать что-нибудь по-настоящему можно только в математике. Там начинают с нескольких истин, против которых никто не спорит, ибо они самоочевидны. И затем каждое последующее утверждение выводят из предыдущего так, что тот, кому доказывают, говорит: «Согласен, верно». А если он скажет «не согласен», дальше не пойдут, пока он не поймет. Не понять он не может, если у него нормальное человеческое мышление. Если он все же не понимает, он или идиот, или сумасшедший, или вроде этого: у него неспособность сосредоточить мысль на одном предмете. Поэтому математический метод называется «точным». Но вне этого точного метода всяческие доказательства иллюзорны, попросту сказать, вздорны. Они никогда не способны привести к одному мнению двух спорящих людей, за исключением одного случая: если они заранее были согласны и спорили по недоразумению. Так называемые «убеждения» на самом деле с процессом убеждения ничего общего не имеют и суть только замаскированные чувства. В числе этих чувств одно из самых мощных: стремление внушать и подчиняться внушению. Кто такой был Ленин? Один из сильнейших в истории внушителей, внушавший внушенные ему Карлом Марксом идеи, а также и свои собственные идеи «в развитие марксизма», например «нэп», хотя от такого развития марксизм скоропостижно скончался...

Председатель: Призываю вас к порядку...

Подсудимый: В области так называемых неточных наук ничего решительно доказать нельзя. Тут прежде всего нет никаких самоочевидных истин, с которых можно было бы начать, нет даже точных «определений». Возьмем самый простой пример. Существуют, мол, Труд и Капитал, кои находятся в постоянной борьбе. Но это категорическое утверждение, эту аксиому, на которой строятся многотомные теории, опровергают. Капитал есть нечто иное, как накопленный труд, и противопоставлять их бессмысленно. Сегодняшний слесарь завтра, подкопив кое-что, открывает свою собственную мастерскую и переходит этим способом из армии «труда» в разряд «капиталистов». Почему же ему не будут близки и понятны интересы слесарей, из которых он только что вышел? Почему этот самый слесарь, когда его какая-нибудь «трудовая партия» выдвигает в парламент, считается «бойцом за пролетариат»? Ведь с тех пор, как он в парламенте, он больше

напильником не работает, а только «ест, спит да языком болтает»? Ведь умственный труд, по мнению «трудящихся», не труд? А если — труд, то почему вы не называете «трудящимися» капиталистов? Ведь они работают сплошь и рядом, не в рамках «восьмичасового дня», а по десять и двенадцать часов в сутки. А если капиталисты тоже трудящиеся, то какая разница между трудом и капиталом? (Голос: «А та разница, что он лопаает, сукин сын, сколько хочет, а я с голодудохну!» Смех, рукоплескания.)

П о д с у д и м ы й: А вот когда вы слопали в СССР всех капиталистов, что вам лучше стало? А не здесь ли выхваляются, как праздником, если на каком-нибудь заводе достигли «довоенных норм вознаграждения»? А это что значит? А это значит, что с превеликим трудом вы добиваетесь того, что уже имели при капиталистах. Да и то далеко еще не добились, хоть на Волге и заморили миллионы русских мужиков голодной смертью во славу диктатуры пролетариата и для того, чтобы доказать, какой великий учитель был немецкий еврей Карл Маркс, хотя почему-то ни евреи в Палестине, ни немцы в Германии его учения не приняли. А что касается «сукиных сынов», которые жрут, что хотят, то что же, вы от них избавились? Или скажете, что ваши «нэпманы» лучше прежних капиталистов? Молчите? Что же вы там — голоса с места? «Старых буржуев перерезали, а новыми хоть пруд пруди». Об этом весь народ от края до края кричит, а вы молчите? Отвечайте...

П р е д с е д а т е л ь: Я запрещаю вам обращаться к публике, да еще в таком тоне! Не забывайте, что здесь не митинг, а суд. (Оглушительные рукоплескания.)

П о д с у д и м ы й: Я очень благодарен председателю за это замечание. Действительно, митинги до добра не доводят, чему живой свидетель эта несчастная страна. Я продолжаю свою речь в спокойных тонах.

Противоречия между трудом и капиталом есть только частность общего закона «спроса и предложения». И капитал и труд являются ценными, поскольку на них есть спрос. В стране (такая существовала), где чистым золотом крыли крыши, золото не имело почти никакой цены. Человек, имевший там золотые горы, не являлся капиталистом, ибо на золото не было спроса. Труд разделяет ту же участь. Представьте себе, что Лев Толстой, великий писатель, вздумал бы зарабатывать своим трудом пропитание в стране бушменов. Он умер бы с голоду, хотя бы работал двадцать пять часов в сутки, ибо на что бушменам русская литература,

хотя бы самая «квалифицированная»? Если некоторые «капиталисты» получают денег больше, чем некоторые «трудящиеся» (причем только весьма немногие капиталисты, а большинство маленьких рантьефов и мелкопоместных помещиков получают меньше денег, чем инженеры, врачи, чиновники и даже «квалифицированные» рабочие), то это только обозначает, что в нынешнем периоде жизни капитал еще очень нужен. А разве это не так? Что такое капитал в настоящем периоде человечества? Это есть не более, как возможность приложить человеческий труд. Допустим, что в таком-то уезде превосходная черноземная земля и многочисленное, но малодеятельное население. Является туда энергичный человек, который соображает, что из хорошей земли и свободных рук может выйти толк, если заставить руки обрабатывать землю. Утописты со слюнявым сердцем и малокровными мозгами в этих случаях начинают просвещать крестьян брошюрочками, которые мужики охотно берут на сигарки. А настоящий человек ставит сахарный завод. И тысячи крепких, но до сих пор ленивых (поневоле) рук берутся за черную, тоже до той минуты малоэнергичную землю. И работа кипит, спасая от голодной смерти будущие поколения и доставляя миллионам людей продукт первой необходимости. Но чтобы построить завод, что нужно? Нужен капитал. Без него никак, ни с места. Капитал — это всеобъемлющий рычаг, без которого в настоящее время ничего нельзя двинуть. Что ж удивительного, что он в цене? Это закон спроса и предложения: на него большой спрос, и оттого люди, которые им обладают, дорожатся. И по этой причине они «жрут», что хотят. Тот, кому капитал нужен, говорит: «Пусть жрут, лишь бы дали денег, потому что я на его деньги полезное сделаю и тысячам людей будет на хлеб насущный». Я понимаю, что примитивное рассуждение подсказывает: «А на что его просить и ему проценты платить, ежели он один, а нас много, у него можно и силой взять». Это примитивное рассуждение и ведет к социальным революциям, со всеми их последствиями. Ну вот, у нас в России взяли! Результаты? Миллионы людей погибли, народное достояние погибло, и теперь восстанавливается народное хозяйство с невероятными трудностями. А народные массы, для блага которых будто бы устраивались все эти ужасы, стали гораздо беднее и приниженнее, чем были раньше, при «капиталистах». Правда, эти последние перерезаны, но на месте их образовался новый класс «буржуев». И если они чем отличаются от старых, то только большей беззастенчивостью в пользовании жизнью, ибо их сытость и рос-

кошь еще более выделяется на фоне всеобщего обеднения.

Какой же выход? Очень простой. Капиталисты потому получают на свой капитал барыши, которые многим кажутся чрезмерными, что капитала для всего мира еще мало. Чтобы удешевить пользование капиталом, надо, чтобы его было больше. Поэтому надо его не уничтожать, как сделал мстительный русский бомбист по рецепту недоучившегося еврея из немцев, а, наоборот, всячески его создавать. Единственный действительный способ борьбы за интересы «трудящихся» против эксцессов «капиталистических акул» — это сделать столько капитала, чтобы капиталисты не знали, куда его девать... (Голос: «Действительно, вас только можно расстрелять!» Рукоплескания.)

П о д с у д и м ы й: А что я вам говорил! Но это цветочки, ягодки впереди. Впрочем, все это я привел, так сказать, к примеру: я хотел вам показать, как в мире неточных наук, к которым относятся науки социальные, ничего нельзя доказать. Всякое утверждение легко опровергнуть, ибо оно никогда не основано на какой-нибудь самоочевидной истине. Поэтому так и нелеп рационализм, который в области этих неточных наук свои утверждения строит на доводах «чистого разума». Чистый разум остановит такого разумника на первом же предложении заявлением: «Это вы, милостивый государь, высосали из пальца, потрудитесь это доказать». И так как он доказать не сможет, то так они дальше и не пойдут по пути чистого разума. Но в действительной жизни делается гораздо проще. Рационализм — это только ложная вывеска. Под нею вместо чистого разума игра на страстях, почти всегда нечистых. «Разумник» ловко отыскивает «в сердце нужный уголок» и нажимает кнопку. И «убежденное» сердце моментально «убеждает» разум, ибо слишком легко верится в то, чему хочется верить. И даже еще проще: доводы «чистого разума» подменяются авторитетом лица. Мало людей имеют время, возможности и способности входить во все это: мышление на эти темы все же требует известного напряжения. Поэтому большинство людей ищет, кому бы слепо подчиниться. «Разумники» этим широко пользуются: разум человека оставляют в покое (с ним ведь ужасная возня!), а попросту различными путями внушают ему, что такой-то «все знает», все раз навсегда решил и что нужно его слушаться. Яркий пример мы видели и видим на примере Владимира Ульянова, которого под именем Ленина сделали

Далай-Ламой*, бесповоротно установив учение о ленинской непогрешимости с такой яркостью, что сам папа мог бы позавидовать! Тут совершилось то, против чего предупреждает вторая заповедь, гласящая: «не сотвори себе кумира»... Союз Советских Социалистических Республик сейчас страна типичного идолопоклонства...

Председатель: Ближе к теме...

Подсудимый: Это я говорю к тому, чтобы показать: попытка установить линию поведения рационалистическим путем, то есть установить на основании веления разума, что можно делать и чего нельзя, неизбежно приводит к худшему из «вероисповеданий», — к о б о ж е с т в л е н и ю л и ц а. Ибо человек, который все знает и всякое слово коего есть закон природы, есть уже полубог, пока он жив, и настоящий бог, когда он умер. А следовательно, остается в области гуманитарной: или не находить никаких общеобязательных истин, то есть жить в анархии, или же признать, что таковые общеобязательные истины должны иметь и с т и н н о-б о ж е с т в е н н у ю санкцию. Это и делалось в «старом мире», хотя вера в Бога часто бывала бессознательная и даже соединялась с внешним «умственным» неверием. Это бывало и бывает в случаях, когда понятие «путь, предназначенный богом», подменяется словами «законы природы», «устои человечества», «требования гуманности», «культура», «цивилизация» и т. д. Все эти вещи на самом деле суть только развития, в той или иной форме, основных одиннадцати заповедей. Такое бессознательное исповедание Божества особенно характерно для Белого движения. Некоторые из Белых сами про себя думают, что они не верят в Бога, совершенно не замечая, что они отдают свою жизнь и кровь именно ради восстановления пути, «предназначенного богом» в одиннадцати заповедях. Белые думают, что борются за «Великую Россию», за «национальную Россию», за «царскую Россию», не отдавая себе отчета в том, что Россия, та Россия, которая была и которая разрушена на время революцией, создавалась Моисеем и Христом, как всякое европейское государство. Да, впрочем, — и всякое неевропейское, ибо одиннадцать заповедей (хотя под другими названиями и в иной внешней форме) суть основы всех государств, всех народов, всех рас и культур... И погибла-то царская Россия не почему

* Д а л а й - Л а м а (от монг. далай — море [мудрости]; лама — в шумеро-аккадской мифологии — добрая богиня, покровительница и заступница) — титул первосвященника в ламаистской церкви в Тибете. (Прим. ред.)

иному, как только потому, что «народы Российской державы» еще задолго до открытого бунта против Моисея и Христа, бунта, выразившегося в создании «коммунистического государства», по существу уже не исполняли заповедей Господних... (Голос: «Например, «не убий» и «не укради во время погромов». Смех, аплодисменты.)

П о д с у д и м ы й: Совершенно верно. Во время еврейских погромов, которые были вызваны тем, что в течение «освободительного движения» 1905 года евреи, стоявшие во главе оногo, убили и искалечили двадцать тысяч русских, начиная с великих князей и министров и кончая бесчисленными городовыми. А также украли на много миллионов золотых рублей путем «экспроприаций» и разгрома очагов русской культуры, именовавшихся помещичьими усадьбами... (Голос: «Ах, вот где собака зарыта!»)

П о д с у д и м ы й: Здесь зарыта не собака, а ваша социалистическая республика! И зарыта так основательно, что никто в целом мире ее уже не откопает. Ибо вы пошли против десятой заповеди, гласящей: «Не пожелай ничего, елика суть ближняго твоего». Вы двинули целый крестьянский народ... на его соседей-помещиков, вы провозгласили лозунг «грабь награбленное», вы подняли знамя восстания против уклада собственности, признаваемого священным, и чего же вы добились?! Вы добились того, чего мы, защитники собственности, не могли добиться, несмотря на все усилия... Вы добились того, что это «священное право собственности», против которого вы пошли, ныне утвердилось в сердцах с небывалой силой. Никогда собственническое сознание не было так твердо установлено, как ныне, в вашей социалистической республике! Сто миллионов крестьян мечтают только об одном: получить в собственность тот кусок земли, который у каждого из них находится во владении. Столыпин сказал: «Вам нужны великие потрясения, а нам Великая Россия...» Но вы Столыпина убили и великие потрясения все же совершили. Результат? Результат тот, что «великими потрясениями» вы подготовили Столыпинскую реформу в таком масштабе, в каком он не успел ее сделать. Теперь она настанет: близок день, когда каждый русский крестьянин получит свой хутор в полную власть, н а о с н о в е н е р у ш и м о г о п р а в а с о б с т в е н н о с т и, и в этот великий день восстановится Великая Россия... Низкое вам русское спасибо, товарищи еврейские коммунисты... Вы сделали уже теперь свою черную работу, вы — Красные Подготовители... Теперь пора вам на отдых, пора на покой... Теперь ваш черед, Белые

Довершители... Входите, победители... (Голоса: «Что такое?! Что за наглость! Вон, долой!»)

П р е д с е д а т е л ь: Вы переходите всякую меру! Я лишу вас слова!

П о д с у д и м ы й: Я кончаю, товарищ председатель. Может быть, это почтенное собрание успокоится мыслью, что я понесу должное, с их точки зрения, возмездие и что оно так близко, что я, выражаясь высоким штилем, уже стою «под протекторатом Смерти». К тому же вся моя речь клонилась только к тому, чтобы доказать с исчерпывающей полнотой, что сей желанный для всех исход совершенно необходим. Без моих объяснений такой безмятежной, абсолютной, сладкой уверенности, такого святого чувства правоты не было бы у моих судей... И если я позволяю себе, с вашего разрешения, прибавить еще несколько очень кратких слов, то только для того, чтобы закрепить уже созревшее, я уверен, решение...

П р е д с е д а т е л ь: «Закрепляйте», но без недопустимых выходов.

П о д с у д и м ы й: Не только не будет ничего недопустимого, а, наоборот, мои последние объяснения будут сделаны в форме извинения. Я приношу извинения всем присутствующим, что позволил себе заговорить о Белых Победителях, и хочу объяснить, почему я это сделал.

Я, будучи в эмиграции, как-то написал книжку под заглавием «1920 год». Там, между прочим, я изложил мысли, которые мне пришли в голову, когда я смотрел на палатки врангелевских войск, тех войск, которые вы незадолго перед тем вытолкнули из Крыма и заставили выброситься на голый турецкий берег. Эти мысли сконцентрировались в одном фокусе, каковой фокус выразился словами: «Белая Мысль победит во всяком случае». В этом смысле я сказал вам сегодня, что «в этом зале только один человек, который имеет право сказать о себе: я победитель, и этот человек — я»... Эта фраза заставила некоторых опасаться за целостность моих умственных способностей... (Голос: «Правильно!»)

П о д с у д и м ы й: Нет, неправильно! Если бы вы признали меня сумасшедшим, вы могли бы увильнуть и не расстрелять меня, но я не дам вам этого выгодного для вас выхода... Нет, я не безумец и не безумен. Наоборот, в здравом уме и твердой памяти, я заявляю, что я победил, хотя вы меня и судите...

Я победил потому, что победила Белая Мысль... Российская Держава рухнула, подточенная вами, потому что вы

вытравили заповеди Божии в сердцах миллионов и миллионов русских... Вы пытались построить на ее месте новое государство, в котором все должно было быть наоборот. И что же? Вы принуждены были свернуть с вашей дороги — «все наоборот», — потому что смерть и гибель сторожили вас за каждым углом. Куда же вы пошли, испугавшись неминуемого конца? Вы, премудрые реформаторы, вы, великие преобразователи, вы, призывавшие «отречься от старого мира», что же вы сделали нового? Ничего. Убедившись, что голое отрицание «старого мира» не дает ничего, кроме Смерти, во всех видах и формах, что вы изобрели положительного и творческого? Что вы придумали такое, что было бы иное, чем «старый мир», и вместе с тем обеспечивало бы, сравнительно со старым, лучшую жизнь? Ничего. И когда вы это поняли и когда вы отчаялись найти эту лучшую жизнь, ради которой вы разрушили старую, тогда, тогда вы стали бороться п р о с т о з а ж и з н ь: просто за то, чтобы не стать добычей Смерти... И что же вы сделали в этой борьбе за жизнь?.. Как вы поступили, когда наивно-кровавая выдумка вашего недоучки Карла Маркса обанкротилась в потоках гноя и слез? Какой нашли исход?

Это самый важный вопрос. В этом вопросе моя, но и ваша... смерть. Вы имели мужество сказать н а е д и н е с с о б о й: «Кончено, мы ошиблись, мы проиграли; теперь мы должны, спасения нашего ради, оставить всякие мудрствования лукавые и спешить, спешить, пока не поздно»... Спешить — куда? Спешить н а с т а р у ю д о р о г у.

И вы это сделали! В этом ваша заслуга. Да, ваша заслуга, и в особенности заслуга вашего атамана Ленина в том, что, убедившись в своем безумии, вы вернулись на старый путь. Этого у вас никто не отымет. История скажет про него, как и про вас: «Умел воровать, умел и ответ держать». Когда Ленин, подобно удару бича над миллионами рабов (ибо он ограбил все народы бывшей Российской державы, кроме тех, которые увел Врангель), когда Ленин голосом Чингисхана, стегающего нагайкой племена и расы, крикнул шестой части суши апокалипсическое слово «НЭП» и в развитие сего прибавил издевательское, гениальное: «Учитесь торговать», — он

сжег все то, чему он поклонялся,
и поклонился тому, что сжигал...

Так поступают или великие преступники, или герои...
Пусть Ленин герой! Так повернуть руль корабля мог

только человек, который властвует над стихией. Но вы даете ли себе отчет, что значит этот «поворот»?

Это значит, что Ленин, сознательно или нет, стал орудием, инструментом Белой Мысли... Это значит, что Ленин, который повелевал вам, повелевал бесчисленным миллионам людей, «от хладных финских скал до пламенной Колхиды», сам подчинился нам, жалким изгнанникам, влачащим ничтожную жизнь на задворках всех стран мира... (Голоса: «Что такое?! Остановите его! Он опять бредит!»)

Председатель: Я принужден буду лишить вас слова!

Подсудимый: Но я сейчас сам кончу. Если я мог сомневаться в том, что я говорю, раньше, то теперь, когда я пробыл некоторое время здесь, в «реформированной» вами стране, я знаю твердо: вы вернулись на старый, веками, тысячелетиями испытанный путь.

Вы хотели создать рай на земле, в котором люди жили бы, ничего не делая, рай, в котором все произрастало бы и создавалось только в силу одного премудрого устройства, вами же сочиненного. Но вы забыли, что Господь, по причинам ему одному до конца известным, изгнал людей из рая и приказал им трудиться в поте лица своего. Теперь вы это поняли. Теперь вы не талдычите с утра до вечера о восьмичасовом, шестичасовом, трехчасовом и бесчасовом рабочем дне, теперь вы не проповедуете больше режима гоголевского Пацюка, которому вареник сам летел в рот, предварительно бухнувшись в миску со сметаной, теперь даже с излишней суровостью и жестокостью, значительно превосходящей строгость «старого мира», вы требуете ото всех напряженного, упорного, ежедневного, ежечасного труда. И этим вы восстановили заповедь: «Шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твои»...

Но Господь сказал: «День же седьмой Господу Богу твоему...» Сначала вы и это отрицали: ни воскресений, ни праздников! Все разрушить — был ваш девиз. Но позже, когда началось «созидание»? Когда началось созидание, вы поняли то, что людям религиозным было известно от сотворения мира, а именно: что природа человеческая, отражая в себе переживания космические, требует некоего правильного режима во времени, некоей равномерной смены и перемены, некоего такта в своей жизненной мелодии. С незапамятных времен лунный месяц разбился на четыре части, и так создалась седмица. И, возвращаясь в дом отца в качестве блудного сына, вы поспешили восста-

новить древнее деление «старого мира» и празднуете седьмой день, как повелел Господь. Вы пошли и дальше по этому пути, и из уважения к христианскому населению вашей атеистической социалистической державы вы празднуете христианские праздники. И празднуете так ригористично, как это не делается ни в одной другой стране: два дня Рождества Христова я бродил по городу Киеву «в рассуждении чего бы покушать», но не мог воспринять никакой пищи, ибо не только все «сорабкопы и ларьки», но даже все «укрнарпиты и укрнархарчи» были закрыты в силу грозного повеления советской власти. И даже *ad majorem Dei gloriam** были закрыты все частные столовки и чайные, так что если бы не безбожный, языческий вокзал, не знающий даже в вашей богобоязненной стране святости отдыха, то я бы почил в своем родном городе жертвой вашего христианского рвения... (Смех. Голос: «Не время острить!..»)

Подсудимый: Но да не смутится дух ваш. Вы на правильном пути, «чрезмерности» случаются со всякими неофитами... Но сказано: «Господу Богу твоему» — воскресный отдых. Делается ли это?

На первый взгляд — нет. Но «при ближайшем рассмотрении»? При ближайшем рассмотрении оказывается, что вы всячески покровительствуете воскресному спорту. И я должен вам сказать, что этим вы оказываете огромную услугу Белому Делу. Вы, конечно, слышали латинскую поговорку: «В здоровом теле — здоровый дух»? Так вот, создавая здоровые души, вы этим самым вырываете у себя почву из-под ног, вы рубите сук, на котором сидите. Ибо вся сила ваша, сила Красного (или что то же — Черного) против Белого покоится на зародышах бунта, таящихся в каждой человеческой душе... Это, очевидно, подарок Дьявола, который, должно быть, тайно также приложил руку к мирозданию. Эти искры бунта разрастаются в ненасытный огонь в душах больных, измученных... Вот эти больные души, вечно всем недовольные, и суть ваши легионы, которые вы постоянно бросаете против существующего порядка вещей, против Бога... Поскольку вы их вылечиваете, постольку вы теряете ваших воинов, воинов вашей социалистической армии, которая на девять десятых состоит из злобствующих... Правда, вы по-

* К вящей славе божией (лат.). (Прим. ред.)

лагаете, что в настоящее время в этой стране вы сами есть «существующий порядок вещей», что поэтому злоба злобствующих обратилась бы именно против вас самих, что, следовательно, вам уже выгодны не «больные души», а, наоборот, «здоровые», то есть те, в которых ослаблены семена бунта... Вы правы, но только потому, что вы явственно, неумолимо и неуклонно «белеете»... Ибо Власть есть сама по себе явление Белое. И недаром сказано: «Несть бо власти, аще не от Бога». В этом смысле и вы от Бога. Из этого не следует, что против вас не надо восставать. Нет, против вас надо восставать (почему — я скажу позже), но ни в коем случае не надо восставать против и д е и в л а с т и. И поскольку вы осуществляете идею власти, вас надо поддерживать, ибо вы делаете Белое Дело. Для ясности поясню сие примером. Вот вы восстановили дисциплину в армии. Сие есть дело чисто Белое, то есть благое. Поэтому, восставая против вас, мы отнюдь не предполагаем развратить и разрушить армию, поведя подчиненных против своих начальников, как вы это сделали, свергая нас. Нет, мы надеемся сохранить армию в порядке и дисциплине, а достигнуть своей цели, просто «скусив верхушку»... (Голоса: «Что такое! Да как он смеет! Вон! Долой! Какая наглость! Белогвардейская сволочь! Это открытый призыв к свержению советов! Товарищ председатель, да что вы спите! Остановите его!» Продолжительный шум. Звонки председателя.)

Председатель: Я запрещаю вам, пользуясь своим последним словом, вести здесь антисоветскую агитацию! Вы бессовестно злоупотребляете снисходительностью и великодушием советского правосудия! (Продолжительные и оглушительные аплодисменты.)

Председатель: Я делаю вам последнее предостережение и в следующий раз лишу вас слова!

Подсудимый: Благодарю вас. Я искренно тронут терпимостью советского правосудия. Свой долг благодарности я думал заплатить полной откровенностью... Но, разумеется, если этого нельзя, я постараюсь говорить более прикрито...

Чтобы не обострять вопроса, я скажу просто, что я в высшей степени приветствую то, что на советском языке называется «физкультурой». Многие может перемениться в будущем, но здоровье, заработанное молодежью при помощи всякого рода физических упражнений, любовь к природе, нежной спутнице мужественного спорта, и обла-

гораживающее влияние на душу того и другого — это останется...

Впрочем, когда я, между прочим, заговорил о дисциплине в советской армии, я в сущности предвосхитил дальнейшее, к чему и обращусь сейчас. Всякая дисциплина есть вещь сугубо Белая. Дисциплина есть осуществление иерархического принципа, есть категорический императив, повелевающий младшим уважать старших и повиноваться им. Это именно требование содержится в заповеди: «Чти отца твоего и мать твою». И хотя советская власть на первый взгляд подрывает родительскую власть и воспитывает коммунистическую молодежь в антиродительской психике, но это только — видимость: на самом деле советская власть ежечасно учит молодежь повиноваться. Советский режим, так сказать, переменял персональный состав «старших». Ими раньше в первую голову были отец и мать, а теперь «за папу и за маму» у молодежи «коммунистические руководители». Конечно, с нашей узкоэмигрантской точки зрения, это факт ужасный, но если посмотреть на него с высоты подлинно Белой Мысли, то все сие переходяще. Я хочу сказать, как персональный состав наставников, так и содержание внушаемых истин. Гораздо важнее вырабатываемая повиновением психическая ткань. Я не могу углубляться в это и скажу просто, перефразируя поговорку про болото и чертей: «Была бы дисциплинированность, а начальники будут...» (Голос: «Да, — красные командиры!»)

П о д с у д и м ы й: И красный цвет выцветает на солнце. Но я перехожу теперь к предмету, который, надеюсь, не вызовет между нами разногласий.

Шестая заповедь гласит: «Не убий». Эта заповедь не говорит: «Не казни». Нет, Моисей, хорошо зная жестоковость своего народа, да, впрочем, и всех остальных, в своем законе установил смертную казнь. И установил смертную казнь не только для злых людей, но и для злых животных, для злых волов, бодающих до смерти. В этом отношении его психология близка к мировоззрению, которое выражается в хохлацкой поговорке: «Хай злое не живе на свете». Моисей казнил всякого, кто убивал. Казнь не есть убийство. Но что такое казнь? Казнь есть то, за что принимает ответственность на свою совесть правитель, судья. Казнь есть то, что выдерживает его душа. Если он может сказать все-народно: «Да, я казнил их за то и то-то», он не убийца. Он судил и присудил. Он, может быть, судья глупый и жестокий, но он судья. Но скажите, где были судьи, которые при-

судили к смерти государя императора Николая II? В каком суде судили его дело? Кто вынес ему приговор? Каких вызывали свидетелей? Какой защитник защищал его? Никто. Вы просто убили его. Вы убили его, и всю его семью, и всех его кровных родственников. Вы вырезали все племя, не щадя ни женщин, ни детей, вырезали так, как бывало в древние времена прошлого. Вы убийцы. И сколько людей вы убили так, без суда, без мужества выслушать их отповедь... (Голос с места: «А вы это не делали?! Помните, что вы писали в вашем «1920 годе»?»))

П о д с у д и м ы й: Если мы это делали и поскольку мы это делали, мы тоже убийцы и тоже понесем, если уж не понесли, свою кару. Но разве это замечание ваше именно не уличает вас? В чем дело? Вам ли, открыто провозгласившим лозунг «Смерть буржуям», вам ли спрашивать, делали ли мы это? Если мы это делали, то жалко подражая вам. Вы провозгласили лозунг массовой расправы без суда, лозунг массовых убийств всех тех, кого вы называли приспешниками старого строя, вы написали это на ваших знаменах, вы к этому призывали миллионы темных людей. Вы с этого начали. Так продолжайте же! Почему вы застыдились? Почему вы сейчас уже не кричите: «Смерть буржуям»? Почему не устраиваете уже «Варфоломеевских ночей»? Зачем вы устраиваете какие-то суды? Я знаю, что вы продолжаете убивать в подвалах, где по-прежнему заводятся моторы, чтобы заглушить расстрелы и стоны, но разница в том, что вы стыдитесь этого. Иначе зачем бы вы устраивали это подобие правосудия, зачем бы вы копировали так трагически-смешно наш старый, вековой, тысячелетний, буржуазный суд? Почему? Да потому, что шапка сатанистов оказалась не по плечу вашим мелким головам. Были люди сильнее вас во зле, и они не выдерживали. И они уступали. Уступили и вы. Ибо Белая Мысль побеждает во всяком случае. Временно можно идти ей наперекор, но она возьмет свое. И вы, убившие царя и бесчисленное число людей во имя социального безумия, которое вы объявили новой формой общежития, вы в конце концов должны были смириться и склонились перед заповедью: «Н е у б и й». О, я не обольщаюсь! Я знаю, что вы убиваете еще и сейчас, что вы устраиваете процессы только тогда, когда это вам выгодно, но вы уже не смеете проповедовать, что убийство, как таковое, д о з в о л е н о и н у ж н о. Где зажигающие речи, натравливавшие одних людей на других, как на диких зверей? Вместо этого, я знаю, вы издали тайный декрет, запрещающий пропаганду на фабриках, про-

паганду социальной вражды... (Голос с места: «Откуда вы это взяли?»)

П о д с у д и м ы й: Откуда бы ни взял, но это так. Сейчас, если какой-нибудь из застарелых агитаторов, не понимающий «новой экономической политики» со всеми ее последствиями, явится на завод и будет призывать к забастовке, натравливая против нэпманов, стоящих во главе данной фабрики, то сии нэпманы звонят в ГПУ. И оттуда присылают соответствующих успокоителей, которые весьма быстро расправляются со смутьянами. Не время натравливать класс на класс, когда лозунг «Все на экономический фронт». Так-то, начавши с лозунга «Смерть буржуям», вы сейчас всеми силами своего социалистического государства охраняете их драгоценную жизнь. (Голос: «Что за чушь!»)

П о д с у д и м ы й: Иногда правда, действительно, бывает невероятна!

Но какой отчаянный поход, какой звериный вой вы подняли против седьмой заповеди! Заповедь эта в различные времена понималась различно. Существовало единобрачие, существовало многоженство. В те времена, когда Моисей вынес свои скрижали, существовало многоженство. Теперь во всем христианском мире эта заповедь охраняет единобрачие. Сущность ее не в этом. Сущность ее в том, чтобы между двумя началами, мужским и женским, отношения соответствовали высоте их духовного развития. У скотов они одни, у людей другие, у святых еще иные. Сущность заповеди в том, чтобы не принижать того, что достигнуто. Люди достигли великого слова «Любовь». Из прежнего акта «совокупления» они сделали таинство. И это охраняет седьмая заповедь. Вы же, с вашей потребностью отрицать все решительно в старом мире, захотели, чтобы люди непременно обратились в скотов. Но на этом пути нет ходу. Если вы этого еще не поняли, то поймете завтра. От скотообразных людей нельзя требовать служения высшим идеалам. И вообще — никакой идеи. Скот есть скот и потому и совокупляется по-скотски. Люди же отыскивали более высокие формы единения и от них не отступятся, а вы, нигилисты, реформаторы от противного, вы, нетчики на все положительное, что добыто веками, вы должны будете отступить. И здесь, как и всюду. (Голос: «Да, довольно! Будет!»)

П о д с у д и м ы й: Нет, еще не довольно! Еще про товарищей-воров сказать осталось. Вы начали с резкого, ничем не смягчающего отрицания заповеди: «Не укради». Ленин бросил в толпу русского народа, никогда в этом смысле не

отличавшегося особенно благочестием, лозунг «Грабь награбленное». Этим он создал бесчисленные миллионы убежденных, неприкрытых воров, бандитов и разбойников... Но это время прошло и утонуло в Лете блаженной памяти «военного коммунизма». Сейчас не так. Сейчас ту собственность, которую вы вернули своим подданным (правда, вернули не тем, кого ограбили, но с точки зрения принципа, это не так важно), вы охраняете со всей безжалостностью, которая для вас характерна. Пусть кто-нибудь попытается бы сейчас грабить награбленное вашими нуворишами, вашими нэпманами, вашими новыми буржуями. Их разрешается грабить, и то не грабить, а доить только ГПУ... А остальные граждане — руки прочь! На чужой каравай рот не разевай. На часах у каравая стоит советская власть во всеоружии своего «аппарата принуждения». И будь ты, о пролетарий, сто раз беден, будь ты сто тысяч раз голоден, это не тронет никого в стране, где провозглашена диктатура пролетариата. Ты можешь простаивать бесконечные часы перед роскошными витринами, за стеклом которых сверкают «своею наглою красою» икра, балыки, семга, рябчики, фазаны — все цвета самого изысканного и самого беззастенчивого обжирательства, все это приводит в неистовство твой голодный, обильно поливаемый желудочным соком живот, но бойся, несчастный, разбить сие ценное стекло, отделяющее тебя от этого рая... Если ты это сделаешь, ты узнаешь, что твоя социалистическая родина твердо стоит на восьмой заповеди Моисея! (Голос: «Довольно врать-то!»)

П о д с у д и м ы й: Нет, о врать я еще не говорил. Перехожу к ним как раз. Вы еще не узнали и не поняли силу девятой заповеди, запрещающей ложь, клевету. Вы еще думаете, что это средство испытано и что оно сослужит вам еще не одну службу. Но и здесь нет того святого убеждения в спасительности лжи, которым вы еще недавно горели. Вы уже не смеете лгать так беззастенчиво, как еще лгали недавно. Крупницы правды со всех сторон пробиваются сквозь завесы лжи, и скоро вы поймете, что «брехней» свет пройдешь, да назад не воротишься. Старый режим, старый мир, от которого вы отреклись, облив его самой гнусной ложью и клеветой, старый мир встает из-под этого потока, как будто бы он был сделан из хрусталя. Ложь скользит по нем, как глыба глетчера. С ужасом видите вы, как все то, что вы лгали, все, что вы «послушествовали ложно», обращается против вас. Вы трепещете, потому что хорошо знаете, что эта идеализация старого, идеализация, которую вы сами создали, ибо покры-

ли это старое незаслуженными потоками клеветы, что эта идеализация есть самый ваш грозный враг. Перед ним вам не устоять. Он стучится везде, во всякую дверь, в дверь самой бедной хижины. Он пролезает в щель, куда, казалось, не может проникнуть ни единый луч света. Мало того, этот грозный призрак стучится в ваши собственные сердца: глядя на тот новый мир, который вы создали, прошлое начинает казаться многим из вас прекрасной грезой, и страшно вам по ночам, когда вы думаете о тех потоках черной неправды, которую вы на него бессмысленно, безрезультатно вылили. Так жестокий воин и палач Савл, встретив тень Христа, кроткую и призрачную, не смог выдержать вопроса Божественного Привидения: «За что ты Меня гонишь?» И близок день, когда из ваших рядов выйдут Павлы, обратившиеся из Савлов, и они будут наиболее горячими защитниками и восхвалителями той старой России, которую они же так ужасно оклеветали! (Голос: «Кончайте!»)

П о д с у д и м ы й: Кончаю. О десятой заповеди мне сказать нечего. Я уже говорил о ней. Ею запрещается социальная зависть, ею запрещается натравливание бедных на богатых, ею запрещается вражда классов, ею запрещается как раз именно основание и базис всего социалистического учения. Со всей силою, на какую вы были способны, вы встали против нее. И вот прошло несколько лет, и вы отреклись от этой основы. Теперь вы внушаете смирение, вы внушаете всем гражданам захваченного вами государства терпение, вы освятили социальное неравенство, вы вновь воссоздали социальную лестницу и позволили двигаться по ней вверх и вниз, в зависимости от способностей людей. И даже более того. Вы усилили это неравенство. Оно сейчас более острое, чем раньше. Гонясь за одной большой целью, которую вы выражаете словом: «Все на экономический фронт», вы зажали в тиски все зависти и неудовольствия, все то, что собрано в суровом запрещении: «Не пожелай ничего, елика суть ближняго твоего». На Западе, в этих буржуазных странах, которые вы мечтали перевернуть, там применение Моисеева закона все же не так сурово, как здесь. Там, правильно или неправильно, но все же существует отдушина. Когда ад озлобления и зависти слишком переполняет сердца более бедных, они, объявляя забастовки, выражают свой протест и, так сказать, этим срывают сердце. Редко это достигает цели, потому что редко хватает у них разума не требовать больше, чем дать возможно. Но есть хоть отдушина. Здесь же, в республике рабочих и крестьян, в социалистической респуб-

лике, руководимой партией коммунистов, здесь у тех, кто находится внизу социальной лестницы, отнято и это. Работайте и молчите. Забастовка? Со всякой забастовкой расправляется у вас ГПУ так быстро, что она не смеет и возникнуть. Тот, кто посмеет предложить забастовку, того ждет бесследное исчезновение в тайных подвалах, где моторы заглушают всякий стон.

Вот чем вы закончили поднятое знамя за лучшее будущее «голодных и рабов».

Но вы спросите, если все это так, если вы сейчас неукоснительно исполнительны в отношении Моисеева закона, то какая же такая огромная пропасть между вами и мною, именно за этот закон разрывающимся?

Есть огромная разница. И чтобы я простил вас... (Крики возмущения, смех, неистовый шум: Остановите Поприщина! Да прекратите этот бред!)

Председатель: Я в последний раз делаю вам замечание!

Подсудимый: Я тоже думаю, товарищ председатель, что в «последний» раз... Присутствующих граждан удивляет, что я говорю об условиях моего прощения их... (Крики: «Какая наглость!»)

Подсудимый: Но меня не надо понимать буквально. Я знаю, что вы судите меня, а не я вас. Но ведь в мире идей, а здесь борются идеи, все обстоит совершенно иначе. В мире идей вы пришли ко мне, а не я к вам. И в этом понятии я могу диктовать «условия прощения». Условие же прощения одно: признайте ваши заблуждения открыто и всенародно. Пока вы исподтишка, контрабандой, воруете у нас наши знания и опыт, которые не наши, которых мы только временные владельцы, ибо получили их из неизмеримой глубины веков. И вот, делая по-нашему, вы продолжаете болтать всю ту несуразную, безграмотно-наскоро сколоченную чепуху, которую детскими каракулями нацарапали на бакалейной бумажке — сначала Маркс, а потом Ленин. Условие моего прощения — это громкое и отчетливое ваше признание и сознание: да, мы ошиблись, когда подняли знамя бунта против Белой Мысли.

Умоляю вас, не думайте, что я — сумасшедший. Если я говорю о том, что я могу даровать вам прощение, то только потому, что я здесь единственный представитель того огромного мира, против которого вы согрешили. Я — ничто, но в сравнении с вами я то же, что единственно разумный че-

ловек среди безумцев, и мне жалко вас! (Голос: «Это просто невероятно!»)

П о д с у д и м ы й: Не смотрите на меня глазами, в которых смешивается крайнее удивление с каким-то насмешливым сожалением. Вы думаете: сегодня вечером, милый друг, *finita la comedia*, и ты отправишься куда следует. Под звук пущенного мотора ты «кончишь свою речь». Как вы наивны, вы совершенные дети! Вы уничтожите тело, которое мне достаточно надоело, и думаете, что это будет для меня великое несчастье. Несчастье будет для вас, если мне не удастся заронить хоть луч света в беспросветный мрак вашего сознания. (Голос: «Бедные — мы!» Смех.)

П о д с у д и м ы й: Я счастлив, что вы пришли в хорошее настроение. Но теперь я вам скажу самое главное. Я вам скажу, почему вы должны будете уйти.

По законам священного возмездия и искупления вы должны были восстановить то, что вы разрушили. Скучную, черную работу, собирание обломков, разбросанных вами во все стороны света, вы должны будете выполнить. Камень за камнем, доску за доской, черепицу за черепицей, — вы обязаны будете вновь отстроить тот дом, который вы снесли. Но жить вы в нем не будете. Ибо все должно идти вперед. Ибо кроме десяти заповедей, есть заповедь одиннадцатая. Эта заповедь долго таилась в недрах мира, но когда пришел Христос, она своим светом настолько превзошла старые заповеди, насколько взошедшее солнце гасит мерцанье луны.

Суровы заповеди Моисея. Оне огромные столбы, высеченные из векового камня скал. На них держится свод человеческого общения. Без них все рушится. Но значит ли это, что при соблюдении их все хорошо? Значит ли исполнение декад, что на этой земле нет жестокого страдания, нет тяжких несправедливостей, беспросветного существования, крови и слез? Кто сказал бы, что все хорошо, солгал бы точно так же, как тот, кто сказал бы, что все плохо.

Новая заповедь: «Любите друг друга», одиннадцатая и последняя заповедь, есть божественное повеление смягчать суровости древнего закона.

Среди вас не все были злы. Некоторые пришли к безумию оттого, что их слишком взволновала изнанка жизни. Из-за теней они не увидели света. Но значит ли это, что теней нет?

И вот поэтому вы должны будете уйти. Вы, обжегшиеся на тенях, вы, захотевшие ослабить мрак и потушившие самый свет, вы, разочаровавшиеся, будете беспощадны и

жестоки. Как всякие неопиты, впрочем... С превеликими трудами вновь запалив огонь Прометея, вы так будете дорожить им, так трепетно будете бояться потерять этот свет, что будете отрицать и самое существование тени. Восстановив приблизительно старый порядок, от которого когда-то вы так страстно отрекались, вы будете иерихонскими трубами воспевать ему осанну! Вы будете утверждать, что всюду свет, что тени больше нет. И безжалостной рукой вы будете давить и преследовать тех несчастных, кто будет мерзнуть и слепнуть в этой тени.

Ибо тень не уйдет. Тень будет. И вот почему должны уйти — вы! Вы должны уйти, чтобы дать место другим, следующим. После вас придут они — те, кто не сделал вашей ошибки. Кто не мыслил ложно, что в мире только тени или только свет. В мире есть и свет и тени. Свет надо лелеять, как Бога, но в тень надо вносить свет.

Вы должны будете уйти потому, что вы будете слишком жестоки и прямолинейны. Вы, восставшие за «голодных и рабов», больно ударившиеся о действительность, совершившие страшные ошибки, — вы будете беспощаны к голодным и будете «подло властвовать» над рабами. Вы, поднявшиеся было за бедных, вы, которым не дано было, однако, облегчить их участь, вы, видевшие зато близкую гибель «всех, всех, всех», вы, разбившиеся души, — вы забудете о нищете! С опаленными крыльями, влачась по земле, вы будете послушной игрушкой в руках богатых, — ваших, отныне, безотпорных владык.

Вы желали облегчить рабочему тяжесть его станка. Но узнали на горьком опыте, как страшно выпускать злых духов на волю. Тогда отчаянными усилиями вы загнали демонов обратно «в бутылку». И, испепелив душу в борьбе с теми самыми «трудящимися», ради которых вы добывали власть, вы отныне враги рабочему племени! Вы уже не можете пожалеть их, посочувствовать им. В лучшем случае вы забудете о рабочем. Вы забудете о том, что пока ничего не переменялось «на социальном фронте», фабрика, как была, так и останется тяжелым наследием современного мира, его изнанкой, его обратной стороной, его тенью, той тенью, о которой ни один правитель и никакое «руководящее» меньшинство или большинство забывать не могут!

Вы должны будете уйти, сойти с круга, как тот конь, который не взял барьера. Вы потеряли дух, вы потеряли уверенность, вы потеряли веру, вы потеряли идеал.

Ибо не то плохо, что некоторые (лучшие) из вас хотели

помочь той части человечества, которую современная цивилизация давит своим лакированным каблуком. А то плохо, что вы схватились не за то оружие, что вы пошли в бой не с тем мечом. Ваш меч казался вам непобедимым, ибо с него потоками лилась человеческая кровь. На самом деле, несмотря на кровь, это был картонный меч в детских руках.

Поэтому вы должны уйти. Вы — дети, хотя и кровожадные дети. Ужаснувшись тому, что вы сделали, вы усомнитесь в самом существовании, вы заподозрите «Святое Святых».

А Святое осталось. Святое будет святиться. Оно повелевает, чтобы мы, люди, подымались по лестнице Иакова. И д т и в в е р х... Если случится скатиться, не отчаиваться, не ожесточать сердца. Перевязав раны падения, вновь совершить пройденный путь. Дойдя до уже когда-то достигнутой черты, не остановиться. Всегда, вечно — вперед, вверх, к Небу. Ступенька за ступенькой...

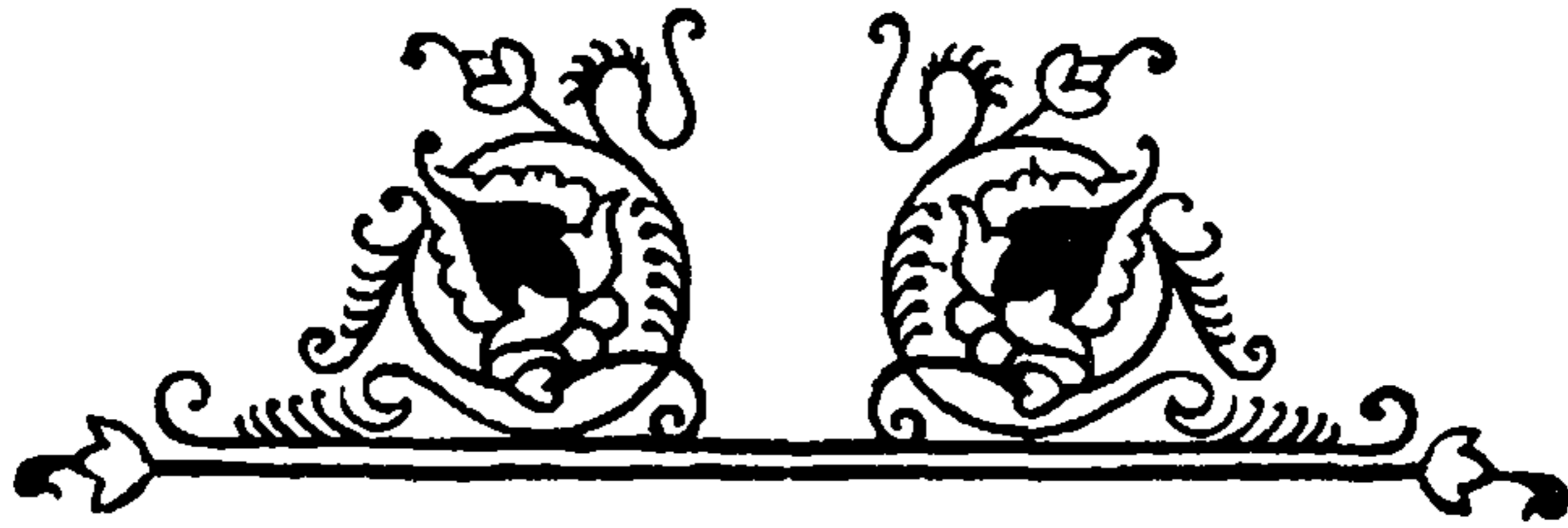
Возвращаясь, после мятежного против Неба восстания, в лоно Старого Закона, смягчить суровость Мира велением Закона Нового. Вновь ставя ставку «на сильных» — милостью гореть к с л а б ы м.

Лелея Свет — помнить о тени.
Ибо пока есть свет, будут тени.
Природу вместе создали:
Бел-Бог и мрачный Чернобог...

На этом я кончил свою речь.

И что произошло тогда?

Да, ничего не произошло. По той простой причине, что вообще этого ничего не было. Ведь это была только воображаемая речь перед воображаемыми судьями.



НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА



*Ad augusta per angusta**

* Великих целей достигают, преодолев великие трудности (лат.).



НЕКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ

Русский народ создал огромную державу, которую принято называть шестая часть суши. Это акт мирового значения, что особенно ясно стало в наши дни.

Мир при всех своих заблуждениях ищет единства. Ибо только единство может спасти земной шар от самоубийственных распрей.

В этом весь смысл создания великих империй.

Всякому ясно, что несколько огромных кусков земли легче придут к соглашению, чем бесчисленное количество мелких лоскутков. Над этим великим делом в течение тысячелетия работали Киев, Москва и, наконец, «Петра творенье».

Второе дело, совершенное тысячелетними усилиями русского народа, это создание так называемой русской культуры.

Не следует в припадках безвкусного бахвальства преувеличивать ее значение. Но все же можно и должно признать, что Россия кое-что внесла в мировую сокровищницу. И это, главным образом, совершилось в эпоху, когда, по выражению Пушкина:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Медный всадник вздернул Россию на дыбы, и этот вздыбленный конь из своих огнедышащих ноздрей засыпал Россию искрящимися талантами.

— «Что делаем, что видим, что слышим, о россияне! Солнце земли русской закатилось... Петра Великого погребаем», — воскликнул Стефан Прокопович над гробом Петра I, а Белинский писал: «На реформы Петра Великого Россия ответила Пушкиным».

На третьем направлении русский народ под водительством Санкт-Петербурга совершил свое самое великое деяние. Он три раза взывал к мировой совести, напоминая о том, что высшее благо на этой земле — мир между народами.

В 1815 году русские вошли в Париж. Несмотря на проиг-

ранную войну, парижанки были очарованы казаками и в честь их стали носить одежду, названную казакинами. А парижане были очарованы не только безукоризненным французским языком русского императора, но и его великодушным к побежденной Франции.

Стали известны его слова: «Франция нужна миру. Я не позволю ее унижить».

Растроганные парижане, в лице своего городского управления, явились к Александру I и просили его разрешения назвать одну из улиц Парижа его именем. Александр ответил:

— Прошу вас этого не делать. Пройдет немного времени, и улица Парижа, носящая имя русского императора, станет вам неприятной. Она будет напоминать вам о том, что русские войска были в Париже в качестве победителей. Если хотите сделать мне приятное, назовите эту улицу улицей Мира.

Желание русского императора было исполнено. Улица Rue de la Paix (улица Мира) и сейчас существует в Париже, почитаясь одной из лучших. Таким образом, бесчисленные улицы Мира, которые имеются сейчас в городах и городках Советского Союза, являются потомками парижской своей праматери.

Императора Александра III называли царем-Миротворцем. Он говорил: «Любить войну может только тот, кто ее не видел».

А он, будущий Александр III, видел войну 1877—1878 гг., командуя на фронте одной из дивизий. Но свое миролюбие Александр III доказал не только на словах.

Своего старшего сына, наследника престола, будущего императора Николая II, отец послал в кругосветное плавание с целью образовательной. Объехав всю Азию, будущий русский император причалил к берегам Японии с намерением нанести японскому императору дружеский визит. Когда высокий гость шел по мосткам, проложенным с корабля на пристань, где ожидал его японский император, некий самурай с обнаженной саблей бросился на наследника русского престола и нанес ему удар по голове. Рана была легкой, но это происшествие произвело впечатление, о котором может судить нынешнее поколение, представив себе картину: Хрущев сходит с ТУ-104 в Нью-Йоркском аэропорту и некий американец стреляет в него из револьвера.

Я не знаю, что бы произошло сейчас после такого происшествия. Но Александр III, узнав о покушении на берегах Японии, принял извинения Микадо, т. е. японского им-

ператора, и только приказал сыну немедленно покинуть негостеприимный остров.

Чтя память и заветы отца, молодой император Николай II в 1899 г. обратился к великим державам с предложением сообща подумать об обеспечении мира в мире, об учреждении постоянно действующего международного суда, в котором разбирались бы конфликты между державами и вопрос о всеобщем разоружении.

По почину России 18 мая 1899 года собралась так называемая Гаагская конференция в составе Австро-Венгрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирана, Испании, Италии, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, единой делегации от Норвегии и Швеции, делегаций от Португалии, России, Румынии, Сербии, Сиамы, США, Турции, Франции, Черногории, Швейцарии и Японии.

Вторая Гаагская конференция была созвана по инициативе США 15 июня 1907 года в составе всех участников первой конференции, а также американских государств: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Доминиканской республики, Колумбии, Кубы, Никарагуа, Панама, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора.

Представители этих почти всех государств мира разработали и подписали международные соглашения, устанавливающие законы и обычаи войны, права и обязанности нейтральных стран, и заключили конвенцию о мирном разрешении международных споров.

Но, вообще говоря, державы саботировали благородные и дальновидные идеи русского императора.

С запозданием почти в четверть века, 28 июня 1919 года, при подписании в Версале мира с Германией, закончившего Первую мировую войну, была учреждена Лига наций. Устав ее составлял первую часть «Версальского мирного договора», который Ленин охарактеризовал как «...договор хищников и разбойников... Это неслыханный, грабительский мир, ставящий десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, в положение рабов».

Лига наций должна была развить принципы Гаагской конференции, но она довольно бесславно скончалась.

С запозданием на полвека, после Второй мировой войны, на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года была создана Организация Объединенных Наций.

Она бьется над теми же вопросами, только теперь они стали труднее разрешимыми, чем в 1899 году. За это время про-

лились реки крови, моря слез, из которых образовался океан желчной злобы и неукротимой ненависти.

«Упущение времени смерти безвозвратной подобно», — говорил Петр Великий.

Невольно вспоминаются эти слова, когда думаешь о Гаагской конференции, предложенной Россией и не понятой миром.

7 марта 1955 года Министерство иностранных дел СССР в своей ноте правительству Нидерландов подтвердило, что Советское правительство «признает ратифицированные Россией Гаагские конвенции и декларации 1899 и 1907 годов, разумеется, в той мере, в какой эти конвенции и декларации не противоречат уставу ООН».

Новым правителям России стало ясно, что в новой обстановке надо действовать иначе.

А что же случилось с Шульгиным? Шульгин был ярким противником советской власти, но большим поклонником Шекспира. А Шекспир устами короля Лира изрек: «И злая тварь милее твари злейшей». Когда Гитлер напал на русский народ, Шульгин вспомнил Шекспира и ощутил: злой Сталин лучше злейшего Гитлера. С этой минуты Шульгин желал победы Сталину.

За такие чувства Иосиф Виссарионович пожаловал Шульгина 25-летним тюремным заключением вместо того, чтобы его повесить, как престарелого писателя, атамана Краснова.

Но Сталин умер, на смену ему пришли другие люди, в частности Хрущев, и по указу от 14 сентября 1956 года Шульгин был освобожден. Никто его не миловал, и он не просил о помиловании. Помилованный и принесший покаяние, Шульгин не стоил бы и ломаного гроша и мог бы вызывать только презрительное сожаление. Он был освобожден вместе с великими тысячами других людей, потому что методы Сталина устарели.

Новым правителям стало ясно, что в новой обстановке надо действовать иначе.

Освобожденный, Шульгин, осмотревшись, сделал некоторые выводы и стал по мере своих ничтожных сил поддерживать Хрущева. Почему? Ему показалось, что в лице последнего мир, стоящий на грани безумия, обрел, наконец, здравого мыслящего человека. Думаю, что всем должно быть ясно, что именно Шульгин, размышляющий и свободный в своих чувствах, может приносить хотя бы малую пользу общему делу.

ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПОСЛЕДНИЙ САМОДЕРЖЕЦ

Николай II, этот несчастный Государь, был рожден на ступенях престола, но не для престола. Он сам это хорошо сознавал. В одном из покоев дворца в Ливадии, в Крыму, 20 октября (1 ноября) 1894 года скончался Александр III.

Новый царь, Николай II, сдерживая рыдания, вышел в соседнюю комнату, где вместе с другими членами императорской фамилии был великий князь Александр Михайлович. Женатый на сестре Николая II, Ксении Александровне, Александр Михайлович был самым близким человеком молодого царя, его другом. Естественно, что первые слова только что ставшего царем Николая II были обращены к нему, т. е. к Александру Михайловичу.

Что же сказал новый правитель России?

Это были слова отчаяния:

— Сандро (так называли Александра Михайловича в царской семье), Сандро, я не могу править Россией.

Это были пророческие слова. У Николая II было множество семейных и человеческих добродетелей и достоинств, но у него не было качеств, необходимых для царя: твердости и властности.

Между тем обстоятельства складывались так, что Россия вступила в очень трудную полосу своего существования. На востоке и на западе восстали против нее два апокалипсических зверя, в виде яростных национализмов, — японского и германского. Удар с востока Россия кое-как выдержала. Она отбила революцию 1905 года, но удар с запада был роковым.

Санкт-Петербург, ставший Петроградом, не смог выдержать натиска императора Вильгельма II и был смыт революцией 1917 года.

Когда Николай II убедился окончательно в том, что он знал еще при восшествии на престол, то есть что он не может править Россией, он отказался от трона.

Некий Шульгин, убежденный монархист, с отчаянием в сердце, но пытаясь спасти монархию и династию, принял отречение императора Николая II 2(15) марта 1917 года.

Впоследствии, а именно в 1922 году, он Шульгин описал обстоятельства отречения Николая II в книге «Дни».

Он написал эту книгу в эмиграции, т. е. свободно, изложив в ней все то, что ему было известно. Эта книга была перепечатана в Советском Союзе, насколько я знаю, в двух

изданиях, но затем была изъята по неизвестным мне причинам.

Царь, кротко отрекшись от престола для того, чтобы облегчить судьбу России, через 16 месяцев после отречения был убит в подвалах Ипатьевского дома в Екатеринбурге, нынешнем Свердловске. Убит вместе с женой, четырьмя молодыми дочерьми и четырнадцатилетним сыном.

В настоящее время мне стали известны обстоятельства, при которых это совершилось, со слов некоторых лиц, которым я доверяю.

Шло заседание Совнаркома. Председательствовал Ленин. Вошел Свердлов и шепотом сказал что-то Владимиру Ильичу. Последний прервал заседание, сказав:

— Срочное сообщение. Получена телеграмма, которую прошу выслушать.

Свердлов прочел телеграмму примерно такого содержания:

«Ввиду приближения к Екатеринбургу отрядов Колчака, местный исполком решил ликвидировать бывшего царя Николая II и его семью.

Постановление это приведено в исполнение. Царь и его семья расстреляны.

Подписано: Белобородов, председатель Уральского областного совета». По прочтении телеграммы воцарилось молчание. Ленин спросил:

— Кто желает высказаться по поводу телеграммы?

Никто не пожелал высказаться.

Ленин сказал:

— Примем к сведению.

От этого бесстрастного «примем к сведению» содрогнулся весь мир. Не столько от страха, сколько от отвращения. И эта дрожь продолжается по наши дни.

Тяжело преодолеваемые трудности международного положения в значительной мере происходят от недоверия к советской власти. Над миром все еще трепещет это каменное «примем к сведению» после совершенного, душу переворачивающего злодеяния в Екатеринбурге.

Руководители мировой политики, быть может, еще до сих пор в свои бессонные ночи думают: «Если бы у нас в связи с нарастающей силой мирового коммунизма произошла революция, то как поступят с нами? Какие директивы даст на наш счет всемогущая Москва?»

Я думаю, что руководители мировой политики, если у них бывают такие мысли, ошибаются. Недаром прошло 50 лет...

Я думаю, что Хрущев не повторит того, что совершил Белобородов. Но это следовало бы разъяснить и уточнить. Если не сейчас, то в 1968 году, когда исполнится 50 лет со времени екатеринбургской трагедии, Советскому правительству следовало бы осудить деяние, черной тенью падающее на коммунистическую партию. Вот что я думаю.

Таким путем было окончательно «низвергнуто самодержавие». Но спасло ли это Россию от самодержца?

В январе 1926 года, приехав из Киева, я вышел на площадь в Ленинграде, которая раньше называлась Николаевской, а теперь, кажется, площадь Восстания. Со смешанными чувствами я увидел, что памятник императору Александру III по-прежнему стоит на этой площади.

До революции на памятнике была следующая надпись:

«Строителю великого Сибирского пути».

Теперь же я прочел на памятнике издевательскую надпись Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец народом казнены,
а я пожал удел посмертного бесславья:
торчу здесь пугалом чугуном для страны,
навек сбросившей ярмо самодержавья.

Если бы я знал в 1926 году то, что знаю теперь, я не только не пришел бы в ярость по поводу литературного перла Демьяна Бедного, а улыбнулся бы. Улыбнулся бы улыбкой «очковой змеи». Называли же меня так в Государственной думе.

Воистину бедный Демьян, вероятно, искренно думал, что самодержавие в России низвергнуто «навек».

В действительности же уже в то время еврей Бронштейн под видом Льва Троцкого и грузин Джугашвили в обличье Иосифа Виссарионовича Сталина боролись за наследие Ленина.

Победил Чингисхан, т. е. Сталин. Он воскресил самодержавие, и притом с такой силой, какой оно никогда не знало.

Трудно найти в летописи всех времен и народов царя настолько самодержавного, каким был в течение четверти столетия некоронованный владыка, диктатор грузин Джугашвили.

И сам бедный Демьян испытал «ярмо» этого самодержавия на своей шкуре, когда под конец жизни попал в опалу владыки.

Но я тогда еще слишком мало понимал, что стою на по-

роге нового самодержавия. Тогда я еще только предчувствовал будущее, поэтому я пришел в слепую ярость и разразился по адресу Демьяна Бедного тут же, не отходя от памятника следующим экспромтом:

Не то беда, что беден ты, Демьян,
бывает на мозги богат иной бедняк,
не то беда, что у тебя в душе кабак
и что блюешь на мир ты, ленинизмом пьян,
а то беда, что ты природный хам,
что, подарив плевки царям,
ты лижешь, пес, под кличкою Демьяна
двуглавый зад жида и Чингисхана.

Шульгин прежних лет имел привычку на ругань отвечать бранью, о чем он сожалеет, достигнув преклонного возраста. Относительно же этого экспромта мне стыдно особенно, ибо я увековечил его в книге «Три столицы».

А по какому случаю возникла эта книга, я расскажу в следующей главе.

ТРЕСТ

(история возникновения книги «Три столицы»)

В книге «Три столицы» изложена моя нелегальная поездка в Советскую Россию в конце 1925-го и начале 1926 года.

Ездил я тогда по России конспиративно, будучи белым эмигрантом. Покровительствовала мне подпольная антисоветская организация под названием «Трест». История этого «Треста» до сего дня так же «темна и непонятна», как история мидян.

Органы советской власти о «Тресте» разноречат. Одни считают, что это была настоящая контрреволюционная и очень сильная организация, имевшая свой центр в Москве, другие полагают, что «Трест» был так называемая «легенда», т. е. организация, устроенная агентами власти в целях провокационных.

Во всяком случае, именно эта организация дала мне возможность конспиративно приехать в Россию. Главой ее был некто Александр Александрович Якушев. До революции он был видным работником по внутренним водам с чином IV класса, «его превосходительство».

Троцкий, который в то время был очень силен, узнав о нем, пригласил его к себе. Якушев ответил, что добровольно он к Троцкому не пойдет. Тогда за ним послали солдат и привели его недобровольно. Троцкий встретил его с изысканной любезностью и угостил превосходным обедом, что

в те времена было аргументом не из последних, так как все голодали.

За этой трапезой Троцкий говорил так:

— Александр Александрович, мы прекрасно знаем, кто вы. Вы русский патриот. Так вот, оставайтесь тем, что вы есть. Кроме того, вы еще патриот своего дела, своей специальности. Я думаю, что у вас есть широкие планы насчет того, что можно сделать с русскими реками. Но когда вы делились этими планами с царским правительством, вам неизбежно отвечали: «На это у нас денег нет, есть нужды более насущные». Не так ли?

— Да, это верно,— сказал Якушев.

— Так вот,— продолжал Троцкий,— у нас, большевиков, на такие дела деньги найдутся. Дайте только конструктивные идеи, а мы их осуществим.

Таким образом, Троцкий, между прочим, очень умный человек, поймал Якушева на крючок, нажав на педаль профессионального патриотизма. Якушев стал работать, и так усердно, что ему дали заграничную командировку для ознакомления с тем, что делается на Западе по его специальности.

Но работая по вопросу о реках, Якушев оставался в душе своей противником советской власти и строил планы о ее свержении. Он додумался до диктатуры великого князя Николая Николаевича и наметил в общих чертах программу, которую должен был проводить диктатор. Он, Якушев, ставил во главу угла земельный вопрос. «Мы дадим,— говорил Якушев,— русскому мужику волшебную синюю бумажку».

Под «синей бумажкой» он подразумевал акты о наделении земель в единоличную собственность.

«При царской России,— говорил Якушев,— мы снимали ежегодный урожай от 4 до 5 миллиардов пудов зерновых, при этом мы получали круглым счетом 30 пудов на десятину (гектар). Германия же производила 100 пудов на гектар. Дания — 150, Англия — 200. Такие результаты дает индивидуальное единоличное хозяйство в Западной Европе. Чем мы хуже? 30 пудов на десятину — это позор, скандал и крах государства. 4—5 миллиардов — это законсервированная нищета. Синяя бумажка за 50 лет увеличит урожай в три раза, доведет его до высоты германской».

В 1975 году при помощи синей бумажки хлебоборобы России (единоличники) дадут 12—15 миллиардов пудов зерновых».

Из этого ясно, что Якушев проповедовал возвраще-

ние к реформе Столыпина, к его расчетам и мечтам.

Мечтам этим не суждено было осуществиться, потому что немецкий император «бронированным кулаком» ударил русского великана. Он не захотел ждать осуществления реформы Столыпина.

В 1913 году в Россию приехала архинаучная немецкая комиссия, чтобы посмотреть, как идет аграрная реформа после смерти Столыпина (Столыпин был убит 5(18) сентября 1911 года эсером Д. Богровым). С чисто немецкой добросовестностью комиссия несколько месяцев изучала реформу Столыпина. Вернувшись на родину, немецкие ученые написали книгу, в которой изложены были результаты их исследований. На последней странице этого тома было начертано примерно следующее: «Реформа Столыпина идет успешно и после его смерти. Если так будет продолжаться, через 25 лет Россия будет непобедима».

По-видимому, правители Германии не захотели ждать 25 лет, т. е. наступления 1938 года. Они напали на Россию через год после ученой разведки, т. е. в 1914 году.

Кроме земельной реформы, в вышеизложенном направлении, Якушев предполагал дарование России всяческих свобод, сочетая их силы конструктивной она не стала силой разрушительной.

Тайно проникнув в Россию в 1926 году, я не проявил себя явно и не стал работать с советской властью, а стал работать с заговорщицкой дружиной под эгидой Якушева. Мы хотели реформировать Россию по примеру Запада и не верили в творческую силу насильственного коммунизма. Бросающееся в глаза возрождение России под дуновением нэпа укрепляло нас в этих мыслях.

Когда я уезжал из России (это было в начале февраля 1926 года), Якушев пригласил меня на прощальный обед, на котором присутствовало еще два лица из состава «Треста», а именно — описанный впоследствии в книге «Три столицы» Антон Антонович и неизвестный мне господин средних лет, который, кажется, был Опперпут.

Во время обеда я спросил:

— Вы так много сделали для меня (я подразумевал их старания найти моего сына, ведь причиной моего приезда в Россию было именно это). Что я со своей стороны могу сделать для вас?

Якушев ответил:

— Мы хотели попросить вас, чтобы, вернувшись в эмиграцию, вы написали книгу о вашем пребывании в России.

Я ответил:

— Ни в коем случае я этого не сделаю.

— Почему?

— Потому что я напишу книгу и напечатаю ее, а вас тут перехватывают чекисты. Как я могу быть уверенным, что мои рассказы не подведут вас?

Меня убеждали, чтобы я ничего не боялся. Но я ответил:

— Я исполню ваше желание только под одним условием.

— Именно?

— Можете ли вы устроить так, чтобы вся моя рукопись побывала у вас и чтобы вы вычеркнули все из нее, что представляет опасность.

Подумав, Якушев ответил:

— Это возможно...

И это было сделано. Весь текст книги «Три столицы» побывал в Москве и потом вернулся ко мне в эмиграцию. Якушев вычеркнул только две строки.

Между прочим, вот почему я думаю, что преждевременно называть «Трест» легендой, созданной чекистами ради провокации. Быть может, когда-нибудь окажется, что чекисты того времени играли на две стороны.

Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть — Троцким и Сталиным. Тогда еще не было известно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные антисоветские и антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина. Быть может, ему было известно завещание Ленина, предупреждавшего партию в отношении Сталина.

Якушев был несомненным троцкистом в том смысле, что он считал Троцкого умным и деловитым. Нерешенная в то время борьба между Троцким и Сталиным должна была влиять на тогдашних чекистов.

Об этом можно думать, учитывая, например, роль Ягоды, одного из руководителей ОГПУ, расстрелянного Сталиным впоследствии.

Однажды Якушев сказал мне:

— Что вы думаете о «Тресте»?

Я ответил:

— Я думаю, что «Трест» есть антисоветская организация, и притом очень сильная, т. к. она не боится всемогущей руки ВЧК.

На это он сказал:

— «Трест» — это измена, поднявшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить.

Размышляя об этом предмете сейчас, я думаю: не следует ли под выражением «такие верхи» понимать верховных чекистов?

Чекисты заколебались, не зная, кто победит, и на всякий случай пригревали и троцкистов. Троцкий покровительствовал Якушеву, а поэтому последний и не боялся ВЧК.

Вот, дорогой читатель, в какие дебри мы забрались, желая быть историчными, т. е. правдивыми. Но полагаю, что наши блуждания не без пользы. Теперь должно быть ясно, почему я не остался в Советском Союзе в 1926 году, а исполняя желание Якушева, вернулся в эмиграцию и написал книгу «Три столицы», в которой рассказал, что в России есть внутренние силы, активно борющиеся с Советской властью, и объяснил, за что они борются.

А что произошло бы, если бы я остался в Советском Союзе? Тогда я до дна испил бы горькую чашу страдания, разделив судьбу миллионов несчастных русских людей, ставших рабами Сталина. Из них я считаю героями тех, кто сделал это сознательно, думая, что России нужен самодержавный деспот при тогдашних обстоятельствах. Если же они знали и предчувствовали, что только кровожадный Сталин может отразить еще более кровожадного Гитлера и потому, сжав зубы, покорялись воскресшему Чингисхану, то они и герои, и мудрецы.

Я не герой и не мудрец. Я уехал потому, что мне было не по плечу это героическое унижение. Кроме того, как показали дальнейшие события, остаться в России значило идти на верную смерть. Очень много людей погибло тогда под кличкой «подползающего гада», как тогда выражались. Каким образом мне удалось бы избежать такого конца, если бы я не дал реальных доказательств своей верности Сталину? А «реальные доказательства» — это значило обагрить свои руки кровью своих единомышленников...

Я не мог и не должен был остаться в России в 1926 году. Я шел путем, предначертанным мне судьбой. Я должен был написать книгу «Три столицы».

В своей книге «1920 год» я писал: «Белое движение было начато почти что святыми, а кончили его почти что разбойники». Утверждение это исторгнуто жестокой душевной болью, но оно брошено на алтарь богини Правды. Мне кажется, что эта же богиня требует от меня, чтобы и о красных я высказал суровое суждение, не останавливаясь перед его болезненностью. И вот он — мой суровый приговор: красные, начав почти что разбой-

никами, с некоторого времени стремятся к святости.

Почти что разбойниками были матросы — «краса и гордость революции», которые сожгли офицеров в пылающих топках своих кораблей и палили из орудий по Зимнему дворцу... Почти что разбойниками были агитаторы, провозглашавшие «смерть буржуям» и «грабь награбленное». Почти что разбойниками были безумные реформаторы, которые уничтожили лучших крестьян под названием «кулаков», хлебобобов, которые меньше пили, а больше работали, чем остальные, почему сколотили себе некоторый достаток. Сколько их было? Если их было только миллион, то надо считать, что погибло 5 миллионов человек, потому что кулацкую семью, как всякую семью, надо считать в 5 человек: кроме самого «кулака», его жена и трое детей, по скромному счету. Жены кулаков, заморенные на всяческих лесоповалах и каналах, погибли от горя и нищеты, а дети, что уцелели, стали ворами и пополнили ряды шпаны и малолетних проституток.

Почти что разбойниками были те, которые в чекистских застенках расстреливали людей или совершенно ни в чем не повинных, или повинных только в том, что принадлежали к исторически сложившимся классам — дворянству и интеллигенции, или же не разделяли мнения людей, захвативших власть.

Почти что разбойниками были те, что в январе 1918 года одиннадцать суток долбили Киев снарядами всех калибров. Войдя в город, они расстреляли на улицах несколько тысяч людей из-за френчей, сапог и галифе.

В эту же ночь арестовали и меня и под эскортом двух вооруженных автомобилей доставили в императорский дворец, где до этого жила вдовствующая императрица Мария, а теперь находился штаб революционной армии. Когда мы подъехали ко дворцу, вокруг него венчиком лежали тела расстрелянных. Я уцелел потому, что за меня заступился известный большевик Пятаков. Этот последний, еще будучи студентом, за революционную деятельность был сослан в Сибирь, «в места не столь отдаленные». Через некоторое время он был возвращен в Киев по ходатайству моего отчима, члена Государственного совета и профессора Киевского университета Д. И. Пихно.

Георгий Пятаков, очевидно, почувствовал желание заплатить ему посмертный долг благодарности и отстоял меня. Через некоторое время он стал министром (наркомом) в Советском правительстве. Но в ту эпоху, когда Сталин расправлялся с так называемой «старой гвардией большевиков», он

был расстрелян. Ему приписали какую-то измену, которой, вероятно, не было. Он был человеком честным. Я уцелел, но не уцелел сын Михаила Владимировича Родзянко, который в это время был в Киеве вместе с тысячами других. Не уцелел и митрополит Владимир, расстрелянный в Киево-Печерской Лавре. Однако его смерть послужила на пользу предавшим его монахам — их пощадили.

Почти что разбойниками были те люди, которые под предводительством Белобородова постановили расстрелять царя с его семьей.

Почти что разбойниками были те, кто благодаря нелепому насаждению коллективизации вызвали голод, унесший неисчислимые жертвы. Один врач, выехав в 1932 году из Ахтарско-Приморской станицы, что на Азовском море, в течение многих часов ехал в автомобиле, направляясь к северу. Машина шла по дороге, заросшей высокой травой, потому что давно уже никто тут не ездил. Улицы сел и деревень заросли бурьяном в рост человека. Проезжие не обнаружили в селах ни одного живого существа: в хатах лежали скелеты и черепа, нигде ни людей, ни животных, ни птиц, ни кошки, ни собаки. Все погибло от интегрального голода.

Никакое перо не описало и не опишет невообразимых ужасов, совершенных во славу коммунизма в первой половине XX века. Воистину, красные начали почти как разбойники, хотя и стремились к святости. Эту мысль выразил в 1918 году Александр Блок в поэме «Двенадцать».

Так идут державным шагом —
позади — голодный пёс
Впереди — с кровавым флагом,
и за вьюгой невидим,
и от пули невредим,
нежной поступью надвьюжной,
снежной россыпью жемчужной,
в белом венчике из роз —
впереди — Исус Христос.

Я помню, как я возмущался в 1921 году, что у Блока рифмуются слова «Христос» и «пёс». Но теперь я думаю иначе: Блок был прав. В идеалистических мечтах «Двенадцати», отражавших тучу, которая надвинулась на Россию, было и блистание любви к ближнему, и зловещее завывание шакалов, пожиравших человеческие трупы...

Но, пройдя через все эти испытания и отразив под водительством Сталина зверя еще более лютого, т. е. Гитлера, люди одумались.

С начала второй половины XX века, т. е. после смерти Сталина, обозначилось дуновение гуманитарного духа. Он был и раньше, но заглушался смерчами, поднятыми все-ленской бурей.

Во второй половине XX века коммунисты стали меньше казнить, тысячами выпускали заключенных из тюрем и всю свою неукротимую энергию направили на созидание материальных ценностей. Кроме того, они осознали и высказали открыто, что все успехи техники будут ни к чему, если им не удастся «создать» нового человека. Только он, с сердцем, развитым так же, как и ум, сумеет направить грозные силы раскрепощенной природы на созидание, а не на разрушение. Коммунисты вынесли это из своего тридцатилетнего опыта, залитого морями крови и океаном слез. Они приобрели неоценимое сокровище в этом понимании. Значение этого события не понял мир. Но он стоит на пороге понимания.. Многие думают, что это только благое пожелание, к миру не имеющее никакого отношения. Но это не так. Любить своих врагов — это единственный практический рецепт для исцеления болезней, которыми болеет человечество.

Я не говорю, что это легко. Я не говорю, что я лично этого достиг. Я только стремлюсь к этому. Но сказать по правде, это мне редко удастся. Однако я позволю себе утверждать, что если Хрущев полюбит Кеннеди, а Кеннеди Хрущева, то исполинский корабль, носящий название «мир во всем мире», корабль, уже много времени застрявший на верфи, легко покатится по каткам, смазанным драгоценным елеем альтруизма.

БЕЛАЯ МЫСЛЬ

Борьбу оружием в гражданской войне мы проиграли, но мы не проиграли борьбы в мире идей, борьбы белой мысли против красной, свою «белую мысль» — идею борьбы с коммунизмом мы вынесли с поля сражения как сбереженное знамя, мы сохранили ее, считая, что она завоеует весь мир.

В своей книге «1920 год» я проклял не белую армию, а тех отступников от белого дела, которые запятнали белые знамена грабежами и насилиями. В заключительных главах этого произведения рассказано, как я добрался до Галлиполи в декабре 1920 года. Там, среди негостеприимных гор, приютились остатки белой армии, разбив городок из палаток.

Там, среди этой суровой обстановки, твердой рукой генерала Кутепова восстановилась дисциплина. Несмотря на лишения, восстановилась и культурно-просветительная работа.

Там моим другом, полковником Чихачевым, издавался рукописный журнал под заглавием «Развей горе в голом поле». В этом журнале я поместил статью, содержание которой впоследствии вошло в «1920 год». В статье этой я не проклинал белую армию. Я говорил о том, что были «белые» и были «грязные». «Грязные» остались где-то там... «Белые» отсеялись, и вот они здесь, в белых палатках.

В другой главе этой книги я писал: «Белая мысль победит во всяком случае.» Еже писах, писах.. Писал и повторяю вновь. Белая мысль победит, потому что она частично уже победила.

Самоотверженный труд на благо народа, грандиозное строительство, более гуманное отношение к человеку, освобождение заключенных, сознание, что все проблемы упираются в качество человеческого материала, и, наконец, неутомимая борьба за мир во всем мире — все это элементы белого мышления.

Белая мысль победит окончательно в тот день, когда будет заключен прочный мир во всем мире, когда наступит всеобщее разоружение, когда в связи с материальным благосостоянием душа человеческая поднимется до той высоты, где политическая свобода является элементом не разрушительным, а созидющим.

НЕКИЙ ВЗГЛЯД В НЕКОЕ БУДУЩЕЕ

(ЛЕНИН И ХРУЩЕВ)

Я слишком долго живу, я слишком много ненавидел, я устал ненавидеть, я не верю в конструктивность ненависти. И вот я провозглашаю лозунг: «Да не будет человек человеку волком без деления на классы и нации».

Давайте вспомним забытого Гоголя, а именно его сочинение «Записки сумасшедшего». Мне помнится, они начинаются так: «Сегодня день великого торжества: в Испании отыскался король. Этот король — я...»

Так писал бедный Поприщин, сумасшедший в мартобре неизвестного года.

Нечто подобное испытал я в месяце «октобрии» 1961 года, на XXII съезде коммунистов. Я не записал этого, но подумал: «Сегодня день великого торжества: на XXII комму-

нистическом съезде отыскался истинный ленинец. Это — я...»

Ленин такая великая фигура, которая до сих пор не была понята целиком ни одним мыслителем. Ленина можно уподобить многограннику с великим множеством сторон. Иначе его воспринимают его бесчисленные сторонники, чем некий Шульгин.

Для Шульгина Ленин это — Брест и нэп. И вот откуда бредовые идеи Шульгина.

Я, т. е. новый Поприщин, полагаю, что Ленин, если бы он был жив, выбрался бы из тяжелого положения нашего времени при помощи нео-Бреста и нео-нэпа.

Но что же общего между 1963 годом и годом 1918?.. Что было в руках у Ленина в смысле международной силы? Взбунтовавшаяся армия, готовая дезертировать целиком.

Что было против Ленина? Железный кулак германской армии, не взбунтовавшейся и сохранившей дисциплину.

21 ноября 1917 года Наркоминдел обратился к странам Антанты с нотой, в которой предлагал приступить к переговорам с Германией. Однако ни одна из стран Антанты не ответила на мирные предложения Советского правительства. 23 ноября начальники военных миссий стран Антанты при Ставке верховного главнокомандующего генерала Н. Н. Духонина заявили протест против всяких мирных переговоров и приостановки военных действий, угрожая Советской России самыми тяжелыми последствиями военного, политического и экономического характера.

24 ноября заместитель английского министра иностранных дел лорд Р. Сесил заявил, что Великобритания не признает Советское правительство.

1 декабря государственный секретарь США Р. Лансинг дал инструкцию своему послу в России не вступать ни в какие отношения с Советским правительством и не вести переговоры о мире. В то же время страны германо-австрийского блока в конце ноября согласились вести переговоры о перемирии и мире с представителями советов. Они рассчитывали навязать Советской России грабительский мир, добиться отторжения значительной территории, ликвидировать советскую власть и, сконцентрировав свои силы на Западном фронте, создать перелом в войне в свою пользу.

Ввиду отказа стран Антанты начать переговоры, Ленину ничего другого не оставалось делать, как пойти на сепаратные переговоры, чтобы спасти страну и советскую власть.

15 декабря в Брест-Литовске было подписано соглашение о перемирии с германо-австрийским блоком.

22 декабря начались переговоры о мире. Советскую делегацию возглавлял нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий. Германская делегация потребовала в ультимативной форме отторжения от России территории размером свыше 150 000 квадратных километров.

Россия находилась в состоянии крайней экономической разрухи, армии фактически не существовало. Народ требовал мира. При таком положении Ленин сделал вывод: надо получить мир ценой любых жертв. Однако против подписания мира выступила группа «левых коммунистов» во главе с членом ЦК РКП(б) Н. И. Бухариным. К ним присоединился и глава советской делегации в Брест-Литовске нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий. Они требовали разорвать переговоры с Германией и объявить революционную войну международному империализму. «Левые коммунисты» вместе с Троцким, применяя фракционные методы, всячески противились ленинской линии за мир в ЦК партии, Совнаркомом и ВЦИКе.

В такой невероятно сложной обстановке Ленину приходилось вести тяжелую борьбу за немедленное подписание мира. Между тем 10 февраля 1918 года Германия и ее союзники предъявили Советской России ультиматум. Вопреки указанию Ленина о немедленном подписании мира, Троцкий выступил в Брест-Литовске с декларацией о том, что советская делегация прекращает переговоры и мира подписывать не будет.

Воспользовавшись этим, 18 февраля 1918 года германские войска начали наступление. Но в тот же день на заседании ЦК РКП(б) Ленину удалось сломить сопротивление оппозиции. Совнарком и Наркоминдел 19 февраля направили германскому правительству телеграмму, выражающую согласие на условия мира. 22 февраля пришел, наконец, ответ, в котором предъявлялись новые условия мира, более тяжелые по сравнению с прежними.

3 марта в Брест-Литовске был подписан мирный договор между Советской Россией и странами Четвертого союза. С советской стороны договор подписали заместители наркома иностранных дел Г. Я. Сокольников и Г. В. Чичерин, нарком внутренних дел Г. И. Петровский и секретарь делегации Л. М. Карахан. С германской стороны — министр иностранных дел Германии Р. Кюльман и генерал Гофман, от Австро-Венгрии — министр иностранных дел О. Чернин, а также представители Болгарии и Турции.

15 марта договор был ратифицирован Чрезвычайным

IV Всероссийским съездом Советов, а 26 марта — германским императором Вильгельмом II. От России отторглась территория около миллиона квадратных километров, а именно: Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, часть Белоруссии и вся Украина, а также округа Ардагана, Карса и Батума, судьба которых передавалась в руки Турции. Кроме того, по дополнению к Брестскому договору, подписанному 27 августа 1918 года в Берлине, Россия обязывалась уплатить Германии в различных формах контрибуцию в размере 6 миллиардов марок.

Ленин назвал Брестский мир «гнусным» и «архиневыгодным». Так было. А теперь?

Теперь в руках у Хрущева неопикуемой силы оружие, которое он в любой момент может обрушить на любого противника.

Ничего общего не имеют между собой годы 1918 и 1963.

Это так и не так. Грозные ракеты являются несслыханным и невиданным по своей силе оружием в смысле обороны. Но в смысле нападения это оружие мнимое. Оно есть и его нет. Его нет потому, что Хрущев и с ним советская власть связали себя обещанием, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не нападут первыми.

Это прекрасно учитывают на Западе, и потому западные державы не спешат с разоружением. Гонка вооружений продолжается, высасывая все соки из народов. И так может продолжаться до бесконечности, если не положить конец этому безумию. Мир ходит по краю пропасти, что уже тысячу раз было высказано. Поэтому международное положение при Хрущеве ничуть не легче, чем в 1918 году.

По этой причине Нео-Поприщин полагает, что нужен нео-Брест. Как же автор новых «Записок сумасшедшего» себе это представляет? Довольно просто: надо переломить психику западных народов. Надо переломить ее таким актом, который потряс бы до основания их представления о коммунистах второй половины XX века — о Советском Союзе наших дней.

Колонизация в направлении на Восток России всегда удавалась. Неизменно терпели крах все попытки колонизации в западном направлении.

Не удалось духовно покорить Финляндию и Польшу, и как только наступили серьезные осложнения, с ними пришлось расстаться. В отношении Финляндии с этим примирил-

ся и Советский Союз. Но Польшу Советское правительство продолжает колонизировать под видом социализма. Не думаю, чтобы польские сердца смирились искренно, думаю, что они склоняются перед силой. Во всяком случае, их психику следовало бы проверить.

Наоборот, чехи были русофилами. Но сомневаюсь, чтобы они были советофилами. И это требует выяснения.

Вышесказанное относится и к другим сателлитам, т. е. спутникам Советского государства, иначе называемым «народными демократиями». Венгрия, Румыния, Болгария — питают ли они действительно дружелюбные чувства к Советскому Союзу, или же они так же ревнивы к своей независимости, как Югославия и Албания?

Поприщин думает: надо сделать проверку. Сумасшедший думает так еще и потому, что в отношении всех этих народов замечается некоторое брожение у советских людей. Несмотря на всяческие «импорты», приходящие к нам из этих стран, часть советских граждан твердо убеждена, что все сателлиты сосут русский народ, как некие пиявки. Поэтому избавиться от этих сосущих, по мнению некоторых советских граждан, совершенно не было бы деянием «гнусным и архиневыгодным». В этом смысле нео-Брест выгодно отличается от Бреста 1918 года.

Что же думает Поприщин о нео-нэпе? Тут он меньше определен. Он честно сознается, что весьма туманно представляет себе, в чем должна состоять «новая экономическая политика» в 1963 году. При Ленине частичный возврат к прошлому был возможен. Сейчас это прошлое в экономическом смысле настолько уничтожено, что не к чему возвращаться.

Но что-то в экономическом смысле сделать надо. При этом надо помнить, что в политике объективная действительность играет иногда даже меньшую роль, чем народная психика.

Массы настоящего дня не те, какими они были 50 лет тому назад. Народ стал требователен и не хочет мириться с тем, с чем мирился раньше. И еще следующее: после того как 50 лет ему обещают «рай на земле», а «рай» все еще не наступил, народ устал ждать. Постоянные перебои в снабжении, очереди, например, за мукой при десяти миллиардном урожае и за всяким «ширпотребом», недостаток в глухих деревнях даже в хлебе — все это создает новую народную психику, которая по мнению Нео-Поприщина требует «новой экономической политики».

Дмитрий Жуков

КЛЮЧИ К «ТРЕМ СТОЛИЦАМ»

Василий Витальевич Шульгин считал межнациональную рознь непроходимой глупостью. Любовь к своему народу, патриотизм, национализм даже — это было существом его. Но злоба на национальной или расовой основе казалась ему отвратительной, и он всегда давал жесткий отпор «фобиям», в какие бы одежды они ни рядились.

В январе 1951 года, находясь в камере Владимирской тюрьмы, Шульгин записывал в тетради кое-какие воспоминания о своей жизни в эмиграции, о «короле поэтов» Игоре Северяnine, посетившем его в Югославии в тридцатые годы и опубликовавшем в Белграде свои сонеты, портреты знаменитых людей, в книге «Медальоны». Шульгин заметил: «Там должен быть и мой, скажем, профиль, китайская тень, силуэт». И по памяти воспроизвел:

В. В. ШУЛЬГИН

Он нечто фантастическое! В нем
От Дон-Жуана что-то есть и Дон-Кихота,
Его призвание опасная охота,
Но, осторожный, шутит он с огнем.
Он у руля, спокойно мы уснем!
Он на весах России та из гирек,
В которой благородство. В книгах-вырек
Непререкаемое новым днем.
(Неразб.) неправедно гоним
Он соотечественниками теми,
Которые, не разобравшись в теме,
Зрят ненависть к народностям иным.

В «Медальонах» такого стихотворения не оказалось.

Северянин прислал его Шульгину в Белград записанным на обороте своей фотографии. Тот заключил фотографию меж двух стекол и повесил у письменного стола в подвале, в котором жил в то время.

В тюрьме Шульгин, заполняя вынужденный досуг, написал много поэм и стихотворений.

Одно из них сделано «под Северянина». О себе:

Он пустоцветом был. Все дело в том,
Что в детстве он прочел Жюль-Верна, Вальтера Скотта,
И к милой старине великая охота
С миражем будущим сплелась неловко в нем.
Он был бы невозможен за рулем!
Он для судеб России та из гирек,
В которой обреченность. В книгах вырек
Призывов не зовущих целый том.
Но все же он напрасно был гоним
Из украинствующих братьев теми,
Которые не разобрались в теме.
Он краелюбом был прямым.

На следующий день, 22 января 1951 года, Шульгин записал: «Последнюю строчку прошу вырезать на моем могильном камне». Плита может быть и ментальная, т. е. воображаемая, «мечтательная».

В обоих стихотворениях есть многое из того, что могло бы стать эпиграфом к сочинениям В. В. Шульгина.

В 1926 году Василий Витальевич Шульгин оказался в Париже. Он только что вернулся из тайной поездки в Советскую Россию, был полон сил и надежд, всем рассказывал о своих впечатлениях и уже начал писать книгу «Три столицы».

Это название он придумал еще по пути в Париж. Он любил названия немудреные, но запоминающиеся и точные: «1920», «Дни». Он выработал свой стиль, писал короткими пассажами, каждый из которых — новелла или просто законченная мысль. И отделял их тремя звездочками, треугольничком. Едва ли не каждую фразу многозначительно завершал многоточием. Удачные фразы и словечки любил повторять всю жизнь не только в книгах, но и в разговорах. Как и задавать себе вопросы: «Как?», «Почему?», «Что?» — и тут же отвечать на них... И говорить о себе в третьем лице...

Сливки эмигрантского общества ценили его очень высоко. В Париже Шульгин был нарасхват. Редактор газеты «Возрождение» Семенов часто устраивал завтраки, на которых бывали самые выдающиеся писатели-эмигранты. Приглашенный впервые, Шульгин попал в неловкое положение. Рядом с Семеновым сидела дама средних лет «с лицом худощаво выразительным». Шульгин обратился к редактору:

— Ваша супруга...

— Какая супруга?

Шульгин смутился. Семенов сказал:

— И вы до сих пор не знаете нашей знаменитой Теффи. Это непростительно.

Тогда же его познакомил с Буниным старый знакомый, выдавший-перевыдавший всего Петр Бернгардович Струве.

— Вот это Шульгин. А это Бунин.

— И Бунин очень любит Шульгина, — любезно сказал Иван Алексеевич.

— Эта любовь пагубная. Шульгин сам себя терпеть не может.

— Не скромничайте. У вас перо экономное. В малом — много. Но знаете, чего у вас слишком много?

— Любопытно!

— Многоточий. Этого не надо.

Василий Витальевич говорил впоследствии, что «последний русский классик» немного разочаровал его. Может быть, своим видом — европеец, моложавый, чисто выбритый, хорошо одетый, галстук приличный и хорошо повязан. Хотя что ж тут разочаровывающего? Скорее, сказала извечная настороженность, с которой один литературный талант встречает другой. Однако литературному совету Шульгин внял.

Пришла пора вплотную засесть за книгу «Три столицы».

О тайной поездке Шульгина в Россию знали очень немногие. Жене своей Марии Дмитриевне он не сказал ничего. Она хворала, и он боялся расстроить ее. Но получилось еще хуже. Она все-таки узнала о том, что все считали немыслимой авантюрой, и от потрясения у нее сделался менингит, воспаление мозга. По выздоровлении, весной 1926 года, врачи послали Марию Дмитриевну в Ниццу, где бирюзовые волны Средиземного моря набегали на золотой песок, за которым начиналось другое море — цветочное.

Для работы над книгой был нужен тихий и недорогой уголок. Шульгин купил велосипед и стал ездить по окрестностям Ниццы. В сорок восемь лет тяжело было крутить педали стального коня, взбираясь в гору, зато с высоких точек открывались такие виды, что Шульгин декламировал вслух «Благословляю вас, леса...» из «Иоанна Дамаскина» А. К. Толстого. Так он попал в Грас, центр французской парфюмерии, где скромно жил еще не получивший Нобелевской премии Бунин. В 1950 году Шульгин в советской тюрьме вспоминал:

«Там были две дамы средних лет. Одна — жена Ивана Алексеевича, другая — ее подруга. Обе с ним возились очень... Думаю, что Ив. Ал. любил, чтобы его обожали. Это нужно писателям, как солнце цветам...

У Буниных меня очень хвалили за велосипед, за бодрость, за молодежь и за многое другое. Я тогда по некоторым причинам был очень в моде. Никто ничего не понимал, а я меньше всех.

Я провел у них несколько часов очень приятно, рассказывая о том, что потом появилось в книге «Три столицы». Я купался в цветах своего красноречия и в нектаре своей скоро проходящей славы. Фортуна, богиня счастья, остановилась на своем колесе; послушала меня и засмеялась. Потом колесо завертелось, моя циклоида закрутилась, и я покатился; с высоты славы в долины насмешки...»

Бунины проводили Шульгина до шоссе, и он покотился дальше по асфальту, пока не нашел в городке Сан-Максим недорогую виллу, утопавшую в ромашках. Там, потом в Париже, потом в Провансе, на чердаке маленькой станции Сан-Эгюльф, что была на узкоколейке Тулон — Сан-Рафаэль, и писалась книга «Три столицы». Шульгин диктовал ее Марии Димитриевне, по-домашнему Марди. Готовые куски относил на почту и отправлял по адресу, который нам еще предстоит узнать. Скучающий почтовый чиновник говорил ему:

— Если бы я согласился стать масоном, то не сидел бы в этой грязной дыре!

Бандероли приходили обратно, и Шульгин отправлял их издателью Соколову-Кречетову (Берлин, изд-во «Медный всадник»).

Книга вышла в январе 1927 года.

«Она вознесла меня на необычайную высоту. Некоторое время я был самой яркой фигурой в эмиграции... Затем последовало падение. Совершенно головокружительное. С вершин восхищения — в бездну насмешки», — скажет он, повторяясь.

Что же случилось?

С ответом на этот вопрос придется подождать.

Книга «Три столицы» (Киев, Москва, Петербург-Петроград-Ленинград) рассказывает о тайном посещении монархистом-белоэмигрантом Шульгиным этих городов во время нэпа и пронизана воспоминаниями и намеками на события, участником которых был автор. До эмиграции он провел в этих городах лучшие и нелучшие дни своей жизни. Там он жил, витийствовал, влюблялся, воспитывал детей, терял близких...

Книга чрезвычайно интересна, но не рассчитана на современного читателя. И не только потому, что последние девяносто лет нашей истории старались втиснуть в жесткую схему, лишенную правдивых подробностей, но еще из-за ее личностного характера. В памяти автора ее то и дело всплывают эпизоды его собственной биографии, судьбы его многочисленных родственников, привязанные к историческим событиям, которые старое поколение и

особенно те, что были в эмиграции, воспринимали как свою жизнь. Книга была написана именно для них, а они превосходно знали предыдущие книги Шульгина, его статьи, которые должны были стать книгами. Для них не требовалось комментариев. Ново для них было то, что Шульгин говорил о жизни в СССР. И все-таки даже для них книга напоминала особняк с великим множеством комнат, каждая из которых обставлена была удивительно, поражала воображение, но еще существовали темные переходы, приводившие к дверям, крепко запертым, и ключи от них вручались любопытным уже после выхода книги, да и то далеко не все...

Сама поездка, возможность ее и благополучное окончание оказались частью большой государственной тайны, о которой написано много книг и в нашей стране и за границей, но чем больше подробностей становятся известными, тем больше затуманивается истина. В подробностях — наша история. Затуманивание истины — политика. Шульгин был политиком. В своих книгах он старался не приукрашивать историю. Но жизнь необъятна, и лучшие побуждения не достигают цели. Тайны остаются, а попытки раскрыть их оттачивают мысли и приближают нас к исторической истине.

Тем и утешимся.

В период гласности время для писателя летит быстрее. Всего полтора года тому назад я написал очерк «Жизнь и книги В. В. Шульгина», ставший предисловием к его произведениям «Дни» и «1920», а уже появилась возможность поработать в архивах (не всех), набраться новых знаний, исправить неточности и приблизиться к исторической истине. Несколько страниц в очерке, посвященные «Трем столицам», содержат минимум информации о книге. Ну а коль издается сама книга, выявилась необходимость описания прихотливого пути к ней и разъяснения многих обстоятельств, о которых Шульгин говорил завуалированно, идя по горячим следам событий и не желая подвергать опасности многих лиц, а то и просто по политическим причинам.

Не хочется повторяться. Для меня это всегда нож острый. Но придется, потому что предыдущей книге Шульгина с моим предисловием суждено было стать библиографической редкостью еще в чреве типографии, и я не уверен, что эта книга попадет к владельцам той — о таком варианте остается только мечтать.

Итак, придется снова рассказать, хотя бы коротко, о Василии Витальевиче Шульгине, который родился в 1878 году в Киеве, а скончался в 1976 году во Владимире, прожив на свете почти сто лет и пережив несколько кровавых войн и революций, входя в тот или иной контакт с верховными правителями нашего государства,

за исключением Александра II, потому что тогда он был очень мал, и Брежнева, потому что тот был совершенно невежественен и, кроме собственного благополучия, не интересовался ничем. Шульгин часто оказывался в самом центре исторических событий, порой сам выступая в числе их главных действующих лиц. Он был выдающейся личностью, исполненной силы и обаяния, о чем я могу свидетельствовать, хотя общался и переписывался с ним, когда он находился уже в очень и очень преклонном возрасте. Прирожденный журналист, он усиленно развивал в себе и писательскую жилку, отчего его книги не только не утратили своего значения в наши дни, но будут служить материалом для историков и вдохновением для других писателей до тех пор, пока жива память о прошлом.

Шульгин уже сейчас хрестоматиен.

Судите сами. В наше время из его книг в СССР опубликованы и переизданы «Письма к русским эмигрантам», «Годы», «Дни», «1920», в которых Шульгин рассказывает о наиболее впечатляющих событиях своей многотрудной жизни мастерски, а главное — умно. Отрывки из них рассыпаны по хрестоматиям и сборникам. Редкий исследователь новейшего времени не цитирует его. И всякий раз изящная и содержательная цитата из Шульгина глядится яркой заплатой на сером рубище научной сухомятины, вздергивая читательский интерес.

Журналистом Шульгин стал после окончания университета, благо он был совладельцем правой газеты «Киевлянин», с 1907 года избирался во все Государственные думы, где был яростным сторонником Столыпина и прославился речами, направленными против разрушительной деятельности революционеров, участвовал в боях во время войны с Германией и был ранен. Возвратившись с фронта, монархист и националист Шульгин помирился «во имя победы» со своими противниками — кадетами и иными либералами — и стал одним из руководителей так называемого «Прогрессивного блока», который вступил в конфликт с короной, что, по его мнению, привело к Февральской революции 1917 года. В марте он лично, вместе с Гучковым, принял отречение от престола императора Николая II.

Как член Думского комитета, он принимал участие в формировании Временного правительства, отказавшись от поста министра юстиции в пользу Керенского. Осознавая силу социалистов, он сказал в одной из речей:

— Мы предпочитаем быть нищими, но нищими в своей стране. Если вы можете нам сохранить эту страну и спасти ее, раздевайте нас, мы об этом плакать не будем.

В. И. Ленин ответил ему в «Правде» 19 мая 1917 года:

«Не запугивайте, г. Шульгин! Даже когда **мы** будем у влас-

ти, мы вас не «разденем», а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую пищу, на условии работы, вполне вам посильной и привычной!»

После Октябрьской революции он оказался в числе создателей Добровольческой (белой) армии. Был идеологом белого движения, потерял в перипетиях гражданской войны и в результате красного террора всех братьев и двух сыновей.

Оказавшись в эмиграции, Шульгин создал много произведений как мемуарно-политических, так и художественных. В 1925—1926 годах он тайно посетил Советскую Россию и описал свои впечатления в книге «Три столицы». Однако некоторые обстоятельства поездки подорвали его реноме в эмигрантских кругах, и он отдался целиком литературе, поселившись в Югославии. Там он и был арестован в 1944 году КГБ, доставлен в Москву, осужден на двадцать пять лет тюремного заключения. В 1956 году его освободили из Владимирской тюрьмы и поместили в инвалидный дом. Однако вскоре он вернулся к литературной деятельности, чем привлек внимание советского руководства, обеспечившего его пенсией и квартирой. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, Шульгин писал к русским эмигрантам, проповедуя миротворчество, был одним из создателей впечатляющего фильма «Перед судом истории», работал над мемуарами, поэмами, начал книгу о мистических случаях, имевших место в его жизни... Был гостем XXII съезда КПСС.

До самой своей смерти на девяносто восьмом году жизни Шульгин не прерывал обширной переписки, правил и дополнял воспоминания. У нас в стране имеется архив, связанный с деятельностью Шульгина до 1925 года, а также записи, которые он вел в тюрьме и после нее*.

С 31 октября по 3 ноября 1920 года большая часть врангелевской армии и не меньшим числом штатских лиц — всего 136 тысяч человек — погрузились на 126 морских судов, от крейсера «Корнилов» до яхт, и отплыли из Крыма в Константинополь. Я ошибочно написал в предисловии к книгам «Дни» и «1920», что среди них был Шульгин. Его там не было. После высадки в Румынии В. В. (так его звали близкие) два месяца доказывал, что он не чекист, и выправлял документы. Потом он проследовал в Константинополь через Болгарию.

Что же увидел, узнал, почувствовал Шульгин за время своего короткого пребывания в Турции?

* Подробно сведения о В. В. Шульгине см. в книге «Дни. 1920», выпущенной издательством в 1989 г. (Прим. ред.)

70 тысяч большевистских штыков и 25 тысяч сабель (10 тысяч буденовцев были переброшены с польского фронта) прошли через Сиваш и Перекоп, и Врангель отдал приказ эвакуироваться. И вот на рейде Константинополя стоят все 126 судов. Под дулами орудий английских дредноутов. На французском крейсере «Вальдек Руссо» собирается совещание французского командования, на которое приглашают Врангеля. Решено: Первый корпус (25 тыс. чел.) под началом генерала Кутепова отправить на полуостров Галлиполи, кубанских казаков (15 тыс.) — на остров Лемнос, донцов (15 тыс.) — в Четалджи, штатским (20 тыс. женщин и 7 тыс. детей в том числе) разрешить высадиться в Константинополе.

Но еще десять дней все они пребывали на пароходах и не получали горячей пищи. Еще неделя, и всем хватило бы места на стамбульском Скутарийском кладбище. Осень неожиданно оказалась холодной.

Когда В. В. приехал в Константинополь, громадный город на Босфоре уже вобрал в себя русских. На Пере, которую окрестили Перской улицей, торговали безделушками пожилые люди, при всех орденах. Русские девушки торговали своим телом в Галате, где кутили английские матросы. Французы забрали привезенные хозяйственные грузы и продовольствие, но грозились не кормить, если не будет полного подчинения. Чернокожие солдаты разгоняли палками недовольных. Итальянцы захватили все серебро, которое вывез ростовский банк. Султан был пленником иностранцев. Кемаль-паша не признавал султана в своей Анкаре, куда бежали некоторые русские офицеры, завербовывавшиеся и в иностранные легионы. Турки относились к русским неплохо. Можно было видеть, как пожилой мусульманин подходил к озябшему иноверцу, совал ему в руку пять лир и быстро отходил, чтобы не вернули деньги. Потом и турок стали подстрекать против «гяуров».

Основная масса военных сосредоточилась на Галлиполи, сдерживаемая военно-полевыми судами твердокаменного Кутепова. Уцелевшие корниловцы, дроздовцы, алексеевцы, марковцы были люди отпетые. Когда французы предложат расформировать корпус и прекратят выдачу продовольствия, многие из них решат пробиваться на север и даже захватить Константинополь. Но пока они устраивались, как могли, на каменистом Голем поле — Галлиполи. Сам Врангель со своим штабом располагался на яхте «Лукулл», стоявшей на якоре против Константинополя.

В. В. Шульгину не до писания книги. Он обращается в бывшее русское посольство на Гран рю де Пера, чтобы хоть что-нибудь узнать о своем сыне Ляле — Вениамине Шульгине, которого он ви-

дел в последний раз 1 августа на Приморском бульваре в Севастополе. Тот уходил на фронт «своей характерной, развинченной походкой, тянущей ноги». Младший сын — пятнадцатилетний Димка нанялся тогда матросом на миноносец и теперь вместе с флотом где-то в Бизерте, в Африке. Младший брат Павел умер от тифа. Старший сын убит петлюровцами. Племянник Эфем сидит в ЧК. Брат Эфема, Саша, валяется в очень тяжком состоянии в каком-то госпитале — В. В. получил телеграмму, в которой не указан обратный адрес. Брат Димитрий остался в Крыму, а жена и Володя Лазаревский — в красной Одессе...

Но Ляля, Ляля?! Был нехороший сон — на лбу, над левой бровью, у него пулевое отверстие. Говорит, другая пуля прошла около лопатки и еще одну пулю надо вынуть. И смотрит пристально. Проснувшись, В. В. еще долго видел Лялин взгляд, его глаза страдающей газели...

В главе «Константинополь (Из дневника 18/31 декабря)» книги «1920» он стоит вечером на мосту через Золотой рог, который напоминает ему Николаевский мост через Неву в Петрограде, наблюдает струящуюся толпу людей и «симфонию огней», размышляет об извечной борьбе между Россией и Турцией, оказавшимися в одинаково разоренном положении. Белые хранили верность Антанте. А здесь воочию убедились в презрительном отношении «держав-победительниц» и к русским, и к туркам. Горе побежденным! Горе слабым!

Русских «неистовое количество», и все хлопочут о визах в разные концы света.

В церкви при русском посольстве — служба. Молятся «о плавающих, путешествующих, негодующих, страждущих, плененных и о спасении их...».

В посольстве В. В. сказали, что о судьбе Ляли могут знать только в Галлиполи, в канцелярии генерала Кутепова...

Он на борту парходика «Согласие». Плышет в Галлиполи, зарывшись в сено. Мерзнет, потому что с собой — ни тряпки. Лишь грязный носовой платок в кармане. «Яко наг, яко благ, яко мать родила», — скажет он сорок пять лет спустя.

С пархода на берег он добирается на парусном баркасе, узнает у коменданта дорогу к русскому лагерю. Грязно, серо, скучно, тоскливо... Но вот палатки. Штаб. Он спрашивает о Ляле. «Нет, в списке наличных такого нет...»

24 декабря он бродил по снегу, столь редкому на широте

Константинополя, разыскивая тех, кто указал бы ему на сослуживцев Ляли. Он сунулся было в палатку генерала, одного из помощников Кутепова, но из темноты ее послышалась отборная нецензурная брань. Впоследствии, когда все немного утряслось, В. В. послал к генералу секундантов, а тот, узнав, кого обругал, схватился за голову, тотчас написал письмо с извинениями, оправдываясь тем, что принял имевшего непрезентабельный вид Шульгина за недисциплинированного офицера, ищущего водку. Общественный статус Шульгина позволял ему вызывать на дуэль офицера любого ранга.

И все-таки он нашел командира Марковского полка, а тот велел разыскать непосредственного начальника Ляли. Офицер был измучен, и от черного, марковского, щегольского мундира с белыми кантами и погонами остались лохмотья. Зябко потирая руки, он рассказывал:

— Мы отступали последние... Южнее Джанкоя, у Курман-Кемельчи, вышла неувязка. Части перепутались, обозы запрудили дорогу. Давили друг на друга. Словом, вышла остановка. Буденовцы нажали. Тут пошли уходить, кто как может. У меня, в пулеметной команде, было восемь человек, две тачанки. На первой тачанке — я с первым пулеметом. На второй тачанке был второй пулемет, и ваш сын при нем. Когда буденовцы нажали, пошли вскачь, вкруговую, по полю. Наша тачанка ушла. А вторая тачанка не смогла. У них одна лошадь пала. Когда я обернулся, я видел в степи, что тачанка стоит и что буденовцы близко от них. В это время пулеметная прислуга, насколько видно было, стала разбегаться. Должно быть, и ваш сын был среди них... Вот все. Больше ничего не могу сказать. Это было 29 октября.

Офицер замолчал.

В. В. прервал затянувшееся молчание вопросом:

— В тот день рубки не было?

— Не было, — ответил офицер на этот бессмысленный вопрос, хотя не мог знать...

В. В. возвращался в Константинополь в трюме на грязных канатах. Под Новый год, 31 декабря, он оказался у Константинополя. Но французы на берег не пустили. Кто-то поделился с ним банкой консервов. И он уснул у трубы. Перед сном он думал о «Старом Грехе» белых. Их осталась горсточка, но он убеждал себя, что их дело победит. Среди Белых было много Серых и Грязных. «Первые — прятались и бездельничали, вторые — крали, грабили и убивали...» Но «Белая Мысль» по-прежнему казалась ему прекрасной и непобежденной. Красные бессознательно идут к ней. «Но, боже мой. Ведь они уничтожили, разорили страну... Люди гибнут мил-

лионами, потому что они продолжают свои проклятые, бесовские опыты социалистические, Сатанинскую Вивисекцию над несчастным русским телом »

С ним молоденькая Мария Дмитриевна, дочь генерала Седельникова. Так мы впервые узнаем о ней, ставшей его подругой, помощницей, а потом женой. До самой ее смерти в 1967 году Остается лишь гадать, где и как они познакомились.

На берег выпустили пассажиров всех национальностей. Кроме русских — особого народа: «без отечества, без подданства, без власти». Заступиться за них было некому.

В. В. печально глядел на Босфор и лодочную суету между его берегами, на которых раскинулся город. Сколько добивались проливов! И что бы стали с ними делать? Водрузили бы крест на Ан-Софию и... навязали бы себе вражду со всем мусульманским миром..

Мысли В. В. скачут, повторяясь. Он, как всегда, наблюдателен и парадоксален. А бессвязность размышлений — это от голода. Уже двое суток без еды. Сколько же еще французы будут заставлять любоваться красотами Константинополя... натошак?

Вокруг парохода снуют босфорские лодочники — «кордаши». В. В. роется в карманах, договаривается с одним из них и сбегает на берег. С Марией Дмитриевной, надо думать.

И устраивается в здании русского посольства. Без ведома посла А. А. Нератова, назначенного еще царским правительством. Спит, где попало, без простыни и подушки, а рядом пристроились генералы и бывшие члены Государственной думы.

По утрам они бреются и говорят о русской застенчивости и безволии. Кто-то басит:

— Под пулеметы русский пойдет, тут он герой, а в обыкновенной жизни. Вот и государь был застенчив на троне, это его и погубило. Побеждают те, что чужих жизней не жалеют. А мы все твердили о себе: «Дрянь, дрянь, дрянь!» И дотвердились!

Вот он побрился (теперь он брил и голову) и вышел в город. Что делают русские в Константинополе?

Они ходят по улицам и ищут пропавших жен и мужей, детей, друзей, однополчан, ищут, у кого бы занять денег, ищут пропитания, пристанища.

Жуткое зрелище — русские женщины. «Утонченные» (рисуют, пишут стихи, играют на фортепиано, знают языки), здесь все они курят, иные много пьют, нюхают кокаин и предаются изысканному разврату. А на что еще годны эти хилые, изнеженные существа!

Мужские лица — «расхлябанные». У западных европейцев мускулы лица подтянуты от постоянного напряжения воли.

Безволие проявляется и в том, что едва ли не все эмигрант-

ские газеты издаются не русскими, а теми же евреями, что зачинали революцию.

«В Праге «Воля России» — Минор и К° В Праге «Правда» — Гикитсон и К° В Берлине «Время» — Брейтман. В Берлине «Руль» — Гессен и К°. В Берлине «Известия» — Конн. В Берлине «Родина» — Бухгейм. В Берлине «Отклики» — Звездич (еврей). В Риме «Трудовая Россия» — Штейбер. В Париже «Последние новости» — Гольдштейн. В Париже «Свободные мысли» — Василевский (еврей). А в 1905 году все политическое еврейство было едино в своей ненависти к исторической России».

Вот целый ряд русских — чистильщиков сапог. От нечего делать читают Достоевского.

Русский ресторан «Яр» вывесил плакат: «Уютно. Весело. Зал отапливается. Обед из двух блюд — 60 пиастров...» По вечерам там поют цыгане. Имена известные — Суворина, Нюра Масальская.. И вообще — русских ресторанов не счесть: «Золотой петушок», «Гнездо перелетных птиц», «Киевский кружок»...

И пьют там все жестоко смирновскую водку. А в подпитии поют на манер французского вальса:

Родное нам вино
Петра Смирнова...
Когда ты пьешь его,
Захочешь снова...
Всегда свободно и легко
Я водку пью, а не Клико...

Шульгин терпеть не мог людей, у которых тоска по водке отождествлялась с «тоской по России».

Вскоре В. В. перебрался в мансарду, поблизости от посольства. Он живет у своего друга и секретаря Б. В. Д. (?), который, в свою очередь, живет у друзей.

Какие грязные здесь дома! Винтовые трясущиеся лестницы. В феврале еще холодно. Спят по двое в постели. Спят на полу Шульгин спит в кухне у самой плиты. Хозяйка будит, когда ей надо пройти к единственному крану. С лестницы доносятся пьяные возгласы посетителей проституток, которыми напичкан дом.

И ни у кого в мансарде нет денег. Никто ничего не варит на плите по утрам. В окно виден сад, а за ним красивые контуры русского посольства. В саду занимаются строевой подготовкой юнкера. Доносятся команды:

— Смирно! Ряды вздвой! Прекратить разговорчики на левом фланге!

Последняя фраза по душе новоявленному мансарднику. Из Кронштадта приходит весть о восстании, поднятом «левыми социа-

листоческими партиями». Лозунги их — эсеровская чепуха! Пусть! Лишь бы большевиков сбили...

Надо купить газеты и поесть. В. В. спускается с мансарды и оказывается на площади Таксима, где масса русских офицеров-шоферов такси, а кафе для них содержит русский губернатор. Знакомый полковник продает газеты, кричит:

— Сегодня фельетоны Аверченко и Куприна!

В. В. читает Куприна, называющего русских рабами Ленина. «Играли с революцией и доигрались... Сто лет проповедовали «свободу, равенство и братство» и не заметили, кто носит этот плакат по миру на высоких шестах, высотой с Эйфелеву башню. А если бы обратили внимание, то увидели бы, что под плакатом ходит Некто в черно-красном и что у него — хвост и козлиные копыта. И что этими копытами ходит он по гуще, — месиву из грязи, крови и золота... Кто соблазнится, кто побежит за плакатами по месиву, тот в этой гуще из грязи, крови и золота увязнет... Вот Россия и увязла...»

Если миновать русское посольство, когда идешь от Таксима к Туннелю и свернешь влево на узенькую, бегущую вниз, «ноголомную» улицу Кумбараджи, то окажешься у другого входа в посольство. Здесь тысячная толпа беженцев. Грязная и бесприютная очередь. Под стенкой — стол. Стоя за ним, мрачный полковник и молодая женщина дают стакан чаю за пять пиастров, с хлебом, а за десять — и пончик.

А там? Там еще хуже. Там голод...

«Господи, неужели все было даром?..

Я загубил двоих, Н. Н.— троих сыновей.

И все мы так... и валяемся по чердакам, с окровавленным сердцем...

Ужели все даром, и Россию так и не вырвать у Смерти?..»

У русского посольства «осколки империи» торговали всем, что еще можно было продать, чтобы купить горячего чаю с хлебом. Прекрасными акварелями, например. Просто удивительно, сколько среди русских оказалось превосходных художников!

А вот княгиня N с вывеской на груди — не женщина, а ходячая контора по найму квартир... До какой же все-таки крайности вырождается русская аристократия и интеллигенция...

Судя по дневниковым записям Шульгина, русские женщины все-таки умудрялись оставаться привлекательными, несмотря на отсутствие не то что туалетов — сносной одежды. В Истанбуле-

Константинополе их узнавали по шапочкам, сделанным из обрезанных... чулок.

В толпе он встретился со знакомой дамой в шапочке из чулка. Она спросила:

— Василий Витальевич, что с Лялей?

Он рассказал, посетовав, что больше никаких путей поиска сына не видит. И тогда дама посоветовала:

— Тут есть одна... Ясновидящая, что ли... Она уже многим помогла найти друг друга. Пойдите к ней. У вас есть одна лира?

Дама быстро начертила на клочке бумаги, как найти «одну», потому что в Стамбуле нет ни табличек с названиями улиц, ни нумерации домов. В. В. верил в способность некоторых людей читать прошлое, настоящее и даже будущее — особенно, когда человечество постигают беды.

И он, поплутав по грязным переулкам и оказавшись на еще более грязной лестничной клетке, нашел «одну». Звали ее Анжелина.

Сначала В. В. принял ее за обыкновенную гадалку и только удивился — все гадалки цыганисты, а эта была блондинка средних лет, небольшого роста, с серыми глазами. Она попросила его сесть за столик у окошка, сама устроилась напротив, написала что-то на клочке бумаги и спросила:

— Как вас зовут?

Он сказал. Тогда она протянула бумажку, и на ней было написано «Василий». Но там был еще и рисунок человеческой ладони с линиями.

«Хиромантия!» — подумал В. В.

— Я нарисовала, не глядя, линии вашей руки. Сравните... Шульгин обратил внимание на еще два имени, написанных под рисунком.

— Николай, Александра, — прочел он вслух.

Анжелина внимательно посмотрела на В. В.

— С ними связана ваша жизнь. Но их больше нет, — сказала она.

Он подумал о покойной царской чете.

— Вы русский? — спросила Анжелина.

— Да.

— А мне кажется, вы не совсем русский... Вы малоросс.

Шульгин был поражен.

— Это верно. Но откуда вам знать?..

Она улыбнулась. В. В. подумал, а кто же она? Говорит по-русски, но мягко. Может, полячка?

— Вы знаете, что такое «карма»? — спросила она.

— Слово слышал... но что это значит, не знаю.

— Карма — это нечто вроде судьбы. Она есть у каждого человека, но карме подчинены и целые народы. У малороссов иная карма, чем у великороссов, которых обычно называют русскими. У вас личная карма сливается с малороссийской.

Она написала на бумаге колонку римских цифр.

— Это периоды вашей жизни. Первый кончился в девятьсот восемнадцатом году. Ваша жизнь переломилась...

Анжелина жестом показала, как ломают палку, и спросила:

— А знаете ли вы, что за это время погибло четверо очень вам близких людей?

— Знаю.

— Но вам грозит и пятая потеря...

В. В. вскочил.

— Сын? Димитрий?

— Нет, не сын, но он Димитрий.

— Брат?

— Да, брат. Дни его сочтены.

Шульгин помолчал.

— Я убедился, что вы обладаете замечательными способностями, — наконец сказал он. — Но я пришел к вам с определенной целью. Пропал мой сын, не Димитрий, другой. Жив ли он?

Анжелина опять пристально посмотрела ему в глаза и спросила:

— У вас есть его фотография?

Шульгин достал из кармана карточку.

— Какой милый мальчик, — сказала женщина. — Как я хотела бы ему помочь! Но вот это неверно...

— Что неверно?

— Неверно то, что здесь, на карточке... волосы. Нет, он без волос. Бритая голова!

На старой фотографии Ляля был с красивой прической. А в действительности он, как многие добровольцы, брил голову.

— Он жив? — еще раз спросил В. В.

Она молчала. Он заметил, что она вглядывается в стоявший на столике небольшой темный стеклянный шар. Наконец она заговорила.

— Жив. Я вам сейчас все расскажу... Самый конец октября двадцатого года... Я вижу степь, вдали горы... Скачут две повозки. Одна уходит. Другая стала... две лошади... одна упала. С повозки соскакивают люди. Налетают всадники. Проскакали. Возле повозки лежит ваш сын. Он ранен в голову шашкой... Весь в крови... Нога перебита пульей. Вы мужчина... я вам скажу правду. Бедняжка, он будет у вас калекой...

— Но он жив?

— Я вижу, как его подбирают. Это не большевики... может быть, местные. Много он перенес... гримаса страдания не сходит с лица. И плен был... Но главное — нога! Очень мучает...

— Где он сейчас?

— Сейчас? Он уже севернее. Идет с двумя товарищами от деревни к деревне. И все время на лице мученье... Он идет в большой город, который я вижу, потому что он в мыслях у вашего сына. Город у моря... Горы не такие, как в Крыму. Длинный мол, маяк... Может быть, это Одесса? И еще в мыслях у него женское имя.

— Какое имя?

Поколебавшись, она сказала:

— Елизавета.

В. В. подумал, что она ошибается. В Одессе осталась мать Ляли. Она же Екатерина... А может быть, у него была там Елизавета?

Анжелина продолжала:

— Сейчас вы находитесь во втором периоде вашей жизни. Бурном и опасном. Бои, болезни, походы, море, бури... Но вода для вас благоприятна. Смерть вам будет грозить постоянно, но вы не умрете. Вот в девятнадцатом году смерть все время стояла у вас за плечами... Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю.

В девятнадцатом он часто подумывал о самоубийстве... из-за смерти Дарусеньки... любимой. А потом был тяжелый поход со Стесселем в январе — феврале двадцатого...

Анжелина продолжала:

— В двадцать втором и двадцать третьем вы будете жить за границей. Потом побываете в России, но причиной тому будет не политика. В двадцать седьмом вы потеряете родственника, а в тридцать первом переживете тяжелое воспаление почек...

В. В. почти не слушал ясновидящую.

Потом он опять спросил о Ляле. И, вздохнув, добавил:

— Если он жив, то я его найду.

Она встрепенулась:

— Не делайте этого. Вам не удастся спасти его. Будет хуже...

Вскоре В. В. узнал, что у Анжелины есть отчество — Васильевна и фамилия — Сакко, по первому мужу. Что во время гражданской войны она жила в Севастополе и кормилась гаданием. Что к ней однажды пришел офицер и сказал:

— В никакие гаданья не верю, но все же любопытно...

Она долго смотрела на него.

— Вы поедете на фронт.

Он рассмеялся.

— Я офицер.

- Вы будете ранены.
- Как?
- Легко.
- Приятно слышать.
- Потом вы вернетесь сюда и женитесь.
- На ком, интересно?
- На мне.

Офицер долго смеялся. Потом уехал на фронт, был ранен, выздоровел и женился... на Анжелине.

Такой анекдот услышал В. В. в пестрой константинопольской толпе. Он видел ее мужа — молодого, красивого, но с жестким выражением лица.

Однако это не поколебало его веры в предсказания Анжелины.

С конца 1922 года Шульгин жил под Берлином в Биркенвердере, в номере 22 дешевых мебелирашек «Кургартен».

Меня всегда интересовали реестры доходов и расходов моих героев, потому что это самое что ни на есть реальное в жизни. Так вот в долларах с 1 сентября 1921 года по 1 сентября 1923 года Шульгин получил около полуторы тысячи арендной платы за мельницу в своем имении, хуторе Агатовке, на Волыни, оказавшемся на польской территории, у самой границы (поляки уважали частную собственность, кому бы она ни принадлежала). Литературный заработок составил чуть больше пятисот долларов. Меньше ста дала кратковременная служба в Русском совете. А расходы? На экспедицию в Крым* ушло 180. Диме в Бизерту — 150. Жалованье Лазаревскому, который, видимо, исполнял секретарские обязанности — 160. Помощь различным лицам — более 200. Екатерине Григорьевне** — 150. Остальное (около тысячи) — на личные расходы В. В. и Марди.

Мария Дмитриевна писала Володе Лазаревскому, что В. В. «ходит такой же оборванный, даже хуже, и так же у него нет белья». В другом письме — у В. В. плохое пальто, а мороз изрядный, подумывают, не переехать ли в Белград из Берлина...

Письма к Марди во время своих отлучек В. В. начинал словами «Дорогая Марийка...», а подписывался интимно: «Твой Уззюсь».

Их отношения все крепнут, и они собираются сочетаться узами законного брака. Но было препятствие — Василий Витальевич развелся с Екатериной Григорьевной, и еще 1 октября 1923 года

* Эта экспедиция была предпринята В. В. для спасения родственников, оставшихся в России.

** Первая жена В. В. Шульгина. (Прим. ред.)

епархиальным советом была возложена на него епитимья и запрещение вступать в брак в течение семи лет. А они с Марийкой собирались пожениться тотчас, несмотря на берлинскую нищету, болезни. В. В. даже получил из Белграда письмо отца Марии Дмитриевны: «Муся добрый и хороший человек: она воспитана в старых дворянских традициях». Дмитрий Михайлович просил прощения, что не может из-за службы приехать на свадьбу и благословлял «иконой Божией Матери, которую Муся привезет Вам».

В. В. тогда писал сестре Лине Витальевне, что Марди болеет и приходится бегать искать машинистку. Зубы болят. И Катя требовательна. Приходится влезать в неоплатные долги, чтобы помочь ей. Кровь у нее кутил, херсонских помещиков. Однако Екатерина Григорьевна к Марди его не ревнует и неизменно просит «передать привет Мусе».

При этом Василий Витальевич все время думал о пропавшем Ляле, что и привело к событиям, весьма значительным.

Жил тогда в Берлине и занимался редактированием «Белого дела», летописи гражданской войны, гвардии полковник, а потом генерал А. А. фон Лампе, тоже «азбучник». Он был представителем Врангеля в Германии, и вызов к нему на совещание, пришедший в Биркенвердер летом 1923 года, не удивил Шульгина.

Кроме него, на квартире у фон Лампе 7 августа присутствовали Николай Николаевич Чебышев, бывший сенатор, а теперь консультант по политическим делам в представительстве Врангеля, и генерал Евгений Константинович Климович, бывший директор департамента полиции, ведавший в Сремских Карловцах особым отделом — контрразведкой, и, разумеется, хозяин дома.

Позже других пришел Чебышев, так передавший свое первое впечатление от увиденного там еще одного, незнакомого, человека:

«На диване сидел приличный господин, лет так под пятьдесят. Держался спокойно, говорил без всяких жестыкуляций, скорее равнодушно. Лицо было обрамлено небольшой темной, аккуратно подстриженной бородкой... Говорил ни тихо, ни громко, гладко, самоуверенно, немного свысока».

По версии, которую я составил из старых газетных публикаций Шульгина, полных умолчаний, из кратких примечаний к некоторым тюремным сжам, из разговоров с самим Василием Витальевичем, не любившим, однако, касаться этой темы, отвечавшим на мои вопросы весьма неохотно, даже с содроганием каким-то, вырисовывается такая картина:

Человека, сидевшего на диване, в Берлине ждали. Он уже был рекомендован как представитель подпольной российской организации, поставившей себе целью свержение большевиков. Он хотел соприкосновения с влиятельными эмигрантскими кругами.

Фон Лампе сказал собравшимся, что «человек оттуда» приехал, и его надо, по крайней мере, выслушать, вышел и вернулся с господином лет пятидесяти (на самом деле на десять лет старше), с золотым пенсне на носу, с внешностью и солидными манерами большого петербургского чиновника.

— Федоров Александр Александрович, — представил его фон Лампе.

Собравшиеся, по словам Шульгина, услышали примерно следующее:

— Господа, сейчас в России модны тресты. «Жиртрест», например, делает мыло и духи. Наша организация тоже называется «Трест». А теперь я объясню, во имя чего мы объединились в «Тресте». Мы не хотим кровопролития, новой гражданской войны. Нужен бескровный дворцовый переворот. Для этого нам необходимо проникнуть во все поры существующей у большевиков системы управления...

Федоров говорил, что интеллигентам после переворота будет гарантирована свобода печати, неприкосновенность личности и т. д. Но всякое проявление насилия будет подавляться силой. Крестьянам дадут «синюю казенную бумажку с печатью» — документ, навеки закрепляющий владение землей. В общем, будет доведена до конца столыпинская реформа...

Шульгин подумал, что нэп дает почву для подобных утверждений.

Беседа продолжалась часа два. Федоров показался Шульгину человеком интеллигентным, смелым, энергичным, весьма осведомленным во внутреннем положении Советской России и полным веры в национальное возрождение. Он представился монархистом, но монархизм его был скорее «умственным», то есть годным постольку, поскольку по своему психическому складу русские склонны отождествлять верховную власть с царем или какой-либо другой единственной личностью. Поэтому вопрос о форме правления он полагал преждевременным, хотя считал, что волевым великий князь Николай Николаевич несомненно мог бы стать правителем в первые годы после падения большевизма...

Федоров продолжал:

— Однако Высший монархический совет, с которым наш «Трест» имеет постоянную связь, не оправдывает даже своего названия. Скажу откровенно, его вялость и трусость меня раздражает. Представьте себе, мы собрали представителей нашей организации в Москву со всей России и просили Высший монархический совет прислать своего делегата. Его не было... Вы понимаете, какое это произвело впечатление на русское подполье. Именно поэтому я искал встречи с вами, как я полагаю, конституционными мо-

нархистами, а также сторонниками генерала Врангеля... Россия, господа, несмотря на большевистский гнет, не умерла. Она борется с коммунизмом и в конечном счете изживет его...

— А вы сами кто будете... Я в том смысле... какое у вас лично положение в большевистской России?— спросил Шульгин.

— Видите ли, я инженер, специалист по речному транспорту, в прежние времена — начальник департамента, действительный статский советник, а ныне, как говорят большевики, «спец» примерно того же уровня...

Климович спросил:

— Интересно, как такой многочисленной подпольной организации удастся ускользнуть от наблюдения и происков ГПУ?

— Вы судите примерно так, как в басне Крылова: сильнее кошки зверя нет,— ответил Федоров.— А кошка нас кое-чему научила, хотя бы конспирации. У нас свои люди везде, во всех советских учреждениях, в армии. Поэтому нам вовремя удастся отводить удары...

Беседа закончилась «ничем реальным, если не считать его предложения, сделанного тем же весело-серьезным, я бы сказал легкомысленно-внушительным, тоном, который вообще этой живой натуре был свойственен»,— вспоминал потом Шульгин.

— Если, господа, кому-нибудь из вас угодно было бы лично посмотреть, что делается в России, и проверить мои слова насчет того, что она живет, несмотря ни на что, то милости просим. Разумеется, мы не можем гарантировать абсолютной безопасности, но мы настолько сильны, чтобы гарантировать безопасность относительную.

У Василия Витальевича тотчас мелькнула мысль о Ляле. Поехать? Но где искать Лялю? В Крыму? И жив ли он?..

Федоров добавил:

— Я даже думаю, что мы в состоянии посадить вас в бест, в каком-нибудь посольстве в Москве. Там вы будете в полной безопасности.

Шульгин промолчал, и свидание закончилось.

Когда за Федоровым закрылась дверь, трое обменялись впечатлениями о госте, и они были благоприятными. Четвертый сказал:

— Не верьте ему. «Трест» — мистификация, а он — провокатор!

Это был Чебышев.

Все остальные набросились на него, делая вид, что верят Федорову.

— Николай Николаевич, нельзя швыряться такими обвинениями. Англичане и поляки утверждают, что в России суще-

ствуется сильная подпольная организация, — сказал фон Лампе. Тогда же Федоров побывал в Париже, встречался на рю Гренель с В. А. Маклаковым, который в глазах западных держав еще считался русским послом. 27 августа его принял великий князь Николай Николаевич в Шуаньи.

«Через несколько месяцев после этого, — вспоминал Шульгин, — я получил сведения, что мой сын, которого я считал погибшим, жив и находится в Советской России, но собственными силами выбраться оттуда не может. Источник, из которого я почерпнул это известие, не имел ровно никакого отношения к Федорову. Однако когда предо мной стала перспектива необходимости как-то пробраться в Советскую Россию, разыскать сына и вывезти его оттуда, то я вспомнил приглашение Федорова:

— Милости просим...»

Та же мысль есть и в его книге «Три столицы», но без упоминания уже имени Федорова.

Так что же это были за «сведения» и даже «известие»?

Шульгина уже давно звал в Париж его старый знакомый В. А. Маклаков, который обитал в своей резиденции на улице Гренель, 6.

В сентябре 1923 года Шульгин поехал к нему и был радушно принят. Василий Алексеевич и его сестра Мария Алексеевна старались, чтобы В. В. чувствовал себя, как дома, но он сроду не жилак ничьим нахлебником и от неловкости ходил даже наниматься статистом на кинофабрику.

Как-то он прочел во французской газете такое объявление: «Мадам Анжелина Сакко предсказывает будущее и дает советы. Плата — пять франков».

Боже, подумал Шульгин, та самая Анжелина!..

В. В. разыскал ее по указанному в газете адресу.

Она встретила его словами:

— Вы у меня уже были.

— Какая у вас прекрасная память...

— Нет, память плохая... Но я узнаю тех, кто был у меня...

Тогда вы были в военной форме.

— Я к вам с тем же вопросом — что с моим сыном?

Она придвинула к себе хрустальный шар и сосредоточилась. Лицо ее нахмурилось.

— Он жив, но...

— Где он?

Она помолчала.

— Он в России. В таком месте, откуда он не может выйти.

— В тюрьме?

— Нет.

— В лагере?

— Нет.

— Так где же?

Она волновалась.

— Я не должна вам этого говорить. Не надо, не надо?..

В. В. настаивал:

— Я мужчина. Мать его вы могли бы пожалеть. А я выдержу...

И вдруг спросил:

— В сумасшедшем доме?

Шульгин знал, что у сына плохая наследственность. Екатерина Григорьевна легко возбудима, но здорова. Однако ее отец Григорий Константинович Градовский, довольно известный публицист, страдал припадками буйного помешательства. Одно время он жил у них в Киеве, и у него была так называемая черная меланхолия. Его то отвозили в лечебницу, то брали домой... А мать Григория Константиновича умерла в сумасшедшем доме. Ляля ранен в голову...

— Я не хотела вам этого говорить...

— Где он?

— В России.

— В Киеве?

— Нет. Киев я хорошо знаю. Но похоже — **гористый берег** под рекой...

— Какой же это город?

Она долго вглядывалась в хрустальный шар.

— Не могу сказать... Незнакомый город.

Он ушел расстроенный. Задним умом решил, что надо было заставить Анжелину заглянуть на городской вокзал. Она бы прочла название города...

В. В. бродил по улицам Парижа, зашел в католический храм. Там венчали. Тихо играл орган. Невеста в белом. И белые цветы померанца... У молодых были напряженно-счастливые лица... А Ляля в сумасшедшем доме...

Через неделю В. В. вернулся к ясновидящей, которая сказала, что он бывал в городе, где Ляля, описывала город, и стало понятно, что это Винница.

— И в этом городе есть лечебница для душевнобольных, очень большая,— сказал Шульгин.

Анжелина подтвердила:

— Да, это Винница, теперь я это понимаю.

— Благодарю вас!— сказал В. В.— Теперь я вам верю окончательно, и мне остается только пробраться туда и вывезти сына, если это возможно.

— Это вам не удастся,— возразила она.— Не делайте этого. Вы подвергнетесь страшной опасности. Вы думаете, вас забыли? Ошибаетесь. За вами следят неотступно. Вот еще недавно у вас украли ваши фотографии.

— Нет, я поеду. Скажите мне, вы видите моего сына?

Она снова вгляделась в хрустальный шар.

— Вижу. Сейчас у него светлый промежуток. Он в сознании... Стоит у стола и держится рукой за какой-то мешочек, который у него на веревочке на шее. Вы не знаете, что это за мешочек?

— Знаю. Все мои сыновья, а их было три, болели малярией. И вот бабушки и мамушки узнали от каких-то женщин, что на старинном кладбище на горе Щековице... Вы не знаете, что такое Щековица?

— Не знаю,— ответила Анжелина.

И В. В. рассказал ей про княженье Кия, про его братьев Щекка и Хорива, про то, как Щек жил на горе, названной потом Щековицей. И про кладбище на горе, и про могилу святого человека, земля с могилы которого будто бы исцеляет от малярии. Вот и носили в угоду бабушке его сыновья черные мешочки с этой землей... У Ляли, видимо, это единственная вещь, напоминающая о доме и родных.

— Вот он сейчас стоит,— сказала Анжелина,— держится за мешочек и повторяет одно имя, чтобы не забыть его, когда помрачится разум...

— Какое имя?

— Ваше. Василий.

В. В. стало зябко.

— И вы хотите, чтобы я его забыл. Не имя свое, а сына. Я должен ехать!

Анжелина поморщилась как от боли.

— Но вы не сможете ему помочь. Я вижу... Вам не удастся. За вами неотступно ходят два человека. Я вижу их следы...

— Анжелина Васильевна, вы все видите правильно. Но это уже было со мной. В двадцатом году. В Одессе. Там действительно за мной ходили неотступно два человека. Это их следы.

Но она, волнуясь, настаивала:

— Вам не удастся найти сына!

С тех пор образ Ляли, сжимавшего черный мешочек, не покидал его.

Вот почему в его будущей книге «Три столицы» появятся строки: «Осенью 1923 года я получил первое известие, относительно верности которого можно быть того или иного мнения, но зато совершенно точное».

По утрам В. В. выскальзывал из дома № 6 по улице Гренель и смешивался с пестрой толпой, словно бросался в реку. В толпе он чувствовал себя песчинкой, и это хоть немного заглушало тревогу, горе, страстное желание помочь...

Но прошло целых два года, прежде чем удалось сделать попытку осуществить это желание.

Не будем мудрить и выложим карты сразу на стол.

Начнем с фигуры Опперпута, которая мелькнет в одной из глав «Неопубликованной публицистики», поясняющей «Три столицы», рядом с Федоровым, возглавлявшим «Трест». На самом деле, как вскоре Шульгин узнал от генерала Климовича, Федорова звали Александром Александровичем Якушевым. О «Тресте» написано много книг у нас и за рубежом, есть фильмы, в которых играют великолепные актеры. Но я попытаюсь рассказать многое из того, что осталось, как говорят, за кадром...

Итак — Опперпут. Эта весьма таинственная личность имела много фамилий. Эмигранты-белогвардейцы в своих книгах определенно указывают на то, что он был чекистом, советские историки, связанные с КГБ, в не менее многочисленных книгах считают его белогвардейцем-кутеповцем, каковым он и изображается в советских романах и фильмах.

Первое его появление на политической сцене относится к концу 1920 года. Он пересек советско-польскую границу и представился Павлом Ивановичем Селяниновым, комиссаром 17-й стрелковой дивизии, главой подпольного отделения Союза защиты родины и свободы в Западном военном округе. Был он высок, светловолос, сероглаз, говорил по-русски с небольшим акцентом. Когда молодого человека (лет двадцати пяти) проверял савинковец И. С. Микулич, тот сказал, что по национальности он латыш, правильно называл командиров повстанческих отрядов и стремился к встрече с самим Савинковым, который создал Союз в первые месяцы большевистского переворота*. Встреча с Савинковым состоялась в гостинице «Брюль» в Варшаве. Селянинов вручил ему секретные приказы Красной Армии, сведения о дислокации войск и мобилизационном плане, а также предложил подробно разработанный план действий против большевиков.

Савинков ему не доверял, но сведения, привезенные Селяниновым, продал французской разведке, а на вырученные деньги напечатал несколько тюков антибольшевистских листовок. Возле станции Житковичи тюки Селянинову помогли погрузить на повозку советские пограничники. Вскоре он вернулся в Польшу уже с документом на имя Эдуарда Оттовича Опперпута. Снова встретил-

* См. мою документальную повесть «Б. Савинков и В. Ропшин. Террорист и писатель». Наш современник. № 8, 9, 10. 1990. (Прим. авт.)

ся с Савинковым и с польскими генштабистами. Подробности этих встреч неизвестны, но отношения Савинкова и Опперпута стали более теплыми.

В июне 1921 года Савинковым в Варшаве был создан Народный союз защиты родины и свободы. В резолюции первого съезда говорилось:

«Считать нынешние условия во всех отношениях исключительно благоприятными для развертывания многосторонней деятельности НСЗРиС на территории России, имея конечной целью свержение большевиков и установление истинно русского, демократического строя».

В 1922 году Опперпут больше в Польше не появлялся. Известно, что он был арестован чекистами и ему будто бы угрожал расстрел. В том же году в Варшаве вышли воспоминания П. Селянинова-Опперпута, отрекомендовавшегося бывшим членом Всероссийского комитета НСЗРиС (Народного союза защиты родины и свободы). Он разоблачал Бориса Викторовича Савинкова на все лады...

Это была странная брошюра, и причина ее появления выяснилась потом...

Моя задача совсем не в том, чтобы интриговать читателя детективной стороной дела, хотя события развивались как в самом низкопробном детективе. Я просто воспользуюсь множеством источников, и в том числе дневниками, докладными записками и публичными заявлениями Опперпута, ставшими известными несколько лет спустя...

С марта 1922 года, по его словам, он стал секретным сотрудником контрразведывательного отдела ОГПУ (КРО ОГПУ), когда сидел во внутренней тюрьме на Лубянке (где будет сидеть и Шульгин в 1945—1947 годах) за участие в савинковском Союзе, «без малейших шансов миновать расстрел». Именно там он и познакомился с тоже обреченным на смерть Якушевым.

В записке «Как возник Трест» Опперпут описал это знакомство:

«Так как смертников обыкновенно сажают в одну камеру, то неудивительно, что при бесконечных перемещениях мы встретились, если не ошибаюсь, в два приема почти три месяца. Якушев мне понравился. Уживчивый, спокойный, какими в обстановке внутренней тюрьмы бывают только фаталисты, беззаботный и живущий только интересами текущего дня, он редко впадал в апатию и почти всегда находил работу, которой занимал и меня. То плетет из спичечных коробок, разрезанных на мелкие палочки, плетенки для соли, то лепит из хлеба шахматные фигуры, то сооружает бар-

рикады против одолевавших нас мышей и крыс. Неудивительно, что месяцы, проведенные вместе с ним, по сравнению с одиночным заключением, пролетели очень быстро. За это я ему всегда впоследствии оставался благодарен...»

Александр Александрович Якушев был потомственным дворянином. Родился он 7 августа 1876 года в семье преподавателя Тверского кадетского корпуса, окончил Императорский Александровский лицей и преподавал в нем, перед революцией был управляющим департаментом водных путей министерства путей сообщения в чине действительного статского советника, т. е. штатским генералом. После Февральской революции глава Временного правительства князь Львов предложил ему занять пост товарища министра путей сообщения, но Якушев отказался, сказав, что, как верноподданный его величества, он Временного правительства не признает.

По убеждениям — русский националист и монархист, после большевистского переворота он был связан с Национальным центром и готовил вместе с другими антибольшевистский мятеж в Петрограде. Когда там начались аресты и расстрелы, Якушев перебрался в Москву. Не теряя подпольных связей, он жил тем, что продавал фамильное серебро и фарфор, пока однажды к нему не явился некто в кожаной куртке и не пригласил его к Троцкому. Он уклонился от этого приглашения-приказа, и тогда за ним приехали два китайца в кожаных куртках и доставили его к Троцкому, который обошелся с ним милостиво, решив использовать царского специалиста в видах советской власти.

Троцкий, одно время руководивший и наркоматом путей сообщения, угостил его роскошным обедом, что, как заметил Шульгин в своей «Неопубликованной публицистике», в то голодное время было весьма кстати, сказал, что знает о его патриотических чувствах, и обещал финансировать дореволюционные проекты Якушева по оздоровлению русских рек. По словам Шульгина, записанным в одной из тюремных тетрадей, Троцкий не только истреблял русский образованный класс, но нередко действовал и более тонко, привлекая нужных специалистов на свою сторону.

В качестве довода Троцкий будто бы напомнил Якушеву, что Государственная дума в свое время, примерно за год до начала войны, ассигновала 30 миллионов золотых рублей на Днепровскую гидроэлектростанцию. Докладчиком был А. И. Савенко, а готовил доклад и Якушев. Война помешала постройке ГЭС...

— Александр Александрович,— сказал Троцкий,— будьте спокойны, мы подхватим начинание Думы... Найдем деньги и для ваших грандиозных проектов.

Якушев был взволнован. Троцкий продолжал:

— Столыпин говорил о великой и богатой России. Его убили.

Не то жандармы, не то глупый еврей. Убили... Ну так что же! Разве для вас, русских националистов, не важно, не свяшенно продолжить его дело. Хотя бы под крылышком советской власти...

Впрочем, Шульгин сам сознался в той же записи, что придумал этот диалог, дабы поярче изобразить «дьявола-искусителя».

Якушев согласился стать консультантом советского правительства (а по словам Опперпута, заместителем Троцкого по НКПС), был своим человеком в ВСНХ, общался с Красиным и другими видными большевиками, составлял докладные записки по водному хозяйству, а в ноябре выехал в служебную командировку в Швецию.

По возвращении, 22 ноября, его арестовали.

Якушеву предъявили обвинение в организации контрреволюционного заговора и шпионажа, то есть в передаче представителю штаба генерала Врангеля и Высшего монархического совета сведений, полученных на советской службе. Якушев отрицал обвинение, и тогда ему показали фотоснимок письма, добытый агентурным путем. Оно гласило:

«Якушев крупный спец. Умен. Знает всех и вся. Наш единомышленник. Он то, что нам нужно. Он утверждает, что его мнение — мнение лучших людей России. Режим большевиков приведет к анархии, дальше без промежуточных инстанций к царю. Толчка можно ждать через три-четыре месяца. После падения большевиков спецы станут у власти. Правительство будет создано не из эмигрантов, а из тех, кто в России. Якушев говорил, что «лучшие люди России не только видятся между собой, в стране существует, действует контрреволюционная организация». В то же время впечатление об эмигрантах у него ужасное. «В будущем милости просим в Россию, но импортировать из-за границы правительство невозможно. Эмигранты не знают России. Им надо пожить, приспособиться к новым условиям». Якушев далее сказал: «Монархическая организация из Москвы будет давать директивы организациям на Западе, а не наоборот». Зашел разговор о террористических актах. Якушев сказал: «Они не нужны. Нужно легальное возвращение эмигрантов в Россию, как можно больше. Офицерам и замешанным в политике обождать. Интервенция иностранная и добровольческая нежелательна. Интервенция не встретит сочувствия» Якушев безусловно с нами. Умница. Человек с мировым кругозором. Мимоходом бросил мысль о «советской» монархии. По его мнению, большевизм выветривается. В Якушева можно лезть, как в словарь. На все дает точные ответы. Предлагает реальное установление связи между нами и москвичами. Имен не называл, но, видимо, это люди с авторитетом и там, и за границей...»

Это писал бывший слушатель лекций Якушева в лицее, бело-

гвардейский офицер Ю. А. Артамонов, бывший член шульгинской «Азбуки», своему другу князю К. А. Ширинскому-Шихматову в Берлин. Московская тетушка Артамонова просила передать племяннику весточку, поскольку Якушев ехал в командировку в Швецию через Таллинн, где и состоялась их беседа в присутствии представителя врангелевской разведки В. И. Щелгачева, тоже «азбучника», которого, однако, много лет спустя Шульгин обозначил как за-вербованного ГПУ

Так Якушев оказался в камере смертников вместе с Опперпутом.

Допрашивавший его чекист презрительно говорил

— Вы связались с молокососами. Послать по почте такое письмо! «Азбучники», а азбуки не знают Хотите работать с нами?

Многие тогда были арестованы только потому, что в досье Якушева они значились как его знакомые Многие были расстреляны «за участие в контрреволюционном заговоре» Якушев этого не знал, но он был обозлен на эмигрантов, подставивших его под удар, и давал письменные показания:

«Признаю себя виновным в том, что я являюсь одним из руководителей МОЦР — Монархической Организации Центральной России, поставившей своей целью свержение советской власти и установление монархии. Я признаю, что задачей моей встречи в Ревеле являлось установление связи МОЦР с Высшим монархическим советом за границей, что, при возвращении в Москву, я получил письмо от Артамонова к членам Политического совета МОЦР...»

Из артамоновского письма явствовало, что Ширинский-Шихматов отправился к председателю Высшего монархического совета Н. Е. Маркову-Второму, решившему войти в связь с МОЦР. А было уже известно (не от Якушева), что в Политсовет, кроме него, входили бывшие камергер Ртищев, барон Остен-Сакен, промышленники Путилов и Мирзоев, генералы, а ныне военачальники Красной Армии Отделения монархической организации существовали в Петрограде, Нижнем Новгороде, Киеве, Ростове-на-Дону..

При изучении документов создается впечатление, что Якушев сказал на допросах очень мало. Он отказался давать показания о конкретных деятелях МОЦР, и чекисты поняли, что не смогут вытянуть из него ничего даже под пытками. «Я не закрываю глаза на усилия большевиков восстановить то, что разрушено, но настоящий порядок наведет державный хозяин земли русской» Это еще одна выдержка из его признаний.

И тут Дзержинский решил пойти с козырной карты отказаться от разгрома монархической организации, а использовать ее для более тонкой работы для проникновения с ее помощью

в высшие круги белоэмигрантской среды. Так было положено начало крупной чекистской операции, получившей потом название «Трест».

Дело сидевших во внутренней тюрьме на Лубянке Якушева и Опперпута вел известный палач, особоуполномоченный Агранов (его направил в ВЧК из своих личных секретарей Ленин). Он сперва добился замены Опперпуту смертного приговора на заключение в концентрационном лагере, а потом завербовал его, дав фамилию Стауниц. Агранов был очень ловким человеком — недаром, по одной из версий, с его именем связывают непонятную смерть Маяковского. Еще в тюрьме Стауница-Опперпута заставили написать ту самую книгу, которая разоблачала савинковский Народный Союз Защиты Родины и Свободы. Встречаясь с начальником контрразведки Артузовым, его заместителем Пузицким и даже пьянствуя с ними, Стауниц постепенно вошел в «Трест».

Впоследствии Опперпут уверял, что Якушев, «человек весьма темпераментный», всю свою ненависть на виновника его злоключений Артамонова перенес на эмиграцию вообще.

«...Обладая недурным пером, крупными познаниями в вопросах монархической идеологии и в вопросах династических, он почти в один присест набросал основы программы и тактики данной легенды. Директива ГПУ была короткая: отрицать террор и ориентироваться на В [еликого] Кн [язя] Н [иколая] Н [иколаевича] и ВМС (Высший монархический совет). Остальное в программе и тактике должно было соответствовать советской действительности. Программой и тактикой под «Монархическое Объединение Центральной России» был подведен прочный баланс... Поездкой Александра Александровича (Якушева) в Берлин и проведением через ВМС, тогдашний центр зарубежного национального движения, основных положений программы и тактики МОЦР последний приобрел для ГПУ настолько крупное значение, что по ГПУ стал именоваться «центральной разработкой ОГПУ». В Берлине МОЦР было присвоено конспиративное название Трест...»

Якушев отвел себе в организации вторую роль. Главой МОЦР считался генерал-лейтенант царской армии, профессор советской военной академии А. М. Зайончковский. В руководство входил бывший Генерального штаба генерал-лейтенант Н. М. Потапов.

Для справки: у большевиков служили 1400 генералов и офицеров царского Генерального штаба. 13 полных генералов, 30 генерал-лейтенантов, 113 генерал-майоров. Историкам еще предстоит подсчитать, сколько служило армейских офицеров — во всяком случае, больше, чем их было в деникинской армии. Часть из них

встала на сторону большевиков из левых убеждений, часть считала это патриотическим долгом, часть была мобилизована и служила не за совесть, а за страх, поскольку их семьи оставались заложниками. Именно они осуществили грамотное руководство боевыми действиями Красной Армии (под надзором комиссаров) и во многом способствовали ее победам. Однако после окончания гражданской войны подавляющее их большинство было уничтожено в чекистских застенках в 1922—1924 годах.

Естественно, что, узнав о начавшихся арестах и расстрелах, многие бывшие офицеры связывали свои надежды на изменение злой судьбы с МОЦР.

Финансами организации ведал Опперпут-Селянинов-Стауниц-Касаткин, он же шифровал письма представителям МОЦР за границей. В одном из них сообщалось, что был проведен съезд, на котором решено признать великого князя Николая Николаевича главой монархического движения в России, как местоблюстителя российского престола, и Верховным главнокомандующим всех верных ему сил.

Якушев в письмах звался Федоровым. Покровительствуемый ГПУ, он осенью 1922 года выехал за границу в служебную командировку. По пути в Берлин, в Риге к нему присоединились Артамонов и племянник генерала Врангеля евразиец П. С. Арапов.

Евразийское течение в белоэмиграции у нас известно мало, а оно заслуживает того, чтобы о нем было сказано несколько слов. Под влиянием философа Н. А. Бердяева молодые эмигранты, настроенные оппозиционно к старшему поколению, пытались совместить старые идеи с политической реальностью. В евразийских сборниках «На путях» и «Поход к Востоку» прослеживается идея: в силу своего национального духа и геополитической судьбы Россия никогда не станет демократией; она, Евразия, сочетающая различные истоки культуры и взметенная большевиками, может развить самобытную культуру, в которой принципы древнего христианства будут вполне сочетаться с советской монархией.

Евразийцы будут собираться на свои съезды, на которых, кроме их известных идеологов П. Н. Савицкого, князя Н. С. Трубецкого, князя Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, будут делать доклады и представители «Треста», и в частности в Берлине, на квартире у Гучкова, Александр Алексеевич Ланговой, сын известного в Москве профессора медицины, участник гражданской войны, награжденный орденом Красного Знамени. Он же станет одним из «контрабандистов» в «Трех столицах» В. В. Шульгина.

Приезд Якушева в Берлин совпал с окончанием съезда монархистов, проходившего в Париже с 16 по 22 ноября. Участво-

вавший в нем Марков-Второй, председатель Высшего монархического совета, принял Якушева-Федорова в доме № 63 на Лютцовштрассе и сказал, что великий князь Николай Николаевич знает о «Тресте» и готов возглавить монархическое движение в России. В Висбадене Якушев посетил великого князя Дмитрия Павловича. Манера держаться, сановная внешность Якушева пленили великого князя, как и прочих, и он вручил ему письмо к Политсовету «Треста», одобрительно отозвавшись о его деятельности.

Уже после отъезда Якушева в «Еженедельнике ВМС» появилась его статья, в которой четко прослеживалась мысль советской монархии — царь и советы. Была и еще одна статья, весьма прозрачно трактующая взгляды евразийцев и самого Якушева о пользе сохранения советов в освобожденной России:

«Наша эмиграция должна теперь усвоить, что в местных советах, очищенных от коммунистической и противонародной накипи, находится истинная созидательная сила, способная воссоздать Россию. Эта вера в творчество истинно русских, народных, глубоко христианских советов должна сделаться достоянием эмиграции. Кто не уверует в это, оторвется от подлинной, живой России».

Евразиец Арапов свел Якушева с генералом А. А. фон Лампе, представителем генерала Врангеля в Берлине. Тот донес об этой встрече в Сремские Карловцы, где находился штаб Врангеля. Таким образом существование «Треста» стало известно и другу генерала В. В. Шульгину.

Сорок лет спустя в своей «Неопубликованной публицистике», которую можно прочесть сейчас, Шульгин рассказал, как ему покровительствовала в поисках сына Ляли «подпольная антисоветская организация «Трест». И добавил: «История этого «Треста» до сего дня так же «темна и непонятна», как история мидян.

Органы Советской власти о «Тресте» разноречат. Одни считают, что это была настоящая контрреволюционная и очень сильная организация, имевшая свой центр в Москве, другие полагают, что «Трест» был так называемая «легенда», то есть организация, устроенная агентами власти в целях провокации».

До самой смерти сомневался он и в провокаторской роли Якушева, с которым встретился впервые на квартире у фон Лампе, где и было произнесено:

— Провокатор!

В октябре 1923 года за границу Якушев едет уже с генералом Потаповым и договаривается с поляками, чтобы они не поддерживали Петлюру и Савинкова. В Париже Потапов встречается с генералами Климовичем и Миллером. Врангель тщетно предупреждает своих генералов об опасности новой азефовщины.

Тут начинает действовать Мария Владиславовна Захарченко-Шульц. Она входила в боевую организацию белых, которой руководил генерал Кутепов. В ту пору этой красивой женщине было около тридцати лет, но она успела прожить весьма бурную жизнь. Окончила Смольный институт благородных девиц, вышла замуж за поручика гвардейского Семеновского полка Михно, который умер от ран в 1914 году, оставив вдову с ребенком. Она сама пошла в гусары, не раз бывала в разведке. В 1917 году сколотила партизанский отряд в Пензенской губернии и дралась с большевиками. Вышла замуж за ротмистра Захарченко. Он погиб под Каховкой. С третьим мужем, Георгием Николаевичем Радкевичем, получив документы на имя четы Шульц, она отправилась в Россию. При переходе границы их проводник был убит пограничниками. Они добрались до Москвы и явились на квартиру к казначею «Треста» Стауницу, жившему на Маросейке.

Стауниц-Опперпут жил широко. Он был крупным валютчиком, покупал и продавал мануфактуру. Ему предъявили кусочек полотна с подписью генерала Кутепова. Стауниц забраковал затрапезную одежду четы, одел их роскошно (был уже нэп), свел с Якушевым. Их поместили на подмосковной даче и даже хотели устроить в ГПУ, в отдел по борьбе с контрабандой.

На дачу к Шульцам (о ней еще будет речь) ездил некий Антон Антонович, член МОЦР, чекист, а в прошлом — бывший служащий судебного ведомства Сергей Владимирович Дорожинский. Бывал там и Якушев.

Вскоре он вместе с Марией Владиславовной выехали в Париж. Встречались с Кутеповым, с великим князем Николаем Николаевичем. «Трест» принимался за чистую монету. А. П. Кутепов даже провожал их на вокзале.

По возвращении чета Шульц поселилась в Ленинграде. Через «окно» они часто переходили границу. Через это же «окно» проник в Россию, поверивший Шульцам, английский разведчик Сидней Рейли. Здесь его арестовали и пристрелили. Попался Савинков...

Мария Владиславовна Захарченко была встревожена. Она писала Якушеву: «У меня в сознании образовался какой-то провал. У меня неотступное чувство, что Рейли предала и убила лично я... Я была ответственна за «окно».

И все-таки Василий Витальевич Шульгин решил воспользоваться-

ся услугами «Треста» и отправиться в Россию на поиски сына. Для этого он обратился к генералу Климовичу, которому подозрительный Врангель передоверял общение с «Трестом»...

В 1924 году В. В. Шульгин приехал в Белград.

Королевство сербов, хорватов и словенцев приютило многих его родных и знакомых. Здесь жила с отцом-генералом в Белграде, на улице Таковска, 42, Мария Дмитриевна, не сопровождавшая Василия Витальевича в Париж. В. В. погостил у них недолго. Снять квартиру в Белграде ему было не по карману, и он поселился с Марией Дмитриевной в Сремских Карловцах, куда ему писали по адресу: куча брой (дом номер) 765.

Отец Марди, генерал Дмитрий Михайлович Седельников, был по образованию инженер и служил в техническом отделе Военного и морского министерства государства южных славян. В письме к Екатерине Григорьевне он писал, как «Кутепыча» (Кутепова) проводили во Францию из Белграда и как он озадачил генерала фразой: «Не я с вами, а вы со мной вернетесь в Россию». И еще он сообщал, что «Василий Витальевич и Муся (Мария Дмитриевна) проживают недалеко от нас, изредка мы собираемся и интересно проводим время, музицируем и поем».

21 сентября (8-го по старому стилю) Василий Витальевич с Марией Дмитриевной сочетались церковным браком в Новом Саде, большом городе, чуть выше Сремских Карловцев по Дунаю. Но чтобы это свершилось, Шульгину пришлось обратиться с прошением к митрополиту Евлогию о снятии семилетней епитимьи и разрешении вступить в брак.

Ей было двадцать пять лет, ему — сорок семь.

— А если у нас будет ребеночек? — спросила она его неспроста. Он обрадовался. Но она уехала в Париж и сделала аборт.

Много лет спустя, в советской тюрьме, В. В. думал, что во время войны с немцами его сыну, непременно сыну, было бы около двадцати. Может быть, и лучше, что он не родился, а то убили бы, как племянника Сашу, югославского офицера, в апреле 1941 года. В Югославии тогда тоже уже была гражданская война, и какая-то женщина выстрелила ему в спину из окна в Мостаре. Солдаты его роты расстреляли женщину и похоронили Сашу в 25 километрах от Дубровника...

В Любляне жила Алла Витальевна (мать Саши и сестра В. В.) со своим мужем профессором Билимовичем, знатоком Маркса и Энгельса и «министром земледелия» у Деникина.

В Белграде жила сестра Павлина Витальевна Могилевская, неутешная после гибели своего сына Эфема.

В. В. по-прежнему зарабатывал себе на жизнь литературным трудом. Он сообщал Володе Лазаревскому в декабре: «Я написал, если хочешь, книжку, а вернее, «взгляд и нечто» размером около девяти печатных листов, под названием «Голубой звук». По-моему, это типичная журнальная статья, достаточно скучная, но глубоко-мысленно-еретическая». Он хотел продать эту книгу «Русской мысли» Струве, которому задолжал изрядно. «Просто как в подушку упали «На Босфоре» и выдержки из «1919». Никто и глазом не моргнул. Я не могу допустить, чтобы «1920» и «Дни» взяли исключительно качеством. Нет, в литературном мире и «место красит человека».

К сожалению, так оно и было — качество «Дней» и «1920» было великолепное, а ниже чем средний уровень «1919» и «1921» не мог выдержать конкуренции с продукцией великого числа талантов, оказавшихся в эмиграции, не говоря уже о бесследно пропавшем «Голубом звуке», который, как я подозреваю, был сборником избранных статей, писавшихся Шульгиным в эмиграции бесчисленно. А на его гонорары жили еще и Дима, мыкавшийся по Европе в поисках работы, и Екатерина Григорьевна в Праге.

Сохранилось множество писем всех оставшихся в живых персонажей и героев этой статьи. Оживленная переписка — признак уходящей культуры, а для меня — средство прервать действие и хоть что-то рассказать о судьбе людей.

Марди хлопочет о визе для матери и сестры, которые живут в Киеве в нищете.

Дима после Бизерты повидался с В. В. в Шлангенбаде, потом работал во Франции на ферме, добывал бокситы в каменоломне, общался с Тэффи, Куприным, чуть не женился на дочери Бальмонта и наконец, не без помощи друзей Биба (домашнее прозвище В. В. Шульгина), поступил во французское привилегированное офицерское училище в Сен-Сире. Подписывал он свои письма «Принц Карлючий»*. Прислал и копию аттестата, выданного кадету, вице-фельдфебелю Димитрию Шульгину 4 мая 1925 года.

Николай Николаевич Чебышев после встречи с Якушевым-Федоровым в Берлине все не мог успокоиться, хотя ему трудно было объяснить свои подозрения. Гость ему показался любезно

* Сыновья В. В. Шульгина с детства играли в вымышленную страну Овальнокотию, получившую название от овальной подушки с вышитым котом на диване матери. Они сами были подданными этой страны, в которой происходили события, очень похожие на те, что они видели в России. (Прим. авт.)

угодливым, он упрекал хозяев в бездеятельности (в чем они сами упрекали друг друга), был против террора (как и каждый из присутствовавших), ратовал за перерождение русской жизни в иные, неясные, национальные формы.

Вскоре Чебышев занял место начальника гражданской канцелярии Врангеля и переехал в Белград. Врангель тоже считал Якушева-Федорова провокатором, но не отказывался от не прямых контактов с «Трестом». Чебышев ездил на доклады к Врангелю в Сремские Карловцы поездом, который шел час сорок. Иногда его принимал Н. М. Котляревский, личный секретарь Врангеля.

11 марта 1925 года Чебышев сидел у себя на Крунской улице в Белграде. Его внимание привлекло письмо Федорова к Врангелю от 11 февраля, в котором выражалось неудовольствие по поводу интервью великого князя Николая Николаевича, данного американскому журналисту из «Ассошиэйтид Пресс». Чем уж был недоволен Якушев, не знаю, но в письме великий князь обозначался, как «юнкерс», а контрреволюция — «кооперация».

Это снова заставило Чебышева подумать о своих подозрениях насчет Федорова и забеспокоиться о Шульгине, собиравшемся тайно пробраться в Россию.

Вскоре Чебышев с женой поехали в Сремские Карловцы, посетили «белый дом», в котором на втором этаже снимал квартиру Врангель, похоронивший в этом сербском городке отца, пестовавший с женой Ольгой Михайловной дочерей Елену, Наталью и сына Алексея.

В сентябре 1924 года Врангель издал приказ о роспуске белой армии и образовании Российского общевойскового союза (РОВС) и оставался его начальником до своей смерти в 1928 году, после чего его сменил генерал Кутепов... Когда в том же, 1924, году Кирилл поторопился объявить себя «императором всероссийским», Шульгин высказался в том духе, что «императорский титул сейчас не помощь, а препятствие для эмиграций»... Врангель уклонялся от участия в эмигрантских политических склоках, но признавал верховенство великого князя Николая Николаевича, который обещал после свержения ига большевиков установление правового порядка, союз с православной церковью во главе с патриархом, децентрализацию, самоуправление всех наций, частную собственность, как побуждение к труду, с закреплением земли за теми, кто ее обрабатывает, равную охрану знаний, труда и капитала и отказа от какой-либо мести.

Потом Чебышевы отправились к Шульгину, жившему в домишке, где пол был на одном уровне с землей.

Из беседки, обвитой плющом, доносился стрекот машинки. Василий Витальевич всегда что-то писал. А то Чебышев заставлял

его за чтением Евангелия. Они часто вместе бродили по окрестностям Сремских Карловец, ходили на именины к кому-нибудь из членов русской колонии, обжившейся, заведшей гимназию для своих детей. Шульгин, который брил тогда и лицо, и голову, в рубашке с широким отложным воротничком фасона «Байрон», перебирал струны гитары и жалобным, тонким голосом пел русские романсы. Как писала Марди его сестре, жалуясь на однообразие карловацкой жизни, «В. В. смотрит на Дунай и все вздыхает о лодке». Он действительно строил байдарку под названием «Риск». У него была метровая модель ее. Шульгин хвастал, что уже 29 лет плавает на таких байдарках.

Обе четы вышли погулять. Пока дамы собирали у патриаршьего парка фиалки без запаха, Чебышев успел сказать Шульгину, что ехать на верную смерть нельзя. Тот промолчал. Они зашли в кафану (заведение чисто сербское, подробно описанное мной в биографическом романе о Браниславе Нушиче), пили «шприц» — вино с сельтерской водой. Играли венгерские цыгане, пахло конюшней, какой-то пьяница все падал со стула...

Они поднимались в гору, на вершине которой был водружен большой деревянный крест с изображением Иоанна Крестителя, покровителя Сремских Карловиц. Внизу оставались башни собора, часовня с четырьмя входами, где в январе 1699 года был подписан Карловицкий мир между Турцией и Россией, Австрией, Польшей, Венецией.

Еще выше стала видна крутая излучина Дуная, а на севере чернела громадина Петровародинской цитадели.

Цвел миндаль, абрикосы, персики — все бело и бело-розово. Из проулка выбежали бешено две лошади. В. В. поднял палку и пошел навстречу. Лошади свернули.

— Я бы их испугался, если бы на них сидели люди, — сказал Шульгин.

— Натура героическая... Это мустанги, — иронично сказала Марди, тоже читавшая Майна Рида. Все засмеялись.

Главный разговор состоялся на Крестовой горе. С глазу на глаз.

— В конце концов, правда ли, что вы собираетесь в Россию? — спросил Чебышев.

— Да, собираюсь.

— Василий Витальевич, вы имеете полное право распоряжаться своей жизнью, как вам угодно. Но как политический деятель, вы должны учитывать грозящую вам опасность. Если вы окажетесь в руках большевиков, то они припишут вам всякого рода политические отречения, как приписали уже не так давно Савинкову.

— Я это учитываю и приму меры, Николай Николаевич, — су-

хо возразил Шульгин.— Если «Трест», как вы утверждаете,— отделение ГПУ, во что я не верю, то в таком случае я совершенно спокоен за себя. Если Федоров, все они — провокаторы, то им полный расчет выбросить меня обратно, ибо я сам не представляю для них лакомой добычи. Мое благоприятное возвращение создает в их пользу доверие, которое они смогут широко использовать.

Если верить Чебышеву, передавшему этот разговор задним числом, уже после поездки Шульгина, создания им книги «Три столицы» и разоблачения «Треста» Бурцевым, то остается только верить в проницательность Василия Витальевича...

Чебышев просил генерала Врангеля повлиять на Шульгина: — Вы согласны со мной, что Федоров — провокатор. И вот на ваших глазах Якушев-Федоров увозит от вас в чеку такого человека, как Шульгин. Помешать ему можете только вы.

Врангель говорил с Шульгиным. Но Василий Витальевич решил твердо... Мария Димитриевна уже уехала в Париж. В. В. уверил ее, что собирается в Польшу, в свое имение Агатовку.

Через Климовича были обусловлены время и место перехода советской границы. В своей будущей книге «Три столицы» Шульгин постарается «замести следы», изобразить дело так, что ему помогли люди, которых он назвал «контрабандистами». Врангель, общавшийся с ним почти каждый день, никакого политического задания ему не дал. Более того, Шульгин уверял, что, сочувствуя его горю, Врангель даже не знал, поедет ли Шульгин сам или пошлет на розыски сына другое лицо.

Выгородив таким образом Врангеля, Шульгин, как опытный политик, позаботился и о своем моральном реноме на случай провала. Он оставил генералу Леониду Александровичу Артифексову письмо, в котором извещал, что остается врагом большевиков, и просил не верить никаким их заявлениям о его «раскаянии», как было с Савинковым.

Шульгин был уверен, что ЧК следит за ним пристально еще с Константинополя, что к нему приставлен агент, что его бумаги крадут... Он даже писал нарочитые письма друзьям, в надежде, что они попадут к самому Ленину. Самонадеянность его была смешна и в своей наивности — даже трогательна:

«В этих письмах я преимущественно давал советы Владимиру Ильичу Ленину под видом рассуждений на тему, как бы я поступил на его месте. Так что, если покойник сделал что-нибудь путное в последние дни жизни, то это, «очевидно», под моим влиянием...»

Условия перехода границы позволяли В. В. уладить все дела в Сремских Карловцах, отъезд из которых откладывался по разным причинам. Сперва — «из-за какой-то истории с визой в Речь Посполитую».

2 октября В. В. писал Лазаревскому: «...вчера я не уехал (в Варшаву.— Д. Ж.). Уеду пятого. Остался я потому, что мне нужно кончить одну вещь — бульварный роман». Чтобы прокормить своих, Шульгину приходилось прибегать теперь и к откровенной халтуре, печатать ее под псевдонимом. Среди его бумаг попался даже помеченный 1924 годом второй экземпляр рукописи приключенческого киносценария, герои которого летают на воздушном шаре. Видимо, В. В. самого мутило от этой страшнейшей скучной ерунды.

Мария Димитриевна помогала ему, как могла, но характерец у нее был крутенький. После одной из семейных схваток и примирения она написала шутовое:

Обязательство

Сим обязуюсь при работе с В. В. Шульгиным исполнять в точности все его желания и требования, а также при всех его замечаниях спорить и пререкаться не буду.

Мария.

1 июля 1925 г.

Но было бы опрометчивым думать, что дело ограничивалось халтурой, за которую хорошо платили. В одном 1925 году опубликовано Шульгиным великое множество статей в эмигрантской печати, прозябавшей финансово. И они, и его архивы носят следы тщательного изучения России, в которую он хотел поехать. Считая, что братство людей — отдаленный идеал, которого можно достигнуть легче, если руководители морально чисты, он заранее исключал сознательную дисциплину в России и ее процветание при коммунистах.

Еще с начала двадцатых годов он подбирал документы о моральном облике «ленинской гвардии» большевиков. У Воровского на счету в швейцарском банке было 15 миллионов долларов. Там же хранились гигантские состояния Троцкого, Зиновьева, Дзержинского, Красина.

Зиновьев-Апфельбаум преподнес своей сотруднице Аделаиде Ганзен жемчужное ожерелье, стоившее 250 тысяч золотых рублей. Радек-Собельман в 1922 году истратил в Египте и Турции 3 миллиона золотых рублей на пропаганду. На миллион франков приобрел промышленных акций. Каменев-Розенфельд занимал два особняка в 15 и 20 комнат, где разместил родню. Вот доклад Дзержинского ЦК в августе 1922 года о пьянстве и крупной картежной игре главоверха Каменева, членов Реввоенсовета Склянского, Коссиора, Подвойского, Смилги. Вот заметка в «Дейли мейл» от 9 ноября 1923 года о роскошном съезде господ во фраках и бальных платьях в советское посольство в Берлине в годовщину революции и о том, как голодная толпа немцев смотрела на это.

ные права надежно защищались. Слово «пролетарий» там исчезло из лексикона, и лозунг, начертанный наверху первой полосы наших газет, стал бессмысленным. Хороший труд и превосходная организация его сделали возможным не только приличную оплату вынужденного временного безделья безработных, но и сносное существование пьяниц, хронических лентяев и прочего отребья, в том числе и террористов, борющихся за интересы «пролетариата». Опасность подачи отрицательных примеров с нашей стороны остается...

Ныне мы отчетливо видим результат слияния интересов партийных, советских и торговых дельцов, круто замешанный на уголовщине и неуклонно приближающий нас к новому смутному времени, когда вся страна, растеряв остатки дисциплины, разобьется на мафиозные образования и бандитские шайки, физически уничтожит носителей нравственного идеализма...

Среди бумаг Шульгина вдруг оказался и самый первый номер журнала «Огонек», вышедший 1 апреля 1923 года. Сначала я подумал, зачем он был В. В., этот официальный источник информации. Но это была все-таки какая-никакая, но информация, и нам она дает понятие о тогдашней обстановке.

Номер начинался стихотворением Маяковского «Мы не верим» над одной из последних фотографий В. И. Ленина.

...Не хотим

не верим в белый бюллетень!

С глаз весенних сгинь, навязчивая тень!

В нем был портрет Мустафы Кемаль-паши, портрет Муссолини... Рисунок Невского проспекта 1919 года — трупы людей и лошадей у Гостиного двора, жители, влекущие сани с гробами. И то же место в 1923 году — трамвай, автомобили, оживленная толпа. В нем была статья о голоде и фотографии императорских корон, самолетов, мертвого города Хара-Хото, профессоров, лечивших Ленина, — Крамера, Миньковского, Ферстера. Объявление о самоликвидации эсеров, статьи о жилищном кризисе в Москве и о Московском Художественном театре, выступившем в Америке с постановкой «Царя Федора Иоанновича». Рассказ о матче Алехина, который играл с двенадцатью противниками одновременно, не глядя на доску, а потом попросил папироску: «Извините, я забыл свой портсигар — у меня ужасная память». Статья об игорных домах, где нэпманы делают ставки пачками долларов и фунтов стерлингов, и черной бирже, где торгуют валютой. Статья о самогонщиках. Фотография Сергея Есенина и Айседоры Дункан у Бранденбургских ворот в Берлине. Стихи, рассказ...

То ли было в России.

Из доклада Нансена: «Голод захватил 19 000 000, из которых 15 приговорено к голодной смерти». Доклад был неточен. Умерло 6 миллионов человек.

Выписка из брошюры Троцкого: «Мы так сильны, что если мы заявим завтра в декрете требование, чтобы все мужское население Петрограда явилось в такой-то день и в такой-то час на Марсово поле, чтоб каждый получил 25 ударов розог, то 75% тотчас бы явилось и стало бы в хвост и только 25% более предусмотрительных подумали бы заpastись медицинскими свидетельствами, освобождаящими их от телесного наказания».

Когда это писалось, число жителей Петрограда уменьшилось втрое.

Я подумал, а не сгущены ли тут краски. Пошел проверять по сочинениям Троцкого. Волосы становились дыбом...

Я где-то читал, что в покоренных Чингисханом мусульманских странах если в толпе появлялся монгольский воин и приказывал лечь на землю и ждать — он вернется и снесет всем головы, то люди как замороженные ложились и покорно ждали смерти. На Руси до этого не доходило, могли растерзать... А тут!

В восемнадцатом томе — откровенные русофобские высказывания. Что же касается казарменного социализма...

«Социалистическое строительство принципиально отвергает либерально-капиталистический принцип «свободы труда».

У Троцкого читаешь о диктатуре пролетариев, которые сами низводились до уровня рабов. Введена трудовая книжка. На предприятиях военная дисциплина и кары по любому поводу. Трудармии. «Идейная борьба с мещански-интеллигентскими и тредюнионистскими предрассудками». Продовольствие только в руках государства. За это же ратовал и Ленин.

Брошюра Троцкого «Терроризм и коммунизм» (1920). Главное — устрашение. «Красный террор есть орудие, применяемое против обреченного на гибель класса, который не хочет погибать». Но что это за класс, если терроризируются и рабочие, и крестьяне, не говоря уже о прочих? Или вот еще: «Репрессия для достижения хозяйственных целей есть необходимое орудие социалистической диктатуры». Расстреляны, повешены, распяты на крестах, утоплены — миллионы. А Ленин все требовал ужесточения наказаний.

Их выученик Сталин пришел позже...

Большевистский переворот и последующие события в России оказали на западный мир неслыханное воздействие. Это был отрицательный пример, который заставил сильных мира того пойти на уступки работающему человеку, сделать так, чтобы хороший труд высоко оплачивался, старость была обеспечена, а конституцион-

Но почему сохранил этот номер Шульгин?

Из-за разворота: «Кулисы истории» с факсимиле отречения великих князей, будто бы написанных рукой Шульгина. И первого списка Временного правительства — Львов, Милюков, Гучков и другие.

А поперек надпись, сделанная на полях: «Никогда ничего подобного я не писал. Да и почерк не мой, моим я, пожалуй, мог бы признать одно слово «Отречение». Кто написал текст, понятия не имею. В. Шульгин».

1 октября 1925 года он написал для «Нового времени» статью «Одиннадцать заповедей», в которой на основах христианской морали мечтал о будущей программе «килевой» партии для России.

Начал он с заповеди «не сотвори себе кумира», разъясняя, что нельзя оправдывать преступлений вождей нации даже во имя родины. Призывал трудиться и ставил в пример Америку, где труд делает людей богатыми. Считал во имя заповеди «не убий» грехом личную месть, поскольку казнить может лишь правовое государство.

Он писал о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о том, что в наши дни семья распадается, поскольку женщины отдаются не любя, а мужчины презирают женщин за это. «А если мужчина не хочет семьи, тогда он не хочет детей. А если он не хочет детей, у государства нет будущего. Это конец».

Заповедью «не укради» утверждается собственность. Но грабеж уже произошел. Так пусть хоть мужик сохранит свою землю на вечные времена.

Ему кажется, что народ в России поверил в ложь об «ужасах царизма», но все равно — родина прекрасна. Самое страшное — зависть, прямое нарушение заповеди «не пожелай». Ею пронизаны все взаимоотношения современных властителей России. «Зависть — это гад с пастью, дымящейся кровью». От слабости власти, от желания не потерять своих привилегий и проистекает величайшая жестокость ее. «Любите друг друга».

«Власть должна быть чутка и доступна. Если этому может помочь честная печать, надо помочь и печати. Если для этого нужен парламент, надо обзавестись и парламентом. Власть должна быть снисходительной к человеческой глупости. Она должна быть настолько сильной, чтобы не быть обидчивой. Кто силен, тот добр.

Власть должна быть милосердна к слабым. Отнюдь не связывая крылья передовым, сильным, тем, кто авангард нации, поощряя их мужество и смелость, власть должна вместе с тем подбирать упавших и отсталых.

Словом, выполняя свой суровый долг, власть, поощряя и карая, должна то и другое делать только во имя любви с твердой верой, что наступит день, когда люди станут умнее, чище, добрее...

Мрачному человеконенавистничеству не может быть места в светлом христианском государстве».

А что должна совершить «килевая партия»?

А) Углубить религиозное настроение нации.

Б) Во внешней политике проявлять миролюбие.

В) Во внутренней развить напряженную деятельность, чтобы пустить в ход все производительные силы страны.

Г) Требуя напряженного труда, не допускать переутомления, бережно сохраняя физическое и моральное здоровье населения.

Д) Стараться связать многовековое монархическое прошлое России с неведомым будущим. Вызволив из-под обломков весь живой материал, строить новую Россию в соответствии с этим материалом. Сохранить армию, возвращающуюся к традиционным порядкам.

Е) В отношении организованных уголовных преступников, именующих себя коммунистами, руками властей предержащих совершать акты возмездия, не переходящие, однако, пределы строгой необходимости.

Ж) Бороться с распутством мерами органического характера.

З) Укреплять началом собственности. В частности, закрепить землю документально, ибо недопустимо поземельное владение, основанное на уголовном титуле. Торжественным актом во имя высших интересов простить земельных захватчиков.

И) Стремиться, чтобы твердость сильной власти имела целью обеспечить населению наибольшее материальное благосостояние и наивысшую возможную духовную свободу.

Что ж, под такой программой ныне подписались бы многие.

В 1925 году, в Любляне (Югославия) вышла книга его зятя профессора А. Билимовича «Пафос хозяйствования». Каждый ее пункт был обговорен с Шульгиным, и поэтому она любопытна для нас.

В ней различались четыре типа участия различных слоев общества в хозяйственной жизни.

«1. Разрушать хоз. жизнь других, но самому обогащаться (классическими типами участия останутся властвующие в России «коммунисты»);

(Сделаем поправку — это не относится к так называемым «рядовым коммунистам». — Д. Ж.)

2. Разрушать хоз. жизнь других и самому оставаться бедняком

(это типично для русских социалистов-народников различных оттенков),

3. Развивать хоз. жизнь других и увеличивать свой собственный достаток (это типично для хозяйствующего христианина, не являющегося подвижником),

4. Развивать хоз. жизнь других, но самому оставаться бедняком (это хоз. подвижничество, примеры которого нам дали русские святители в их устройении старой русской хоз. жизни; к этому типу должны быть причислены и многочисленные идеалисты — изобретатели и организаторы производства в позднейшее время)

Первый и четвертый типы — это два антипода. Недаром И. Бунин вспоминал слова историка Ключевского о том, что Россия погибнет, когда разрушена будет гробница св. Сергия Радонежского. А значит, возродится Россия, когда образы русских национальных устроителей жизни вновь встанут перед мысленным образом нашего народа... При этом сейчас пред лицом ужасающей нищеты, в которую ввергнут наш народ, важно не столько то, чтобы обогащая других непременно отрекался сам от достатка, сколько то, чтобы вообще восстановилась русская хоз. жизнь. Пусть люди, которые помогут этому восстановлению, обогатятся сами, лишь бы восстановилось и возросло богатство русского народа. Важно только, чтобы обогащение отдельных лиц не получалось путем эксплуатации и разрушения хозяйства других»

Такова была хозяйственная программа, в которой прослеживается влияние нэпа и отголоски ранних религиозно-нравственных учений. Но кто мог услышать этот слабый голос в стране, опущенной в горловину чудовищной мясорубки бесчеловечного эксперимента, который проводился по прописям учения сугубых материалистов? В резюме этого труда говорилось:

«Не позволяйте материальным потребностям вытеснять духовные... Не становитесь рабами материальных благ, не позволяйте им принижать своего духа... Уважайте все отрасли продуктивной и общепользуемой хоз. деятельности — домашнее хозяйство, сельское хозяйство, ремесло, индустрию, транспорт, торговлю, кредит, банки, даже биржу, да, даже биржу, так как и она необходима и полезна, если только правильно выполняет свою функцию. Во всех этих отраслях, начиная с предпринимателя и кончая рабочим, может проявляться подлинный творческий пафос... Не забывайте о социальной политике и социальной реформе, которая должна устранять болезненные наросты на хоз. механизме. Ибо подобно тому, как ржа разъедает железные стержни, эти наросты разъедают здоровое хоз. творчество, губят его красоту и софийность, гасят пафос хозяйствования»

Это полезное чтение. Особенно сейчас, когда делаются по-

пытки наладить хозяйственную жизнь страны и бороться со все растущими «наростами». Правда, без отчетливого духовного учения, которое оживило бы убитую душу русского народа, менее других жадного до материального благополучия...

На маленьком вокзале городка Шульгина провожали все — даже сам Врангель и грудные дети в колясках, новорожденные в изгнании. Таков был обычай. Официальная версия — поездка в Польшу по своим делам. Мария Димитриевна еще была в Париже...

Генерал Климович сказал на перроне:

— Я Якушеву верю, иначе не стал бы вам помогать. Но не до конца... Вы — отец, риск — ваше дело. Разузнайте поподробнее о «Тресте».

Чебышев все еще пытался его остановить.

— Сына вы не найдете. А если и найдете, каким образом выведете бедного сумасшедшего?

Путь в поезде у Шульгина был недалек. В Новом Саде он сел на пароход и поплыл вверх по Дунаю, усердно приглядываясь к своим попутчикам. В 1922 году приставленного к нему агента ГПУ взяли под наблюдение и нейтрализовали, но в 1923-м из фотографии, где он снимался, пропали его карточки...

Билет на пароход был взят до Вены, однако Шульгин сошел в Праге, а оттуда, стараясь не попадать на глаза русским, проследовал в Польшу, где жил в Ровно у дальних родственников, отращивая бороду, изменяя внешность. На всякий случай он съездил на свою мельницу в Агатовке, которая была, как мы помним, на самой границе, — для проверки, нет ли слежки, ибо собирался перейти границу в другом месте.

У родственников в Ровно он нашел «Хатха-Йогу», которая произвела сильное впечатление на его мистическую душу. Он не видел большой разницы в индийской философии и христианском вероучении. Это было в ноябре — декабре 1925 года, а когда мы впервые увиделись с ним в Гагре, он через сорок с лишним лет перечитывал сочинение йога Рамачараки, которое прислали ему московские друзья. Он вспомнил, какая мысль посетила его в Ровно: если человек достигает известного уровня развития, он получает тайного руководителя, ему «случайно» начинают подвертываться книги, отвечающие на мучительные вопросы.

И он всегда исповедовал максимы индийских мудрецов о том, что самые радикальные политические и социальные перемены никогда ничего не изменят, так как в новые формы существования человека перекочевывают старые недуги, человек остается, чем был, а совершенное общество не может быть создано людьми или состоять из людей, которые сами несовершенны. Но это не просто пессимизм, это осознание необходимости самосовершенствования...

Шульгин думал о теоретиках, которые собственные ощущения принимают за «естественное право» народов, человечества, вселенной. И пишут законы, выполнение которых рано или поздно приводит к катастрофе. О том, что любовь к родине, патриотизм — это долг. В «Трех столицах» он говорит, что эти мысли ему подсказывает некий йог, проповедующий терпимость и справедливость. Он уповает на христианские заповеди, которые из зверя через десятки тысяч лет создадут человека совершенного. Заповеди Моисея для него — дифференциальное уравнение, из которого вытекает христианский интеграл: «Люби ближнего, как самого себя». Произойдет слияние с Богом, произойдет обещанное второе пришествие Христа, будет дан новый закон и узнана Истина...

Примерно такие мысли обуревали его, когда он писал главу «Нечто йогическое». Он не сказал, что дало толчок им, изъяснившись так:

«Эта непонятная глава имеет назначение сделать для читателя более понятными дальнейшие непонятности этой книги».

Но «непонятностей» остается более чем достаточно, и моя задача — расшифровать то, чего он не сказал тогда, но не все, пока не выйдут на свет Божий документы, имеющие отношение к поездке Шульгина...

Он перешел границу через «окно» в районе Столбцов 23 декабря 1925 года.

Этого уже нет в книге, а есть «такой-то вокзал такого-то города в такой-то стране, такого-то числа, в таком-то часу». Есть «молодой человек, т. е. средних лет», которого надо спросить по-русски, нет ли у него спичек, и спичечная коробка должна быть определенная. Это «контрабандист», которого послали другие «контрабандисты», с которыми Шульгин сошелся будто бы во время своего предыдущего пребывания в Польше.

Мы не можем довольствоваться почти романтическим описанием этого перехода в «Трех столицах», в котором Шульгин выступает как очень талантливый и наблюдательный литератор. Чувство ожидания, неизвестности, опасности, природа и люди — все это изображено блестяще и перемежается философскими размышлениями о нравах человеческих, о помышлениях высоких и низких, о законе и правде...

Любопытно, что четверо, сопровождавших его, «оказались так или иначе офицерами русской армии. Все участвовали, если не в гражданской, то в мировой войне. И в шалашике посыпались названия полков, бригад, географические названия, известные всем и известные только каждому из собеседников, словом, обычное, знакомое военное журчанье...».

Если все они были сотрудниками ГПУ, а не служили в этом учреждении в своих целях, то прошли они подготовку невозможную. В этих разговорах Шульгин мигом различил бы фальшь, как бы ни совершенна была агентурная «легенда».

Так появляется сомнение в советской трактовке «Треста».

Но вернемся на первое, как говаривал Аввакум.

В Варшаве Шульгин встретился с «молодым человеком, т. е. средних лет», представителем «Треста» Липским (он же Артамонов, тот самый, что подвел Якушева), который довез его до границы и направил в «окно». Провел его через границу «Иван Иванович» (сотрудник ОГПУ Михаил Иванович Криницкий). Затем Шульгин отправился в Киев с паспортом на имя Иосифа Карловича Шварца (в «Трех столицах» — Эдуарда Эмильевича Шмитта) в сопровождении «Антон Антоновича» (Сергея Владимировича Дорожнинского). В Киеве Шульгин остановился в гостинице «Бельгия», «Антон Антонович» — в «Континентале»...

Можно сколько угодно называть подлинные имена, места явок, но не приблизиться к выводу, который сделал Шульгин: «Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть».

Но сперва он был сплошное жадное любопытство.

Какова она, Россия? Он покинул ее в 1920 году, умытую кровью, а был еще 1921 год, «когда умерли миллионы, когда матери поедали собственных детей, погибших часами раньше их самих...».

Он не верит, что земля способна плодоносить, если она не принадлежит кому-то... Кто будет стараться на чужой земле? «Иван Иванович» играет (а может, и не играет), говоря: «Твоя земля? Моя-то сегодня. А завтра, может, уже и не моя... Ну какое ж тут хозяйство? Ведь хозяйство же не на один день. «Интенсификация», «удобрение», «корнеплоды»... Олухи! Кто ж будет интенсифицировать свое поле, чтобы оно другому досталось? Реформаторы! А душу человеческую реформировали, сволочь?! Душа-то все та же, мерзавцы!»

Эпоха военного коммунизма давно прошла, есть гостиницы, рестораны... Россия отъедается и кажется довольной... Все складывалось настолько гладко, что у Шульгина все-таки мелькала мысль: «А не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ?!» Все-таки мелькала. Но он гнал ее. «Контрабандисты» обещают ему помочь найти сына.

Он осознает, что эмиграцию, как врага советской власти, можно сбросить со счетов. Она занята мелкими интригами. Что же касается стодесятимиллионного русского народа, живущего у себя на родине, то Шульгин даже приходит к грешной мысли, что это народ никчемный, позволяющий власти делать с собой что угодно...

Но...

Скажем, англичане, немцы, французы — «суть продукт дол-

голетнего самоуправления, привычки к ответственности за свою родину, за свои государственные и политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено, все делалось в верхах. А потому, как требовать от масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет, а воспитывается веками».

Мысли и вопросы, не устаревшие и по сей день!

Но если внимательно прислушаться к разговору Шульгина с «контрабандистом Антоном Антоновичем», то вдруг возникает ощущение, что Шульгина провели в Россию, потому что он умен и способен правдиво рассказать о том, что видел. Другого сочли бы провокатором, человеком, завербованным ГПУ, а Шульгину поверят. Собеседник его превосходно осведомлен о нравах эмиграции. И облик его таков: «В глаза мне метнулось тонкое сухое лицо в пенсне, которое блеснуло как монокль... Он был бы на месте где-нибудь в дипломатическом корпусе». Шульгин упирал на то, что белые проиграли в борьбе с оружием, но не проиграли в борьбе идей, что их эманацией стал фашизм, противник коммунизма в мировом масштабе... для современного читателя все ясно, и эта его карта бита. От подобных мыслей и сам Шульгин отречется еще в канун второй мировой войны, когда агрессивный германский нацизм отодвинет в тень опереточный итальянский фашизм. Вспомним, что книга писалась в середине двадцатых годов.

Собеседник Шульгина говорит едва ли не парадоксами. И слишком умно для агента ОГПУ. Революцию, мол, делают сытые, если им не дать два дня поесть, как было в феврале семнадцатого... А вот заботы о самом необходимом, «то есть об элементарной безопасности от набегов Чека и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику». И тот же военный коммунизм — до бунта ли обессиленным скелетам, которые, протягивая руки, молят о хлебе? Чтобы прекратилось физическое и моральное уничтожение русского народа, был создан нэп. Заработало все — мужик, фабрики, железные дороги. Не только Ленин и коммунисты, огромные миллионы людей «бросились выжимать из нэпа спасение своей страны!». И это с решимостью, волей, силой, свойственной большевизму.

Когда Шульгин писал об этом, никто и предполагать не мог, что грянет рубеж двадцатых и тридцатых годов, разорение крестьянства, голод и смерть от него семи миллионов человек, расширение концентрационных лагерей, появившихся еще в 1918 году расстрелы, всеобщий страх и торжество тирании... Что можно предположить за словами собеседника Шульгина — нечаянное пророчество или продуманную систему физического и морального унижения и уничтожения русского народа?

А пока он скрупулезно записывает цены, благо при нэпе есть

чего есть. За границей он соскучился по икре, борщу и телятине... Отмечает, кто во что одет...

Оказавшись в родном Киеве, он видит реставрированные церкви и переименованные улицы — Крещатик и тот стал улицей Воровского. Удивляется «апокалипсическим» названиям учреждений: «Укрнархарч, Укрнарпит, Винторг, Бумтрест... Он видит строй красноармейцев и по залихватской песне, по внешнему их виду узнает армейскую преемственность. В правящей элите, в высшем классе он видит множество евреев, занявших место вырезанных образованных русских бюрократов и интеллигентов.

Для него самое страшное — взбунтовавшийся народ, пугачевщина. Так стоит ли его будить?

«Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким великим трудом восстановили неокommунисты при помощи нэпа? Для того, чтобы, разгромив «жидов», он вырезал всех «жидовствующих», то есть более или менее культурных людей, ибо все они на советской, то есть на «жидовской» службе?

Нет, не надо черного бунта...»

Он готов примириться с любым правлением, с любыми «панами», лишь бы не было разрушений и крови, не предполагая, что вскоре храмы будут взрываться, а новый класс начнет сводить счеты друг с другом, вовлекая в кровавую мясорубку миллионы тех, кому не до бунта. Он позволяет себе весьма некорректные высказывания о Ленине, чтобы потом раскаяться в этом.

А сейчас он видит густое движение на улице, извозчиков, трамваи, автомобили. Кругом обилие сладостей, торгуют абсолютно всем, даже книгами с двуглавым орлом на обложке, за что в 1920-м расстреляли бы. Уж не есть ли это смирение ортодоксального коммунизма?

Волнуясь и озираясь, Шульгин покупает книгу Шульгина «Дни», выпущенную ленинградским издательством «Прибой».

И еще. «Я как-то читал в одной иностранной газете, что на вопрос одного иностранного корреспондента, что он делает во время «отпуска», Ленин ответил:

— Внимательно изучаю «1920 год» Шульгина...»

И он тешит себя мыслью, что Ленин обратил внимание на его фразу: «Белая Мысль победит во всяком случае...» И считает доказательством этого расслоение советского общества, неравенство, неофициальное деление на богатых и бедных. «В этом большом городе нет сейчас двух людей равного положения». Он не силен в марксистских догмах, в принципе социализма: «От каждого по способностям, каждому по его труду». Уже в самом этом принципе заключено неравенство, ибо нет двух людей, равных по способностям. Важно лишь найти способы осуществления этого прин-

ципа в рамках социализма... Шульгин был твердо убежден, что без права (хотя бы для крестьянина) частной собственности на землю толку не будет.

Впрочем, это не ново... Шульгин и ему подобные были властителями в мире частной собственности, но слишком много пили, ели и вели пустопорожних разговоров. Коммунисты прогнали их с помощью лозунга «грабь награбленное», коммунизм сдали в музей (музей революции) и подчинились новым властителям «из жидов».

И он пророчествует. Жизнь возьмет свое. «Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать...» Но мы спросим — лучше ли новая многомиллионная бюрократия, в которой национальные различия не играют роли? И что значит фраза Шульгина о ней: «Они из уголовной сволочи превращаются в фашистов»?

Однако тогда он еще верил в фашизм, но с оговоркой:

«Опасность хамства, соблазна измывательства над бесправным (перед силой) населением это есть та подводная скала, на которую сядет фашизм в той стране, где им не будет руководить человек исключительного благородства и неодолимой властности»

Далеко ли ушел Шульгин от крестьянина, бунтовавшего в 17 веке с надеждой посадить «доброе царя»? Государственные преступления творились и творятся «волей масс». Надежда на настоящего вождя — та же игра в лотерею. Шульгин в свое время разочаровался в парламентаризме. Впрочем, он мечтал о законах, непререкаемых и священных, прочно защищающих право личности, обязательных и для вождя, и для парламента. Но все в этом мире течет и перерождается. Вожди и парламента могут любые законы толковать в свою пользу и выдавать эгоистическое своеволие за «волю масс».

Книга «Три столицы» заставляет думать, сравнивать, сомневаться. Она битком набита мыслями, и уже не хватает места отмечать художественные удачи. Она полна антиномий, и при всем ее оптимистичном, для своего времени, настрое, сейчас читается пессимистично, хотя в лозунге «перестройки» звучит великое обещание, а публикацией книги и сопутствующих ей мыслей проверяется объявленные гласность и плюрализм мнений.

О том, что «Три столицы» читали в Советской России, хотя она и не переиздавалась здесь, можно судить по подробно описанному эпизоду, как Эдуард Эмильевич Шмитт, скрываясь от слежки, решил выкрасить бороду и как эта борода стала лиловой после умывания и была сбрита. Все перипетии этой истории были перенесе-

ны Ильфом и Петровым в их роман «Двенадцать стульев», в описание приключений Кисы Воробьянинова...

И вот уже поезд несет Шульгина в Москву...

В пути узнается много из разговоров. Во всяком случае так было еще на моей памяти. Сейчас мы сдержаннее англичан. Шульгина интересует купец-нэпман, которого ценят, потому что дело большое и его надо знать. Только вот бумажек и разрешений появилось много. Прежде купец дал слово, и семьдесят вагонов мануфактуры отправили, а нынче верят не словам — бумагам. Когда никто никому не верит, нет кредита, а нет кредита — нет торговли и промышленности.

Железные дороги в Советской России в 1925 году работали отменно. Шульгин вспомнил Государственное совещание в Москве в августе 1917 года, когда он говорил о митинге вокруг искалеченного локомотива. «Митинги и работа — вещи несовместимые».

Шульгин считал, что большевики, которые тогда составляли половину зала Большого театра, встречая яростными криками подобные выступления, «намотали на ус» говорившееся и, прийдя к власти, митинги разогнали.

4 января 1926 года Шульгина встречал в Москве на Киевском вокзале «Петр Яковлевич» (Шатковский, некогда, по утверждению белоэмигрантской печати, жандармский полковник, ставший сотрудником ОГПУ).

С того самого августа 1917 года Шульгина в Москве не было. Тогда воздух был пропитан дешевыми и крепкими духами проституток. Происходило социальное догнивание. «Это был какой-то кабак на кладбище», — как выразился Шульгин. Теперь все успокоились. Рабочие по-прежнему живут на окраинах и добиваются на производстве «довоенных норм», «бесконечное число чиновников» заняло квартиры в центре.

Удивительна способность Шульгина оставаться актуальным в своих писаниях на долгие годы, как бы ни было парадоксальным или глубоко личным его мнение или наблюдение. Например, проблема архитектуры Москвы и сохранения памятников. В 1925 году Москва показалась ему застроенной невзрачными домиками. Он ценил старину и роскошь, но считал их исключаящими друг друга. «То, что роскошно, есть продукт последнего слова науки, техники и искусства». Он ратует за сохранение старинных поэтических особняков, а рядом предлагает воздвигать роскошные небоскребы. И еще он узнал, что в Москве тщательно реставрируют памятники архитектуры, открывают все новые музеи. «Остаткам человеческим мы рубим головы без всякого сумления», — говорит «Петр Яковлевич», сопровождавший его в Донской монастырь, бывшую резиденцию покойного патриарха Тихона,

где Шульгин узнает о новых репрессиях против духовенства.

Нам теперь известно и продолжение этой реставрации и действительной тяги к культуре в двадцатые годы. В начале тридцатых по указанию и под руководством Л. М. Кагановича было взорвано более трехсот памятников архитектуры мирового значения, ведущий реставратор Петр Димитриевич Барановский оказался в тюрьме, и было построено всего несколько конструктивистских зданий, даже отдаленно не напоминавших «роскошные небоскребы», и понадобилось еще тридцать лет, чтобы Москва получила «вставную челюсть».

Шульгин, не очень ловкий в политической экономии, пытался в длинных рассуждениях выяснить причину нехваток, дороговизны, очередей в Советской России, хотя то, что он описывает, не идет ни в какое сравнение с нынешней экономической обстановкой. Ленинский кооперативный план в книге Шульгина видится в действии, и вряд ли где он представлен нагляднее (с точки зрения постороннего наблюдателя). Но он усматривает и другое, что может быть оценено нами в полной мере:

«В чиновничьем хозяйстве всегда есть склонность застыть в установившихся рамках, в нем всегда обнаруживается недостаток инициативы, такая некоторая степенность чиновничья, которая весьма недалеко от китайской неподвижности».

Шульгин надеялся, что небольшой слой частников, хоть немного конкурируя, подстегнет и огосударствленную промышленность. Надеялся на то, что окрепший крестьянин потребует своей доли в правительстве. Надеялся на завоевание Россией мировых рынков...

15 октября 1927 года, когда о поездке Шульгина в СССР стало уже известно широко, в еженедельной газете П. Б. Струве «Россия» была опубликована статья, озаглавленная «Послесловие к «Трем столицам». Шульгин коротко описал свое первое знакомство с Якушевым-Федоровым, не упоминая, кто при этом присутствовал, и обращение к нему через присутствовавшее лицо (Климовича), а следовательно, к организации «Трест».

«За два года,— писал Шульгин,— она успела связаться с лицами, занимавшими в эмиграции действительно солидное положение. «Трест» импонировал, во-первых, тем, что у него были кое-какие средства. Это обстоятельство в глазах русской эмиграции, все существование которой «вымощено добрыми пожеланиями», не перешедшими в действие из-за бедности, свидетельствовало о какой-то силе. Поражала и некоторых восхищала смелость этих людей, бестрепетно переходивших границы туда и обратно, исчеза-

ших из Москвы под предлогом поездки в провинцию и появившихся в Париже или Берлине для того, чтобы через несколько дней опять «вступить в исполнение своих служебных обязанностей» в Советской России. Солидность «Тресту» придавало и то, что у него, очевидно, были друзья в правительственных кругах некоторых государств и что, например, визный вопрос, который есть чистое наказание Божие для рядового эмигранта, для членов «Треста» не служил никаким препятствием. Они ездили, куда хотели, доставая визы с молниеносной легкостью. Правда, именно эти обстоятельства — деньги, смелость, связи — некоторыми скептиками толковались не в пользу «Треста»: агентам ГПУ легче всего иметь и то, и другое, и третье. Но их голос звучал неубедительно. Хотелось верить в русское мужество и русский гений.

Переход границы и вообще путешествие по России мною изображено в книге «Три столицы» так, как оно было, за исключением, впрочем, кое-чего, о чем можно сказать сейчас (мы знаем уже много больше.— Д. Ж.). Так, например, разговор с неизвестным в «слипинг-каре» на самом деле происходил не в вагоне и не с «неизвестным», а является сводкой нескольких разговоров, которые я имел с Федоровым-Якушевым в Москве. Таких бесед я имел три в Москве».

Расскажем чуть больше, чем мог сказать Шульгин тогда.

Первая беседа их в Москве состоялась 13 января 1926 года на квартире у Якушева, куда Шульгина привел «Антон Антонович» Дорожинский с должным соблюдением конспирации. Стол был сервирован перед горящим камином. «При разговоре присутствовал кто-то из старших членов организации, человек с умным, массивным лицом, который, однако, ничего не говорил, а только слушал, выражая свое сочувствие наклонением головы».

Это был генерал Потапов. Говорил больше Якушев, выказывая превосходное знание обстановки в эмиграции, которую не слишком уважал за раздоры. Говорил он умно, живо, хоть и не по-ораторски гладко. Он хвалил Шульгина за книгу «Дни». Когда же он заговорил о России, глаза его загорелись. Россия не умерла и будет жить, несмотря на большевистскую власть. Не умер бессознательный жизненный инстинкт и сознательная воля к сопротивлению. Он был уверен в силе своей организации: «не выскребешь нас никакой ложкой хирурга» (читай Дзержинского, отметил Шульгин) Дело все в сроках. Якушев зло высмеивал социализм. «Что ж тут говорить: с социализмом сели в планетарную лужу».

В «Трех столицах»: «Никакого коммунизма больше нет, есть глупая болтовня людей, которым стыдно сознаться, что они кругом провалились, опростоволосились... Осталось лишь желание удержать за собой власть. Население большевиков нена-

видит, и потому эта власть падет. Надо быть к этому готовым».

Якушев говорил о большевистской лжи. Мужикам землю обещали, а не дали. А их организация сделает все, чтобы выполнить то, что не успел сделать Столыпин. Он говорил о расслоении среди коммунистов — одни корчат из себя бар, другими пренебрегают...

Шульгин вспоминал: «Его очень занимала мысль пообедать сообща со мной в каком-нибудь шикарном ресторане, чтобы показать мне, как «живут и работают» в пролетарском государстве (впоследствии это было признано слишком опасным)».

Заговорили о евреях. Эмигранты считают, что в России царит беспросветное еврейское засилье. Якушев уверял, что на верхи пробивается и сильная русская струя. Евреи, разумеется, сильнее. Так пусть придавят еще, и тогда мы опомнимся. Россия-то восстанавливается русскими руками.

Из «Трех столиц»: «Это сделано русскими руками, и потому хотя мы и щеголяем сейчас в еврейской ермолке, но под ней, слава Тебе Господи, с каждым днем нам Бог мозгов прибавляет...»

Вот он, Якушев, сохраняет превосходные отношения с Троцким: «Он хочет познакомиться с вами. С еврейством надо как-то поладить, среди них есть люди.»

Шульгин ответил:

— Если вы считаете это полезным, я готов.

«Но Якушев, как бы спохватившись, дал отбой:

— Нет! Это слишком опасно!»

Так Шульгин вспоминал уже в 1966 году. Он считал, что опасно было и для Троцкого, этого негодяя, которому будто бы «где-то в Бразилии родственник разможжил голову пресс-папье», а разгар их борьбы со Сталиным был во время шульгинского посещения России.

И в то же время Шульгин боялся еврейских погромов, с чем Якушев охотно соглашался. Евреи совершают грубейшую ошибку, не поддерживая русских преемников советской власти. В эмиграции говорят о «еврейском фашизме» в России. Так оно и есть, но борьбу против него надо вести не погромами, а духовную, экономическую, политическую, ибо частичные избиения укрепляют психическую мощь мирового еврейства и ослабляют психику русской стихии...

Якушев боялся коренной ломки после падения большевиков. Если исключить их злоупотребления властью, истребление «буржуев», не так-то плохи самоуправление и децентрализация. Он с отвращением говорил о демократии, которую разводило Временное правительство, и склонялся к «силе, мощной духовно и достаточно численной количеством, силе приблизительно в типе

выступившего сейчас на мировую арену фашизма» (разрядка В. Ш.).

Якушев, да и Шульгин тогда считали столыпинскую «ставку на сильных» с одновременной христианской милостью к слабым предвозвестием фашизма.

Много позже Шульгин напишет:

«Но хитлеровцев (В. В. всегда писал Гитлера через Х.— Д. Ж.) только по невежеству называют фашистами. Они никогда не были фашистами и никогда себя сами так не называли. Они были «наци», т. е. национал-социалистами. Между этими двумя (неразб.) великая разница, что, конечно, когда-нибудь поймут».

Якушев склонялся к просвещенной монархии, называл имя великого князя Николая Николаевича и резко отрицательно относился к иностранному вмешательству в русские дела:

— Вы видели Россию, Василий Витальевич. Плохо, конечно, но скажите: находимся ли мы в таком положении, чтобы продаваться иностранцам за всякую цену?

Не менее резко Якушев высказался и в украинском вопросе, в отношении «самостийников». В общем, взгляды его с шульгинскими вполне совпадали.

И наконец заговорили о главной цели приезда В. В. в Россию. Он попросил помочь ему добраться до Винницы, где, по его сведениям (он не сказал, откуда их получил, чтобы избежать косо-го взгляда трезвомыслящего Якушева), находится в больнице для душевнобольных его сын. Якушев ответил, что пока это невозможно, и предложил послать туда своего человека.

— А если он вас узнает?— спросил Якушев.

— Так что же?

— А то, что он вас же и выдаст. Вас схватят, а «Трест» взлетит на воздух. Так не годится. Мы пошлем своего человека.

И послали.

Шульгин написал записку с намеками, понятными только для Вениамина:

«Дорогой Ляля! Я тебя ищу. Доверься предъявителю этого письма. Лиз жива, Димка тоже. Чтобы тебя узнать наверное, расскажи что-нибудь предъявителю письма из Овальнокотских сказок. Храни тебя Господь. Твой Биб».

Бибом, как мы помним, в семье называли В. В., а Лиз — это, скорее всего, Екатерина Григорьевна.

Пока ищут Лялю, Шульгину предложено пожить на даче под Москвой. «Антон Антонович» Дорожинский присоединился в уличной толпе к Шульгину и «Петру Яковлевичу» и сказал:

— Вы можете во всем довериться Василию Степановичу. И он вас устроит. Комната найдена. Бросьте гостиницу.

Тут же его познакомили с Василием Степановичем, который оказался Радкевичем, мужем Марии Владиславовны Шульц. Молодой, не старше тридцати, тот был красив в своем романовском полушубке и треухе. Он сказал, что и сам живет за городом, а Шульгина поселят неподалеку, у одной старушки.

Шульгин купил постельное белье, плед в ГУМе, ныне ЦУМе, а до революции в «Мюре и Мерилизе», отметив, что цены там дешевле, чем у нэпманов. Толпа расхватывала все. Он понял выражение «товарный голод». Но откуда деньги берутся? Он подумал, что, видимо, казна приплачивает государственным предприятиям, работающим в убыток, хотя крупные фабрики, по идее, должны производить более дешевый продукт. Подумал он и о монополии государственных трестов. А дешевизна искусственная. Берут меньше налогов с государственной торговли. Надо подкармливать рабочих за счет ограбления деревенской России. Это беда, когда государство вмешивается в рынок — товары с него исчезают. «Требовать от чиновников всезнания нелепо, а поручать ничего не понимающим людям тончайший аппарат цен еще глупее». Ленин призывает коммунистов учиться торговать, «поумнел... прикрикнул на свою шпану», и Шульгин надеется, что «два великана» — государственный и частный, — конкурируя, облегчат жизнь населения. Однако он уже видит и другое.

Будучи в комитете Государственной думы, он видел, что Путиловский и другие заводы, взятые в казенное управление генерала Маниковского, в конце концов справились с поставкой снарядов на фронт в 1916 году, но было уже поздно...

«Где остановить линию государственных снегов, одевающих Россию сверху? Где проложить черту, за которой должна быть зеленая поросль сочной частной инициативы?»

Не это ли стало мучительным вопросом и нашего времени?

Однако вернемся к Шульгину с Радкевичем, направившимся на Казанский вокзал и в Лосиноостровскую, тогда еще дачное место. Он поселился в домике у старушки, ждал известий о Ляле и читал советскую печать, так горячо воспринимая события, что однажды послал заметку в «Красную газету» с рационализаторским предложением, о чем нашел отзыв в одном интервью.

Встревожили его строки в газете: «Небезызвестный черносотенный писатель В. В. Шульгин заболел язвой желудка». А вдруг корреспондент предчувствовал его будущую болезнь? «Правда» критиковала Шульгина за какое-то место из «Дней»...

Дурацкая орфография, но он начинал жить жизнью страны, радоваться ее достижениям, печалиться из-за неудач, ведь если рассудить, «советская власть есть не более, как печальное приключение, грустный эпизод тысячелетней русской истории».

«Василий Степанович» жил в двух станциях от Лосиноостровской. Шульгин часто ходил к нему пешком, сразу познакомился с «Прасковьей Мироновной», его женой. Имя это подходило к ней, «как лапти к шелковому чулку». Супруги непрестанно кашляли — сильно простудились — переходили в последний раз границу, провалились в ледяное болото.

Вот как описывал Шульгин свое пребывание на даче несколько десятилетий спустя:

«Я был отдан Марии Владиславовне Захарченко-Шульц и ее мужу под специальное покровительство. Муж ее был офицер. По ее карточкам, снятым в молодости, это была хорошенькая женщина, чтобы не сказать красивая. Я ее узнал уже в возрасте увядания, но все-таки кое-что сохранилось в чертах. Она была немного выше среднего роста, с тонкими чертами лица. Испытала очень много, и лицо ее, конечно, носило печать всех испытаний, но женщина была выносливой и энергии совершенно исключительной. Она была помощницей Якушева... Мне приходилось вести откровенные разговоры с Марией Владиславовной. Однажды она мне сказала: «Я старею. Чувствую, что это последние мои силы. В «Трест» я вложила все, если это оборвется, я жить не буду».

И еще она жаловалась на медлительность Якушева. Шульгин заметил, что она «идеализировала другого члена этой организации».

Опперпута. Но об этом потом...

Троица обменивалась рассказами об «ужасных приключениях», выпавших на их долю в последние годы.

«Эдуард Эмильевич» часто ездил в Москву в сопровождении «Прасковьи Мироновны». Так они посетили суд, который действовал только из соображений партийной целесообразности. А когда они проходили по Лубянке мимо старинного дома, стоящего до сих пор голубоватым покоем за изящной решеткой, Мария Владиславовна сказала, что в подвалах его расстреливают тех, кто в народный суд не попадает. В газетах об этом уже не объявляют.

В шестидесятых годах Лев Никулин писал роман «Мертвая зыбь». Они с В. В. встречались. А 22 апреля 1963 года В. В. отправил автору будущего романа большое письмо с описанием лиц, связанных с «Трестом». У меня есть и черновики этого письма, из которых я уже цитировал. Само письмо он продиктовал стенографистке, «обязанный любезности Владимира Ивановича» (Шевченко), тогдашнего начальника владимирского КГБ, под надзором которого находился Шульгин.

Он писал, что Мария Владиславовна была настоящим офицером, что отец ее был поляк, а мать — русская, что у нее были тонкие руки и она носила золотое кольцо...

«Ее с мужем послал в Россию Кутепов. Она стала секретарем «Треста». Между прочим, она работала «на химии», то есть она перепечатывала тайную корреспонденцию, которая писалась химическими чернилами. Она проявляла, затем печатала на машинке. Это была работа иногда очень изнурительная. Я познакомился с нею в Пушкине. Это был населенный пункт в лесу, где она жила, постоянно приезжая в Москву, откуда примерно час езды. Они с мужем меня устроили там же в одной семье простой женщины-вдовы, кондуктора железной дороги. Там оба супруга меня навещали, и я у них бывал. Это описано в «Трех столицах», конечно, не называя их».

По выходе «Мертвой зыби» Шульгин написал Никулину «заметку»:

«Как все труды этого рода, и роман имеет целью не историческую правду и не создание художественного произведения, являющегося самоцелью, а торжество Партии, партии социал-демократов-большевиков».

Шульгин писал, что Никулин воспеваает провокаторов.

«Главный из них — Феликс Дзержинский — «Золотое Сердце».

С последним у меня лично особые счеты. На нем много крови, но меня он пощадил. И выпустил меня обратно в эмиграцию. Этим он, на мой взгляд, обнаружил, если не золотое, то разновидность некоего человеческого сердца.

При этом он преследовал и партийные цели. Ему казалось: вместо того чтобы делать из Шульгина «мученика», расстреляв его (как, например, капитана Рейли), выгоднее его скомпрометировать, вернув ему свободу.

Может быть, и так. Но мне думается, что тут было и еще нечто. Ведь «политику» мне в данном случае «приклеили». Настоящей целью моего путешествия в 1925—26 гг. было отыскать сына, помещавшегося в доме умалишенных, и вывезти его оттуда за границу.

Расстрелять отца, спасающего сына? На это не поднялась рука у человека, не знавшего пощады в других случаях. Поэтому у меня к Ф. Дзержинскому особое отношение. И тут я ставлю точку.

Однако я обязан рассматривать его и с другой стороны. Он создал, если верить автору «Мертвой зыби», организацию «Трест» путем провокации и, используя ее, ликвидировал свое создание, подобно богу Хроносу, который пожирал своих детей, исполнивших поставленные им задания.

«Le agents provocateurs» хорошо известны французской юридической доктрине. Последняя считает их деятельность преступной, поскольку провокаторы заставляют своих жертв совершать преступления, которых они не совершили бы, предоставленные самим себе.

Весьма наглядным примером являюсь я, лично, пишущий эти строки. Широко стало известным заглавие моей книги «Три столицы». Но очень немногие знакомы с ее содержанием. Содержание же ее таково, что и сейчас, по истечении сорока лет, она, эта книга, считается строго запрещенной. Это значит, что она в 1967 году преступна и опасна с точки зрения Советской власти. Даже у автора ее нет. Так как многое я забыл, то я сам не могу точно рассказать, в чем мои преступления, связанные с книгой «Три столицы».

Но как же это чудовище появилось? Предоставленный самому себе, я ни в коем случае этой книги бы не написал. Меня к этому принудили настойчивые просьбы провокаторов, за спиной которых стоял Ф. Дзержинский.

Первоначально я категорически отказался описывать свое нелегальное путешествие в Советский Союз, боясь, что подведу своих «друзей» по Тресту.

Но мне было сказано, что весь текст, который я свободно напишу в эмиграции, может быть предварительно цензурирован в Москве до печатанья книги. И потому мне нечего опасаться, что я кого-нибудь подведу.

Так и было сделано. Рукопись побывала в Москве, была прочитана и одобрена. Одобрены были, значит, и все «преступные» страницы. В числе их и выступления против Ленина, до того резкие, что сейчас я сам их вычеркнул бы.

Поэтому, кроме подписи автора, т. е. «В. Шульгин», под этой книгой можно прочесть невидимую, но неизгладимую ремарку: «Печатать разрешаю» Ф. Дзержинский.

Вот что такое провокация. Она заводит самих провокаторов гораздо дальше, чем они сами того хотят.

Я сделал этот вывод для себя. Но Л. В. Никулин, через сорок лет после краха этой системы, возвеличивает ее в книге «Мертвая зыбь». Нам явно не по дороге, и поэтому оказывать содействие этой акции в форме книги, пьесы или экранного воспроизведения мне невозможно.

Сказанного достаточно. Но для ясности хочу еще кое-что прибавить. Мы совершенно расходимся с Л. В. Никулиным в оценке некоторых лиц, им изображенных в романе «Мертвая зыбь». Это особенно касается Марии Владиславовны Захарченко-Шульц и ее мужа Радкевича. Автор романа «М. з.» рассказывает, что муж Марии Владиславовны был вечно пьян. Я жил тогда под Москвой около месяца, почти ежедневно видясь с супругами. И ни разу я не видел мужа Марии Владиславовны пьяным. Это первое. Л. В. пишет, что Мария Владиславовна била по щекам своего вечно пьяного мужа. Это Никулин излагает по рапортам Якушева. Но вот мой рапорт:

Она обращалась с мужем ласково, правда, слегка снисходительно. Она была старше его и, естественно, им руководила. Это — два.

Но есть и третье. Есть свидетельство женщины, на которую Л. В. Никулин обратил минимальное внимание. Он уделил ей в своей книге только одну строку:

— Шульгин доверился некой ясновидящей...

Так. Но если бы Шульгин не доверился ясновидящей, то роман «Мертвая зыбь», как я думаю, не появился бы. Шульгин не поехал бы в Советский Союз. Ведь только благодаря ее чудодейственному дару он узнал, что его сын жив и находится в Виннице, в Доме умалишенных».

В октябре 1960 года Шульгин нашел через КГБ врача, лечившего его сына в 1925 году. В. В. беседовал с ним во время поездки на Украину, позволенной Хрущевым в пропагандистских целях — ради будущих «Писем к русским эмигрантам». Ляля скончался в лечебнице для душевнобольных в Виннице еще до приезда Шульгина в Советскую Россию. У врача же он узнал, что здание лечебницы было цело во время войны, когда под Винницей располагалась ставка Гитлера. В нем дислоцировался немецкий штаб, и будто бы фюрер в нем останавливался. «Трестовики», видимо, знали о смерти Ляли с самого начала, но извещать об этом Шульгина не входило в их планы. Оттого его и не пускали в Винницу.

Через десятки лет В. В. жалел, что, думая о своем и участвуя в политических эмигрантских распрях, он мало занимался таким явлением, как ясновидение Анжелины. Он даже говорил в старости:

— Ценность моих литературных произведений не идет ни в какое сравнение с этой книгой, которую я написал бы и напечатал, получив от нее, от Анжелины, все то, что она могла дать... Русский человек задним умом крепок!

Мы весьма далеко забежали вперед, но утешает, что все связано.

Возмущение Шульгина по поводу никулинской лжи понятно. Но «заметку» автор предназначал для Мосфильма, предлагавшего ему «некоторые сценки для картины «Мертвая зыбь».

«Прошу принять выражение совершеннейшего почтения», но помочь Мосфильму В. В. Шульгин не может.

Однажды у Василия Витальевича было «очень рискованное свидание» на вокзале. С человеком, ездившим в Винницу. Подстраховывал В. В. Радкевич. В «Трех столицах» дело изображено так, что В. В. случайно, после встречи, увидел «Василия Степановича», укрывшегося за газетой.

На самом деле Радкевич заранее предупредил:

— В случае чего, бегите!

— А вы?

— Я остановлю их. Задержу.

— Чем?

— Револьвером, если понадобится.

— А дальше — что?

— Дальше? Там видно будет.

— Я не согласен.

— Послушайте. Те, что мне это приказали, они меня и выручат. Поняли?

«Это были слова человека мужественного, решительного, владеющего собой. Он был совершенно трезв в этот раз, как и всегда. Я никогда не видел его пьяным», — повторял Шульгин в другой записи, где уверял, что сначала не верил Марии Владиславовне («своя своих не познаша»).

«У ее мужа были красивые глаза, глаза мечтателя, чуть печальные... Он ее любил, это было очевидно».

Шульгин ездил в Москву и в одиночку. И даже смотрел фильм «Броненосец Потемкин» в огромном здании с тремя кинозалами. Это несомненно «Метрополь», в котором я, по какой-то иронии судьбы, видел фильм Ф. Эрмлера о Шульгине «Перед судом истории», шедший всего неделю и снятый с экрана, потому что игравший самого себя старый элегантный белогвардеец совершенно затмил своих оппонентов, большевистских историков, и вызывал сочувствие к тому, к чему, по мнению идеологических лидеров Ильичева и Суслова, вызывать его было не надо.

«Броненосец Потемкин» показался ему глупым и даже отвратительным. Во-первых, мало логики в том, что судовой врач якобы «не видел» червей в мясе, которым кормили матросов. Шульгин помнил, что с флотом «цацкались». Во-вторых, стоило ли изображать подвигом то, что бандитствующие матросы убили своих офицеров и удрали в Румынию. В-третьих, большевики показывают, как надо расправляться с начальством, разжигают кровавые страсти. Что может из этого выйти? «Что ж, если Бог хочет наказать, Он отнимает разум».

Теперь уже Шульгин ходил в галифе, высоких сапогах, синей фуражке с желтым околышем и синей толстовке.

Таким его и привел «Антон Антонович» на какую-то квартиру, в которой состоялось второе свидание с Якушевым. Лучше, чем Василий Витальевич в своем послесловии к «Трем столицам», я его не изображу, а нам легко следить за беседой, потому что мы уже знаем, кто есть кто.

«Сначала мы говорили с Федоровым вдвоем. Он получил письма из-за границы и возмущался эмигрантскими распрями. Затем

разговор соскользнул на генерала Врангеля, к которому Федоров относился с большим уважением, но сокрушался, что барон Врангель под разными предлогами отказывается иметь с «Трестом» дело. И тут я принял деликатное поручение: если, даст Бог, я благополучно вернусь в эмиграцию, попытаюсь изменить точку зрения генерала Врангеля на «Трест» в благоприятную сторону. Должен сказать, что я с величайшим удовольствием и даже, можно сказать, с энтузиазмом принял это поручение».

Шла еще речь о базе для врангелевцев в имении Шульгина возле советско-польской границы, под видом фабрики гнутой мебели.

«Затем последовал обед, за которым нас было четверо: Федоров, Антон Антонович, я и еще одно новое для меня лицо. Фамилию я, конечно, не спрашивал, что поставил себе правилом, а имя и отчество ничего мне не сказали, кроме того, что они (Оскар Оттович) или что-то в этом роде, были удачно подобраны к его внешности. Он с своей рыжей бородкой, такой, как изображают «дядю Сэма», и сильной фигурой напоминал инженеров из обрусевших иностранцев,— такие бывали, например, инженеры, руководившие в свое время большими иностранными предприятиями в России. Федоров представил мне его как «нашего министра финансов». Соответственно с этим, разговор пошел по финансовым темам. Поскольку было возможно, я старался выяснить, как они добывают деньги.

— Мы бедны, как церковные крысы,— сказал Федоров,— но вот все же выкручиваемся. Конечно, для того, чтобы сделать дело, для которого мы существуем, нужны «планетарные» суммы. Их мы ищем. Пока мы их не найдем, бессмысленно приступать к решительному шагу. Но на текущие надобности кое-как выколачиваем.

Из разговора выяснилось, что социальная природа «Треста» такова. Нэп позволил вести кое-какие коммерческие дела. Эти дела, естественно, дают кой-какую прибыль. Эта прибыль идет на дело. Таким образом, руководители «Треста» — на поверхности нэпманы. Глава их, в смысле финансового руководства «трестовскими» предприятиями, и был могучий человек с клинообразной рыжей бородой, говоривший хорошо по-русски, но все же с иностранным акцентом.

Позже я узнал от других членов «Треста», что это второй, после Федорова, глава «Треста», его «мотор», человек огромной воли и инициативы, соединяющий коммерческие умения с превосходными конспиративными способностями. А еще позже я узнал, что это и был знаменитый ныне Опперпут».

После обеда Дорожинский отвез Шульгина на дачу в Лосиноостровскую.

Но, судя по бумагам Шульгина, есть основание считать, что, кроме описанных двух и прощальной третьей, были у него и еще встречи с Якушевым-Федоровым. Например, на даче. Тогда Шульгин изъявил желание побывать в Ленинграде. И вдруг кто-то в середине разговора стукнул в окно. Якушев вышел и вернулся с человеком, который вручил пакет и откланялся по-польски: «До видзенья, пан». Якушев сказал, что это связной из польского посольства.

В купе поезда Москва — Ленинград Шульгина ждет уже очередной «контрабандист». Чувствуется, что в разговор с ним в «Трех столицах» вложено содержание беседы с Якушевым...

«— За это время, я думаю, вы убедились, что не все здесь в России именно так, как вам казалось издали...»

Шульгин:

— «Да. Оказалось совершенно иначе. Я думал, что еду в умершую страну, а я вижу пробуждение мощного народа».

Его собеседник говорит, что в России никогда не умирал не только бессознательный жизненный инстинкт, но и сознательная воля сопротивления.

Впрочем, как уже было подмечено, все выкладки очень похожи на всегдашние убеждения самого Шульгина... Гигантский социальный эксперимент, проводившийся и проводящийся на живом теле России, приводил к «издержкам», к многомиллионным жертвам, но пробуксовывал на неизменности природы человеческой, растрачивая добытое добром и трудолюбием на эгоизм, зависть, властолюбие, лень, жестокость и пр.

Запечатленное и предвиденное у Шульгина требует осмысления, что и пытаемся сделать мы сейчас, стараясь вырваться из тенет закостенелых догм и чиновничьей консервативности. И прислушиваемся к любому мнению, рожденному добрыми побуждениями, а не групповыми интересами.

В Петербурге-Петрограде-Ленинграде Шульгин жадно ловил историческое прежнее, сохраненное по сию пору в зданиях, музеях так щедро, что даже не верится, а в глаза ему бросалось новое... Он следил за тем, как грызется с большинством партии Зиновьев, как Бухарин старается подойти к новой экономической политике расширительно, потому что возврата к военному коммунизму нет. И Шульгин уверен, что всем страшно будущее. «Нарастает и нарастает грозное». А мы, читая, знаем, что грядет Сталин, и не один, но именно на него повалятся все шишки, хотя система сама запрограммировала появление его у власти... Да, «новые буржуи почище старых: грубее, жестче, беззастенчивее...». Идеи рядовые недовольны. Шульгину кажется, что они «им» покажут. Он ошибался — именно на них и будет опираться Сталин при

очищении партии от «оппортунистов», таких же палачей...

Ну, а пока нэп. Сверкают витрины ювелирных магазинов. Круглые сутки вращаются колеса рулетки в игорных домах, давая средства на .. народное просвещение. А в Зимнем дворце покои отведены музею революции.

«Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет, с большими усами и еще с большими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце.

Этот господин был мне скорее несимпатичен и во всяком случае очень далек от меня. Между тем это был я собственной персоной». Он видел «Заговор императрицы», пьесу графа «Алешки» Толстого в Суворинском театре и ругался немилосердно, хотя и оценил таланты автора и актеров...

Пребывание в бывшей столице воскресило в памяти Шульгина думские заседания, убитого Николая II, открытие памятника Александру III, родило ядовитейший ответ на плоские вирши Демьяна Бедного. «Храм на крови» на месте гибели Александра II и где-то прочитанная фраза: «Русские имеют обыкновение убивать своих Государей...» — вызвали горечь причастности к пролитию крови. От сотни погибших на его глазах в феврале семнадцатого до «миллионов казненных, десятков миллионов погибших от голода, доведения страны до пределов ужаса и бедствия».

При нэпе он видел пока «возвращение вспять» и склонен был воспринимать с юмором попытку большевиков набросить колпак на ангела, венчающего «Александрийский столп», и невероятное число, «в каждой щели», аляповатых бюстов «доброго дедушки Владимира Ильича».

Когда состоялась третья встреча с Якушевым? Судя по всему, по возвращении из Ленинграда. Вот ее описание 1927 года:

«Третья беседа произошла по моей инициативе. Итак, я принял поручение к генералу Врангелю. Но, приняв таковое, я хотел знать немного больше. Пока я мог сказать генералу Врангелю только, что я видел верхушку «Треста» (Федоров, молчавший человек, Антон Антонович и Оскар Оттович), что я видел еще кой-кого, кроме верхушки, что, по-видимому, у «Треста» есть связи по всей России, но что я совершенно не могу ничего сказать об их реальных силах в смысле антибольшевистского действия. Я понимал, однако, что просить руководителей «Треста» продемонстрировать мне массовые сцены невозможно, ибо конспираторы, которые по какому бы то ни было поводу собираются в большом числе, обречены на провал. Вся техника конспирации может покоиться только на том, что низы не знают верхов. Но я мог

просить, чтобы руководители сами раскрыли мне свои силы, какими они их считают. Другое дело, насколько они сами ошибаются и насколько им можно верить, но все же источник осведомления у меня был один, и я должен был хоть им воспользоваться. Я сказал об этом Антону Антоновичу, с которым виделся чаще, и он «испросил мне аудиенцию» у Федорова именно на сей предмет.

Федоров понял законность моего желания доложить генералу Врангелю сущность надежд «Треста».

Я здесь не скажу всего, что мне сказал Федоров по той причине, что это было бы в некоторых отношениях невыгодно. Но сущность его заявления состояла в том, что и в данную минуту «Трест» обладает достаточными силами, чтобы попытаться сбросить советскую власть. Но «Трест» боится «следующего дня» после победы. Вряд ли удастся удержаться, погубив лучшие свои силы в уличном бою в Москве. «Время работает на нас. Рисковать в нашем положении нельзя. Надо бить наверняка. А для этого надо ждать и уметь вовремя воспользоваться благоприятными обстоятельствами».

Затем он коснулся вопроса, чем могла бы помочь эмиграция, причем развивал мысль, что, конечно, она опоздает к решительному моменту, но что ее естественная роль подкрепить новую власть кадрами людей, совершенно определенного образа мыслей и сильно дисциплинированных. В этом смысле он придавал большое значение сохранению воинских кадров эмиграции, но, разумеется, под условием согласования их деятельности с «силами внутренними».

Много лет спустя Шульгин рассказывал, что Якушев был любезен, что на обед подали навагу и рябчики с рябиной, что он поблагодарил Якушева за поиски сына и спросил, что мог бы сделать для «Треста». Якушев ответил:

— О сыне вам дали неправильные сведения. Его в Виннице нет. А сделать вы можете следующее... Мы хотели, чтобы вы, благополучно вернувшись, написали книгу, такую же талантливую, как «Дни» и «Девятьсот двадцатый». Мы все поклонники вашего литературного таланта. Эмиграция должна знать, что, несмотря на большевиков, Россия жива и не собирается помирать...

— Мне не хочется огорчать вас, но я категорически отказываюсь,— сказал Шульгин.

— Почему?

— Я буду в полной безопасности, а вас здесь перехватывают.

Шульгин согласился писать книгу после долгих уговоров и при условии, если текст ее перед публикацией прочтут в Москве.

Якушев переглянулся с Опперпутом и «Антоном Антоновичем» и, как бы прочтя в их глазах ответ, сказал:

— Это сделать можно!

Это было сделано. За исключением главы «Антон Антонович», вся рукопись достигла Москвы и вернулась. Цензура была чисто технической — вычеркнули, например, подробное описание того, как возобновляется прерванная связь между людьми, обслуживавшими «окна» по обе стороны границы. Крайне резкие выпады против Ленина остались...

Шульгин считал, что Якушеву идею написать книгу подал Дзержинский. А тому кто? Троцкий? Сталин?

С Лениным, признавался Шульгин в шестидесятых годах, он обошелся грубовато. «Ведь даже когда на дуэли подходишь к барьеру, приветствуешь противника поклоном». А Ленин когда-то посвятил Шульгину в «Правде» несколько строк весьма корректных, читал его книги, которые потом запретил Сталин. Кстати, Якушев настаивал, чтобы в книге было «поменьше идеологии».

Ленина возвеличили после смерти, превратили в святого, чтобы хоть какая-нибудь вера была. «Задача: преобороть озверение советских людей; вернуть им душу человеческую». Для этого внушалось, что Ленин «сильный и добрый». Но был ли он добрым?

«Дора Каплан выстрелила в Ленина, как Богров в Столыпина. Он, Ленин, будто бы приказал пощадить ее. Она умерла своей смертью, прожив много лет. Служила в какой-то библиотеке».

Это красивый жест, к сожалению, легенда. Дора Каплан жила только несколько дней, как и Богров. Обоих убили. Убили, вероятно, те, кто заметал следы...

Все секретное опасно. Это палка о двух концах. Что такое «секрет»? Это — ложь.

О лжи сказано:

— Дьявол — лжец и отец лжи. И человекоубийца он от века».

Шульгин хвалил Ленина за нэп.

«Где уничтожается собственность, цветущая страна превращается в пустыню. Российская пустыня, сотворенная Интегральным коммунизмом, возрождалась фантастически быстро, оплодотворенная нэпом».

Это противоречие, мол, и радовало Ленина и мучило его душу, требовало колоссального напряжения, что было одной из причин его смерти.

В одной из позднейших заметок Шульгин рассказывал о начальнике владимирского КГБ, называя его то вымышленной фамилией Вишневский, то Владимиром Ивановичем. Он был чекистом еще при Сталине, что избавляет от дальнейших характеристик.

Когда Шульгина выпустили из Владимирской тюрьмы, они как-то сидели в служебном кабинете «Вишневского», где стоял

бюст Дзержинского. Хозяин кабинета указал на него рукой:

— Вот кто вас разыграл!

— Не очень ясно, кто кого разыграл.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы читали книгу «Три столицы»?— спросил Шульгин.

— Достать ее трудновато. Она запрещена у нас.

— Но не для вас же.

— Конечно. Я ее достану.

Шульгину книгу прислали из Югославии, на адрес полковника, который сказал:

— Ну, знаете, Василий Витальевич, за эту книгу вас действительно надо было повесить.

Это и надо было Шульгину, который спросил:

— Несомненно. Но какую казнь придумать тому, кто смотрит на нас из угла?

— При чем тут Дзержинский? Не он, а вы написали эту преступную книгу.

— Да, я написал. Но предложил мне написать эту книгу Якушев. А он не мог этого сделать без разрешения того, кто укрывает ваш кабинет. Не ясно: кто кого разыграл...

Шульгин до конца жизни сомневался в том, что Якушев и его «заговорщическая дружина» (В. В. говорил, что познакомился во время поездки с девятнадцатью ее членами) верно служили ОГПУ. Они хотели трансформировать Россию по примеру Запада, не веря в творческую силу насильственного коммунизма, готовя переворот изнутри. В «Неопубликованной публицистике» он пишет:

«Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть — Троцким и Сталиным. Тогда еще не было известно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные антисоветские и антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина. Быть может, ему было известно завещание Ленина, предупреждавшего партию в отношении Сталина.

Якушев был несомненным троцкистом в том смысле, что считал его умным и деловитым. Нерешенная в то время борьба между Троцким и Сталиным должна была влиять на тогдашних чекистов...

Однажды Якушев сказал мне:

— Что вы думаете о «Тресте»?

— Я думаю, что «Трест» есть антисоветская организация, и притом очень сильная, так как она не боится всемогущей руки ГПУ.

На это он сказал:

— «Трест» — это измена, поднявшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить».

После предположений о том, какие это были «верхи», Шульгин говорил о самодержавном деспотизме Сталина и о своей неминуемой гибели, если бы довелось не возвратиться за границу.

«Я не мог и не должен был остаться в России в 1926 году. Я шел путем, предначертанным мне судьбою. Я должен был написать книгу «Три столицы».

В ночь на 6 февраля Шульгин выехал в Минск вместе с «Антоном Антоновичем». Перевел его через границу все тот же «контрабандист Иван Иванович» Криницкий.

Потом Шульгин писал, что «был в совершеннейшем восторге от моих «контрабандистов» и одновременно огорчен тем, что П. Н. Врангель моими чувствами не воспламенился и «контрабандистами» заинтересоваться не захотел».

Первым делом по возвращении в Париж Шульгин пошел к Анжелине. И она сказала ему:

«До сих пор я говорила, что ваш сын жив, и я вас не обманывала. Но теперь должна вам сказать: он умер. Немного не дождался вас. Я вижу его могилу. Он умер, но жив. Он там, где Владимир. Это душа, которая ему покровительствует. Он очень любил вашего сына и там его встретил.

— Какой Владимир? — недоумевал Шульгин.

— Да это же вам близкий человек. Он старше вас, плотный такой, золотое пенсне... Вы с ним много работали...

Шульгин все не мог взять в толк, о ком речь.

— В газете, в газете работали. Вспомнили?

Он вспомнил. Вернее, предположил...

Это был Владимир Германович Иозефи. Предки его пришли из Австрии, но сам он получился совсем русак. Сперва он был женат на очень нервной даме (Кутузовой, вот память!), разошелся с ней и женился на молоденькой. Он был счастлив с ней. Она душилась духами Z'Ог и народила ему кучу детей. В Киеве он был гласным городской Думы, после революции примкнул к Шульгину. Вместе они поехали в Екатеринодар, выпускали «Россию». Он брал на себя расходы и заботы, а от Шульгина требовал одного:

— Дорогой Василий Витальевич. Ваши статьи — хребет нашей газеты. Дайте статью, а все остальное устроится.

Где и как писались «Три столицы», мы уже знаем.

Но Шульгин не был бы Шульгиным, если бы не позволил себе

литературное кокетство. Под занавес он изобретает монолог, в котором запрятан пространный разговор с Липеровичем, рядовым евреем. Шульгин предлагает ему объединиться против Бронштейна, а если худо придется евреям, то предлагает многомиллионную эвакуацию их в Крым и далее — то ли в Палестину, то ли в другие страны — испытать судьбу русской эмиграции. Он верит, что у евреев сердце будет обливаться кровью при прощании со второй родиной.

В 1923 году Шульгин в одной из статей одобрил книгу И. М. Биккермана, И. О. Левина, Д. О. Линского, В. С. Манделя, Д. С. Пасманника «Россия и евреи», вышедшую в эмиграции, за честность, с которой признавалось, что «евреи заблудились». Это нашло свое отражение и в концовке «Трех столиц», в ее главе «Эпилог. Одиннадцать заповедей, или Речь, которая не была сказана». Не говоря уже о переключке тематической с ранними его писаниями, мы сталкиваемся с таким пассажем:

«Когда по приказанию еврея была уничтожена семья, носившая имя Романовых; когда евреи принимали видное участие в избивании целых классов, русских по крови; когда громили помещиков; избивали офицеров; уничтожали под именем эксплуататоров крупную буржуазию; когда вырезывали крестьянство под именем кулаков; когда уничтожали торговцев под именем спекулянтов; когда убивали служителей религии, как таковых; когда вытоптали мещанство под именем мелкого буржуа; когда смели интеллигенцию, обвинив ее в контрреволюции; когда «били» все нации — украинцев, татар, армян, грузин, сартов, калмыков, киргизов, то как вы хотите, чтобы только одних евреев оставили в покое? Это по теории вероятности было бы абсолютно невероятно».

Поскольку это было на воображаемом советском суде над Шульгиным и речь шла о еврейских погромах, он с торжеством выложил, что эти слова написаны евреем Биккерманом, а не фашистом Шульгиным.

Он напомнил свое поведение во время дела Бейлиса, свою статью «Пытка страхом» 1919 года и предлагал разобраться в понятиях «антисемитизм, черносотенство» и, как бы сейчас сказали, «русофобство».

Да, он — русский фашист, и основателем русского фашизма считает Столыпина. Фашизм и коммунизм — родные братья, оба делают ставку на сильных, на энергичное меньшинство. Муссолини подражает Ленину, он создавал свою организацию по образу коммунистических ячеек. Впрочем, это шульгинское старое убеждение, что судьбами народа и человечества управляло, управляет и будет управлять меньшинство...

Кстати, рассказывая как-то о Чебышеве, сразу назвавшем

Якушева провокатором, и о большинстве, осудившем за это бывшего сенатора, Шульгин припомнил слова Екатерины II в такой интерпретации: «Всегда право меньшинство. Почему? Потому что умных меньше, чем глупцов».

Это и есть «шульгинизм». Но зачем же прибегать к излишней жестокости, истребляя русских или евреев?

Человечество обогатилось и положительным и отрицательным опытом со времени написания «Трех столиц». Создается впечатление, что сильные мира сего, к каким бы партиям они ни принадлежали, в каких бы государствах ни правили, какую бы идеологию внешне ни исповедовали бы, друг к другу ближе и друг друга лучше понимают и уважают, чем собственные народы, которые они одинаково стараются держать в узде, либеральной или кровавой, но узде. Может последовать возражение — а разделение на государства, а войны и пр.? По крайней мере, из опыта последних десятилетий известно, что между сильными происходит внутривидовая борьба. Но меньшинство объединяется, трудно сказать, как сложатся судьбы мира в всесветском масштабе — то ли это будет наследственная тирания избранных, а народ жестким химическим, генным или иным контролем превратится в безгласное стадо рабов, либо народу дадут возможность проявлять инициативу и жить лучше, чтобы повышался объем и качество производимого продукта, чтобы и избранным перепало больше. Впрочем, из истории известно, что и при полной нищете народа избранным всегда жилось неплохо, и порой ощущение власти ценится ими больше, чем роскошь. Пример тому Сталин, хотя позже стремление урвать несправедный кусок и положить его в швейцарский банк, при полном государственном обеспечении, охране и привилегиях, которые не снились никаким миллиардерам, свойственно было не одному члену Политбюро... Причем эта внутривидовая борьба тем жестче, чем уже рамки мафии, а зарождается она с самого появления организации, претендующей хотя бы на крохотную власть. А что же говорить о страстях, возникающих при дележе большого пирога?

Меня могут обвинить в цинизме... Будут говорить об идеалистах. Но рано или поздно все идеалисты, пришедшие к власти, теряют свои идеалы. Во-первых, идеалист может прийти к власти только при очень странном стечении обстоятельств, но и то ему придется притворяться и хитрить при карабкании по иерархической лестнице, а это не проходит даром ни для психики, ни для идеалов. Во-вторых, страх перед соперниками кидает его в объятия силы международной, не скрывающей в последнее время свои претензии на богоизбранность.

Не лучше и воинственные идеалисты, одержимые, от Кальвина до Пол Пота, захлебывавшиеся в крови своих жертв...

Какие только преступления не совершались во имя идеалов!

Шульгин был идеалистом. Но его идеалы скромны и, кажется, осуществимы.

«Самое важное для меня в данную минуту установить, что руководство страной при помощи организованного меньшинства вполне совместимо с предоставлением большинству широких политических прав. При этой системе организованное меньшинство стоит на страже основных и как бы непоколебимых принципов. Если на эти принципы покушаются, оно, организованное меньшинство, защищает их всеми средствами — словом и делом, пером и штыком. .»

Но где народу взять веру в «непоколебимость принципов» после стольких обманов и жертв? В развороченном улье теряется инстинкт самосохранения вида и совершается немыслимое — пчелы жалят друг друга, издыхают, очищая место... для кого?

Не получилось тиранией одного, делается попытка тирании многих. Шульгин заметил, что приход Сталина был заложен в словах Бухарина: «Владимир Ильич был великим инструментом сбережения партийной энергии». Сберегая энергию, докатились до полной лени мысли и некомпетентности в большинстве областей человеческой деятельности. И на это еще наслоиась потеря понятий чести и честности, связанная с разрушением религий, что есть уже чистый сатанизм.

Шульгин был человеком верующим, икону в старости брал с собой даже в дома творчества, но он никогда не был силен в богословии. Хотя кто теперь силен?.. Многословие его в этой области можно свести к тезису о свободе воли. Человек свободен в своих поступках в этой жизни, но судим будет по делам своим там... в вечной жизни за гробом. Но вечность отменили, уподобившись французскому королю, который сказал: «После меня хоть потоп». Исчезла вечность — исчезло ощущение греха. Остался страх наказания, «система социальной защиты», основанная на требованиях текущего политического момента, то есть не на праве, а на произволе.

Напомним, что Шульгин приехал в Россию в период нэпа, и то, что происходило, он считал началом возвращения к естественному развитию экономики, «скоропостижной кончиной марксизма», которую провозгласил будто бы Ленин, «сильнейший в истории внушитель».

Лучше ли стало, когда в СССР слопали всех капиталистов? Теперь добиваются с превеликим трудом того, что уже имели при капиталистах.

Капитал может лежать мертвым грузом. Может спать земля, к которой не приложены ленивые поневоле руки. Нарушается закон спроса и предложения. Пущенный в ход капитал подстегивает труд

и удовлетворяет спрос... И вот в социалистической республике твердо установлено собственническое сознание. Наконец русский крестьянин получил свой хутор. Исполняется мечта убитого Столыпина, сказавшего: «Вам нужны великие потрясения, а нам Великая Россия...»

По парадоксальному мнению Шульгина, побеждает «белая идея». Как бы не так!..

Проводив в сентябре 1925 года Шульгина в Сремских Карловцах, бывший сенатор Чебышев потерял его из виду на целый год. Он вспоминал Шульгина думского — щеголеватого, с закрученными кверху усиками, Шульгина крымского — в парусиновой рубашке, бритого, с голой головой, загорелого...

В 1926 году Чебышев съездил в Париж на эмигрантский съезд и узнал, что Шульгин вернулся, а увидел его лишь в октябре, когда В. В. вернулся с Ривьеры. И записал в дневнике:

«Я вспомнил, как во Флоренции показывали Данте на базаре и говорили:

— Это тот, который побывал там (в аду)...

Шульгин уверяет, что Россия наливается соками жизни и что в этом ее спасение».

В тот день они обедали в ресторане с В. В., Марди и Володей Лазаревским. Чебышев подозрительно выпрашивал у Шульгина подробности поездки.

Через несколько дней они обедали у Александра Ивановича Гучкова. И опять те же расспросы...

26 октября Чебышев записал в дневнике: «Странно! Или я чудовищно ошибаюсь в моих предположениях, или Кутепов, Гучков, Шульгин — жертвы чудовищной провокации».

А в ноябре исчезает генерал Монкевиц, помощник Кутепова...

16 января 1927 года Чебышев записывает:

«Шульгин был приподнят, потому что за час перед тем у меня на собрании П. (?) демонстрировал полуистлевшую прокламацию большевиков в Крыму, с назначением за голову Врангеля и Шульгина по миллиону (по курсу это было 200 рублей)».

Но вот вышли «Три столицы», и Чебышев 27 февраля отмечает: «Антон Антонович» у Шульгина — это Дорожинский, товарищ прокурора киевского окружного суда. Он был при мне, когда я был прокурором киевской судебной палаты». Кстати, Сергей Владимирович Дорожинский уже при встрече на границе узнал Шульгина, потому что запомнил его по Киевскому университету — он учился на первом курсе, когда В. В. верховодил среди правых на выпускном.

Книга «Три столицы» шокировала эмигрантов. Одни называли Шульгина в печати «предателем белой идеи», а другие обещали расправиться с ним за то, что он якобы раскрыл контрреволюционную организацию.

Уже из Варшавы, через Липского-Артамонова, Шульгин послал письмо в Москву:

«Еще раз хочется поблагодарить вас за все. На расстоянии это еще виднее. Полуторамесячный инцидент представляется мне сейчас чем-то далеким и совершенно удивительным: как будто добрый волшебник взял меня за руку и, показав царство грез, вернул обратно на землю. Займусь отчетом, который хотел бы закончить возможно скорее...»

Это о «Трех столицах».

Л. Никулин приводит письмо Шульгина «дорогому Антону Антоновичу» от 3 марта: «Отчет может вызвать шум. Не испугаются ли шума давшие согласие, и не смогут ли они, ссылаясь на поднявшуюся шумиху, взять согласие обратно. Быть может, придется ознакомить их предварительно с отчетом и, так сказать, спросить, не считают ли они отчет непозволительной, с их точки зрения, сенсацией».

Л. Никулин и некоторые эмигрантские авторы уверяют, что «Три столицы» читал предварительно не только Якушев, но и Дзержинский, но это вряд ли верно, поскольку тот болел и в июле скончался. Его сменил тоже поляк — Вячеслав Рудольфович Менжинский.

Но никто, кроме Климовича, не знал, что Шульгин переписывался с Якушевым весь 1926 год. Он был в курсе всех дел «Треста», в котором наметился раскол. Сначала кумиром Марии Владиславовны был Якушев, по приказанию которого, по словам Шульгина, она бы дала себя разрезать на части. Но деятельная ее натура не выносила бездействия — от подчиненных ей офицеров она требовала террора против большевиков. Якушев же считал, что свержение большевиков должно грянуть как гром с ясного неба. Тогда возможны эксцессы, но настораживать ранее времени чекистов не стоит.

Мария Владиславовна влюбилась в Опперпута, который тоже был за активные действия. Шульгин же в письмах поддерживал Якушева, считая, как и он, террор вредной отсебятиной, призывал сдерживать зуд бросать бомбы, поддерживать дисциплину.

Они не только переписывались, они встречались. Встречался Шульгин и с Марией Владиславовной в Париже, куда она навещалась, смело переходя границу, часто не извещая даже об этом Якушева. Кутепов посылал с ней в Россию все новых офицеров.

Дела готовились нешуточные, если судить по письму, которое

Мария Владиславовна привезла Стауницу от Кутепова: «...много слышал о вас, как о большом русском патриоте, который живет только мыслью, чтобы скорее вырвать нашу Родину из рук недругов... Задуманный нами план считаю очень трудным. Для его выполнения следует подыскать людей (50—60 человек). Ваш Усов».

В ноябре Якушев через «окно» в эстонской границе добрался до Ревеля-Таллина и вместе с Марией Владиславовной вел переговоры с руководителями эстонской разведки. Шульц получила известие из Москвы от Стауница-Опперута, что ее муж крепко поругался с ним из ревности, и ей пришлось вернуться.

Якушев проследовал в Париж один, встретился с Кутеповым и великим князем Николаем Николаевичем, от которого получил воззвание к Красной Армии. 5 декабря Якушев посетил Шульгина, квартировавшего тогда у Булонского леса. Встреча была радушной, хотя Мария Дмитриевна поглядывала на Якушева косо. Она не могла простить ему волнений из-за поездки Василия Витальевича. Шульгин сказал, что Чебышев по-прежнему подозревает провокацию, но если это так, то он, Шульгин, слепой, а Николай Николаевич — гений. Якушев сказал, что передал вдове Дмитрия Пихно большую сумму денег, оставленную ему еще во время поездки в Россию, и привез от нее золотой нательный крест.

Это была их с Якушевым последняя встреча.

Однажды в конце апреля 1927 года Шульгин пошел в русскую церковь на рю Дарю. После службы на паперти к нему подошел Артамонов и взволнованно сказал:

— Василий Витальевич, катастрофа! Вы уже знаете об Опперпуте?

— Каким Опперпуте?

— Об Оскаре Оттовиче, с которым вы обедали у Якушева... Вас просит зайти генерал Кутепов...

Шульгин уже читал в газетах, что 13 апреля в Финляндии и Польше появились некоторые офицеры, из тех, кого он видел в России, а также Касаткин-Стауниц-Опперпут-Упелинц, которого обвиняли в том, что он предал савинковцев, лично расстреливал офицеров в Кронштадте и Петрограде, и называли «советским Азефом». Опперпут, которого до тех пор Шульгин знал лично только как Оскара Оттовича, опровергал слухи тоже печатно и обещал разоблачить деятельность ГПУ, агенты которой будто бы предлагали ему за молчание 125 тысяч рублей золотом и пенсию 1000 рублей в месяц. Но деньги не были доставлены. Предварительно он сообщал, что в секретной операции «Трест» задействовано 50 сотрудников ГПУ.

С Кутеповым у Шульгина отношения были прохладные, поскольку тот поссорился с Врангелем. Но Шульгин все-таки пошел.

Кутепов сказал, что недели две назад получил две телеграммы: одну из Финляндии от Марии Владиславовны, а другую — от ее мужа Радкевича из Вильно. Обе сообщали, что «Трест» — провокация чекистов. Кутепов выехал в Хельсинки, где Шульц жила в гостинице, а Опперпута финны, на всякий случай, посадили в крепость. По словам Марии Владиславовны, Опперпут однажды сказал ей:

— Послушайте, дорогая, не пора ли прекратить этого дурака валять?

— О чем вы говорите?

— За кого вы меня принимаете?— спросил Опперпут.

— За самого выдающегося после Якушева члена «Треста».

— Мария Владиславовна, я чекист. Меня вынудили стать им на Лубянке, но я ненавижу большевиков. Мне это все надоело, и они это знают... Меня убьют!

— А как же Якушев?

— Он тоже завербован.

— А другие?

— По-разному... Предупредите своих офицеров, кого можете, чтобы уходили своими путями. Я предупрежу вашего мужа и еще кое-кого... Мы же с вами уйдем в Финляндию через «окно», пока его не закрыли.

По рассказам некоторых чекистов пенсионного возраста, вскоре Менжинскому было приказано кончать с операцией «Трест», приступить к арестам... Будто бы «сам Сталин» звонил каждые полчаса и справлялся о делах. Узнав о разоблачении «Треста», он сказал:

— Ну и хорошо. Эта организация завоевала такой авторитет на Западе, что стала мешать нашей хозяйственной деятельности, торговым связям с капиталистами, которые начинают думать о ней как о «теневом кабинете».

Напомню, что был уже 1927 год.

Кутепов посетил Опперпута в крепости и получил от него две записки, в которых излагалась трестовская легенда и многое другое. В Париже Кутепов дал их прочесть Шульгину.

Всего в крепости Опперпут написал около трех десятков докладных записок, которые поставили под угрозу провала свыше сорока линий контрразведывательного управления ОГПУ. Там был и доклад «Как возник «Трест», который мы уже цитировали...

Генерал Потапов, один из руководителей «Треста», сообщал из Москвы Кутепову:

«...3 апреля один из сослуживцев Александра Оттовича Упелинца по Красной Армии в Гомеле в 1920 году, Махнов, опознал в нашем Касаткине известного провокатора Опперпута — правда,

указав, что Опперпут в 1920 году не носил бороды. Об Опперпуте нет надобности распространяться — его имя упоминается в известной Красной книге ВЧК...»

В этом письме, которое потом в белоэмиграции считали дезинформационным, говорилось, что Опперпут занимался рискованными торговыми операциями, что он требовал от Якушева перевести деньги по адресу: Анна Упелинец, Рига, ул. Барона Кришьяна, угрожая разоблачениями. Высказывалось «невероятное предположение», что и Мария Владиславовна — сообщница Опперпута. А то, что Опперпут предупредил офицеров в России о предстоящем аресте, Потапов объяснял, что тот намеревался встретиться и сотрудничать с Кутеповым.

История эта очень темная.

С одной стороны, Опперпут действительно передал Кутепову массу документов, раскрывавших тайны ГПУ. С другой, Опперпуту в эмиграции не верили.

Врангель писал 9 июля 1927 года своему другу генералу И. Г. Барбовичу: «...разгром ряда организаций в России и появившиеся на страницах зарубежной печати разоблачения известного провокатора Опперпута-Стауница-Касаткина вскрывают в полной мере весь крах трехлетней работы А. П. Кутепова. То, о чем я говорил и Великому Князю и самому Александру Павловичу, оказалось, к сожалению, правдой. А. П. попал всецело в руки советских Азефов, явившись невольным пособником излавливания именем Великого Князя внутри России врагов советской власти».

За несколько дней до этого Шульгин, как это уже с ним не раз бывало в тяжкие времена, отправился к Анжелине. Она ответила, что не любит политики, и все же согласилась помочь. В. В. показал ей несколько писем от двух «трестовиков», желая узнать что-нибудь о людях, которые их писали. Анжелина сказала:

— Уберите их, Василий Витальевич, я не хочу к ним прикасаться. Они меня собьют. Дайте вашу руку.

Она взяла руку.

— Думайте об этих людях.

Он стал думать. И она сказала:

— В ваших мыслях человек, которого вы называете Антоном. На самом деле он — Сергей. Он все время сопровождал вас, пока вы были там. Он — ваш друг.

И добавила:

— Другой — Александр. Он и есть Александр. Они ваши друзья и сделали все, чтобы вас спасти. Есть еще третий. У него много имен и много паспортов, но крещеное его имя — Иоган. Вы правильно думаете, что он провокатор. На нем кровь. Он убивал сам. У него много разных денег. В паспортах у него какие-то

значки, которые я не могу разобрать. Он плохой. Но не до конца! На него сильно влияют две женщины. Одну вы знаете. Мария. Вы часто ее видели... там.

Анжелина отпустила руку и взяла карандаш.

— Вот простой карандаш. А если бы, вместо графита, было чистое золото, то это было бы похоже на эту Марию. Она не блистает внешностью...

Потом вздохнула и добавила:

— Бедняжка! Она погибнет. Очень скоро. Спасти нельзя... Я вижу... вокруг головы ореол... нимб мучеников. Мария влияет на этого Иогана в лучшую сторону. Она его любит.

— Любит?

— А вы не знали? Она с ним живет... А есть другая около него. Ее имя — Соня. Еврейка. Очень красивая. Она виновница всего. Телеграфируйте вашим друзьям. Они не знают про нее. Телеграфировать Шульгин не мог...

Конец Опперпута непонятен.

Член боевой организации Кутепова «Союз национальных террористов» офицер Виктор Александрович Ларионов вспоминал, что в Финляндии Мария Владиславовна Захарченко-Шульц считала себя обреченной, так как обывателя в условиях нэпа на борьбу с большевиками ей не поднять. «Мы погибнем, — говорила она, — но за нами придут другие. Наше дело не умрет с нами вместе». Она познакомила Ларионова с Опперпутем, худощавым, рыжеватым шатеном с острой бородкой и внимательным, изучающим взглядом. Тот представился, крепко сжав руку Ларионова длинными пальцами:

— Опперпут-Стауниц. Ответственный работник КРО ОГПУ.

Мария Владиславовна сильно сдала, «не блистала внешностью». Лицо ее осунулось, скулы выступили, платье висело как на вешалке. Она говорила, что чекисты обманули всех — эмиграцию, англичан, поляков, эстонцев. Ее саму с мужем спас Опперпут.

Кутепов хотел назначить ее главой Союза национальных террористов. Она отказалась, но вместе с Опперпутем составляла планы тотального террора... Опперпут получил новую кличку — Ринг. С его помощью она хотела осуществить взрыв дома, где жили работники КРО ОГПУ. В Хельсинки было собрано около тридцати боевиков. Опперпут обратился к ним с речью, заклиная ни при каких обстоятельствах не сдаваться властям живыми.

- Все равно сдача не спасет, шлепнут в подвале в затылок, а до этого будут жечь свечкой, бить, издеваться, применять страшные моральные пытки. В каменном мешке долгими месяцами с живыми

мертвецами по соседству каждую ночь, каждый день, каждый час вы будете ждать жутких слов: «Выходите с вещами» и чувствовать всем своим существом, что вас никто и ничто не спасет, с этой мыслью засыпать и встречать каждое утро.

31 мая 1927 года проводник от финского генерального штаба перевел Опперпута, Марию Захарченко-Шульц и Вознесенского (Петерса), двадцатидвухлетнего боевика, через границу. Они отправились в Москву. Двинувшиеся следом другие тройки должны были начать действовать в других городах, как только в газетах появятся сообщения о взрыве в Москве.

10 июня появилось советское правительственное сообщение о неудачной попытке взорвать жилой дом № 3/6 по Малой Лубянке.

6 июля в «Правде» опубликовано интервью заместителя председателя ОГПУ Генриха Григорьевича Ягоды:

«Организаторы взрыва сделали все от них зависящее, чтобы придать взрыву максимальную разрушительную силу. Ими был установлен чрезвычайно мощный меленитовый снаряд. На некотором расстоянии от него расставлены в большом количестве зажигательные бомбы... Взрыв был предотвращен в последний момент сотрудниками ОГПУ».

Далее Ягода рассказал, что после неудачи трое террористов бежали из Москвы. 18 июня район в Смоленской области, где укрывался Опперпут, был оцеплен. Он отстреливался из двух маузеров и был убит в перестрелке. Захарченко и Петерс двинулись из Витебска в Смоленск на захваченной машине. Но их опознали. «В перестрелке с нашим кавалерийским разъездом оба белогвардейца покончили счеты с жизнью». И еще Ягода сказал: «У убитого Опперпута был обнаружен дневник с его собственноручным описанием подготовки покушения на М. Лубянке и ряд других записей, ценных для дальнейшего расследования ОГПУ».

Существует много версий этих событий. Чекист-невозвращенец Г. С. Агабеков утверждал, что среди террористов был агент ГПУ Опперпут. Но он исчез. Взрывчатка была обнаружена случайно в общежитии сотрудников ГПУ. Делались выводы, что Опперпут нарочно не показал дома, где жили ответственные сотрудники ОГПУ, и что Мария Владиславовна сама пристрелила Опперпута после этого.

Есть свидетельство красноармейца Репина о гибели двух террористов на военном стрельбище. «В интервале между двумя мишенями стоят рядом мужчина и женщина, в руках у них по револьверу. Они поднимают револьверы кверху. Женщина, обращаясь к нам, кричит: «За Россию!» и стреляет себе в висок. Мужчина тоже стреляет, но в рот. Оба падают».

В Ленинграде террористы бросили гранату в Центральном

партклубе. Пострадали 26 человек. Террористы ушли в Финляндию. Радкевич, муж Марии Владиславовны, в 1928 году бросил бомбу в бюро пропусков ОГПУ. Бежал и, окруженный под Подольском, застрелился.

Вскоре один из руководителей террора Бубнов сделал вывод, что Кремль охраняется как крепость, а для мелкого террора не стоит терять людей. «Прежде всего, рассчитывать на массовое пробуждение активности в СССР нам не приходится. Хорошо мечтать о народном терроре, сидя за границей... а войдите в шкуру полуголодного, вечно борющегося за кусок хлеба забитого обывателя СССР, постоянно дрожащего перед гипнозом всемогущества ГПУ, с психологией, что сильнее кошки зверя нет...»

Шульгин в июне 1927 года написал две статьи, озаглавив их «Сидней Рейли» и «Опперпут» и собираясь напечатать их в газете «Возрождение». Сведения для этих статей ему сообщили конфиденциально, но не разрешали пока печатать, чтобы не повредить делу...

И его опередил Владимир Бурцев, которого Шульгин назвал «ветераном политических разоблачений».

8 октября в «Иллюстрированной России» появилась его статья «В сетях ГПУ».

«Нет ничего тайного,— писал Бурцев,— что не стало бы явным.

Лет 15—20 тому назад мне пришлось заниматься разоблачением провокаторской деятельности охранных отделений. Я много писал об их Азефах и Гартингах, Зубаровых и Комиссаровых. В то время эти наши рассказы произвели потрясающее впечатление на общественное мнение и у нас в России и во всем мире... Даже русское правительство в лице Столыпина — по крайней мере официально — старалось отгородиться от провокаторов...

Помню, в редакцию моей газеты «Будущее», издававшейся в Париже, приходили с выражением сочувствия моим разоблачениям не только революционеры, но и представители самых умеренных государственных течений. С горячим протестом против провокаций приходили ко мне в редакцию — Луначарский и Зиновьев, Чичерин и Литвинов...

Но вот они сами пришли к власти, и отношение их к провокации резко изменилось.

Они усовершенствовали бывшие охранные отделения и заменили их ГПУ...

В настоящее время подчинена сыску вся жизнь в России. Все пронизано провокацией. На сыск и провокацию брошены огромней-

шие средства, о которых не могли и мечтать старые охранные отделения...»

Бурцев рассказал историю вербовки Якушева-Федорова. «Ему грозили смертной казнью, требуя признаний. Он долго не сдается. На этот случай ГПУ придумало верный способ, как вырвать раскаяние у самых упрямых арестованных, способ, на который до сих пор, казалось, не был способен решительно никто в мире. Этот способ допроса изобрели большевики, и они об этом говорят с самодовольством как о средстве, перед которым никто не может устоять»*.

Бурцев рассказал о заграничных поездках Якушева и Опперпута, о доверии к ним эмигрантов, о «человеке необычайной смелости» В. В. Шульгине, которому устроили нелегальный поиск сына под непосредственным руководством ГПУ и даже попросили написать книгу воспоминаний и проредактировали ее.

Это был тяжелый удар. Достоверность «Трех столиц» да и репутация Шульгина, несмотря на благожелательный тон Бурцева, в глазах эмигрантов подрывались. Он это почувствовал сразу. Как политическая фигура Шульгин переставал существовать, но он сделал отчаянную попытку спасти свое реноме.

25 октября Струве отвел несколько полос в своей газете «Россия» шульгинскому послесловию к «Трем столицам», предварив их предисловием «Разоблачения» В. Л. Бурцева и какая им цена?». Они, мол, полезны, но используются активными противниками борьбы с большевиками во главе с Милюковым. Они разоружают. Струве задается вопросом: был ли «Трест» просто созданием ГПУ или сложным переплетом большевистской провокации и противобольшевистской борьбы? Он склонен утверждать последнее, пытается уловить евразийскую идеологию у части «Треста». В провокаторстве же Опперпута его смущает то, что он помог многим подпольщикам избежать ареста. Кто Опперпут, «п о к а никто, кроме самого ГПУ, не может с полной достоверностью сказать».

ГПУ не сказало. Может быть, это сделает КГБ?..

А пока вернемся к шульгинскому послесловию, из которого я уже обильно черпал нужные сведения. О свиданиях с Якушевым-Федоровым, об истории написания «Трех столиц». А теперь о «провокааторстве» Опперпута, о котором Федоров и Антон Антонович все шлют зашифрованные телеграммы.

Заодно Шульгин излагает то, что узнал из записок Опперпута о судьбе Сиднея Рейли, которого тоже пригласил в Россию

* См. статью в «Советской России» от 20 декабря 1988 года о неудачной попытке медиков из ЦРУ воспроизвести это химическое средство в наши дни. (Прим. авт.)

«Трест» и поселил на даче под Москвой. Обещано было, что с ним ничего не случится. Когда стало понятно, что Рейли арестуют (по приказу Сталина), Якушев-Федоров пришел в отчаяние и даже грозил «застрелиться», по словам Опперпута. Рейли гордо заявлял, что среди английских офицеров не бывает предателей, и отказывался давать показания. Он хотел вырваться и написать книгу «Великий блеф». Его «обрабатывали» и водили по ночам на расстрелы. Один из чекистов говорил Опперпуту: «Эти иностранцы не могут выдерживать таких картин — просьб о пощаде убиваемых в соединении с матерщиной палачей; это на них так действует, что они готовы после этого на все, лишь бы вырваться на свободу, вырваться на родину и там разоблачить то, что мы тут делаем; они забывают, что разоблачать не придется...»

Рейли повели на прогулку на Воробьевы горы и там его застрелил «лучший стрелок ГПУ» — товарищ Ибрагим.

Одновременно инсценировали схватку на финляндской границе, чтобы создать впечатление — будто бы Рейли убили при переходе границы.

Свое возвращение Шульгин потом приписывал еще и компенсации, которую в ОГПУ обещали Якушеву за Рейли. У Чебышева есть упоминание о том, что, когда после ареста Рейли советский представитель заявил об этом английскому посольству в Берлине, секретарь посольства сказал:

— Правительство его величества не посылает секретных агентов в Россию, и у нас нет сотрудника, которого бы звали капитаном Рейли. Гуд монинг, сэр!

А речь шла о друге Черчилля.

Есть у Чебышева сведения и о том, что настоящая фамилия Опперпута — Упениньш, что он был сыном зажиточного латвийского крестьянина, родился в 1894 году, учился в Рижском политехникуме, в 1915 году поступил в Алексеевское военное училище, воевал на Западном фронте и в Закавказье. Во время Октябрьского переворота арестован, доставлен в Смольный, освобожден, служил в военном комиссариате, а с 1920-го судьба его нам известна... Завербовали их с Якушевым на Лубянке с помощью «химических средств».

Чебышев считал, что цель ГПУ при создании «Треста» — заставить отказаться от террора, поверить в перерождение советского режима и во «внутренний взрыв».

6 июня 1927 года Чебышев записал в дневнике:

«Один из общественных деятелей стал утверждать, что «Опперпут может играть комедию и теперь». Шульгин справедливо заметил, что непонятно тогда, зачем ему надо было бежать и прикидываться перебежчиком. Он мог продолжать прежнюю игру,

ведь его же «белые» считали своим! Какая надобность была ликвидировать целую организацию?..

Шульгин сидел около большой лампы с громадным белым абажуром. На нем была кофта жены, черная, с каким-то бело-серебряным кабалистическим узором. У него было хорошее, молодое, взволнованное лицо...»

Но вернемся к послесловию Шульгина, где Шульгин подвел итоги деятельности «Треста». Все одурачены, летели как бабочки на огонь. Шульгина выпустили, видимо, потому, что нагрузили ответственным поручением — привлечь симпатии Врангеля к «Тресту».

«Трестовики», — писал Шульгин, — которые защищали мою жизнь перед Сталиным или кем-нибудь из них (а, надо думать, такие собеседования были) могли орудовать этим аргументом». Однако Врангель проявил острую проницательность. Ну а кому пошла на пользу книга «Три столицы»?

Мне кажется, что любопытна вся концовка послесловия:

«Якушев знал, приблизительно, мое настроение. Я не скрывал, что считаю погромное разрешение еврейского вопроса великим бедствием для будущей России со многих точек зрения, а также разделял его точку зрения, что террор надо применять с умом. Кроме того, было совершенно ясно, что возрождающаяся, несмотря на большевиков, Россия произвела на меня сильное впечатление и что это не может не отразиться на том, что я напишу.

Это так. Но в конце концов из этого стечения обстоятельств получилась курьезная вещь. Если перечесть мою книжку под тем углом зрения, что каждая страница апробирована ГПУ, то получается любопытное сопоставление.

Если отбросить все те резкие выпады, которые пишутся против советской власти на каждой странице, то смысл книги резюмируется в формуле: «Все, как было, но хуже».

Но ведь это есть величайший скандал, какой можно только себе представить, для коммунизма и социализма. Это ведь есть именно то, чем сейчас на все фасыоны орудует так называемая оппозиция. Ведь именно в этом оппозиция упрекает правящих социалистов, что они совершенно отошли от социализма, что они термидорианцы, что они обуржуазились. И это настолько сильное утверждение, что, при всей своей «прямолинейности», Сталин не знает, с какой стороны подойти к этой гидре оппозиции и как ее ликвидировать. Самое ужасное — крикнуть социалистической власти, что никакого социализма в социалистической стране нет. Ибо это обозначает, что все ужасные жертвы были напрасны, что социализм — ложь, мираж и неосуществим даже там, где вся власть в руках социалистов. Понятно поэтому, почему с такой яростью Сталин и К° это отрицают и утверждают, что все

это клевета оппозиции и социализм есть, развивается, грядет.

Но тогда остается совершенно непонятным, зачем же было ставить штамп «разрешено к печатанью ГПУ» на «Трех столицах», которая голосом, исходящим из совершенно противоположного лагеря, всецело подтверждает ту мысль, которую враги Сталина сделали главным оружием против него?

Тут есть нечто непонятное, что, впрочем, как все тайное, когда-нибудь разъяснится».

Пока не разъяснилось.

У эмигрантов дела шли все хуже. Российский общевойсковой союз (РОВС) прозябал. В 1927 году его председатель генерал Кутепов подумывал о том, чтобы устроиться рабочим в столярную мастерскую.

Еще в 1926 году генерал Врангель расформировал свой штаб в Сремских Карловцах, переехал в Бельгию и поступил на службу горным инженером. В апреле 1928 года он скончался в расцвете сил от скоротечной чахотки, привитой ему, по слухам, агентами ГПУ. Через два года бесследно исчез и генерал Кутепов...

А в Москве состоялся XV съезд ВКП(б). Было покончено с нэпом, началась коллективизация сельского хозяйства, новая волна массового террора...

Начал действовать сталинский каток. Расстреляно большинство членов «Треста». Расстреляны те, которые расстреливали, а потом и те и те... Многие поколения в органах безопасности перестали существовать за то, что много знали. Артузов-Фраучи Артур Христианович, непосредственно занимавшийся «Трестом» в ОГПУ, расстрелян в 1937-м. Якушев — в начале тридцатых. Что же касается Опперпута — поживем, узнаем что-нибудь?..

Уж больно задела Шульгина история с «Трестом». Он вновь и вновь возвращался к ней, сообщая так или иначе все новые подробности...

То он вспоминал, что Якушев будто бы сказал чекистам:

— Я готов работать, как русский националист, против иностранных штабов и против эмиграции, которая меня так подвела. Но я ни в коем случае не буду работать против советских русских, внутренних русских.

Одним из первых шагов Якушева было завязывание настолько тесных шагов с польской разведкой, что он обменялся с одним из руководителей ее револьверами с выгравированными на них серебряными инициалами.

А то вдруг сообщал, что Якушев работал и с английской разведкой «Интеллидженс сервис», но сомневался, делал ли он это по

заданию ГПУ или использовал англичан в собственных целях — ради их помощи в замышляемом им перевороте.

Когда Шульгина арестовали в Сремских Карловцах и переправили в Венгрию в начале 1945 года, там его допрашивал полковник Ким из органов безопасности, «умный и культурный», спросивший, почему Василий Витальевич отказался от участия в политической жизни с 1927 года.

Шульгин ответил:

— «Трест» был разъяснен как политическая провокация. Значит, меня обманули, как ребенка. Дети не должны заниматься политикой.

— Нет, нет, — сказал следователь, — вас не обманули. В «Трест» вошли наши сотрудники, и его ликвидировали. Но сам по себе «Трест» был подлинной антисоветской организацией, и очень смелой. По некоторым приемам она напоминала Интеллиженс сервис. Несомненно, у Якушева были связи с англичанами...

Противоречий много...

Шульгин размышлял. О какой измене говорил Якушев? Не Ягода ли был замешан? Троцкий готовил заговор против Сталина... Якушев мог использовать Троцкого, хотя идеология у них была разная...

И надо бы еще сказать о последнем свидании В. В. с Анжелиной. Во время предыдущих она жаловалась, что другим помогает найти близких (когда-нибудь я расскажу об этом больше), а собственную дочь найти не может. Она потеряла ее, десятилетнюю, когда бежала из красного Петрограда. И, несмотря на свой дар, не могла увидеть ее...

Анжелина постилась, молилась. Значит, верила в Бога.

И в то же время она была председателем теософского общества в Париже. Теософию (науку о Боге) Шульгин считал видом религии. Он не был догматиком и уважал чужие верования. Например, философа Фауста Соция, переселившегося из Италии в Польшу в 16 веке. Польша была земля обетованная для всевозможных еретиков. Соций был арианец и жил в Кракове. Он отрицал догмат св. Троицы и был веротерпим. Бог един, Христос заповедал любовь к ближним — вот, что привлекало Шульгина в Соции. Близок ему был и индеец Рамачарака, переведенный в России в XX веке.

Потом Шульгин жалел, что не спросил Анжелину, видит ли она Бога. Но вопрос был бы глупый — Бога не увидит никакой ясновидящий. Он спрашивал себя, что такое Бог?

Само слово это создано человеческими устами. Бог — это мысль? Сначала испанцы тоже были для индейцев богами...

Бог — это мысль, которая таится в самом человеке. Высокая

мысль. Иногда она приходит от другого человека. С точки зрения православного догматика, Шульгин позволял себе мыслить суетно. Но он хоть сам дошел до вывода, что Божий промысел непостижим.

И все-таки Анжелина Васильевна нашла свою девочку, которая когда-то исчезла бесследно, убежав от людей, присматривавших за ней. И сумела выписать ее из СССР.

В 1927 году, когда Шульгин в последний раз посетил Анжелину Васильевну, он увидел ее дочь. На звонок дверь ему открыла девушка лет семнадцати. Она была похожа на мать, но ее отличала застенчивость и одновременно вызывающее поведение, что, как отметил он, характерно для всех, являющихся из СССР.

Положенные десять франков Шульгин отдал отчиму девушки, еще красивому, с холодными глазами. В. В. не мог не заметить, что падчерица смотрит на отчима влюбленными глазами, а тот ловит ее взгляды вожделенно... «Бог отказывал Анжелине в ее ясновидении, когда дело касалось дочери, ибо это причинило бы ей горе,— подумал Шульгин.— Но потом решил очистить ее страданием».

Он различал в человеке три начала: подсознательное (инстинкт) сознательное (разум), надсознательное (наитие). Анжелина умела вызывать в себе последнее.

— Вернусь ли я еще в Россию?— спросил Шульгин.

Она подумала и сказала, запинаясь:

— Конечно, да. Но... но я вижу вас в России только в небольшом обществе. Всего несколько человек... Ясно вижу.

Она долго молчала и добавила:

— Перед концом жизни вы вернетесь к большой политике, но она будет связана с Берлином. Нынешний период вашей жизни — не конец. Он длительный. Конец наступит тогда, когда около вас будет женщина, много-много вас моложе. Ее имя — Вера.

В 1967 году Шульгин говорил:

— Почему Берлин? Пока это для меня загадка. Политика коснулась меня... А Вера? Несколько Вер прошло мимо меня. О каждой я думал с некоторым ужасом — не она ли? Да минует меня Вера сия!..

Напомню, что жить ему оставалось еще добрый десяток лет. И размышлять о Боге.

«Бог есть Жизнь и Смерть. Но смерти нет? Есть. Есть смерть для всего, что смертно. Всякая жизнь умрет. Она потому и называется жизнью, что ее ждет смерть. В минуту смерти ясно, что жизнь была... Живые спешат удалить ее труп из своей среды, потому что знают: он разложится и станет невыносимым для всего живого. Почему? Потому что хозяин тела, дух, ушел».

Он все-таки материалист, этот мистик. Дух у него «сохраняет

свой образ в форме из материи более тонкой и даже тончайшей», хотя живет в мире невещественном...

Шульгин вернулся в Россию, как мы уже знаем.

Несмотря на то что он решил покончить с политикой после публикации «Трех столиц» и скандала с «Трестом», поселиться в Сремских Карловцах, писать романы, было еще много политический статей и книг по национальному вопросу.

Этот вопрос преследовал его всю жизнь. Он рос, набухая кровью, от года к году. И русский националист (но не расист) оказался лицом к лицу с теми, кто разделял идеи Гитлера. Сперва он думал «примерно» так:

— Пусть только будет война! Пусть только дадут русскому народу в руки оружие. И он свергнет советскую власть.

Но еще в 1935 году он слышал с эмигрантской трибуны и другое мнение:

— Не за всякую цену мы можем продаваться. Мы не должны присоединяться к тем, кто будет воевать не только с Советской властью, но и с Россией, с русским народом.

И вот Гитлер захватывает Югославию. И снова национальный вопрос — Хорватии дается статус «независимой» и возможность расширяться за счет Сербии. В Сремских Карловцах, ставших хорватскими, лилась кровь. За каждого убитого немца или хорватского усташа расстреливали десять сербов. Их просто не считали людьми. Вниз по Дунаю плыли плоты с пирамидами, сложенными из сербских голов. Генералы Краснов и Шкуро были на немецкой службе.

«Мне удалось не поклониться Гитлеру,— писал Шульгин.— Его теория о том, что немецкая раса, как сероглазая, призвана повелевать над людьми с темными глазами, казалась мне непостижимо нелепой. И в особенности потому, что нелогичный этот расист начал истреблять сероглазых же, т. е. англосаксов, норвежцев, чехов, поляков и русских».

Да, русские. Они не повернули оружие против власти. Они дрались до последнего рубежа. За Родину! Власовцев было ничтожное число, как и эмигрантских батальонов, уничтоженных в боях.

В октябре 1944 года Советская Армия вошла в Сремские Карловцы, а в январе следующего года Шульгина препроводили в Москву и судили за тридцатилетнюю (1907—1937) антикоммунистическую деятельность.

— Ну это «дела минувших дней»,— сказал прокурор, и Шульгина приговорили к двадцати пяти годам тюремного заключения, хотя он надеялся на десятилетнюю давность.

Шульгин был освобожден в 1956 году вместе с многими другими, препровожден в инвалидный дом в Гороховце, а потом поселен во Владимире.

Ему повезло, что в верхах нашлись люди, пожелавшие использовать его известность в эмигрантских кругах и большой литературный дар. Его возили в Москву и Киев. Он увидел могучую державу, еще не впавшую в период застоя, но уже чреватую им. И смысл его новых писаний был понят так:

Мы, монархисты, мечтали о сильной России, коммунисты ее создали — слава коммунистам! Есть еще русские эмигранты, занимающиеся «холодной войной» — и мечтающие о «горячей». Теперь в России никого к стенке не ставят, тут нет ни единого человека, который хотел бы войны, а все, кроме опасности атомной войны, — пустяки. «Свергать Советскую власть не надо» — великодушно говорил он эмигрантам, доживавшим свой век в различных уголках Европы и Америки. Хвалил все, что видел вокруг, с наслаждением человека, долго не видевшего воли. Откровенно и благодарно льстил Хрущеву, но не удержался от такого пассажа:

«...мы смотрели балет. Балет этот очень занятный, в него вложена мысль. Представлено, как добродетельная кукуруза борется со скверными сорняками. В смысле хореографическом интересно применение топота для изображения гнева...»

Шпилька, она и есть шпилька. Она прошла цензуру незамеченной. Сохранить нечто шульгинское ему позволили лишь в одном заявлении: «Я — мистик. Мистицизм плохо совместим с материализмом». У этих слов будет продолжение...

И позволили еще сказать откровенно (без чего Шульгин не был бы Шульгиным), что кругом дефицит и очереди, но их обещают очень скоро ликвидировать, что существует «бисова теснота» жилищная, однако «говорят, что через 15 лет будет 15 квадратных метров жилплощади на душу населения». (Напоминаю, что на дворе был год 1959.)

Но не позволили ему сказать еще больше, что, однако, осталось в рукописях. Когда-нибудь я вернусь к тому, что увидел и что вспомнил Шульгин в двух столицах — Москве и Киеве в 1959 году, как и ко всей жизни его после 1927 года, исполненной приключений и невероятных совпадений...

Довелось ему побывать и в третьей столице, в Ленинграде, где снимался фильм «Дни», переименованный и показанный как «Перед судом истории». В нем тоже были упомянуты «Три столицы». Скажу только об этих кадрах.

Актер, игравший историка-марксиста, спрашивал его о белых, и Шульгин отвечал, что они разбазарили себя в распрях, как партийных, так и личных. Великая миссия превратилась в житейскую

свару. Это была война всех против всех. Не было ни программы, ни вождя, которые преградили бы путь мировому шествию коммунизма.

В 1929 году умер великий князь Николай Николаевич, и когда он, Шульгин, стоял в толпе хоропивших, мимо проходили официальные представители многих великих держав. Он тогда подумал, что хоронят последнюю надежду. Он был тайком в России в разгар нэпа, видел, что все хуже, чем до революции, но народ пробуждался к новой жизни, и он готов был склонить свою седую голову перед новым, если бы оно было лучше старого...

Главное впечатление, которое выносил каждый смотревший на экран, можно было выразить коротко — не боится. Человек ничего не боится и совершенно свободно выражает свои мысли. Прямо марсианин какой-то.

Шульгину напомнили, что вот он, политический противник, отбывший тюремное заключение, говорит столь откровенно... Разве это не доказательство той свободы, в которой он изволил иронически сомневаться? Ему напомнили высказывания о Ленине.

Да, он согласен, высказывания в «Трех столицах» о Ленине неуместные, оскорбительные, недостойные. Так он относился к Ленину, а теперь считает своим долгом засвидетельствовать, что Ленин стал святым для многих, для миллионов, поскольку его последователи, размышляя о нем, становятся лучше, а лучше — значит добрее.

Он вновь и вновь возвращался к «белой идее». Он протестовал против мазания всех белоэмигрантов одной черной краской, говорил, что те из них, кто пошел за Гитлером, потеряли право называться белыми.

Ему показывали кинохронику — Власов с окружением. А он упрямо твердил:

— Это не белые!

Апофеозом фильма было его присутствие на XXII съезде Коммунистической партии и встреча со старым большевиком Петровым, громадным тучным старцем, торжествующе насевающим на Шульгина с привычными для зрителей обвинениями, а тот смотрел спокойно, чуть иронично, отвечал непринужденно и... сочувственно.

В финале фильма он произнес монолог:

— Основное мое убеждение — благо человечества. И этому своему убеждению я не изменял никогда. Но методы, которые следуют употреблять для блага человечества, бывают разные. Поэтому я и боролся по-разному...

Странное дело — его уличали во всех и всяческих грехах, а он одной статьей своей, манерой говорить, какой-то неведомой культурой поведения, искренностью вызывал, как мне показалось, зло-

радную симпатию. Надо же — уцелел! Нет, это был не марсианин, это было ископаемое...

«Перед судом истории». Фильм быстро сошел с экрана, едва ли не через неделю. Как он появился-то, непонятно. Впрочем, напомним, что год был 1965, почти безвременье в идеологических установках, совсем недавнее утверждение Брежнева наверху иерархической пирамиды.

Во время одной из первых встреч с Шульгиным я спросил о фильме. Он сказал:

— Я еще в самом начале работы над фильмом сказал режиссеру Эрмлеру: «За нелегкое дело беретесь. Мне уже ничего не грозит — в моем возрасте инфарктов не бывает, кровь находит обходные пути в сердце. А вы молодой человек (Эрмлеру тогда было за шестьдесят.— Д. Ж.), и эта работа вам может дорого стоить». К сожалению, я оказался пророком — у Эрмлера инфаркт...

Я говорил Василию Витальевичу, что фильм производит впечатление блестящей шульгинской импровизации, и выразил удивление, как ему вообще дали увидеть свет. Но он уверял меня, что картина подвергалась такому «обрезанию», что от нее остались рожки да ножки. И приводил пример:

— Вы помните сцену Дворцовой набережной в Ленинграде. Я разговаривал там белой ночью с девушками в белых платьях — выпускницами школ и по воле режиссера, пожелавшего выгодно подать меня, изъяснялся на трех главных европейских языках. Так вот... мне хотелось еще раз выразить нечто важное для меня... свое неприятие кровавой российской традиции убивать царей. А потом из этой сцены все вырезали, и получился у меня с девицами глупейший диалог. Помните, я там сказал о хрустальной туфельке Сандрильоны. А дальше было так: «Надев хрустальный башмачок, Золушка становится принцессой, а в наше время это опасно. Я мог бы рассказать о четырех принцессах... Но это слишком печальная история!..»

Недавно в архиве мне попало дело с перепиской по поводу фильма «Перед судом истории», вариантами сценария. В одном из набросков сцены на Дворцовой набережной рукой Шульгина было написано совсем не то, что он рассказывал мне на берегу Черного моря. Вернее, там была совсем иная тональность, приоткрывавшая другого Шульгина.

«Я злой колдун, я убил четырех принцесс, я сжег их тела огнем и из принцесс сделал их... Золушками! Вы никогда не слышали об этом».

Не любил он эти свои мысли, как не любил напоминаний о том, что его провело ОГПУ, но мнение обо всем этом имел, излагая его в своих записках весьма недвусмыслен-

но. Как и некоторые идейные и экономические соображения.

Так, Шульгин считал, что большевики несколько опрометчиво включили в свой пропагандистский арсенал лозунг французской революции: «Свобода, равенство, братство». Уже у самих французов словом «свобода» манипулировали сменявшие друг друга диктаторы. Братства под сенью гильотин просто не могло быть, а равенство перед законом сводилось на нет неравенством экономическим.

В России свободу олицетворяла провозглашенная Лениным диктатура пролетариата, сменившаяся диктатурой сильной личности, а после смерти Сталина наступил век откровенной партийной диктатуры.

«Полгода, напр., я торгуюсь с представителями партийной цензуры при выработке фильма «Дни».

Ну а равенство? Коммунисты в лучшем положении, чем другие. «Человек, получающий 350 р. в месяц, не может быть уравнен с теми, кто получает 95 рублей».

Братство же — отдаленный идеал. Оно достигается легче, если руководители морально чисты. Без этого никакой дисциплины быть не может, а следовательно, и процветания.

Из разговоров с Шульгиным у меня сложилось впечатление, что мысль создать фильм возникла тотчас после нового появления старого монархиста на общественной сцене и едва ли не в недрах владимирского КГБ, офицерам которого был вменен в обязанность присмотр за исторической личностью. На них и распространилось обаяние Шульгина, рассказывавшего случаи из своей жизни красочно. Они навещали его часто, сиживали подолгу, слушали прирожденного рассказчика с раскрытыми ртами, возили его в черных «Волгах», оказывали мелкие услуги. Кому-то из них, едва ли не самому начальнику, вдруг пришла в голову мысль: «Так ведь это же история нашей революции! Почему бы не сделать фильм, пока жив еще этот исторический кладезь?»

Как бы то ни было, мысль о фильме доведена была, как говорят, до соответствующих инстанций и превратилась в замысел.

Играть Шульгина (под другой фамилией) должен был профессиональный артист или артисты, поскольку период времени замышлялся большой, а за основу бралась его книга «Дни», в которой повествование начинается с 1905 года.

Шульгина пригласили консультировать фильм, чтобы освятить его именем в титрах все, что будет сниматься.

«Апофеоз фильма был бы в том, — вспоминал Шульгин, — что некогда яростный противник коммунистов присутствует на XXII съезде КПСС в качестве гостя. Я ушел со съезда в мрачном настроении. Под красивой и волнующей формулой «Да не будет человек человеку волк, а друг, брат и товарищ» я увидел нижеследующее:

чрезмерную любовь к Востоку и незаслуженную, неразделяемую мной ненависть к Западу».

Да и стар он был очень для фильма. Он, смолоду не гонявшийся за славой и деньгами... Но его убеждали, что все это важно для истории, кинохроника снимала его на съезде больше десяти минут, однако на экране не показали, поскольку решено было, что говорит он неправильные вещи.

Но мысль о фильме подчиняла себе все больше людей. Уже ему придумали название «Дни», уже о нем говорили в Москве и Ленинграде, уже ленинградский режиссер Фридрих Эрмлер и огоньковский репортер и сценарист В. П. Владимиров (Вайншток) напрягли творческие бицепсы, уговаривали Шульгина, чтобы он сам выступил в свете юпитеров, и показали старику две свои последние ленты. Одна была о том, как Лев Толстой с Эдисоном помогли некоему Охрименко найти свой путь в жизни. Вторая — о полярнике Седове, которого Шульгин хорошо знал лично, помогал собирать деньги на героический поход и даже поссорился с ним, когда обнаружил, что тот только и думает, как бы достичь Северного полюса во славу России, а о возвращении живым не заботится. Шульгин сравнивал Седова с жюльверновским маньяком капитаном Гатеррасом.

Поссорился он и с почтенными кинодеятелями, сказав им, что в последнем фильме они «глумились над памятью трагически погибшего Николая II» и что на этом пути сотрудничества у них не получится.

Эрмлер тоже рассвирепел и, вспомнив свое чекистское прошлое, заявил своему классовому врагу, что фильм «Дни» будет сделан и без участия Шульгина. Шикарный и... обличительный.

Шульгин не остался внакладе, ответил резкостью.

«Однако,— вспоминал Шульгин,— В. П. Владимиров проявил себя человеком и отходчивым, и добродушно-настойчивым, мы разошлись с таким незаписанным условием: В. П. Владимиров будет писать свой сценарий, а я буду писать свой контрсценарий, и затем мы попытаемся их согласовать».

Владимиров и в самом деле написал сценарий, но Шульгину его не показывал, хотя тот уже свои реплики набросал...

И тут Василий Витальевич проявил характер. Он потребовал, чтобы ему показали то, что испечено на сценаристской кухне. Причем все! Что это за практика в кино, когда артисту показывают только его реплики, а на остальное и взглянуть не дают! Тут фильм особый. Это все равно, как если бы его пригласили сказать слово на экране о Седове, а потом прибавили бы неприличный хвост... Нет, он должен знать все.

Во-вторых, развлекать зрителей он не собирается — здесь, мол,

сидел царь, здесь — Гучков. Он попытается объяснить смысл трагедии, которая разыгралась в 1917 году и закончилась в подвалах Ипатьевского дома в Екатеринбурге-Свердловске. А если его толкование будет неприемлемо для Советской власти, то нечего его и привлекать.

И в-третьих, он может написать для Идеологической комиссии все, что скажет в роковом вагоне, стоявшем на станции Псков в 1917 году. А там — пусть решают.

23 июля 1963 года Шульгин отправил письмо председателю Идеологической комиссии ЦК КПСС Леониду Федоровичу Ильичеву, в котором сообщал, что сценария нет, а есть лишь договоренность с известным режиссером Фридрихом Эрмлером и даже ходатайство платить зарплату ему, Шульгину.

«За что?» — в своем стиле вопрошает Василий Витальевич.

Это делает честь энергии и заботливости кинодеятелей, которые утверждают, что между ними и Идеологической комиссией есть полное согласие. А есть ли такое согласие с ним, с Шульгиным? Как бы не вышло досадного недоразумения — «мне начнут присылать зарплату, а я по совести ее пока принимать не могу и принужден буду отсылать ее обратно».

(В киношном мире это произвело некоторый переполох. Здесь никто и никогда не возвращал денег за несделанную работу. Шульгина называли «старым чудаком». Но он был умнее всех тех, кто решил погреть руки на боевике об отречении Николая II.)

«Эта трагедия,— продолжал Шульгин в своем письме к Ильичеву,— должна быть поставлена в соответствующие рамки и трактована в таком стиле, который мне приемлем, т. е. хотя я принял отречение из рук Императора, но сделал это в форме, которую решаюсь назвать джентльменской. Это акт не только величайшего значения, как перемена формы правления, имеющий тысячелетнюю давность, но он является рубежом между двумя эпохами, и так и должен быть рассматриваем».

Нет, он не даст согласия, пока добросовестно не изучит сценария. Да и потом он оставляет за собой право отказаться от работы, если его попытаются заставить говорить не то, что думает. Мало того...

«Я — именно то, что называется глубокий старик, мне 85 лет, и я не отличаюсь бодростью Аденауэра. За свою долгую жизнь мне приходилось быть писателем и говорить публично, но я никогда не был актером. Между актером и оратором — большая разница: актер говорит речи, которые ему пишут, а оратор, если он не говорит экспромтом, то он произносит речь, которую составил сам. В мои годы не переучиваются. Поэтому я претендую, что моя роль в фильме «Дни» будет написана мною самим».

Вот оно! Шульгин уже знает, что его ждет в работе со сценаристом и режиссером. «Мы исходим из разных взглядов на монархию вообще и на Императора Николая II в частности».

Но если даже он поладит с обоими, где гарантия, что текст, написанный самим Шульгиным, будет приемлем для Идеологической комиссии ЦК КПСС.

Вряд ли в высокой инстанции произвело благоприятное впечатление настойчивое написание слова «Император». Да и вся логика письма. Но, видимо, в дело вступила тяжелая, хотя и закулисная артиллерия, порождаемая желанием киношников сделать что-то из ряда вон выходящее.

И Шульгину дали сценарий.

Согласно этому произведению, задуманному весьма широко (я читал его), Шульгин должен был появляться в первых и последних кадрах. А в середине была попытка объять необъятное. Рассказывал о своем реэмигрант Любимов. Мелькал Бунин с его рассказом «Конец», Париж, Тэффи, Куприн, Шаляпин, Казем-Бек, Оболенский... Получился милый винегрет, рассыпавшийся на составные части при первом же соприкосновении с замыслом литературного зубра Шульгина. И уж никак не отвечал названию его книги — «Дни».

Короче, в этом соревновании победил его вариант, консервативный и весьма впечатляющий. По нему и снимался фильм, в котором «суперзвездой» предстал сам Василий Витальевич Шульгин. Предстал «Перед судом истории», как решил товарищ Ильичев, руководивший тогда искусством и литературой.

Лев Никулин, писавший свою «Мертвую зыбь», навестил Шульгина в доме творчества в Голицыне 23 апреля 1963 года. Получив нужные сведения, он, по мнению Шульгина, воспользовался ими скверно. «Мертвая зыбь» — название хорошее. «Это волна, — писал он, — что еще волнуется и качает корабли, но это качка по инерции... Ложь, обман, провокация. Эти приемы когда-то принесли плоды, но они оказались ядовитыми ягодами. Они отравили прежде всего тех, кто их выращивал. Они разлагали государственный аппарат, превращая правительственных агентов в преступников».

Шульгин отмечал неточности в книге о «Тресте». А поскольку у него была переписка с Ильичевым о фильме (односторонняя — Ильичев снизошел до устного указания: «Принять во внимание возражения Шульгина»), то Василий Витальевич в одном из писем ядовито спрашивал всемогущего тогда секретаря ЦК:

«Допустима ли правительственная провокация, как метод по-

литической борьбы в государстве правовом, иначе сказать закономерном? Если провокация допустима, то это следовало бы как-нибудь выразить в Конституции. Если нет, то отрицательное отношение к провокации должно быть провозглашено в основных законах или в нарочитом декрете».

Когда делали фильм «Операция «Трест», Шульгина попросили стать в нем таким вкраплением, комментирующим события. Он отказался. Он хорошо помнил свои мытарства с предыдущим фильмом.

Тогда он тесно сотрудничал с Иваном Алексеевичем Корневым, давал ему свои черновики, сообщал о ходе работы... Это был бедный и очень образованный человек, влюбленный в Шульгина, который в одном из писем к нему писал, что Эрмлер и Владимиров взяли его «за горло». Им хочется показать старца, который принял отречение, но ему не хочется быть простым исполнителем их замысла, отказываться от своего мировоззрения. «Нет! Себе дороже станет!» Из письма явствовало, что он посылает Корнееву «некоторые мысли по поводу фильма» и советует по прочтении уничтожить, чтобы не было неприятностей.

Судя по тому, что И. А. Корнеев подготовил к печати «Неопубликованную публицистику», можно предположить, что она является частью этих опасных мыслей.

В предисловии к неосуществившейся публикации, помеченном 11 июня 1964 года, Корнеев писал, что она составлена по черновым материалам к фильму и называл 86-летнего автора «гениальным артистом, вдохновенным пророком нового времени».

Мне первый машинописный экземпляр Василий Витальевич вручил много позже, сказав:

— Все верно, и это мое нынешнее мнение.

Я хранил рукопись, как важнейший документ, и вот он пригодился...

Я знаю, что Шульгин диктовал Корнееву большую книгу «Годы», о думской деятельности за десять лет, предшествовавших революции.

Корнеев проделывал громадную работу для Шульгина. И радовался ей. Так, 19 марта 1966 года он сообщал ему, что болел всю зиму, но закончил работу по составлению сборника всех речей того в Думе. Оказалось, что Шульгин выступал 61 раз, а 62-ю речь он сказал на объединенном заседании всех четырех дум 27 апреля (10 мая) 1917 года по случаю XI годовщины открытия Государственной думы. В письме он привел речь, и мы возьмем из нее характерный отрывок:

«Столыпин сыграл огромную роль в моей жизни. Со страстью, свойственной молодости, я отстаивал с кафедры Государственной

думы его программу, потому что считал предначертанный им путь действий единственно правильный для спасения России и ее дальнейшего эволюционного развития. Несомненно, Столыпин был наиболее выдающимся государственным деятелем Российской империи в последний ее период. Это признавали и враги его.

Вскоре я сблизился с Петром Аркадьевичем и полюбил его. После его мученической кончины память Столыпина стала для меня священной. Считаю, что сейчас еще не настало время для объективной оценки его деятельности...»

Я попытался найти более подробные сведения о Корнееве. Их мало. Мария Дмитриевна упоминает о нем в письме от 20 октября 1963 года и предупреждает Василия Витальевича, чтобы не ездил на съемку в Ленинград. Обманут-де. «Еврейские трюки ты знаешь хорошо». Вспоминает, как Вайншток говорил в гостинице «Заря»: «Да разве я мерзавец? Разве я не понимаю, что именно нужно, чтобы удовлетворить В. В.? Да разве я не такой же интеллигентный человек? (Мимика и жесты соответствующие)». Марди считает его мерзавцем и мошенником.

В ответе Шульгин уповает на лучшее. Машина по фильму заработала. «Судьба захотела, чтобы я как бы приложил руку к крушению Империи, которую я ценил и любил. Объяснение в книге «Дни», которую ты писала под мою диктовку».

В следующем письме:

«Китайский коммунист спросил русского коммуниста:

— Согласен ли ты, чтобы ценой гибели нескольких сотен миллионов буржуев коммунизм водворился во всем мире?

На это Хрущев ответил:

— Иди к черту, Маодзедун!

Этот разговор решил судьбы мира» и вдохновлял Шульгина при работе над фильмом. И еще соображения:

«Я всю жизнь делал то, чего я не хотел. Разве я хотел в Думу? Я ненавидел парламент с детства, когда еще в России ничего этого не было, а только случайно, ничего в этом не смысла, читал в газетах про какую-то борьбу партий в Европе.

Во вторую Думу меня послали черные Волынские мужики, которые заявили, что я им нужен в Думе, потому что они ничего не понимают, чего им там, в Думе, надо делать.

В третью Думу потому, что я выделился во второй и от меня требовали, чтобы я, молодой, не отказывался от своего долга перед Россией. Но в четвертую я отказался наотрез. Тогда Антоний, архиепископ, впоследствии митрополит, послал на меня телеграфную жалобу Дмитрию Ивановичу. От него я получил депешу:

— Соглашайся. Через год откажешься.

Отказаться не удалось через год, потому что изменилось со смертью Д. И. (Пихно.— Д. Ж.)

Теперь мне так же противно выступать в фильме, как тогда идти в Думу.

Но обстоятельства круто изменились и дезертировать не могу. Но ты не бойся, дорогая моя Машенька, за мое здоровье. Я выдержу, потому что чувствую: жалок тот, в ком совесть нечиста. Господь Бог поставил передо мной еще один барьер, и я его возьму с помощью Божией».

В следующем письме:

«Фильм вызвал на срок 20 дней Ивана Алексеевича. И платит ему содержание. Работа идет».

14 декабря В. В. рассказывает о съемках. «Надо подчеркивать трагизм движения рук, но если чуть-чуть сделаешь жест более широким или узким, то опять нехорошо, ибо «искусство там, где начинается чуть-чуть». Еще хуже с голосом. Если говорить тихо, «трагическим шепотом», то аппарат может не уловить его. Но если закричать трагически, то тоже плохо, «от великого до смешного только один шаг».

Описание съемки:

«Мотор! Два раза «дзз-дзз»! Номер какой-то кто-то кричит. И после этого какой-то ящик перед лицом делает громко: хлоп! И тогда Эрмлер: «Начинайте». После этого ты должен начать «естественно и спокойно».

Корнеев при всем этом присутствует и ловит каждое слово Василия Витальевича.

И ведь вот как бывает... Я сам встречался с Иваном Алексеевичем Корнеевым, а хоть убей, не помню его, даже храня копию своего письма Шульгину, в котором, среди прочего, говорится:

«Вы, конечно, знаете, в каких условиях живет Иван Алексеевич, знаете его супругу, которая говорит, что они «наняли аблоката» и очень беспокоится о судьбе доходов, которые может принести будущее издание книги. Обстановка очень тяжелая, прямо удушливая какая-то. Сам Корнеев от болезней высох совершенно, он едва передвигает ноги, так что ожидать от него бойкости в устройстве ваших общих дел не следует. Чувствуется великая нищета. Возможно, этим объясняется задержка в перепечатке экземпляра книги для Вас. Я предложил ему деньги на перепечатку и свою машинистку, но он постеснялся взять у меня что-либо и сказал, что месяца через полтора вышлет Вам полный текст. Сейчас у него есть три экземпляра, но они нужны ему для представления в издательство. То есть два — в издательство, один — себе, рабочий...

Все прежние «друзья», типа Владимирова, от него отступились. Владимиров занял у него 50 рублей и не появляется боль-

ше полугода. Обстановка сейчас для издания книги не очень благоприятная, но я надеюсь на лучшее. АПН любит издавать литературу такого рода. Книга им должна понравиться, тем более что она написана блестяще, а стилистической изысканностью их не балуют...»

В. П. Владимиров числился автором сценария фильма «Перед судом истории». Шульгин умер 15 февраля 1976 года во Владимире на девяносто девятом году жизни. Книга «Годы» вышла в издательстве АПН в 1979 году с посвящением В. П. Владимирову, признательностью за участие в создании книги и его же предисловием. И. А. Корнеев не упомянут нигде.

«Три столицы» — это книга и о народе, и о властителях его.

В 1958 году Шульгин написал книгу в пятьсот страниц «Дело Ленина». Во владимирском КГБ книгу взяли, хвалили за стиль, но похерили в своих архивах. Судя по отголоскам в записях Шульгина, он хотел извиниться за «непристойности», допущенные в «Трех столицах» в адрес Ленина (кстати, изъяты при нынешней публикации книги издателями), но нестандартные мысли обнародованы быть не могли.

Вот, например, в марте 1967 года некий Арон Яковлевич из Академии наук прислал ему письмо, в котором вызывал на диспут, выдвинув такой тезис:

«Русская революция не только не могла не быть, но, явившись в мир, она сделала для него дело огромной важности, притом дело доброе — благотворное».

Шульгин отвечал в «открытом письме», что не отрицает мирового значения Октябрьской революции. «Но она не была ни доброй, ни благотворной. Создав некие грандиозные материальные ценности, она жутко понизила актив Добра в мире и не достигла тех результатов, к которым стремилась. Это жестокое заявление я должен подтвердить фактами, показав, что революция обещала и что дала...»

Он начал издавека, писал о своем уважении культа сильного человека. Приводил пример, который дается здесь мною в коротком пересказе.

Александр II своей реформой привел в ярость революционеров, осуществив их идею. И тогда они стали охотиться за императором. 1 марта 1881 года первая бомба попала в казака. Царь приказал кучеру остановиться и пошел помогать казаку, лежавшему на мостовой. И тогда бросили вторую бомбу... Александр II был еще жив, когда его привезли во дворец, куда собралась семья. Когда медик объявил: «Государь император скончался!», все опус-

тились на колени. Наследник Саша был огромный, веселый, добрый, любил играть с детьми... Встал же с колен суровый император. Первые его слова были:

— По-видимому, гражданские власти растерялись. Передать охрану столицы войскам. Совету Министров собраться через два часа...

Пролив минимальное количество крови, Александр III предотвратил революцию, утвердил мир. Это был сильный человек. Он говорил:

— Войну могут любить только те, кто ее не видел. А я видел. Во время русско-турецкой войны он командовал дивизией... На этом «открытое письмо» обрывается.

После тюрьмы, как уже говорилось, Шульгин в октябре 1956 года был отправлен в Дом инвалидов в Гороховце.

Мальчишки останавливали его на улице и спрашивали:

— Ты поп?

У Шульгина была большая седая борода, а на голове — черная широкополая измятая шляпа.

Отцы объяснили мальчишкам кое-что, и они кричали вслед:

— Идет Временное правительство!

Восьмилетний мальчик как-то пригласил его на елку.

— Ты — дед Мороз, — сказал он.

Шульгин не пошел, потому что был оборван и без копейки денег на подарок. Мальчик обиделся и потом сказал:

— Ты был дед Мороз, а теперь ты Булганин!

Булганин был тогда вторым человеком после Хрущева.

Шульгин смеялся, когда его пригласили на съезд партии и в соседнем кресле, тоже гостем съезда, оказался снятый к тому времени с постов Булганин. Описывая этот случай, Шульгин заключил:

«Мальчишка оказался едва ли не пророком.

А Хрущев? Хрущев по-прежнему парил высоко уже в одиночестве. Он действительно пришел на смену Сталину, хотя и не разделял его кровожадной политики. А отвергнув культ личности в отношении Сталина, Хрущев против своей воли и убеждения возобновил культ личности в отношении самого себя. Ни одного публичного выступления не могло быть, если не повторить титул «несгибаемый ленинец», присвоенный Никите Сергеевичу. И когда он входил в зал, то все вставали со своих мест и рукоплескали.

Я смотрел на это, сидя рядом с Булганиным, и мне было больно, потому что я любил Хрущева. Во-первых, он подарил мне 13 лет тюрьмы. А во-вторых, он порхал по всему

миру, самым искренним образом проповедуя всеобщий мир.

И я думал и повторял про себя: «Судьба играет человеком...»

Она сыграла и с Никитой Сергеевичем свою обыкновенную мелодраму. И он ушел в небытие, и на следующий же день после его ухода, люди, перевозносившие его до небес, стали его поносить...»

В ночь на 30 июня 1958 года Шульгин увидел во сне Сталина.

В какой-то комнате было много разных людей. Несколько особняком за школьной партой сидел Сталин. Его как будто чуждались, но он улыбался и был таким красивым, каким В. В. никогда его не видел ни на одном портрете. Шульгин подошел к нему отчасти потому, что его несколько смутило соображение — из тех людей, которые сейчас его сторонятся, было немало людей, еще недавно лежавших перед ним ниц, как перед идолом... Сталин улыбнулся еще веселей, глаза его сияли просто необыкновенно. В. В. сказал ему: «Здравствуйте. Как объяснить, а лучше сказать, как совместить эти удивительно сияющие глаза и ласковую улыбку с тем морем крови, которую вы пролили?» Он сказал это без всякого вызова, с веселым любопытством. Лицо Сталина несколько изменилось, глаза продолжали сиять. Он ответил: «Они поставили меня править вашей страной. Вы думаете мне это было приятно, желал я этого? Нет, ваша страна мне чужая. Но они меня поставили, и я правил, как умел». Потом произошло нечто совсем глупое... Какая-то дама, немолодая, но державшая себя вольно, устроила скандал. Она заявила рассерженно, что на вешалку она не может повесить свое пальто, потому что шуба Сталина ей мешает. Сталин встал со словами: «Хорошо. Я это улажу». В былое время, может быть, он уладил это дело так, что вместо пальто он повесил бы его владелицу. Вешалка была со многими крючками, всем места бы хватило. Но сейчас... сейчас было иначе.

Когда В. В. проснулся, он подумал, почему на том свете, где, очевидно, этой ночью он нашел Сталина, лицо этого второго Чингисхана так прекрасно — сияющие необычайным светом глаза, эта ласковая улыбка доброго властителя? Быть может, он воображал о себе, что он таков. Быть может, он не поверил двумстам миллионам людей, которые лежали перед ним во прахе и прославляли его в стихах, прозе, льстивых речах как благодетеля человечества, как «гения всех времен и народов». После его смерти прошло пять лет, и ни один из этих раболепцев даже случайно не обмолвился, что Сталин был. Его имя просто не называется, не произносится. «Гений всех времен и народов» в течение пяти лет забыт. Как это могло случиться? Кто-то повелел забыть Сталина. Но кто он?

Очевидно, его наследник — Сталин номер два. Тот, которого еще не знают... но он должен быть... Впрочем, кто же такие «они», которые Сталина, как он сказал, «поставили»?..

Сон оказался пророческим. 2 июля Шульгин имел разговор с одним из тех важных лиц, которые зачастили в инвалидный дом для бесед с ним. И между прочим ему было сказано:

— Да, мы стремимся к свободе, наступит время, когда не будет ни насилия, ни судов, ни террора. Поживите с нами еще восемьдесят лет, и вы увидите это... Но ныне у нас диктатура пролетариата, и мы применяем и будем применять террор большинства против борющегося против нас меньшинства.

В последние годы жизни Шульгин часто вспоминал время «Трех столиц» и повторял:

«Свят только труд добровольный».

«Собственность есть диктатура над материей».

«Дайте собственнику бесплодную скалу, и он превратит ее в цветущий сад».

«Собственнику легче признавать свои ошибки и на них не настаивать».

И еще я нашел в его записях слова, будто бы сказанные в свое время Якушеву:

«Как говорят, Ленин предполагал, что передышка будет длительной. Но он умер, лучше сказать, погиб, а Сталин, занявший место Ленина, ее, переделку, сократил, как сократил все и вся. Он провозгласил «генеральную линию», т. е. Террор, доведенный до края. Начался ужасный Сталинский голод. Но голодные умерли, а выжившие потеряли всякую возможность сопротивления. Они повиновались. Из безусловного повиновения родилась рабская сила. Рабы способны сеять и собирать зерно. Рабы очень хороши для войны. Некоторое время Римское могущество покоилось на повиновении рабов. Рабы-колхозники дали Сталину нищенский хлеб, рабы-бойцы победили рабов Гитлера. Из песни слова не выкинешь. Рабство имеет два лица: ужасное и созидательное. Рабы создали пирамиды и грандиозное использование разливов Нила. Рабы, управляемые умными жрецами, есть явление, над которым стоит задуматься.

Конечно, выросшее человечество пришло к мысли, что и Свобода способна творить великие дела. Но при одном условии: свободные должны знать цену Согласия. Несогласие разрушает все дела человеческие, в том числе и Свободу.

Поэтому и при свободном строе надо сохранить нечто от Рабства. В этом случае оно называется «Дисциплина». Это слово благозвучно и потому легко приемлемо. Свобода немислима без Дисциплины».

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ СТОЛИЦЫ	5
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА	377
<i>Д. Жуков. Ключи к «Трем столицам»</i>	<i>398</i>

ШУЛЬГИН
Василий Витальевич

ТРИ СТОЛИЦЫ

Редактор *Л М Исаева*
Художник *А Ф Сергеев*
Художественный редактор *Г Г Саленков*
Технический редактор *Е А Васильева*
Корректоры *Т М Воротникова И И Попова*

ИБ № 5918

Сдано в набор 5 06 90 Подписано к печати 29 12 90 Формат 84×108¹/₃₂ Гар
нитура литер Печать высокая Бумага тип № 2 Усл печ. л 26,04 Усл кр отт
26 09 Уч изд л 29 18 Тираж 100 000 экз Заказ 1210 Цена 5 р 50 к

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации
РСФСР и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР
144003 г Электросталь Московской области, ул им Тевосяна 25